

Annotation

Что такое «еврейский вопрос» и для чего он был нужен в России? Какова была роль российских евреев в революционном и антиреволюционном движении, в становлении и упрочении советской власти, в карательной политике государства при Ленине, Сталине и его преемниках, в советской и русской культуре?

Это лишь малая часть вопросов, поставленных известным писателем, историком, журналистом, юристом Аркадием Ваксбергом в этой книге. Ответы же помогут найти собранные здесь никогда ранее не публиковавшиеся свидетельства участников и очевидцев событий, материалы из семейного архива и воспоминания писателя.

Аркадий Иосифович Ваксберг

ИЗ АДА В РАЙ И ОБРАТНО

Аркадий Ваксберг

ИЗ АДА В РАЙ И ОБРАТНО

Еврейский вопрос по Ленину, Сталину и Солженицыну

«ОЛИМП»

Москва

2003 г.

ТИШЕ, ТИШЕ, ГОСПОДА!

ТИШЕ, ТИШЕ, ГОСПОДА!

(Вместо вступления)

Эта книга – не тот в точности текст, который сейчас перед вами, а тот, что составляет его основу, – к публикации в России не предназначалась. Не потому, что есть в ней нечто, непригодное, по мнению автора, для российского читателя, а совсем наоборот: слишком уж, так мне казалось, все это хорошо известно у нас, писано-переписано, обговорено множество раз, обросло тоннами печатной продукции – и научной, и ненаучной, и антинаучной, – так что просто неловко сообщать читателю то, о чем он стараниями разных людей, с полярным порою подходом к одним и тем же историческим фактам, давным-давно информирован.

К тому же на этой ниве успешно, с энтузиазмом и увлечением, пахали (и пашут) те, кто присвоил себе монопольное право на патриотизм, отлучив от такового всех неугодных. Ввязываться в прямой или даже косвенный спор с ними всегда казалось мне унижительным и бессмысленным: переубедить невозможно, перекричать тем более. Тот, кто не хочет слышать, хуже глухого...

Вот почему, опубликовав свою книгу в Соединенных Штатах (Stalin Against the Jews. Alfred A. Knopf, New York, 1994), я счел задачу исполненной: американский читатель получил какое-то представление о том, во что превратился злополучный «еврейский вопрос» в России сначала при Ленине, а потом и при его лучшем ученике. Не слишком осведомленному читателю был предложен мною популярный историко-публицистический экскурс, ни на какую научную трактовку предмета не претендовавший. Это было видно уже из того, что текст не сопровождался непременно даже для самого захудалого исторического труда инструментарием в виде ссылок на источники, да и по стилю он был заведомо рассчитан не на специалистов.

Оказалось, однако, что интерес к «предмету» существует не только за океаном и потребность в добросовестном изложении еще не остывших страниц недавней нашей истории достаточно велика. Добросовестном в том единственном смысле, что – без крена в какую угодно «сторону» и даже без так называемого объективного учета мнений «обеих сторон». Ибо – и это главное, что мне хочется подчеркнуть, – никаких «сторон» попросту нет, так называемый «раскаленный клин» между русскими и евреями – это миф, усердно насаждаемый и раздуваемый истеричными «патриотами», тот питательный бульон, вне которого они как общественное явление просто не могут существовать.

Побудительным мотивом, чтобы вернуться к своей – состарившейся уже – книге, послужили для меня сначала предложение известного парижского издательства «Робер Лаффон» подготовить французскую ее версию, обновленную и дополненную, а затем, когда работа над этой версией уже шла полным ходом, – еще и выход первого тома книги Солженицына «Двести лет вместе». Стремительно переведенный коллективом переводчиков (издательство «Файяр»), он вызвал бурную реакцию французской прессы, где статья популярного в стране писателя Доминика Фернандеса «Так, значит, Солженицын – антисемит?» (журнал «Нувель Обсерватер») была, пожалуй, самой щадящей и мягкой. Но мне, сразу скажу, абсолютно все равно, антисемит ли он, антисемит ли кто-то другой. Вообще кто бы то ни было...

Да на здоровье, если очень уж хочется! Любить или не любить человека (тем более целый народ!)

личное дело каждого. Никаким приказом, никаким законом, никаким укором никого нельзя понудить к любви или к не любви. Важно лишь не делать из своих чувств политику (к Солженицыну это замечание не относится), ибо в таком случае любовь-не любовь становится уже отнюдь не личным делом. И не обращаться тенденциозно с фактами – вот это замечание, увы, имеет к классику прямейшее отношение.

Переработанная, значительно дополненная и адресованная теперь уже российскому читателю книга «Из ада в рай и обратно» полностью сохранила в своей основе первоначальную (американскую) версию, оттого в ней есть и такие (хрестоматийно просветительские) сведения, которые, элементарно знакомым с отечественной историей читателям, вовсе и не нужны. Но совсем уж ломать написанную книгу мне не хотелось, а – с другой стороны – в сохранении элементов «ликбеза» для заграницы тоже есть какой-то смысл: избавлюсь хотя бы от обвинений в каком-то двойном счете...

Эту книгу ни при каких условиях нельзя рассматривать как расширенную рецензию на солженицынский двухтомник или, еще того хуже, – как «наш ответ Чемберлену». Она всего-навсего мое изложение того сюжета, который, как мне кажется, только и заслуживает рассмотрения сегодня, в начале уже третьего тысячелетия: ни в коем случае не – «русские и евреи», а – «российская (царская, затем советская) власть и евреи», ибо лишь такой конфликт действительно существовал и лишь он привел к трагическим, а для некоторых и к кошмарным, последствиям.

Межэтнические конфликты были на руку властям, ими разжигались, открывали возможность для манипулирования низменными инстинктами в своих целях. И это именно власть всегда выдавала свою политику за стихийные взрывы «народных чувств», которыми дирижировала, то раздувая их, то приглушая.

Солженицын считает иначе. Он считает, что существовал и существует конфликт между русскими (вообще) и евреями (вообще), – если бы так не считал, не было бы такой книги, ни тем более такого ее названия. Он считает, что эта конфронтация длится уже двести лет и что он, миротворец, смело вступает на поле вечного боя, чтобы убедить обе стороны прекратить междоусобицу, протянуть руки друг другу. Не думаю, что я ошибся, именно так изложив его исходную позицию. Солженицын «хочет выступить неким рефери в затяншемся историческом споре», – пишет благоговейно относящийся к его труду Виктор Лошак (Московские новости. 2002. № 50. С. 21). Яснее не скажешь: мы находимся, стало быть, на перманентном ринге, где русские и евреи дубасят друг друга, а наш рефери страстно стремится свести вечный бой к спасительной ничьей.

По-моему, сама эта исходная позиция абсолютно не соответствует реальной действительности и – более того – она глубоко оскорбительна прежде всего для русского народа. Давно уже нет никакого спора народов, его искусственно создают вконец опсихевшие «патриоты». Давно уже исчезла сама база для этого спора: юдофобия, как и любая другая фобия, осталась, конечно, и останется, но, как справедливо отмечает профессор МГУ, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН С. А. Иванов, она «имеет у нас совершенно маргинальный характер и является у среднего русского шовиниста скорее данью традиционному имиджу, нежели живым чувством» (Неприкосновенный запас. 2001. 14 ноября).

О русофобии же глубокомысленно и надрывно вещают только товарищи вполне определенного направления, будучи не в силах привести хотя бы одну цитату, подтверждающую, что еврейский народ (именно так!) дурно, неприлично, безобразно, возмутительно (найдите более сильное слово) относится к народу русскому (именно так!). Хотя бы одну...

Создавая проблему, которой в действительности давно уже нет, Солженицын всем пафосом своей книги призывает помнить, что русские есть русские, а евреи – евреи, что между ними проходит этническая и историческая граница, но вот ссориться им не нужно. Следуя этой модели, люди в любом коллективе, будь то школьный класс, институтская аудитория, воинская часть, многоэтажный дом, заводской цех или учреждение, никогда не должны забывать о своей принадлежности к разным этносам, отделять свой от не

своего, но при этом – «жить дружно». Модель – для страны, где «патриоты» яростно раздувают антисемитские настроения, – более чем взрывоопасная.

Поэтому я совершенно не в состоянии понять, о каких «двух сторонах» беспрерывно идет речь у Солженицына, кого призывает он примириться, кто кому и в какой форме должен принести оливковую ветвь мира, или, по его терминологии, протянуть руку для рукопожатия. Вот я, например, готов тут же, не медля, идти с протянутой рукой и молить со мной примириться во имя искупления коллективной еврейской вины – кого? Моего друга Никиту Кривошеина, представителя славнейшей и благороднейшей русской семьи, оставившей яркий след в отечественной истории? Или русского интеллигента Андрея Битова, с которым мы вместе уже многие годы трудимся на общем поприще – каждый в меру своих сил и возможностей? Или блистательного Геннадия Рождественского, потомственного русского музыканта, с которым мы так хорошо понимаем друг друга часами беседуя на какие угодно темы? Или Сергея Аверинцева, Анатолия Приставкина, Евгения Поиска, Юрия Афанасьева, Евгения Евтушенко, Николая Шмелева, Юрия Черниченко? Или Вячеслава Всеволодовича Иванова? Не обратятся ли они за скорой психиатрической помощью для сошедшего с катушек коллеги вместо ответного рукопожатия? Или, может быть, пойти «с миром» к профессиональным патриотам – не смею назвать поименно (*nomina sunt odiosa*)? Так ведь не протянут свою в ответ, а отрубят мою. И будут по-своему правы. Но, господа, не они же – русский народ, они лишь пыжатся себя за него выдать!

Потребность в примирении – она сама по себе констатация битвы! Примирение означает состояние войны, с которым миротворец предлагает наконец покончить... Или, на худой конец, воздержаться от ее эскалации. Не является ли эта перманентная, все никак не прекращающаяся, война народов плодом воспаленного воображения?

К русскому населению нашей страны она не имеет ни малейшего отношения. Русский человек, не подстегнутый антисемитским бичом, не делал, а ныне тем паче не делает, никакой разницы между людьми по признаку крови. Тому есть тысячи свидетельств, а если тлеющие угольки раздора и существуют, если погромщикам-провокаторам удастся кого-то на что-то подбить, то долг русского интеллигента и не обделенного талантом писателя пуще всего бояться раздуть их, эти опасные угольки, превращая в «каленный клин», – лишь для того, чтобы выступить в роли «рефери» и посредника, стоящего над схваткой.

Какой же занозой миф о «клине» сидел в претенденте на эту миссию, если сподобил автора годы и годы вынашивать замысел в своей голове («Я долго откладывал эту книгу», – пишет он в предисловии к первому тому), а потом обрек на столь долговременный и столь капитальный труд! Компилятивный, вторичный, антиисторичный и все-таки – капитальный, отнявший столько лет, столько сил...

Прав, разумеется, историк и писатель, подвергший обстоятельному и спокойному разбору первый том: «Если бы (эта книга) вышла под именем другим, на нее мало кто обратил бы внимание» – неизбежный интерес к ней вызван, по его справедливому мнению, «презумпцией шедевра», туманящей взор (Резник Семен. Вместе или врозь? // Вестник. Балтимор. 2002. № 8). Но она есть – такая, какая есть, и с тем авторским именем, которое вынесено на ее обложку. И относиться к ней следует не как к священному писанию, а как к мнению очередного – в бесконечном ряду, и отнюдь не единственного, как он сам полагает, – автора, пытающегося на сей раз подавить читателя громкостью своего имени.

Особенно к месту и поразительно актуально зазвучали слова Льва Копелева из письма Солженицыну от 30 января – 5 февраля 1985 года: «ты вообразил себя единственным носителем единственной истины» (Синтаксис. Париж. 2001. № 37. С. 88).

Писатель Лев Зиновьевич Копелев, кто не знает или не помнит, – бывший друг Солженицына, под именем Рубина он выведен им в романе «В круге первом». «С Лёвой Копелевым, – сообщает Солженицын, – только к концу у нас испортились отношения, а были очень теплые, хорошие» (Московские новости. 2001.

№ 25. С. 9). Отчего же испортились? Цитируемое мною письмо, у нас практически не известное, ибо опубликовано по настоятельной просьбе М. Копелевой – вдовы Льва Зиновьевича, в труднодоступном и малотиражном журнале, дает ответы на этот вопрос: «ты стал обыкновенным черносотенцем, хотя и с необыкновенными претензиями» (с. 97); «любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты, и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь» (с. 98); «неужели ты не чувствуешь, какое глубочайшее презрение к русскому народу и к русской интеллигенции заключено и черносотенной сказке о жидомасонском завоевании России силами мадьярских, латышских и других «инородческих» штыков? Именно эта сказка теперь стала основой твоего «метафизического» национализма» (с. 101).

Снова скажу: моя книга не полемика с Солженицыным (куда более компетентные люди сделали и сделают это лучше, чем я); не разбор его двухтомника, полного не только ошибочных суждений, но и поразительного расхождения с реальными фактами истории (одни некорректно изложены, другие просто автором «не замечены»); не опыт создания его психологического или какого-то иного портрета. И – более того: она вообще не на ту тему, какая заявлена Солженицыным во вступлении к первому тому. И потому его имя встретится в тексте книги лишь при крайней необходимости. Однако сплошь и рядом исторические события и их трактовка у нас пересекаются, а очень многое из того, что содержится в моей книге 1994 года, я нашел и у Солженицына, но так, словно речь идет о каких-то разных событиях и разных людях. Уже одно это не дает мне права оставить без внимания его труд, сделать вид (что характерно, кстати, для нынешних смутных времен: упрек далеко не одному лишь Солженицыну), будто ее не замечаешь, будто она и не существует.

Чтобы в тексте самой книги не отвлекаться слишком уж часто от последовательного изложения событий, замечу здесь, что абсолютно ненаучным, общественно опасным, а если не выбирать выражений, обывательским является проходящее через оба тома суждение о характерных признаках «еврея вообще», создание некоего усредненного, обобщенного образа представителя злосчастного этноса. Многочисленные авторы, писавшие о сочинении «Двести лет вместе», сразу же обратили на это внимание, и, поняв, что перехватил, Солженицын счел нужным – в беседе с Виктором Лошаком – отвести от себя это справедливое обвинение: «Я в целом о нации не сужу. Я всегда различаю разные слои евреев. <...> По моему, у меня суждения о нации в целом нет» (Московские новости. 2002. № 50. С. 20-21).

О русской нации, по счастью, действительно, нет. А о еврейской почему-то есть – обобщенные характеристики, которые он ей дает, будут приведены ниже. И уже одно это выводит его книгу из ряда «исследований новейшей русской истории» (см. обложку и титульный лист) и переводит ее в ряд запальчивых публицистических манифестов на избитую тему. Его книга принадлежит не перу академика А. И. Солженицына, а перу литератора А. Солженицына, на что он, как и любой автор, имеет, конечно, несомненное право. Но и у читателя есть право судить ее не по законам того жанра, который самим автором заявлен, а по законам того, к которому она реально принадлежит.

Вот и все, что я счел нужным сказать, предваряя свое сочинение, которое ни при каких условиях не смею выдать за научное исследование. Но, принимая любые возражения, которые, наверно, последуют, хотел бы увидеть их оснащенными аргументацией, источниками, достоверными фактами, а не эмоциями, продиктованными отнюдь не потребностью в объективной, нелицеприятной истине, а чем-то другим – привходящим и суетным.

Когда я говорю о возможных (и даже, видимо, неизбежных) возражениях, я, конечно, не имею в виду вой и лай «патриотов». Эти-то вольны выть и лаять сколько угодно, что, естественно, и последует – ответа им нет и не будет. Пусть беснуются в своем, редущем, к счастью, и обреченном, кругу. Это к нам (но о

них!) обращается через столетия блистательный Василий Курочкин, переложивший на русский манер великого Беранже: «Тише, тише, господа! Господин Искаротов, патриот из патриотов, приближается сюда!»

ВСЕГДА ВИНОВНЫ

ВСЕГДА ВИНОВНЫ

История еврейского народа в России многократно и очень подробно исследована и рассказана, в дополнительном напоминании она не нуждается. Но если не вспомнить хотя бы в общих чертах самые болевые точки юридической и фактической дискриминации, которой он подвергался на протяжении хотя бы двух веков, весь последующий рассказ лишится корней.

С судьбой российского еврейства в период до 1917 года сопрягаются прежде всего два явления, неразрывно связанные друг с другом: черта оседлости и погромы.

Черта оседлости, то есть территориальные границы, отведенные для жительства еврейским беженцам с Запада, которых Россия приняла, но не уравнила в правах с аборигенами, юридически существовала с конца XVIII века. Указом императрицы Екатерины Второй от 23 декабря 1791 года российские подданные еврейской национальности получили право на проживание лишь в пятнадцати западных губерниях империи: Бессарабской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской, Черниговской.

По правде говоря, с учетом относительно не слишком-то многочисленного в ту пору еврейского населения, это была огромная территория, на которой свободно, не мешая друг другу, могли бы поселиться еще многие миллионы не только евреев, но и русских, и украинцев, и белоруссов, испокон веков здесь проживавших. Истоком будущего напряжения и кровавых распри была отнюдь не территориальная теснота, а самый факт обидной, унижительной дискриминации, разделившей подданных Российской империи на «своих» и «чужих». Вырваться из черты оседлости, обрести свободу передвижения, а вместе с тем и осознать себя равными со всеми, сбросить с себя клеймо человека второго сорта, – все это стало поистине «навязчивой идеей» для русских евреев следующих поколений, мечтавших о счастливом будущем своих детей.

Прошли многие десятилетия, прежде чем в этом вопросе наступил какой-то положительный сдвиг. Император Александр Второй, прозванный в народе за серию своих прогрессивных реформ Царем-Освободителем, разрешил проживать вне черты оседлости купцам первой гильдии (то есть особенно преуспевшим в своем бизнесе и заслужившим благосклонность – не даром, конечно, – местного начальства); евреям-мастерам, отличившимся в редких и крайне нужных России ремеслах; всем обладателям докторской степени и некоторым другим категориям российских подданных «нежеланного» происхождения. Чуть позже такую свободу выбора места жительства получают и все обладатели университетских дипломов.

Было совершенно очевидно, что теперь в гимназии, а затем и в университеты сразу же хлынут потоки еврейских детей, которым родители, преодолевая бремя материальных тягот, постараются открыть возможности для самореализации. Поэтому тотчас был введен «поправочный коэффициент» к щедрой царской милости, получивший название процентной нормы: число учащихся-евреев в гимназиях и университетах не могло превышать (в разных губерниях и городах по-разному) 3 – 5 – 10 процентов от общего числа гимназистов или студентов. Таким образом, кроме конфронтации «белых» и «черных» (русских и евреев) – то есть полноправных и почти бесправных – царизм породил еще и конкуренцию евреев друг с другом в борьбе за призовые места. Строго говоря, речь шла вовсе не об ЭТНИЧЕСКОЙ

конфронтации и дискриминации в буквальном смысле этого слова, а о конфронтации и дискриминации конфессиональной. Ограничениям подвергались не этнические евреи как таковые, а исповедовавшие иудейскую религию. Ни в каких полицейских и иных официальных документах никакой этнической идентификации личности не существовало: речь могла идти только о вероисповедании, то есть об идентификации конфессиональной. Нелепого вопроса («пункта») «национальность» не существовало вовсе, – существовал другой: «вероисповедание». Достаточно было принять православие или вообще какую бы то ни было другую религию, и все ограничения тотчас снимались. Для многих людей – как по искреннему убеждению, так и без всяких убеждений, в силу циничного прагматизма – это стало выходом из положения. Число «выкрестов» (такую кличку получили еврейские вероотступники) – точнее, желающих ими стать – росло год от года. Церковь достаточно упорно сопротивлялась хлынувшему потоку, хотя обращение в свою веру новых адептов всегда считалось одной из важнейших задач любой конфессии. Но совсем удержать этот поток возможности не было, а натиск талантливых и трудолюбивых еврейских юношей (главным образом юношей!), рвавшихся в высшие учебные заведения, все нарастал.

Ситуация решительно изменилась после убийства императора Александра Второго (1881). Хотя убит он был бомбометателем не еврейского, а русского происхождения (Гриневицким), реакционная печать немедленно начала атаку на евреев, этих вечных козлов отпущения, обвиняя их в подстрекательстве к ниспровержению строя, в покушении на всю императорскую семью и на основы православной религии, в кощунственной несправедливости по отношению к тому Божьему Помазаннику, который лично даровал евреям «неслыханные привилегии».

Реакция легко поддающихся пропаганде забитых и темных людей, особенно в тех районах, где евреи составляли значительную часть населения, ждуть себя не заставила. Начались еврейские погромы – главным образом на Украине, тогда неотъемлемой части Российской империи. Общий счет погромов первой волны – около ста пятидесяти. Общее число убитых – несколько десятков человек (абсолютно точной цифры не знает никто; официальные источники и очевидцы приводят разные цифры; каждый, кто пишет на эту тему, выбирает для себя ту, которая ближе подходит к его позиции, и всегда может доказать свой выбор). Громили лавки, принадлежавшие евреям («жиреют за счет бедных русских»), трактиры («спаивают русский народ»), конторы ростовщиков («отнимают последние гроши у обездоленных русских людей»), врвались в дома, выкидывали из окон еврейских младенцев, выворачивали содержимое сундуков – искали драгоценности (и грабили их, если находили), вспарывали перины (там вроде бы евреи прятали ассигнации) – пух летел по улицам городков и местечек черты оседлости, кровь лилась ручьями – это не банальная метафора, а натуралистическая деталь, воспроизведенная в десятках газетных репортажей.

Сразу после первой волны погромов возникла и первая волна еврейской эмиграции (единичная эмиграция существовала и раньше) – главным образом в Соединенные Штаты, широко открывшие ворота для беженцев из России. Российские власти не препятствовали отъезду, но и не очень его стимулировали: преемнику убитого – Александру Третьему – никак не хотелось выглядеть гонителем и душителем, особенно перед Францией, к сближению с которой он стремился и которую посетил. Несмотря на его жесткую внутреннюю политику, гонения на евреев пошли на убыль.

Но затишье длилось недолго. В апреле 1903 года, уже при Николае Втором, два дня громили евреев в Кишиневе – бесчинства спровоцировала полиция – под нажимом местных «патриотов». Но истинная вторая волна погромов, куда похлеще первой, началась сразу же после революционных волнений 1905 года: полиция и «соответствующие службы» сделали все, чтобы народный гнев, копившийся из-за нищенской жизни и череды бесправия, направить не против властей, а опять-таки против евреев. Это была (и в России останется таковой!) беспроектная карта и политический выход из всех затруднительных положений: нет ничего легче, чем убедить толпу в том, что не кто иной, как евреи, и только они, источник

всех бед и несчастий...

Вторая волна погромов (начиная с октября 1905 года) охватила огромную территорию Малороссии (Украины), Белоруссии и собственно России. В Одессе (октябрь 1905 года) погромщики убили (называю максимальную цифру, фигурирующую в различных источниках) более пятисот человек, в Киеве (тогда же) несколько десятков. Более семидесяти человек погибло в Белостоке (июнь 1906 года).

Общее же число погибших в ходе этих погромов превысило семьсот человек. Били «жидов», но не трогали «выкрестов»: стоило показать нательный крест или выставить в окне православную икону, и толпа погромщиков шла мимо... Мутная волна антисемитизма охватила и те регионы России, где до погромов дело все-таки не дошло. В либеральной русской среде ходила поговорка, рожденная чьим-то острым писательским пером:

«С антисемитизмом и водка крепче, и хлеб вкуснее».

Тогда же наиболее дальновидные российские политики (например, граф Сергей Витте, глава правительства и автор либерального Манифеста 17 октября 1905 года) с тревогой предупреждали: угнетение и погромы неминуемо бросят евреев в революцию. Ведь антисемитизм, напоминали они, обладает гигантской разрушительной силой![1]

(См. примечания после главы).

Если бы самодержавие, поняв это, перестало нацеливать «народное» негодование на бесправную, полужадушенную еврейскую массу, вся история России в XX веке, возможно, была бы иной.

Однако голосу разумных, высокообразованных патриотов не вняли. В противовес им стали создаваться массовые, откровенно антисемитские, организации типа «Союза русского народа», а затем и выделившегося из него «Союза Михаила Архангела», неприкрыто призывавших к уничтожению русского еврейства, а в лучшем для последнего случае к побуждению его «убраться из Святой Руси». Огромные массы евреев, гонимые инстинктом самосохранения, прислушались к призыву погромщиков. Не искушая судьбу, они хлынули в Америку. Началась вторая волна еврейской эмиграции, не стихавшая до самого начала Первой мировой войны.

Эта волна достигла своего пика под влиянием кошмарного «дела Бейлиса», всколыхнувшего всю Россию и весь мир ничуть не в меньшей степени, чем несколько ранее «дело Дрейфуса». От дрейфусиады его отличало одно весьма существенное обстоятельство. Офицера Генерального штаба, капитана Альфреда Дрейфуса обвиняли в государственной измене, в шпионаже в пользу Германии не как еврея, а как французского гражданина, и, независимо от того, насколько было справедливо или несправедливо само обвинение, независимо от того, какую окраску ему придавали реакционная печать и национал-патриотические круги, в самом обвинении не было ничего «специфически еврейского»: гипотетически изменником мог оказаться кто угодно – как еврей, так и не еврей.

Между тем обвинение никому не ведомого, скромного служащего кирпичной фабрики Менделя Бейлиса имело совсем другой замах. Его обвиняли в совершении РИТУАЛЬНОГО убийства – умерщвлении мальчика-христианина изувером-евреем ради единственной цели: обескровить его еще живым и использовать кровь для приготовления мацы к приближавшейся еврейской пасхе (существует будто бы у евреев такой каннибальский ритуал). То есть в преступлении, которое – опять же гипотетически – никто, кроме еврея, совершить не может.

Киевский подросток Андрей Ющинский был убит воровской шайкой из опасения, что он раскроет случайно ставшие ему известными ее тайны, – об этом узнала вся Россия из блестящих репортажей докопавшихся до истины мужественных русских журналистов. Но все силы властей, полиции, прокуратуры,

церкви и даже науки объединились, чтобы доказать вину подсудимого Бейлиса. Не столько его личную, сколько всего еврейства, которое он на этом процессе олицетворял[2].

Несмотря на беспрецедентный нажим властей и так называемого «общественного мнения», Бейлис в 1913 году был оправдан судом присяжных. Это оправдание очень многими расценивалось и расценивается еще сейчас как торжество законности и справедливости, поскольку присяжные заседатели не поддались ни угрозам, ни давлению, оставшись верными своей совести. Это и так, и не так. Да, Мендель Бейлис был оправдан, но задача устроителей безумного шоу состояла вовсе не в том, чтобы отправить на сибирскую каторгу именно этого тщедушного еврея, волею судьбы оказавшегося пешкой в большой политической игре.

Главная задача состояла в том, чтобы устами присяжных и судей подтвердить ритуальный характер убийства, то есть осудить не Бейлиса, а нацию, которая якобы следует иудейским догматам и поэтому представляет опасность для безвинных жертв. Эта задача была достигнута.

Вот как сформулирован первый вопрос, который суд поставил перед присяжными: «Доказано ли, что <...> 13-летнему мальчику Андрею Юшинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поражением мозговой вены, артерий, левого виска, шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Юшинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поражением легких, печени, правой почки, сердца, в область которого были направлены последние удары, каковы ранения, в своей совокупности числом 47, вызвали мучительные страдания у Юшинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его?»

Если бы перед заседателями суд поставил вопрос, который его только и должен был интересовать, – доказано ли, что смерть Юшинского наступила в результате нанесения ему множественных колющих ран, – и присяжные ответили на него утвердительно, это была бы не более чем констатация несомненного факта, влекущая за собой предусмотренные законом правовые последствия. Но назойливое и целенаправленное подчеркивание прижизненного «полного обескровления тела» – будто бы главной цели убийцы, как и «мучительных страданий» жертвы, которые, согласно обвинительной версии, являются обязательным атрибутом «кровавого еврейского ритуала», – диктовалось отнюдь не юридической задачей. Да и вообще, строго говоря, рассмотрение этих, сугубо медицинских, подробностей относится к компетенции врачей, а не заседателей (тщательно подобранных: четыре крестьянина, два почтовых чиновника, вокзальный кассир, сторож винного склада, трамвайный контролер, извозчик, помощник ревизора и домовладелец; все интеллигенты были умело отведены прокурором). Но, стремясь к достижению определенной цели, судья, нарушив закон, поставил перед заседателями основной вопрос в формулировке, приведенной выше, и получил на него единогласный утвердительный ответ.

Рассказывают, что, покидая судебный зал, один из заседателей так ответил столичному репортеру: «Евреи, конечно, пьют кровь христианских младенцев, но этот еврей не виновен». Несчастливого Бейлиса оправдали, и тысячи незнакомых друг другу людей, торжествуя победу, плакали от счастья и обнимались на улицах. Но то была мнимая победа. Оправдав одного и вместе с тем ответив положительно на первый вопрос, «двенадцать разгневанных мужчин» фактически подтвердили клевету, возведенную на целый народ.

Еще до организации этого процесса Россия потеряла (при ином подходе к проблеме – избавилась) около полутора миллионов евреев, которые, спасаясь от гонений, переселились в США. Двухлетняя (пока длились следствие и суд) антисемитская травля на страницах массовой печати еще больше стимулировала евреев к бегству за океан, где они могли чувствовать себя в безопасности. Переполненные беженцами

корабли один за другим отплывали из Петербурга, Риги, Одессы под злобный вой черносотенных изданий.

Бежали самые бедные, самые неприкаянные, самые ранимые, те, у кого было мало шансов организовать в России свою жизнь и дать детям возможность получить образование, сделать карьеру. Те же, кто, преодолевая всяческие трудности, уже стали обладателями университетских дипломов или по другим основаниям получили легальную возможность обосноваться в столицах (Петербурге и Москве), – те никуда не уезжали, чувствуя себя в относительной (а возможно, и не только относительной) безопасности: ведь в столицах никаких погромов не было и вряд ли могло быть, вопреки всем стараниям черносотенного «Союза русского народа».

К примеру, в 1913 году в Петербурге, согласно официальной статистике, жило около 40 тысяч евреев (то есть «лиц иудейского вероисповедания») и, наверно, не меньше «выкрестов», причем евреи составляли двадцать два процента всех столичных присяжных поверенных, семнадцать процентов всех столичных врачей, пятьдесят два процента всех столичных дантистов[3]. Судьба отплывших за океан неудачников по всем признакам должна была стать гораздо плачевней – именно таковой ее и признавали тогдашние «социологи», хотя этой науки еще и не существовало[4].

Совсем недавно историк науки Абрам Блох решил проверить, сколь точными оказались эти прогнозы, а по сути – на уровне подлинных фактов – хотя бы приблизительно представить упущенные Россией возможности, ее потери в результате выдавливания евреев из российского общества: теперь уже можно подвести итоги ушедшего столетия. Оказалось, что насильственная утечка мозгов привела к потерям ошеломительным. Исследователь приводит множество примеров – выберем только один, более чем наглядный. По официальной статистике на долю России приходится 15 Нобелевских премий (пять из них, кстати сказать, получили евреи: писатели Борис Пастернак и Иосиф Бродский, физики Лев Ландау и Илья Франк, математик Лев Канторович). Но, оказывается, на долю дореволюционных беженцев из России и их потомков этих премий приходится вдвое больше: лауреаты прославили своими выдающимися открытиями не Россию, а давшие им приют иноземные страны.

Самым прославленным из них является Зельман Ваксман, создатель стрептомицина. Уроженец города Прилуки, Полтавской губернии, он не мог получить в России даже среднее образование. Пострадавшая от погромов семья бежала в Америку. Нобелевский лауреат по физике Шелдон Ли Глэшоу (Шая Глуховский) – сын спасавшегося от погромов, учиненных толпой в его родном Бобруйске (Могилевская губерния), Лейбы Глуховского, который в США смог дать блестящее образование трем своим сыновьям. Бежали от русских антисемитов и от политической нестабильности родители будущих нобелевских лауреатов – физиков Артура Шавлова, Ильи Пригожина, химиков Пауля Берга, Герберта Брауна (Броварника), Мелвина Калвина, медиков и биологов Джона Вейна, Бернарда Каца, Стенли Коэна, Эрнста Бориса Чейна (Хаина), Даниэля Натанса и еще многих других «нобелистов»[5].

Была среди жертв русского антисемитизма начала века еще одна категория амбициозных и темпераментных евреев. Это те, кто не хотел спасаться ценой окончательного отказа от родины, прокладывая себе путь в науке, бизнесе или культуре за рубежом, а встал на путь революционной борьбы с режимом в своей стране. Разумеется, борцы с самодержавием рекрутировались в России из самых разных этнических групп, их приход в революцию чаще всего не зависел от чувства национальной ущербности, а был продиктован идейными, порой даже просто авантюристическими, порывами. Но значительный процент еврейских юношей и девушек в кругу бунтующей молодежи нельзя, естественно, не связать с поощряемой верхами дискриминацией по признаку происхождения, что не могло не сказаться на формировании мировоззрения вступающего в жизнь нового поколения.

Любопытна одна закономерность, которую обычно упускают из виду специалисты, изучающие этот период русской истории.

Немалая часть молодежи из русских дворянских, аристократических, богатых семейств порывала со своей средой и уходила в революцию – в поисках осмысленной жизни, преисполненная искренним стремлением восстановить попорченную справедливость. Среди будущих знаменитых коммунистов немало выходцев из русских профессорских, генеральских, даже графских и княжеских семей. Ничего подобного не было в еврейских семьях, сумевших достигнуть высокого социального статуса и преодолевших воздвигнутые перед ними барьеры: ставших профессорами, врачами, инженерами, адвокатами, финансовыми магнатами...

Русские евреи, ушедшие в революцию в начале века, – все недоучки (не по своей, конечно, вине), все озлобленные на несправедливость властей и законов, все уязвленные и ущемленные, сублимировавшие своей революционной активностью то, чего недополучили из-за дискриминационных условий своего существования. Когда потом – и сразу после переворота, и во время гражданской войны, и затем еще многие десятилетия, вплоть до наших дней, – их будут упрекать за «чрезмерность» еврейского присутствия в революционной среде, мало кто возьмет в расчет те глубинные причины, которые привели их в ряды бунтовщиков. Ополчившиеся на еврейство русские антисемиты – самые злобные из всех антисемитов, которых вообще-то хватало и хватает в других странах, – они ведь сами вскормили своей безумной политикой тех, кто «перевернул мир».

Впрочем, «чрезмерность» еврейского участия в перевороте и его последствиях тоже, как мы увидим, относится к категории мифов. Весьма стойких, весьма укоренившихся, и однако же – мифов.

Либеральная русская интеллигенция, возмущенная дискриминацией евреев, пыталась бороться с ней отнюдь не революционным, а демократическим путем. Прежде всего – публичным ее осуждением, памятуя о том, как высок в обществе моральный авторитет широко известных писателей, ученых, артистов, общественных деятелей. «В русской интеллигентской среде, – вспоминал многие годы спустя ведущий литературный критик и поэт русского зарубежья Георгий Адамович, – антисемитизм был недопустим, невозможен. Кто высказал бы антисемитские взгляды, сам себя исключал из интеллигентского круга или бывал им отвергнут. Помимо морального отталкивания, антисемитизм был в представлении интеллигенции недомыслием или следствием недостаточного культурного развития»[6].

Лев Толстой многократно выступал против погромов и антисемитизма, поощрявшегося и даже раздувавшегося в российской печати. Владимир Короленко, которого будущие западные историки назовут «академиком Сахаровым начала века», заклеил погромы – прежде всего в гремевшем на всю страну рассказе «Дом № 13». Максим Горький называл погромы «позором России», он говорил, что они «возбуждают ужас, стыд и негодование». И продолжал: «В позорном и страшном деянии (речь идет о погромах. А. В.) культурное общество повинно не менее активных убийц и насильников», ибо оно «спокойно позволило растлевать себя <...> человеконенавистникам, издавна прославленным презренной славой лакеев силы и апологетов лжи».

Воззвание «К русскому обществу» в связи с позорным делом Бейлиса подписали десятки крупнейших деятелей русской науки и культуры: Горький, Короленко, Александр Блок, Леонид Андреев, Алексей Толстой, Владимир Немирович-Данченко, академик Вернадский и сотни других[7]. «Во имя справедливости, – говорится в воззвании, – во имя разума и человеколюбия мы поднимаем голос против нового взрыва фанатизма и суеверия непросвещенных масс. <...> Как всегда, те же самые люди, которые угнетают свой собственный народ, пробуждают в нем дух религиозной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые попрасть их самыми суровыми мерами, они пробуждают народные предрассудки, раздувают суеверие, упорно призывают к насилию против соотечественников нерусского происхождения.

В этой лжи звучит та же злоба, которая некогда швыряла невежественную языческую толпу против первых последователей христианского учения. После этого всегда бесновались низменные, преступные страсти. Тупая злоба стремилась ослепить и затемнить сознание толпы и воздействовать на правосудие. <...>

Бойтесь сеющих ложь. Не верьте мрачной неправде, которая уже множество раз обогрелась кровью, одних убивала, других обрекала на вечный позор».

М. Горький считал необходимым отдельно высказаться по еврейскому вопросу: «Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки я считаю гнуснейшей из всех». И еще: «Вспоминая о евреях, чувствуешь себя опозоренным. Хотя лично я, за всю жизнь мою, вероятно не сделал ничего плохого людям этой изумительно стойкой расы, а все-таки при встрече с евреем тотчас вспоминаешь о племенном родстве с изуверской сектой антисемитов и о своей ответственности за идиотизм соплеменников». И еще: «Мне глубоко симпатичен великий в своих страданиях еврейский народ; я преклоняюсь перед силой его измученной исканиями тяжких несправедливостей души, измученной, но горячо и смело мечтающей о свободе».

В 1915 году тот же Горький вместе с двумя другими, популярнейшими в то время писателями, Леонидом Андреевым и Федором Сологубом, издал литературный сборник «Щит», посвященный защите гражданских прав еврейского населения России.

В этой важнейшей общественной акции приняли также участие Владимир Короленко, Иван Бунин, Александр Блок, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов, Дмитрий Мережковский и другие русские писатели первого ряда, имена которых были у всех на слуху.

В том же 1915 году, сознавая, что кампании против антисемитизма нельзя дать утихнуть ни на один день, 206 крупнейших русских писателей, политических, общественных деятелей, ученых, режиссеров, артистов, художников опубликовали в самой читаемой газете «Русские ведомости» новое воззвание с требованием отменить все дискриминационные антиеврейские законы – о черте оседлости, о процентной норме и другие.

Отметим кроме уже упоминавшихся имен таких «подписантов», как будущий глава Временного правительства, популярный адвокат Александр Керенский, выдающийся философ европейского масштаба, которого несправедливо обвиняли впоследствии в антисемитизме, Николай Бердяев, городской голова Петербурга, граф Иван Толстой и многие другие, чьи имена вошли в историю России. «У русского еврея, – взывали они, – нет иного отечества, кроме России! Мы требуем прекратить гонения на евреев и полностью уравнивать их в правах с нами!»[8]

Как видим, борьба шла не только с самими ограничениями, но и с порожденной ими утечкой мозгов: истинные русские патриоты-интеллигенты отлично понимали, сколь трагична для России политика вытеснения евреев из страны.

Ведомые Лениным русские большевики с величайшей иронией относились к этим призывам и вообще к любой попытке улучшить чье бы то ни было положение в рамках той политической системы, которая существовала в России. Для тех, кто поддерживал и разделял людоедский, ленинский лозунг – «превратить империалистическую войну в войну гражданскую», – вопрос о снятии дискриминационных ограничений царскими же властями стоять вообще не мог: чем хуже, тем лучше – такова была их главная политическая установка, хотя мало кто сомневался в том, что под давлением демократической общественности уравнивание евреев во всех правах с русскими не за горами.

Это и произошло сразу после падения царизма и установления в России первых институтов демократического общества, в первые же недели Свободы, то есть после Февральской революции, которую большевики презрительно окрестили «буржуазной».

21 марта 1917 года ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ дискриминационные антисемитские законы были отменены новой властью – ведь именно с такими законами весь мир ассоциировал реакционный царский режим. Городским головой Петрограда сразу же стал еврей Генрих Шрейдер, Москвы – еврей Оскар Минор. Несмотря на это, сторонники самодержавия в своем подавляющем большинстве не рассматривали крушение монархии как происки международного (или пусть только российского) еврейства, хотя еврейское участие в политической деятельности РАЗЛИЧНЫХ оттенков и ориентации стало весьма высоким.

Тем не менее во всех трех составах Временного правительства среди министров не было ни одного еврея. Лидер эсеров, заместитель председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Абрам Гоц и член президиума ВЦИК меньшевик Фёдор Дан отклонили предложение войти в состав Временного правительства, опасаясь вспышки антисемитизма, особенно в провинции. Абрам Гоц должен был получить пост министра внутренних дел, но он заявил, что не хочет «пробуждать расовые страсти»[9]. Однако многие евреи стали вице-министрами, занимаясь конкретной, практической деятельностью и чураясь публичной: Соломон Шварц, Давид Далян, Иван Майский (Израиль Ляховецкий) и другие. Немало знаменитых евреев – непоколебимых антикоммунистов – стали сенаторами, среди них едва ли не самые известные тогда юристы – профессор Максим Винавер и адвокат Оскар Грузенберг (его имя и по сей день носит одна из центральных улиц Иерусалима). Однако никто и никогда не считал, что Февральская революция, раскрепостившая российских евреев и открывшая им двери для всех видов деятельности, совершена еврейскими руками или просто в интересах евреев.

Еврейским – нет, ЖИДОВСКИМ: «зловещим», «кошмарным», «дьявольским» – назовут тогдашние и будущие антисемиты государственный переворот, свершенный 25 октября 1917 года, вошедший в историю под именем «октябрьской революции», с последующими добавлениями: «великой» и «социалистической». Не потому кошмарным, что он бесчеловечен по самой своей сути, а потому, что явился якобы результатом «всемирного сионистского заговора», осуществлен евреями и только для установления их господства над миром.

...Версия о том, что большевистская партия, учредившая свою диктатуру в октябре 1917 года, была по сути еврейской партией, не выдерживает никакой критики. В начале того же года из общего числа в 23 600 членов партии евреи составляли не более пяти процентов. В 1922 году, когда впервые производился учет партийцев и по национальному признаку, оказалось, что евреев с дореволюционным партийным стажем осталось 958 человек[10]. Процент эстонцев, поляков и, особенно, латышей был в партии неизмеримо большим. Откуда же тогда возникла стойкая версия о «еврейском перевороте»? Именно еврейском, а не каком-то другом...

«Погоду», как видно, делали те имена, которые стали сразу известными и которые как бы определяли «лицо революции». Естественно, в клокотавших политических событиях Петрограде и Москве собрались тогда сливки еврейской интеллигенции. «Пенку» составляли те, кто в эйфории наступившей свободы вернулись из эмиграции, куда вынуждены были бежать, спасаясь от погромов и от преследований полиции. Из 224 революционеров-«пораженцев» (то есть сторонников Ленина и его лозунга – поражения своей страны в войне), которых немцы пропустили через свою территорию в запломбированных вагонах, 170 были евреями, притом не только будущие деятели коммунистической власти, но и ее противники, как, например, один из лидеров меньшевиков Рафаил Абрамович[11]. Естественно, они сразу же включились в политическую и общественную деятельность и оказались на виду.

Многие десятилетия спустя Вячеслав Молотов – в прошлом ближайший к Сталину сотрудник, а теперь престарелый и отлученный от публичной деятельности – даст свое твание феномену «чрезмерного» присутствия евреев среди пришедших к власти большевиков. Вот что он сообщил своему собеседнику и

конфиденту, фанатичному сталинцу Феликсу Чуеву: «Среди евреев оппозиционных и революционных элементов было больше в массе своей, чем среди русских. Обиженные, пострадавшие, притесненные, они были более изворотливые, они, так сказать, всюду проникали. Жизнь их так вышколила, что они стали очень активными, не в пример русским, которым сначала надо было в голове почесать. Пока обнюхаются, раскочаются, а эти всегда готовы»[12].

На самом же деле в этой «всегдашней готовности» проявлялась отнюдь не еврейская, а именно большевистская сущность. Почему-то в других противостоящих свергнутому режиму политических силах ничего подобного не проявлялось. Среди конституционных демократов, социал-демократов, либералов, эсеров, меньшевиков еврейского происхождения не нашлось тех, кто, отталкивая и сокрушая конкурентов, всеми силами лез во власть, тогда как у большевиков того же происхождения никаких сдерживающих тормозов не было. Еврейские организации России еще до того, как переворот свершился, но когда уже стала очевидной его неотвратимость, предвидели, что развитие революционных событий чревато ростом антисемитских настроений, а вовсе не их ослаблением, как наивно полагали иные прекраснодушные интеллигенты.

Особую подозрительность вызывали русские псевдонимы евреев-большевиков. И опять-таки лишь ничтожный процент революционеров – евреев (не большевиков) действовал под псевдонимом, например Юлий Мартов (Цедербаум), тогда как чуть ли не все ведущие еврей-большевики избрали себе псевдонимы, звучавшие на русский лад. Между прочим, псевдонимами («партийными кличками») пользовались большевики и с иными этническими корнями: Ленин (Ульянов), Молотов (Скрябин), Сталин (Джугашвили), Камо (Тер-Петросян), Киров (Костриков), Артем (Сергеев), Ломов (Оппок) и множество других, скрывавших свои подлинные имена ради конспирации. Но их псевдонимы почему-то никого не волновали – раздражение вызывал лишь выбор русских имен евреями.

Строго говоря, в пользовании псевдонимами не было бы ничего странного, ибо право на выбор имени относится к числу неотъемлемых свобод гражданина в демократическом обществе. Но в реальных российских условиях, при вековой подозрительности населения, во всем видящего какой-то скрытый, потаенный смысл, при многолетней остроте «русско-еврейского вопроса», в накаленной обстановке смертельного политического противостояния, эта, поражающая воображение, нарочитость в сокрытии своих подлинных имен евреями производила крайне негативное впечатление и порождала совершенно невероятные гипотезы о заговоре мирового еврейства.

Здесь необходимо отметить один феномен российской реальности, не усвоив который трудно понять многое из того, о чем пойдет речь дальше. Ментальности россиянина, живущего в многонациональной стране, где несколько десятков этносов имеют к тому же и свою обособленную территорию, но все принадлежат одному государству, издавна свойственно соотносить – совершенно автоматически, не всегда над этим задумываясь, – ту или иную личность с ее национальной идентификацией. Некий условный Иванов, какой бы пост он ни занимал, чем бы ни занимался, пел ли арию в опере, лечил больных, преподавал в школе, истязал арестованных или промышлял карманными кражами, всегда просто Иванов, и никто больше. Но благородный Манукян – «хороший армянин», мошенник Шарашидзе – «плохой грузин», и даже ничем не примечательный, невзрачный, серенький Рабинович – не пустое место, не ноль без палочки, а «просто еврей»!..

Еще того более: среди носителей не очень четко выраженных имен русский слух непременно ищет признаки еврейских корней. Поэтому, когда его сбивают с толку «благозвучием» чисто русских фамилий, он относится к такому маскараду с подозрением и настороженностью. Зачем этот господин (точнее, товарищ) прячет свое первородство? Зачем равняет себя под русского? Не иначе как с какой-то тайной и подлой целью... Такова извечная специфика российской действительности. Она сохранилась (даже еще

обострилась) и по сей день. А тогда, в обстановке социально-политических катаклизмов, она приобретала порой истерический характер: нахлынули на святую Русь еврейские полчища, где каждый прикрывался, как щитом, русской фамилией! Так это все воспринималось значительной частью русского общества, так раздувалось теми, кто пытался извлечь из всего, что происходило, политические дивиденды. Но ленинцев все это мало интересовало. К антисемитизму им было не привыкать, сами они антисемитами не были и быть не могли, к клевете врагов относились в высшей степени равнодушно.

Даже Максим Горький, защищая евреев от антисемитских наскоков, призывал большевиков иудейского происхождения «проявлять больше морального чутья». Большевики не вняли. Сразу после октябрьского переворота к Троцкому явилась делегация петроградской еврейской общины, ведомая главным столичным раввином. Делегация предупредила, что активное участие евреев в различных структурах большевистской власти создает реальную опасность для еврейского народа. Троцкий ответил, что евреи как таковые его совершенно не интересуют, ибо сам он не еврей, а интернационалист[13].

Наступила эпоха митингов – редко какой из них обходился без еврейского присутствия на трибунах. Это было у всех на виду – это же делало и «погоду». Тут Солженицын прав: «многие еврейские ораторы (корректнее и точнее было бы сказать; революционные ораторы еврейского происхождения, ибо никакого еврейства в их ораторстве не было. – А. В.) не сумели увидеть, не замечали, что именно на их частое мельтешение на трибунах и митингах начинали смотреть недоуменно и косо» (т. 1, с. 65)*. (* Здесь и далее цитируется книга А. Солженицына «Двести лет вместе». – Примеч. ред.)

Это высокомерное пренебрежение российскими реалиями горстки – по масштабам страны – ленинских бунтовщиков дорого обойдется – увы, не только мельтешившим горлопанам...

Широко бытует (а ныне повторяется в современных «патриотических» изданиях множество раз) мнение, будто евреи составили большинство в первом советском правительстве и сразу же заявили о себе как о «националистической элите, пришедшей к власти в чуждом им государстве»[14]. Даже Молотов, сам находившийся десятилетия на самом вершине большевистской пирамиды и отлично знавший истину, в беседе с тем же Чуевым повторял антисемитские банальности: «Евреи занимали многие руководящие посты, хотя составляли невысокий процент населения страны... В первом (советском) правительстве большинство составляли евреи»[15].

В одном из ведущих изданий современной «национально-патриотической» прессы – журнале «Наш современник» – и того категоричней: «Общеизвестно, что в составе правительства первых лет и даже двух первых десятилетий советской власти практически не было русских людей, держали одного-двух для блезиру...»[16] В этом пассаже самым примечательным является словечко «общеизвестно». То есть речь идет вроде бы о факте, который вообще не нуждается ни в каком подтверждении, ни в какой проверке.

Устоявшийся в сознании стереотип ни малейшему сомнению не подлежит. Насколько это вяжется с исторической истиной? В первом советском правительстве, созданном сразу же после переворота, из 15 «народных комиссаров» был только один еврей – Лев Троцкий (Бронштейн), возглавивший комиссариат (министерство) по иностранным делам. При этом он не был большевиком – «ветераном»: вступил в партию только летом 1917 года по возвращении из эмиграции. Когда несколько месяцев спустя Троцкий возглавит военный комиссариат и создаст Высший Революционный Военный Совет, он вовсе не «потянет» туда своих соплеменников (дежурный и не подлежащий проверке, ибо он заведомо верен, тезис бывших и нынешних патриотов), а будет руководствоваться (истинный интернационалист!) совсем другими критериями. Среди нескольких десятков членов Совета евреями кроме него были только двое: Эфраим Склиаиский и Аркадий Розенгольц, да еще в течение нескольких недель Сергей Гусев (Яков Драбкин), и то лишь потому, что командовал в это время московским сектором обороны.

Во втором (единственном за всю советскую историю, кратковременном коалиционном)

правительстве появилось еще два еврея (всего наркомов было двадцать четыре): нарком юстиции, левый эсер Штейнберг и нарком земледелия, большевик Шлихтер. Ну, а если уж говорить о правительствах двух первых десятилетий советской власти, то там «для блезиру» было скорее «один-два» еврея (Аркадий Розенгольц, Арон Шейнман, Григорий Каминский, Яков Яковлев-Эпштейн, оставивший действительно черный след на посту наркомзема в страшные годы коллективизации), зато все основные посты занимали русские, да еще один молдаванин (Фрунзе), два грузина (Орджоникидзе и Лежава), латыш Рудзутак, эстонец Янсон. Назову лишь самые известные имена, которых автор «Нашего современника» (талантливый писатель и ревностный книголюб Владимир Солоухин) просто не мог не знать. Руководили правительством за все эти годы: Владимир Ульянов (Ленин), Алексей Рыков и Вячеслав Молотов, наркомы были Виктор Ногин, Александр Шляпников, Леонид Красин, Николай Семашко, Александр Цюрупа, Николай Брюханов, Валерий Межлаук, Иван Межлаук, Георгий Чичерин, Александр Смирнов, Иван Смирнов, Николай Крыленко, Валерьян Куйбышев, Анатолий Луначарский, Александр Винокуров, Климент Ворошилов, Василий Шмидт, Николай Антипов, Андрей Бубнов, Влас Чубарь, Николай Угланов, Григорий Гринько, Андрей Андреев, Тихон Юркин, Семен Лобов и еще многие-многие другие, у которых не только «практически», но даже «теоретически» не было ничего общего с еврейством.

Откуда же эта аберрация памяти? Ведь не мог же появиться дым совсем без огня! «Огонь», разумеется, был.

Евреев оказалось много не в советском правительстве, а в Петроградской Думе (столичном руководящем органе), избранной 20 августа 1917 года, еще за два месяца до переворота, притом от ВСЕХ партий, а не только от большевиков. Большевики, не очень-то, кстати сказать, придавая значение этому органу, направили туда в качестве своих представителей преимущественно евреев (Каменева, Свердлова, Иоффе, Урицкого, Шлихтера и других) – всего 23 человека. При всей призрачности своей власти, при всей очевидной декоративности своего политического веса, именно этот орган был до самого переворота у всех на виду, и по участию в нем евреев-большевиков столичное население получало представление о составе всей партии, которая вскоре этот переворот совершит.

Летом того же 1917 года произошло и одно внутрипартийное событие, о котором население не имело, естественно, никакого представления: очередной (шестой) партийный съезд, на котором был избран новый состав Центрального комитета. Его членами стали 21 человек, в том числе

6 евреев: вернувшиеся из эмиграции: Лев Троцкий, Моисей Урицкий (оба только что вступили в партию), партийный ветеран, один из самых близких к Ленину людей, Григорий (Овсей-Герш) Зиновьев (в разных источниках его называют то по подлинной отцовской фамилии – Радомысльский, то по подлинной материнской – Апфельбаум). Кроме них были избраны в высший партийный ареопаг Лев Каменев (Розенфельд), Яков Свердлов и Григорий Сокольников (Бриллиант). Этот факт имеет отношение к теме нашего разговора лишь в одной ипостаси. Когда на конспиративной квартире 10 октября принималось окончательное решение о вооруженном восстании, девять членов ЦК (русских) по разным причинам отсутствовали, тогда как все члены ЦК – евреи, напротив, в заседании участвовали, притом четверо из них проголосовали за восстание, а двое – Зиновьев и Каменев – против. Эти нюансы, ставшие известными вскоре после переворота, в представлении массы большого значения не имели, осталось в памяти лишь одно: решение о перевороте было принято евреями!..[17]

Сегодня, когда в постсоветской России, благодаря долгожданной свободе слова, антисемитизм стал вполне легальным и «патриотическая» печать всемерно его разжигает, отводя от Сталина все обвинения в совершенных им преступлениях, усиленно насаждается миф о том, что «революцию делал не Сталин, а Троцкий, Зиновьев, Каменев»[18]. Один из ведущих современных «специалистов по еврейскому вопросу» Андрей Дикий, чье сочинение «Евреи в России и в СССР» является настольной книгой «русского патриота»,

дурачит невежественных, как и он сам, читателей, сообщая, что в 1918 году в ЦК было 12 членов, из них 9 евреев. Но поименованные им как члены ЦК Ю. Ларин (Лурье), Крыленко, Луначарский, Володарский (который к тому же не Коган, как пишет Дикий, а Гольдштейн), Смидович (который к тому же не еврей, вопреки утверждению Дикого, а русский) и Стеклов (Нахамкес) членами ЦК не были вообще, Урицкий же был кандидатом, но очень короткое время и годом раньше. Это лишь один из примеров безнаказанного вранья данного автора и его друзей[19].

Масса воспринимает лишь то, что ей хочется воспринять, то, к чему она уже психологически подготовлена. Зато манипулирующие ее сознанием производят сознательный отбор фактов и навязывают ей те выводы, которые нужны манипуляторам. Как иначе объяснить, например, такое? Огромное число всероссийски известных политических и общественных деятелей еврейского происхождения отвергли большевистский переворот, выступили его решительными противниками, но эта позиция и эти действия никак не сопрягаются ни в антисемитской литературе, ни в массовом сознании с их еврейством, а квалифицируются лишь как установка тех партий и движений, к которым они принадлежали. Утверждение: «евреи сделали революцию» куда менее очевидно, чем утверждение: «евреи революцию отвергли». Однако мифология сознания сохранила первое и не приняла второе.

Между тем четырнадцать из пятнадцати выступавших в Таврическом дворце 25 октября 1917 года на провозгласившем советскую власть Втором съезде Советов с ПРОТЕСТАМИ против переворота от имени своих партий были евреями: Федор Дан, Марк Либер, Юлий Мартов, Абрам Гоц, Борис Камков (Кац) и другие. Пятнадцатый, русский – Николай Суханов (он погибнет от рук сталинских палачей в 1940 году) – был страстным борцом против еврейской дискриминации и столь же страстным противником большевизма.

Во время гражданской войны тысячи евреев участвовали в Белом Движении и в политическом Сопротивлении. Конституционный демократ Соломон Крым, бывший депутат Государственной Думы и член Государственного Совета, возглавлял Крымское правительство при Врангеле. В Самарское правительство входил Майский, в Северо-Западное, при генерале Юдениче, – Мануил Маргулис. Членом Уфимской Директории был Марк Слоним. Тысячи евреев – политиков, профессоров, юристов, литераторов, журналистов, – оказавшись в эмиграции, где они спасались от жестокостей советского режима, словом и делом боролись с большевизмом, беспощадно обнажая его истинное лицо, кто бы и за каким бы псевдонимом ни прятал свою сущность. Но ничего этого историческая память не сохранила. В сдвинутом сознании осталось лишь то, что десятилетиями навязывали миру антисемиты.

Реальность состояла не в том, что евреи осуществили государственный переворот, а в том, что иные из них сразу же оказались на наиболее видных публичных постах, притом таких, которые были предназначены и для наиболее чувствительных ударов по населению. Именно эти персоны неизбежно оказывались в фокусе общественного внимания. Моисей Урицкий возглавил петроградскую ЧК, занимавшуюся жесточайшим террором против «несогласных», то есть, попросту говоря, против мирного населения. Моисей Володарский (Гольдштейн) стал петроградским комиссаром по делам печати, который закрыл все оппозиционные газеты и жестоко карал за любую попытку обойти запреты. Первым большевистским комендантом захваченного Зимнего дворца стал Григорий Чудновский, московского Кремля – Емельян Ярославский (Миней Губельман). Главный телеграф и госбанк захватил Михаил Лашевич. Главой Петроградского совета стал Зиновьев, главой Московского – Каменев. Комиссарами, наводившими «порядок» в столице и ее окрестностях, стали: Моисей Зеликман, Семен Рошаль, Вера Слуцкая, Семен Нахимсон, Самуил Цвилинг. Большинство из них, кстати сказать, погибло в первые же месяцы после переворота.

Это была, в сущности, небольшая кучка людей, всего несколько десятков, – вовсе не они творили все

то зло, которое обрушилось на страну в глубокой провинции – на всем неизмеримом российском пространстве, не они натравливали обезумевшую толпу на убийства, поджоги и грабежи. Но «музыку делали» те, кто был на авансцене, те, кто действовал в обеих столицах и еще в трех-четырех крупных городах. Они служили «визитной карточкой» большевистского переворота и последовавшего за ним террора, и их, по извечной российской традиции, воспринимали не просто как насильников и террористов, каковыми они действительно были, а прежде всего как евреев!

На другом фланге самую видную роль в борьбе с большевизмом тоже играли евреи: неутомимый журналист Семен Анский (Раппопорт), один из последних защитников Зимнего дворца Пинхус Рутенберг, глава Петроградской городской Думы Григорий Шрейдер, председатель Комитета защиты родины и революции Абрам Гоц, широко известные политические лидеры Юлий Мартов, Абрам Эрлих и еще множество людей того же происхождения. Но никто не обращал внимания на то, как евреи сражались против большевиков, зато все заметили, сколько евреев среди самих большевиков.

Антисемитские мифы и мании так прочно вошли в сознание, что уже в эмиграции, обвиняя – нет, не большевиков, а их противников! – в том, что те не уберегли Россию от большевизма, иные изгнанники упорно распространяли версию, будто глава Временного правительства Александр Керенский – сын «народоволки» Геси Гельфман, что истинная фамилия одного из лидеров эсеров Виктора Чернова – Либерман, что даже виднейший монархист, председатель царской Государственной Думы, затем министр Временного правительства Александр Гучков – еврей по фамилии Вахье... Предполагалось, что эти сенсационные «разоблачения» должны вызвать к ним особую антипатию и объяснить их провальные политические шаги изощренными происками все того же мирового еврейства.

Десятилетия спустя по той же модели советская власть (а после ее свержения – те, кто остался ей верен) запустит в массы фальшивку, будто настоящая фамилия академика Сахарова (сына православного священника) – Цукерман, Александра Солженицына – Солженицер, а Ельцина – Эльцын. Дальнейших объяснений уже не требовалось: из этих «открытий» население само должно было понять, откуда «растут ноги»...

Поразительно, что та же лживая модель сохранилась до наших дней – лишь потому, что по-прежнему есть внимающий ей потребитель (спрос, как известно, рождает предложение). Современный «историк», перечисляя «большевистских злодеев» еврейского происхождения, относит к ним Ивана Теодоровича, Владимира Адоратского, Михаила Владимирского, Николая Крестинского, Дмитрия Мануильского, Михаила Ольминского, Георгия Ломова[20]. Ни один из них не имеет к еврейству ни малейшего отношения, а некоторые к тому же вообще являлись большевистскими деятелями второго и третьего ряда.

Важна не достоверность фактов – важна тенденция: любым путем «подтвердить» вину евреев, и только их, в преступлениях большевизма. Эта маниакальная идея была воспринята еще в первые месяцы существования большевистского режима не только антисемитами, но и самими евреями – самой совестью и чистой частью русской интеллигенции еврейского происхождения. Потрясенный казнями безвинных людей и тотальным террором, который вершила петроградская ЧК, талантливый молодой поэт Леонид Канегиссер – офицер и член столичной еврейской общины – 30 августа 1918 года застрелил главаря «чрезвычайки» Моисея Урицкого, чтобы, как он заявил сразу же после ареста, искупить вину своей нации за содеянное евреями-большевиками: «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей. Он – отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев»[21].

Его отчаянный поступок, как мы теперь можем судить с высоты исторического опыта, не возымел результатов. Клеймо душегубов осталось не за палачами какого угодно происхождения, как это должно было бы быть, а лишь за теми, кто принадлежал к определенной этнической общности. Даже, если точнее,

не за конкретными палачами, а за самой этнической общностью в целом.

Неслыханный антисемитский взлет, которым сопровождалось крушение коммунизма в России, сопровождался и возвратом к прежним мифам в их первоизданной аутентичности, что современные погромщики успешно эксплуатируют вот уже более десятилетия. Сюжет закольцевался, и нет пока никаких гарантий, что этот порочный круг будет разорван.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Горизонт. 1991. № 10. С. 43.

2. Подробному исследованию этого дела посвящена изданная в Москве в 1934 году книга Александра Тагера «Царская Россия и дело Бейлиса». Ее автор был расстрелян пять лет спустя – 14 апреля 1939 года; (реабилитирован 4 апреля 1956-го), а сама книга изъята из продажи и библиотек, оставшись запретной до 1990 года. Все приводимые мною детали, касающиеся «бейлисиады», можно найти в этой книге и в трехтомном стенографическом отчете «Дело Бейлиса», изданном в 1913 году.

3. Юхиева Ю. Этнический состав и этносоциальная культура населения Петербурга. Л., 1984. С. 211

4. Там же.

5. Общая газета. 2000. № 27. С. 14.

6. Новый журнал. 1969. № 96. С. 202.

7. Русское богатство. 1915. № 2.

8. Русские ведомости. 1915. 26 марта. С. 3.

9. Чернов Виктор. Перед бурей. Нью-Йорк, 1953. С. 315.

10. Бейзер Михаэль. Евреи Ленинграда. Иерусалим, 1999. С. 49.

11. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), бывший ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской революции). Ф. 272. Оп. 17. Д. 14. Л. 112.

12. Чув Феликс. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 272-273.

13. Nedava J. Trotsky and the Jews. Philadelphia, 1972. P. 117.

14. См., например, газету «Завтра» (1998. № 11. С. 3).

15. Чув Ф. С. 198 и 272.

16. Наш современник. 1997. № 9. С. 30.

17. Бейзер Михаэль. С. 50-51.

18. Бондаренко Владимир. Прыжок с корабля современности // Завтра. 2000. № 25.

19. Дикий Андрей. Евреи в России и в СССР. М., 1994, с. 461.

20. Арутюнов Аким. Досье Ленина без ретуши. М., 1999. С. 538.

21. Русская мысль. 1988. 11 ноября. С. 8.

Постскрипtum

Постскрипtum

В этой главе, как и положено, изложено с максимальной краткостью мое видение той ситуации, без чего нельзя понять то, что случилось потом. И что, собственно, и является прямой, непосредственной темой задуманной книги. Поэтому в ткань самой главы вообще не включена полемика с Солженицыным, выпустившим первый том своего сочинения «Двести лет вместе», который хронологически совпадает с тем отрезком времени, что отражен именно в этой главе. Однако полное расхождение между тем, что пишет Солженицын, и тем, что пишет автор этих строк, требует объяснений.

Строго говоря, в объяснении не было бы нужды, если бы автором сочинения «Двести лет вместе» был бы кто-то другой: мало ли выходит книг, где позиции авторов диаметрально противоположны и где одним и тем же фактам дается различная оценка? Но когда и сами факты, то есть реально имевшие место исторические события, столь разительно не совпадают друг с другом, это не может не озадачить. Тем более если оппонентом выступает человек с таким громким именем, обладающим большой притягательной силой, несомненный и всемирно признанный моральный авторитет, который априорно не может быть неправ в изложении исторических событий. «Презумпция шедевра», как точно обозначил ситуацию один из самых убедительных критиков «шедевра» (Резник Семен. Вместе или врозь? // Вестник. Балтимор. 2002. № 8), туманит читательский взор...

Нет ни малейшего сомнения в том, что, если бы эту (такую!) книгу написал кто-то другой, она не привлекла бы к себе ровным счетом ничье внимание, – настолько она вторична, компилятивна, тенденциозна и (назовем вещи своими именами) противоречит реальности: выдавать донесения полицейских агентов и полицейские протоколы за свидетельства, достоверно отражающие действительность, за информацию о подлинных фактах – такого мне в исторической литературе, даже и просто в выдающей себя за историческую, встречать еще не приходилось.

Справедливости ради надо сказать, что априорность правоты автора книги «Двести лет вместе» если все еще и существует в читательском представлении, то только на Западе. «Опыт семилетнего (теперь уже девятилетнего. – А. В.) пребывания литературного патриарха на родине вполне доказал, что его писания в любом случае не оказывают на умы ровным счетом никакого воздействия» (Иванов Сергей А. Проколы сиамских близнецов // «Неприкосновенный запас» на ПОЛИТ.РУ. 2001.14 ноября).

Впрочем, и Запад с удивлением и огорчением пересматривает имидж непогрешимого классика, к чему сам же классик его и понудил.

«Солженицын написал свою книгу, чтобы продемонстрировать безусловное зло еврейского народа на фоне терпимой и даже благожелательной политики царского правительства и доброго отношения к евреям русского народа» (Вашингтон Таймс. 1901. 23 сентября). Заголовки других статей, опубликованных американской прессой: «В круге первом антисемитизма», «Еврейская энциклопедия – орган антисемитской мысли?!» и им подобные говорят сами за себя.

Французская пресса была столь же единодушна и столь же категорична в оценках. Опубликованные в ней статьи касались в основном вопроса, антисемит ли Солженицын (с особой четкостью этот вопрос поставлен в рецензии известного французского писателя Доминика Фернандеса, журнал «Нувель Обсерватор») или это не более чем выдумка его недругов. Меня, по правде сказать, чувства Солженицына

и его личное отношение к евреям как к этносу абсолютно не интересуют: он может любить или не любить кого угодно, это его, и только его, дело. Но если в угоду своим чувствам он извращает истину, давным-давно установленную усилиями не одного, не двух, а тысяч ученых, писателей, журналистов, очевидцев, – тогда это уже не только представляет общественный интерес, но и является общественно опасным. И поскольку его утверждения, будто бы непререкаемые, изложенные в свойственной Солженицыну манере верховного судьи, – поскольку они расходятся с тем, что сказано в первой главе этой книги, я не могу не присоединиться к тем, кого книга «Двести лет вместе» шокировала и поразила.

Не могу с удивлением не отметить многократно повторяемые им заверения, что в числе близких ему людей много евреев. Такие заверения – самый ходкий «аргумент» тех, кто заражен подобным грехом. Помню, как Анатолий Софронов, чьи чувства к «безродным» общеизвестны, уверял меня, что его лучшим другом был любимый им Зига – композитор Сигизмунд Кац. У меня нет никаких оснований считать Солженицына тривиальным антисемитом, как полагают многие. И однако же использовать затасканный «аргумент» юдофобов для отвержения несправедливых обвинений не кажется мне подходящим для писателя и мыслителя такой величины.

Отклики российской прессы нашему читателю хорошо известны. Интерес представляют не эмоциональные оценки апологетов или ниспровергателей маститого автора, а суждения специалистов. Ими, а не дилетантами, отмечены десятки солженицынских фальсификаций.

«Солженицын думает, что создал научное исследование. Он, конечно, ошибается. Ученый не стал бы цитировать одних авторов по отрывкам из других, не ссылался бы на энциклопедии как на главный источник полученной им исторической информации, не врывался бы на страницы цитируемых документов с собственными страстными замечаниями». Таково суждение профессора Московского университета, ведущего исследователя Института славяноведения Российской Академии Наук – Сергея Иванова.

А вот отзыв доктора исторических наук Валентины Твардовской, дочери главного редактора журнала «Новый мир» – Александра Твардовского, который открыл миру писателя Солженицына. Отмечая массу исторических ошибок, передержек, умолчаний, всю антиисторическую тенденциозность, содержащуюся в первом томе книги «Двести лет вместе», она приходит к такому выводу: «Все это, как и многое другое, что не вместились в газетную заметку, не позволяет признать (эту книгу. – А. В.) научным или художественным исследованием» (Общая газета. 2002. № 14).

Оба эти высказывания всамделишных ученых, видных специалистов-историков – прямой ответ на поспешное утверждение, содержавшееся в вопросе Виктора Лошака: «...за многие десятилетия писательского труда это ваша первая научная, историческая работа» – и на благосклонный ответ писателя: «Меня, собственно говоря, и в «Красном колесе» на научность потянуло...» (Московские новости. 2001. № 25. С. 8).

«Какую же надо иметь сговорчивую совесть, чтобы связать первую волну эмиграции евреев из России (одна из самых поразительных солженицынских фальсификаций! – А. В.) не с погромами и беспросветной «чертой оседлости», а с реформами винно-водочной торговли, ущемившей интересы еврейских шинкарей», – пишет историк Григорий Зеленин в статье «Лесков против Солженицына» (опубликована сначала в газете «Новое русское слово» – 2001. 7 декабря, затем в «Общей газете» – 2002. № 6). Ссылка на совесть, особенно в данном случае, вполне уместна: ведь автор «Левши», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда» был еще и автором «Жидовской кувырколлегии», но в начале восьмидесятых годов позапрошлого века, после кровавых еврейских погромов на юге, ужаснулся своей причастности к бесчеловечным и лживым суждениям, приведшим к такому финалу, пересмотрел свои взгляды, повернулся на сто восемьдесят градусов и создал большой очерк «Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу» – очерк, где он предстал живым свидетелем трагедии и ее

объективным аналитиком. Но, естественно, тот классик этому классику не указ. Правда, и в «водочном» сюжете Солженицын вовсе не первооткрыватель. Про то, что евреи спаивают русский народ, были написаны тысячи и тысячи строк, эта свежая идея была в художественной форме проиллюстрирована Василием Беловым в романе «Все впереди»: если кто помнит, герой романа, еврей Бриш, занимался столь паскудным делом, повинуюсь приказам своего хозяина по имени Дьявол.

Задача, которую поставил перед собой Солженицын, весьма проста, и он ее не скрывает: доказать, что евреям в России при царях жилось не так уж плохо и что если и случались нежелательные для них эксцессы (погромы он все-таки в принципе не одобряет), то лишь по их же вине. Воистину поразительно: его взгляды и категорические утверждения по этому вопросу находятся в полном противоречии с тем, что О ТОМ ЖЕ писали Александр Герцен («Былое и думы»), Лев Толстой («Не могу молчать»), Салтыков-Щедрин («Июльское веяние»), Лесков, Чехов, Горький, Леонид Андреев, не говоря уже о страстном, неистовом, непримиримом к любому мракобесию, к погромному антисемитизму в особенности, – Владимире Короленко («Бытовое явление» и «Дом № 13»)!..

Современники и наблюдатели тех событий, писатели, которые были и остаются совестью России, все до одного неправы, и только Солженицыну дано теперь, посрабив ни в чем не разобравшихся классиков, познать и поведать полную истину!..

Оказывается, и черта оседлости – бедствие для целого народа и позор для страны – не так уж страшна: ведь евреи, по Солженицыну, непроизводительный народ (с. 52, 59), они не хотели заниматься сельскохозяйственным трудом, а только ростовщичеством и спаиванием русских. И процентная норма для приема в гимназии и университеты тоже благо – таким путем русская молодежь защищалась от нашествия рвавшихся к образованию «энергичных и ловких евреев» (дословная цитата: «Процентная норма, несомненно, была обоснована ограждением интересов и русских, и национальных меньшинств» – с. 273). Он даже готов подтвердить свою мысль ссылкой на ненавистную ему современную Америку, где в рамках affirmative action тоже устанавливаются квоты для национальных меньшинств. Но забывает уточнить лишь одну небольшую деталь: император Александр Третий установил, что евреев в университетах должно быть НЕ БОЛЕЕ трех процентов от общего числа обучающихся студентов, а в США нацменьшинств должно быть НЕ МЕНЕЕ трех процентов.

Забавен еще один солженицынский аргумент: процентная норма для получения образования в царской России частенько нарушалась: реально обучалось в гимназиях и университетах несколько больше евреев, чем это допускалось формально (с. 272-278). Так оно, вероятно, и было. Истинные русские интеллигенты шли навстречу талантливой еврейской молодежи, обходили запреты и ограничения, помогали получить образование тем, кто к нему стремился. Значит ли это, что законодательные ограничения, которые приходилось обходить, не являлись дискриминацией? Много позже в разных странах Европы французы и итальянцы, чехи и сербы, датчане и голландцы, русские и украинцы укрывали евреев, спасая их от депортации и казней. Даже в Берлине (почти невозможно поверить!) к концу войны все еще оставалось полторы тысячи евреев (с одной из спасшихся, знаменитой некогда поэтессой, ученицей Гумилева, Верой Лурье я имел честь встречаться все в том же Берлине в 1996 году) – они выжили не чудом, а чаще всего благодаря помощи немцев. Значит ли это, что гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса» не было таким уж страшным? С подобным суждением, помимо патриотов из газеты «Завтра» и журнала «Наш современник», согласятся сегодня разве что Жан-Мари Ле Пен или пресловутый аббат Пьер...

Вообще вся система аргументации Солженицына, независимо от лукавых оговорок насчет его сочувствия страданиям евреев, полностью воспроизводит аргументацию погромной и мракобесной русской прессы конца XIX и начала XX века: еврейские погромы не реальность, а сильно раздутый самими

же евреями «русофобский слух»; бежали евреи (сотни тысяч!) в Америку из царской России не потому, что спасали свои жизни, а потому, что их лишили барышей от продажи водки бедным русским; евреи не имеют никакой личной индивидуальности – все они (типичный образец расистского мышления!) некое единое целое: «еврейская энергия», «евреи умеют приспособливаться», «еврейская страстность», «еврейская выживаемость», «неутомимая динамика евреев», «еврейский практицизм», «прирожденная мобильность еврейского характера» – таковы лишь некоторые, притом дословные, характеристики, которыми Солженицын наделяет в целом еврейскую общность.

В этом смысле, должно отметить, он – стопроцентный марксист, несгибаемый ученик бородатого Маркса. Ведь тот в своей беспримерной статье «К еврейскому вопросу» тоже представил евреев, где бы они ни жили, всех на одно лицо. «Какой мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги». Переведенная впервые на русский язык евреем Зиновьевым и восторженно встреченная автором предисловия к русскому изданию, юдофилом Луначарским (эталон интеллигентности в большевистской среде), эта статья трактовала «жидовство» как воплощение «духа эгоизма, наживы, сухой биржевой деловитости». Солженицын, надо признать, при всех своих инвективах все же более благосклонен к зловерному этносу, чем один из самых знаменитых евреев – обожаемый и почитаемый коммунистами всего мира Карл Маркс.

Мракобесный «Союз русского народа», по утверждению Солженицына, возник «от инстинкта народной обиды» (с. 405). Обида же возникла оттого, что «сплоченная еврейская масса проявляла непримиримую ненависть ко всему русскому». Ладно, мракобесы начала прошлого века могли пропагандировать вздор насчет сплоченности «еврейской массы» (хотя – что плохого и необъяснимого было бы в сплоченности гонимых ради выживания и самосохранения?), раздиравшейся уже и тогда политическими и социально-экономическими противоречиями и меньше всего напоминавшей некий единый монолит. Но лишь в воспаленных мозгах клеветников могла возникнуть мысль о «непримиримой ненависти» этой мифической массы «ко всему русскому».

Где, в каких сочинениях или действиях, не выдуманных, а подлинных, таковая хоть раз проявилась? Прочитайте же хоть несколько строк о «непримиримой ненависти ко всему русскому»... Пуришкевичи и Марковы могли, конечно, кричать все что угодно (они так и поступали), но не стоило ли историку Солженицыну отвергнуть эту ложь, а не цитировать ее без всяких комментариев – просто как «мнение», наряду с любыми другими?

Такая «объективность» похлеще любой субъективности.

«Есть и еще клеймо, прикипевшее крепко, – пишет Солженицын, – «черная сотня», неотразимое именно в неопределенности своего смысла» (с. 406). А что же в том «клейме» неопределенного? Это условное, обобщенное, принятое историками наименование различных организаций вполне определенного направления («Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Союз русских людей» и других), выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма. Организаций, которые устраивали еврейские погромы, притом отнюдь не только в Одессе, и в Ярославле, Иваново-Вознесенске и иных городах собственно Великодержавии, убийства еврейских политических деятелей, имели своих идеологов (А. Дубровин, В. Пуришкевич, Н. Марков и др.).

Реанимация «добраго имени» черносотенцев полным ходом идет уже не один год в «патриотической» прессе. Словом «клеймо», имеющим вполне четкую окраску, Солженицын оказал процессу реанимации черносотенства мощную поддержку.

Даже в оценке дела Бейлиса, вот уже почти сто лет остающегося синонимом политики государственного антисемитизма в царской России, Солженицын остается верен себе. Он не сомневается в невинности самого Бейлиса, но при этом считает нужным добавить: «Новых розысков преступников и не

начиналось, и странное, трагическое убийство мальчика осталось неразысканным и необъясненным» (с. 450). Прочитал бы хоть книгу выдающегося русского юриста Александра Тагера (уничтожен во время Большого Террора) «Царская Россия и дело Бейлиса» – ссылки на нее у нашего классика нет, – неужели даже не слышал о ее существовании?

Впрочем, есть у Солженицына поразительная способность не замечать тех авторов и те произведения, которые по каким-то причинам ему неуютны, как и суждения, против которых ему нечего возразить, и узнал бы, что убийство давным-давно и «разыскано», и «объяснено». Блистательные русские журналисты – Бразуль-Брушковский, Красовский и другие в 1911-1913 годах докопались до мельчайших деталей случившегося и рассказали еще тогда – не только в прессе, но и в суде – всю правду об этом преступлении. В двадцатые годы были опубликованы десятки архивных документов, которые подтверждали их выводы. Свидетельства непосредственно причастных к этой афере лиц были заслушаны во время прошедшего в 1925 году процесса царского прокурора Виппера, который был обвинителем по делу Бейлиса. При всей моей «любви» к большевикам никак не могу понять, почему гласный, открытый, с участием защиты, почти уникальный для советской юстиции по демократизму, суд над прокурором – фальсификатором и живодером Виппером (не расстрелянным к тому же!..) позволительно, как это делает Солженицын, именовать расправой (т. 2, с. 32). Так что абсолютно ничего странного в убийстве Ющинского нет: «странным» его сделали мракобесы и погромщики, с чьего голоса, увы, поет автор великих творений «Архипелаг Гулаг», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Раковый корпус»...

Выход книги, посвященной тем же проблемам, да еще и подписанной таким именем, приводит обычно к тому, что приходится что-то пересматривать в своей работе, написанной ранее и подготовленной для нового издания, что-то уточнить и добавить. Книга Солженицына не побудила меня изменить в этой главе ни единой строки. Что до постскриптума, он был обязателен: никто не имеет права обойти молчанием работу на ту же тему, чьим бы пером она ни была создана и в какую бы сторону ни склонялась.

ОКАЯННЫЕ ГОДЫ

ОКАЯННЫЕ ГОДЫ

В списке членов первого советского правительства, наспех сколоченного вставшими в эйфорию победителями в ночь на 26 октября 1917 года – после захвата фактически никем не охраняемого Зимнего дворца и провозглашения советской власти, – последним значится «нарком по делам национальностей» Иосиф Джугашвили (Сталин). Имя этого наркома населению страны было тогда вообще не известно, узкий же круг большевиков-ленинцев знал его как самого удачливого из ссыльных революционеров: в отличие от других товарищей по несчастью, ему удавалось загадочным образом то ли пять, то ли шесть раз беспрепятственно из сибирской ссылки бежать. Они знали его также как энергичного и ловкого товарища, который успел, возвратившись из ссылки благодаря «буржуазной» Февральской революции, прибрать к рукам главный печатный орган партии – газету «Правда», где, оттеснив всех других сотрудников, Сталин чувствовал себя полным хозяином положения.

Назначение мало кому известного человека на этот пост все же не вызвало удивления. Для партии, находящейся в глубоком подполье, широкая известность ее активистов – практически вообще невозможна. К тому же на таком, никогда не существовавшем при прежнем режиме, посту и в самом деле естественней и демократичней видеть не представителя господствующей («угнетающей») нации, а того, кто сам принадлежит к национальным меньшинствам. И, наконец, в скромном литературном багаже нового наркома все же была одна работа, позволявшая ему считаться специалистом именно по национальным проблемам. Речь, разумеется, идет о большой по объему (40 страниц) статье «Марксизм и национальный вопрос», опубликованной в 1913 году в легальном и довольно популярном среди оппозиционно настроенной левой интеллигенции большевистском журнале «Просвещение». Трудно объяснимый парадокс проклятого царского самодержавия: сама партия запрещена и находится в подполье, а ее журнал – со статьями тех же большевиков – свободно печатается и распространяется!

Хотя подписана статья была партийным псевдонимом – К. Сталин, в узких кругах самой партии подлинное имя автора (его больше знали под партийной кличкой «Коба») стало известным. Подпись «нацмена» под статьей на эту тему была – в целях пропагандистских – несомненно предпочтительней, чем подпись великоросса. Очень хорошо разбиравшийся в таких деликатных вопросах, Ленин сразу понял, кто должен озвучить в широко читаемой прессе его мысли по национальному вопросу: Сталин, которого он знал только как Джугашвили и чью фамилию никак не мог запомнить (назвал его в письме Горькому не по имени, не по фамилии, а лишь по национальной принадлежности: «чудесный грузин»), понравился ему своей амбициозностью и готовностью выполнить любое поручение того, в ком чудесный грузин увидел реального и властного руководителя партии. Сталин как раз был в очередных бегах – между прежней и новой ссылкой, – добрался до Кракова, где Ленин тогда пребывал на правах эмигранта, и жаждал конкретного дела, тем более если оно сулило ему, пусть и весьма призрачную, известность, как и мизерные, но все-таки деньги. Последнее он и сам не скрывал, – упрекнуть его, бедного и гонимого, в желании заработать – нет никаких оснований.

Сталин отлично понимал, что самостоятельно написать статью на столь сложную, требующую критического анализа зарубежных публикаций, тему, к тому же статью не просветительскую, а концептуальную, теоретическую, – такой возможности у него нет, но Ленин развеял сомнения, пообещав полновесную помощь со стороны двух очень компетентных специалистов: большевика Николая Бухарина и

меньшевика Александра Трояновского (тогда еще Ленин позволял себе сотрудничать с некоторыми из политических противников). Они обеспечили «автору» переводы многочисленных зарубежных трудов на эту тему (Сталин не знал ни одного иностранного языка) и ежедневно, пока он в течение двух месяцев, в Кракове и Вене, сочинял статью, консультировали его, помогая разобраться и в сложности проблемы, и в специфичности ленинского взгляда на нее.

Специфика же заключалась вот в чем. Как это ни дико звучит, по мнению Ленина, национальный вопрос заключается в том, что нет вообще такого вопроса!.. Ибо в любом своем варианте признание национального вопроса существующим означает, что признается в качестве социальной общности и некая единая масса, скрепленная по признаку этнической принадлежности, тогда как в пределах одного государства люди, согласно ленинской догме, делятся не на русских, грузин, татар или евреев, а на представителей различных классов: рабочих, крестьян, чиновников, капиталистов, бездельников-царедворцев...

Любая борьба за национальные интересы, по Ленину, – даже борьба с дискриминацией по национальному признаку – означает признание, хотя бы в этом, общности рабочего и капиталиста, тогда как такой общности нет и быть не может. Поэтому большевики, конечно осуждая сквозь зубы и черту оседлости, и процентную норму, вообще не участвовали ни в каких акциях, стремившихся уравнять права евреев с правами других подданных империи, считая, что у «трудящихся» при капитализме вообще нет никаких прав, так что уравнивать кого бы то ни было в бесправии вообще не имеет смысла. Но главное – это отвлекает трудящихся евреев от классовой борьбы и порождает у них иллюзию, будто у еврея-рабочего и еврея-капиталиста могут быть в принципе какие-то общие интересы и общие заботы.

Поскольку же фактически миллионы российских евреев (главным образом как раз «трудящихся») страдали именно из-за притеснения по национальному признаку и от этой печальной реальности заслониться теоретической догмой было никак невозможно, Ленин объявил себя ревностным сторонником ассимиляции, то есть «растворения» евреев в русском народе, благодаря чему «еврейский вопрос» отпадет сам собой и останется лишь единственно близкий марксистскому теоретику вопрос классовый. «Против ассимиляторства, – утверждал Ленин, – могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории»[1].

Такова была общая установка, которую Сталину предстояло развить, обосновать и популярно объяснить читающей российской публике. Вряд ли Ленин знал, что у его молодого адепта несколько иные взгляды (точнее, чувства, ибо взглядов, то есть осознанной четкой концепции, у Сталина, по крайней мере тогда, еще не было на этот пресловутый вопрос. И вряд ли он предполагал, какие именно СВОИ мысли Сталин вложит в ЕГО мысли, осуществляя по сути в точности задание, которое получил. Непохоже также, чтобы Ленин усмотрел в изготовленной Сталиным работе легко читаемые и между строк, да и в самих строках, откровенно антисемитские нотки. Сам Ленин, естественно, антисемитом не был[2] и существование подобных чувств у товарищей по партии вообще не допускал.

Ленин понимал, что для осуществления его плана еврейской ассимиляции, даже если он и не утопичен, понадобятся годы и годы, а Сталин сразу же отказывал евреям в праве считаться не только народом, но и нацией. Значительная часть статьи, заявленной как исследование национальной проблемы в целом, посвящена пресловутому «еврейскому вопросу», причем лишь для того, чтобы «доказать», будто евреи не нация, а «нечто мистическое, неуловимое и загробное», что это «бумажная нация», то есть существующая не в действительности, а лишь «на бумаге» – в чиновничьих документах[3]. Ну, какая же это нация, восклицает Сталин, если те, «кто считает себя евреями, живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно, ни в мирное, ни военное время?!». Поставленные рядом вопросительный и восклицательный знаки говорят сами за себя, определяя накал

авторских чувств.

С чего бы это ему так важно доказать, притом непременно теоретически, что евреи вовсе не нация, а некая «ассимилированная группа лиц», сохранивших разве что «некоторую общность национального характера»? В систему «аргументации» вводится еще и такой довод: «У евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как «национальный» рынок. Из 5-6 миллионов русских евреев только 3-4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. (...) Евреи обслуживают главным образом «чужие» нации (...) как промышленники и торговцы, (...) естественно приспособиваясь к «чужим» нациям...» Из всего этого марксистского теоретизирования, которое сначала предстает как некая абстрактная «игра ума», вдруг вытекает почти незаметный и, однако же, очевидный вывод, четко сформулированный самим автором: «Нация имеет право свободно определять свою судьбу. Она имеет право устроиться так, как ей угодно». Но это несомненное и священное право никак не относится к евреям: ведь автор только что «доказал», что ни в рамках одной какой-либо страны (России), ни тем более вне ее рамок («разные части земного шара») такой нации не существует. И, стало быть, «свободно определять свою судьбу» попросту некому. Эта свобода остается за кем угодно, но только не за теми, кого будущий великий гуманист именует «чем-то мистическим, неуловимым и загробным»...

Миллионы людей, однако, страдали отнюдь не на бумаге от своей принадлежности к чему-то «мистическому, неуловимому и загробному» – этот непреложный факт Сталина не интересовал. Поэтому в статье о национальном вопросе, опубликованной в 1913 году, нет слова о той действительно национальной проблеме, которой в реальности жила тогда вся Россия: о деле Бейлиса. Коснись Сталин хоть строкой этого, отнюдь не теоретического, вопроса, и вся его конструкция рассыпалась бы, как карточный домик: никакими аргументами ему не удалось бы доказать, что Бейлиса судят не как еврея, а как «нечто мистическое, неуловимое и загробное».

Здесь важна не только авторская позиция, но и в еще большей мере те слова, которые он находит для ее изложения. В конце концов любую нелепость можно при желании изложить так, чтобы исключить авторскую издевку, потребность высмеять и унижить тех, кому он отказывает в праве на национальную идентификацию, посочувствовать тем, кто из-за нее все же страдает. Ничего этого нет в статье и в помине. Упиваясь псевдотеоретическими изысками, Сталин не скрывает своей насмешки над теми, кто сдуру все еще продолжает считать себя относящимся к особому этносу и надеется на то, что с этим этносом «хоть кто-нибудь будет считаться».

Неужели Ленин не заметил плохо скрытого сталинского юдофобства? Конечно, заметил, но, следуя своей специфической логике, – со знаком наоборот. Для Ленина в таком, сталинском, повороте заключалась, как ни странно, и своеобразная, с большевистских, а не обывательских, позиций защита евреев от гонений. Ведь Сталин отказывал евреям в национальной идентичности, утверждая, что живущие в России евреи вовсе и не евреи, а русские! Вывод из этого мог быть таким: никакой основы для дискриминации по этническому признаку вообще не существует, значит, и сама дискриминация неправомерна.

На самом же деле сталинский вывод был совершенно иным. Снова напомним: он утверждал, что «нация имеет право свободно определять свою судьбу», что она «имеет право устроиться так, как ей угодно». Но, поскольку евреи нацией не являются, таким правом, стало быть, они не обладают. Был ли он в самом деле провидцем, предполагал ли, что десятилетия спустя сам же использует вполне практически этот квазитеоретический тезис? Или просто вложил в свои саркастические эзерсисы особую любовь к гонимому этносу? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. Да и значения это уже, разумеется, не имеет.

Сталин с удовольствием выполнил и попутный ленинский заказ: сокрушить «бундовскую сволочь»[4],

имевшую дерзость требовать для евреев национально-культурной автономии вместо того, чтобы забыть о своей этнической принадлежности и отстаивать лишь классовые интересы. В свойственной ему вульгарно саркастической манере Сталин выполнил и эту задачу, объяснив бундовцам, что раз не существует вообще никакой еврейской нации, то не может у такого фантома существовать и какая-то культурная автономия.

Вот такой специалист занял в первом советском правительстве ключевой пост наркома по делам национальностей. В подготовленной им и принятой съездом Советов в ночь с 26 на 27 октября 1917 года «Декларации прав народов России» есть и такой пункт: «В стране победившего пролетариата антисемитизм останется в памяти как печальное наследие проклятого прошлого»[5]. Как и любые большевистские декларации, эта тоже никого ни к чему не обязывала и никакого практического значения не имела.

Одновременно с этой Декларацией было принято и обращение ко всем Советам. Там, в частности, говорилось: «Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поручает Советам на местах принять немедленно самые энергичные меры к недопущению контрреволюционных выступлений, антиеврейских и каких бы то ни было погромов. Честь рабочей, солдатской и крестьянской революции требует, чтобы никакие погромы не были допущены»[6].

Казалось бы, для специального уточнения насчет «антиеврейских погромов» не было никаких оснований. Февральская революция отменила все дискриминационные законы, а дальнейшее развитие политических событий, при всей их противоречивости и при всем драматизме, не давали повода для погромных настроений и выступлений. Большевики же если и не предвидели, то во всяком случае допускали предстоящий взрыв антисемитизма. По крайней мере три ключевые фигуры в большевистском руководстве – Троцкий (второй после Ленина человек в партийной верхушке), Зиновьев (безраздельный хозяин Петрограда) и Урицкий (член ЦК партии и глава столичных карательных органов) – неизбежно должны были его спровоцировать, став реаниматорами «печального наследия проклятого прошлого». Так оно и вышло!

Начиналась подготовка к заключению заранее обещанного Лениным немцам сепаратного мира. Советскую делегацию в Бресте возглавляли Лев Троцкий и, ставший недавно большевиком его друг, будущий дипломат Адольф Иоффе – было бы странно, если бы эта дерзкая советская акция не вызвала массового движения против евреев, которые, как кричали тогда на всех углах, «распродают Россию, чтобы удержаться у власти». Удержаться у власти мечтали не евреи, а большевики любой этнической принадлежности, в том числе, естественно, и большевики-евреи...

В различных районах страны начались забастовки – их организаторы, наряду с политическими и экономическими требованиями, выдвигали традиционный, бессмертный лозунг: «долой жидов!», который забастовщики энергично поддерживали. Совершенно потерявший чувство реальности, петроградский диктатор Зиновьев, самонадеянно играя с огнем, провел через возглавляемый им Петроградский совет беспрецедентное решение, которым были названы поименно «лучшие люди наших дней». Вот их полный список: Ленин, сам Зиновьев собственной персоной, Троцкий, Урицкий, Володарский и Роза Люксембург. Последних трех к тому времени уже не было в живых. Был объявлен сбор средств на издание портретов всех «лучших людей», причем «лучший» Зиновьев отвалил с барского плеча огромные (конфискованные у свергнутой власти) деньги для поощрения типографов, которые взялись бы за печатание этих портретов. Опасные игры между тем продолжались.

Войдя в раж, никогда не отличавшийся мудростью Зиновьев взялся за переименование проспектов и дворцов Северной Пальмиры, носивших имена, ставите уже историческими. Дворцовая площадь и Таврический дворец в Петрограде получили имя Моисея Урицкого, Владимирский проспект достался

расстрелянному белыми большевику Семену Нахимсону, Литейный проспект стал проспектом Моисея Володарского, Адмиралтейский – проспектом никому не известного Семена Рошала. Мраморный дворец, принадлежавший великому князю Сергею Александровичу, в одночасье окрестили дворцом бойкого большевистского журналиста Юрия Стеклова (Нахамкиса).

Потом взялись за города. Жемчужина петроградских пригородов Гатчина стала называться городом Троцким, другая жемчужина – блистательный Павловск – однажды проснулся городом Слуцком: эта честь была оказана какой-то ничтожной большевичке Вере Слуцкой, имени которой нельзя теперь найти ни в одном справочнике. Одновременно по приказу Зиновьева или с его согласия в Петрограде и всем Северо-Западном крае, отданном ему на откуп, производились массовые аресты и расстрелы заложников, – за эти безумства одного палача (точнее, двух: постыдную честь оказаться убийцей тысяч невинных людей с ним поделил его сподвижник Михаил Лашевич) приходилось – в сознании населения – отвечать всему еврейскому народу[7]. Ему приходилось отвечать и за то, что комиссары с еврейскими фамилиями участвовали в грабеже православных церквей и зверском убийстве священников.

Ленин хоть тут понял, куда это может завести, и разослал секретное письмо о том, чтобы ответственным за эти преступления советской власти (сам-то он, конечно, этот бандитизм преступлением не считал) назначить русского Калинина, отводя внимание от евреев Троцкого и Каменева[8].

Надо было совершенно потерять разум, но обладать самодовольством дорвавшихся до власти невежд, чтобы производить сразу же после переворота, в бурлящей страстями стране, такие демонстративные и наглые эксперименты. На какую же реакцию «трудящихся масс» рассчитывали эти экспериментаторы? Или она их вообще не интересовала? А реакция не замедлила. Об этом можно судить хотя бы по тому, что Совет народных комиссаров вынужден был принять постановление «об энергичной борьбе с антисемитизмом»[9]. «Погромщики и ведущие погромную агитацию» объявлялись «вне закона», что на советском новоязе означало право каждого убивать их без следствия и суда, притом что любой представитель советской власти мог самостоятельно, по своему разумению, отнести кого угодно к погромщикам и контрреволюционерам. Естественно, все, кто не принял режим захватчиков власти, активно использовали массовые антисемитские настроения в своих целях, установив знак равенства между большевиками и евреями. Но кто же еще так рьяно и так успешно способствовал этому чудовищному смещению понятий, если не сами большевики?

Сталин по-прежнему оставался наркомом по делам национальностей, но не известны ни одна его строка, ни одно его выступление, которые способствовали бы (хотя бы в виде попытки) устранению причин, разжигавших нарастающую ненависть антисемитов. По должности именно он отвечал за урегулирование межнациональных конфликтов, но все известные нам акции наркомнаца сводились не к устранению причин, вызывавших антисемитские всплески, а к их провоцированию. Таковыми были жесточайшие кары, которые (зачастую, правда, лишь на словах) устанавливались против участников еврейских погромов. Естественно, они вызывали адекватную реакцию со стороны чекистских жертв, то есть еще более обостряли антисемитские настроения и проявления: жестокость, как известно, порождает только ответную жестокость.

Нет ничего удивительного в том, что самые яростные вспышки антисемитизма отмечены в тех областях, которые только что перестали быть чертой оседлости и где по-прежнему доля евреев в структуре населения ничуть не уменьшилась. Иначе сказать, там, где всегда были погромы, они начались снова, только теперь они приобрели еще и откровенно антисоветский характер. Член коллегии ВЧК Генрих Мороз докладывал ЦК и наркому национальностей Сталину 22 апреля 1919 года: «Весь Западный край пропитан в настоящее время ядом антисемитизма. Прямо-таки тяжело дышать, когда въезжаешь в Смоленскую, Минскую, Могилевскую, Витебскую губернии. То и дело в вагонах, на станциях, в столовых, на базарах,

даже в клубе слышишь: «Жиды всюду, жиды губят Россию, Советская власть еще ничего, если бы не жиды...» и пр. <...> Прежде всего «бей жидов», а потом «спасай Россию». Как же выбить оружие антисемитизма из рук сознательных погромщиков? Ввиду тревожности момента в погромном отношении в городах бывшей «черты оседлости» надо немедленно убрать с ответственных комиссарских постов евреев»[10].

Ни ЦК, ни нарком по делам национальностей Сталин, которым был адресован этот доклад, вообще на него не реагировали. В архиве нет никаких данных, которые позволили бы считать, что он вообще обсуждался. Между тем информация о еврейских погромах поступала в Москву лавинообразно. Более того, в погромах участвовали зачастую и сами красноармейцы (по свидетельству Владимира Короленко[11]; причем именно! они громили и вырезали евреев с особо изощренной жестокостью") – факт, почти не известный на Западе, тогда как там хорошо знали о погромах, учиняемых белогвардейцами и другими противниками большевизма – бандами Шкуро, Петлюры (убит впоследствии в Париже евреем Шварцбардом в отместку за истребление его соплеменников) и другими.

Очевидцем еврейских погромов, устроенных красноармейцами, оказался Илья Эренбург, – он написал об этом два очерка («Еврейская кровь» и «О чем думает жид»), опубликованных в сентябре – октябре 1919 года в газете «Киевская жизнь»: «Если бы еврейская кровь лечила, Россия была бы теперь цветущей страной. Но кровь не лечит, она только заражает воздух злобой и раздором. Слишком много выпитая земля крови – и русской, и еврейской, теплой человеческой крови. <...> В эти ночи я, затравленный «жид», пережил <...> не только страх за тех, кого громили, но и за тех, кто громил. Не только за часть, за евреев, но и за целое – за Россию».

В архиве Ленина есть документальное подтверждение участия подразделений Первой конной Красной Армии в еврейских погромах с какой-то пометкой Ленина, опубликовать которую даже в 1991 году директор института марксизма-ленинизма – Г. Смирнов считал «нецелесообразным», поскольку это «представляет Ленина и Красную Армию в неблагоприятном свете»[12]. Не так уж сложно догадаться, какого характера была эта пометка: в те недели, когда судьба советской власти висела на волоске (Добровольческая Армия генерала Деникина уже подходила к Москве), Ленин шел еще и не на такие жертвы ради спасения – не мог же он из-за каких-то пострадавших евреев карать отважных кавалеристов, в которых видел надежных защитников своего режима!

Вряд ли до Москвы не доходила информация о том что вытворяли на огромном пространстве массового заселения евреями «борцы за национальное равноправие», бесчинствовавшие под красными знаменами революции! Беспристрастный очевидец Иван Бунин, переживавший лихолетье в Одессе, записал в своем дневнике: «Юдофобство в городе лютое. <...> Еврейский погром, учиненный одесскими красноармейцами. Убито 14 комиссаров-евреев и человек 300 просто евреев. <...> Врывались ночью, стаскивали с кроватей, убивали кого попало. Шла настоящая охота. Ехали на грузовиках красноармейцы и кричали: «Есть тут жиды?» Море, океан крови...»[13]

Все это особенно впечатляет, если мы вспомним, что «военным министром», то есть верховным главнокомандующим Красной Армией, творившей эти бесчинства, был еврей Лев Троцкий, а среди красноармейских командиров и комиссаров частей, воевавших на Украине, немало евреев...[14] Ленин, а тем более Сталин (нарком по делам национальностей!), не могли не знать о кровавой бойне, устроенной их солдатами над евреями, притом отнюдь не только в Одессе, но никакой – по крайней мере, видимой – реакции не последовало. Сам Ленин – подчеркнем это еще раз, – разумеется, никаким антисемитом не был, но он не был и юдофилом, он вообще был абсолютно равнодушен к этническому происхождению кого бы то ни было, тем более к национальной принадлежности политических деятелей, он подходил к ним только с одним критерием: «наш» или «не наш».

Причина массового антисемитского психоза была уже и тогда всем хорошо понятна – всем, кроме тех, кто упорно не хотел ее понимать. Владимир Короленко сформулировал ее очень четко: «Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты»[15] – об этом он множество раз и говорил, и писал крупным большевистским деятелям, в том числе Луначарскому и Раковскому: «Преобладание среди особо усердствующих садистов евреев и евреек с воспаленными от кровожадности глазами пробуждает вспышки антисемитизма у несчастных жертв и у всех, кто видит эти бесчинства, даже у тех, кто всегда был далек от всяческих фобий»[16].

Как видим, анализ антибольшевика Короленко ничем не отличается от анализа большевика Мороза – и факты, и их объяснение лежат на поверхности. Но, как гласит известная пословица, тот, кто не хочет слышать, хуже глухого...

И все же совсем проигнорировать яростную вспышку возрастающего антисемитизма, разумеется, в Кремле не могли, тем более что по своим масштабам он превосходил все, совсем еще недавно потрясавшие мир – антисемитские акции царского времени. Насколько можно судить по архивным источникам, большевики-ленинцы особенно испугались после того, как пришли сообщения о том, что во время зверских еврейских погромов в Гомеле, Борисове и других городах было убито много комиссаров и ответственных местных работников еврейского происхождения[17].

26 апреля 1919 года вопрос о вспышке антисемитизма рассматривался на заседании оргбюро ЦК РКП(б) – Сталин благоразумно отсутствовал. В тот же день ЦК направил губкомам партии ничего практически не означавшее письмо (на русском арго такие письма называют «отпиской») о необходимости борьбы с антисемитизмом[18]. Прибегнуть к единственно реальной мере, которая могла бы хоть как-то снять остроту проблемы, – мере, предложенной всеми разумными людьми, в том числе и не потерявшими разума большевиками, – Кремль не мог: это не вписывалось в его основополагающую концепцию интернационализма.

Речь идет, конечно, о том, чтобы убрать евреев – ради самих же евреев – с самых ненавистных населению постов, непосредственно связанных с осуществлением террора в его наиболее жестоких формах. Ленин не мог пойти на это хотя бы уже потому, что это противоречило его представлению о национальном равенстве и, напротив, сильно смахивало бы на национальную дискриминацию. Характерно, что нарком по делам национальностей – Сталин ни разу за весь этот период беспрецедентной по своим масштабам и повсеместной вспышки антисемитизма ни разу публично не высказался по данному вопросу и не сделал буквально ничего, чтобы эту вспышку погасить. Похоже, с присущими ему терпением и хладнокровием он ждал, когда антиеврейские настроения, провоцируемые участием большевиков-евреев в террористических акциях, достигнут своего апогея.

Этот апогей наступил, несомненно, в 1920 году, когда в Крыму было подавлено последнее крупное антибольшевистское движение, возглавленное бароном Врангелем. После его разгрома и трагической эвакуации на кораблях, которой смогла воспользоваться лишь малая часть желающих, в Крыму началась беспощадная тотальная резня, жертвами которой (число жертв исчислялось десятками тысяч) оказались не только белые солдаты и офицеры, не только бежавшие в Крым из центральной России противники большевизма, но и люди, вообще никакого отношения ни к политике, ни к конфронтации «белых» и «красных» не имевшие.

Руководили всей бесчеловечной операцией два видных большевика еврейского происхождения, получивших на эту мясорубку полную свободу рук из Москвы: Розалия Землячка (Залкинд) и венгерский коммунист Бела Кун. Никакого специального замысла в этом, разумеется, не было. Кремлю было совершенно все равно, каких кровей будут палачи-мстители, которые «очистят» Крым от «буржуев и

врагов народа», – лишь бы они делали это решительно и беспощадно. Никакого иного ответа населения на кровавую большевистскую акцию, кроме озверелого антисемитизма, и быть не могло. То обстоятельство, что почти все еврейские общественные организации и Крыма, и сопредельной Украины поддерживали не красных, а белых, что они активно участвовали в антибольшевистском сопротивлении, что тысячи и тысячи евреев страдали от большевистской жестокости ничуть не менее, чем тысячи и тысячи русских, – все это ничего изменить не могло.

Кремлю снова пришлось вернуться все к той же болезненной проблеме. 2 июня 1920 года вопрос о борьбе с антисемитизмом рассматривался на совместном заседании политбюро и оргбюро, в котором участвовал и Сталин. Судя по сохранившемуся официальному протоколу, вопрос о драматической остроте ситуации старательно обходился. Сталин внес предложение, всеми принятое без возражений: «поручить Каменеву составить план мероприятий партии и Советской власти по борьбе с антисемитизмом»[19].

Гора родила мышь! Эта издевательски беззубая формулировка лишь подчеркивала то, что было и так очевидно: наркомнац не хочет «раздувать» еврейскую тему и придавать ей слишком большое значение. Выбор еврея Каменева, а не русского большевика, в качестве руководителя мнимой борьбы с антисемитизмом тоже говорит сам за себя. В этом со всей очевидностью проявились коварство и хитрость Сталина: «меры» приняты, а что за меры и какова их реальная цена – никакого значения не имеет.

Проблема какой была, такой и осталась. Гной не выпустили, а загнали внутрь, дабы он и впредь продолжал отравлять организм. «Организмом» была вся, пораженная ксенофобией и прежде всего традиционным для нее антисемитизмом, огромная страна, оказавшаяся под ярмом большевизма.

С ужасом наблюдая за тем, как большевистская революция раздувала пламя беспощадного антисемитского пожара, Бунин пророчески писал в те «окаянные дни»: «Левые все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другую – на соседа и на еврея: «Это нас жида на все это дело подбили»[20].

Парадокс и феномен российской действительности как раз в том и состоит, что на евреев «валили» и «валят», как писал Бунин, силы, во всем остальном противостоящие друг другу и политически, и идеологически. Антисемиты-большевики утверждали, что именно евреи хотели обезглавить революцию, покушаясь на жизнь ее вождя Владимира Ленина. Антисемиты-«патриоты» вот уже более восьмидесяти лет твердят, что именно евреи, а не кто-то иной, убили последнего российского императора и его семью и этой ритуальной (!) казнью вонзили нож в сердце каждого русского человека...

Первая легенда связана с тем, что по версии, вошедшей во все исторические источники, 30 августа 1918 года стреляла в Ленина и тяжело его ранила террористка Фанни (Фейга) Каплан (Ройд). Без следствия (шесть допросов самой Каплан нельзя назвать следствием) и суда «террористка» была расстреляна. Тщательно скрывавшиеся десятилетиями и ставшие теперь доступными архивные источники позволяют не только усомниться в этой версии, но и – без опасения разойтись с истиной – решительно ее отвергнуть: практически не осталось ни одного доказательства, подтверждающего, что стрелявшей была Фанни Каплан[21]. Но антисемитская «нота» во всей этой загадочной истории остается и после того, как обвинения, возведенные против несчастной Фанни, подверглись основательному сомнению. Куда убедительнее выглядит версия, согласно которой покушение на убийство было организовано «верным другом и соратником» Ленина Яковом Свердловым (тоже евреем), который, кстати, лично и приказал расстрелять Каплан, а осуществлено покушение сотрудниками шефа тайной советской полиции Феликса Дзержинского – Лидией Коноплевой и Григорием Семеновым[22].

Таким образом, в любом случае (если принять эту, весьма серьезную, версию) на «вождя революции», который, видимо, сильно надоед своим товарищам по общему делу, все равно покушались

евреи...

Какая-то возня, а если точнее – жестокая борьба за власть, на коммунистических верхах, несомненно, уже шла. В марте 1919 года Свердлов, возвратившись в Москву из краткой командировки, внезапно умер. Точная причина его смерти неизвестна. Тогда же распространился, видимо, не лишенный оснований слух, что в городе Орле он был жестоко избит рабочими по причине своего еврейского происхождения, но этот факт был якобы скрыт, чтобы «не позорить революцию» и не разжигать еще больше антисемитские страсти[23]. Более вероятно, однако, другая версия: он был устранен как нежелательный свидетель, слишком много знавший о том, кто и почему действительно стрелял в Ленина.

Еще больше туману напускает во всю эту историю сенсационная находка в бывшем архиве политбюро (она относится к 1994 году) – «совершенно секретное» письмо тогдашнего шефа Лубянки Генриха Ягоды Сталину от 27 июля 1935 года. Ягода сообщал, что на складе коменданта Кремля обнаружен личный сейф Свердлова, который не вскрывался все 16 лет, прошедшие с его смерти. Там оказались золотые монеты царской чеканки на астрономическую сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценными камнями, множество паспортов на имя самого Свердлова и никому не известных лиц, облигации царского времени и пр.[24] Вряд ли это было «золото партии», которая боялась поражения и готовилась уйти в подполье: о таком финансовом запасе, принадлежавшем партии, а не Свердлову, знал бы тогда еще кто-нибудь, хотя бы тот же Ленин, и оставшемуся после смерти Свердлова богатству была бы уготована другая судьба. Скорее всего, сам Свердлов готовился к бегству вместе с семьей, опасаясь, быть может, разоблачения своей причастности к покушению на Ленина. Так или иначе еврейское происхождение с неизбежностью обрекало его на возникновение слухов антисемитского происхождения, оказавшихся живучими на протяжении многих десятилетий. Поразительно еще и то, что эта сенсационная информация, документированно опубликованная в солидном (тогда еще!) журнале, не получила абсолютно никакого, пусть даже вздорного и демагогического, истолкования со стороны записных историков партии, словно такой информации и не было вовсе.

Столь же живучей оказалась и версия о «еврейском заговоре» против царской семьи, в котором, как утверждают ее авторы и распространители, замешан тот же Свердлов[25]. Хотя среди главных палачей были этнически чистые русские Петр Ермаков, Александр Белобородов, Федор Сыромолотов, Сергей Чуцкаев, Федор Лукоянов и другие, посмертно отвечать за содеянное (зверское убийство Николая Второго, его жены, детей, врача и слуг) предлагается не только принимавшим участие в убийстве евреям – Пинхусу Вайнеру (Петру Войкову), Янкелю Юровскому, Шае Голощекину и Льву Сосновскому, но в их лице и всему еврейскому народу. (Отметим попутно факт, не укладывающийся в голову: торжественное захоронение зверски убиенной царской семьи не помешало сохранению имени его убийцы, которое носят площадь и станция метро в столице России. За какую честь имя палача Войкова до сих пор остается в топонимике Москвы? Мне абсолютно все равно, к какому этносу он принадлежал: у преступников нет национальности. Имя убийцы Войкова, а не еврея Войкова, давно пора бы уже стереть с карты столицы.)

Не могу не вспомнить в этой связи своей беседы с Виктором Некрасовым во время нашей с ним последней встречи в Париже в середине восьмидесятых годов. Некрасов был киевлянином и рассказывал много историй, связанных с его родным городом. В частности, о том, как свирепствовали там чекисты во время гражданской войны. «Все население, – рассказывал он, – проклинали Розу Шварц, хотя верховодил расправами латыш Лацис, а его главными помощниками были русские Адоскин и Гребенщикова. Но имена этих извергов забылись, а имя – тоже, конечно, изверга – Розы Шварц осталось синонимом чекистских зверств».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 24. С. 126.
2. См.: Троцкий Л. Сталин. Нью-Йорк, 1985. Т. 1. С. 212.
3. Сталин И. Марксизм и национальный вопрос. М. 1950. С. 31.
4. Бунд – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» – социал-демократическая организация, борющаяся за права евреев и тяготевавшая к меньшевикам.
5. Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 14.
6. Там же. С. 16.
7. Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 101.
8. Слово. 1993. № 9-12. С. 46.
9. Известия. 1918. 27 июня. С. 1.
10. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ – бывший Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории, еще ранее – Центральный партийный архив). Ф. 17. Оп. 66. Д. 65. Л. 27.
11. «...[красноармейцы] опять вырезали семью <...> Принесли с собой водку и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых зарезали после изнасилования. Это продолжалось до 6-ти час. утра. Уже засветло ушли спокойнейшим образом и не разысканы» (см.: Короленко Владимир. Дневник 1917-1921. М., 2001. С. 164. Запись от 10 апреля 1919 г.)
12. Исторический архив. 1992. № 1. С. 217.
13. Бунин Иван. Дневники, записи от 28 апреля и 2 мая 1919 года.
14. Абрамович Арон. Вместе с Троцким // Военно-исторический журнал. 1990. № 8.
15. Вопросы литературы. 1993. № 2. С. 285.
16. Короленко в годы революции. Vermont, USA. 1985. С. 222-223.
17. Борьба за Советскую власть в Белоруссии. Минск, 1981. С. 83-85.
18. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 11. Л. 4.
19. Там же.
20. Бунин Иван. Окаянные дни. 1992. С. 51.
21. Орлов Борис. Так кто же стрелял в Ленина? // Источник. 1993. № 2. С. 63-88. Особенно впечатляет разоблаченная позднейшей экспертизой легенда о «тяжести» раны, полученной Лениным. Вопреки легенде, пули не оказались отравленными, к тому же «тяжко» раненный Ленин без посторонней помощи поднялся по крутой лестнице на третий этаж, а через день врачи признали его состояние удовлетворительным, и он поднялся с постели. Пулевые отверстия на ленинском пальто не соответствуют расположению ран на его теле. Это лишь несколько из загадок, до сих пор не нашедших своего объяснения.
22. Родина. 1995. № 7. С. 58-60,
23. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2159. Л. 36-37.

24. Источник. 1994. № 1. С. 3 4.

25. Платонов Олег. Убийство царской семьи. М., 1991. Не менее половины палачей были уничтожены во время Большого Террора (1936-1938), но самый зловещий из них – Петр Ермаков – благополучно дожил до 1951 года и умер своей смертью в звании «почетного чекиста».

ИЗ АДА В РАЙ

ИЗ АДА В РАЙ

Многие историки и биографы Сталина, отмечая многочисленные проявления его антисемитизма, пытались понять их истоки и терялись в догадках: никаких видимых причин для того, чтобы это обнажилось уже в двадцатые годы, казалось бы, не было. Наиболее тщательные розыски проделал в последнее время биограф Сталина – Эдвард Радзинский. Ему показалось, что корни сталинского антисемитизма надо искать еще в его детстве, в семейном воспитании и окружении, которое на него влияло. Между тем Грузия никогда не знала антисемитизма, а быт и образ жизни грузинских евреев ничем не отличались от быта и образа жизни этнических грузин. Однако же Радзинский полагает, что отец Сталина – «пьяный неудачник» и полунищий Бесо Джугашвили – ненавидел евреев за то, что те, напротив, все как один были процветающими и состоятельными ремесленниками, и он, преисполненный зависти, «с раннего детства своего сына Иосифа, преподавал ему начатки злобы к этому народу»[1].

Между тем отец Сталина уехал из Гори, где жила семья, в Тбилиси, когда Иосиф (Сосо) был еще совсем маленьким. Изредка наезжая в Гори, он бил сына смертным боем, так что «преподать» ему мог только опыт издевательств над слабыми. Вряд ли вообще этот отец мог воспитывать этого сына в традиционном смысле слова, а если и воспитывал, то его «воспитание» могло вызвать у юного Сталина лишь отвращение. Точно также весьма сомнительно, чтобы мать внушила ребенку ненависть к богатым евреям, у которых она работала приходящей прислугой[2]. Это не более чем слухи – в Грузии, особенно в XIX веке, не считалось приличным подчеркивать национальную принадлежность кого бы то ни было, тем более перед ребенком, которому не исполнилось и семи лет.

Принятое всеми историками – и российскими, и зарубежными – объяснение истоков сталинского антисемитизма представляется более обоснованным и правдоподобным. С самого начала его нелегальной партийной работы, даже в ссылке, Сталину пришлось оказаться в обществе гораздо более образованных, чем он, более эрудированных, более знающих, естественней и прочнее внедрившихся в партийную среду товарищей еврейского происхождения. И Яков Свердлов, и Лев Каменев (Розенфельд), и Филипп (Шая) Голощекин были грамотнее недоучившегося семинариста. А Каменев просто неизмеримо выше. Они относились к нему покровительственно отнюдь не из-за надменности и чувства превосходства, а вполне искренне и с несомненной симпатией. Но нет ничего страшнее для уязвленного самолюбия кавказца, страдающего комплексом неполноценности, да к тому же еще с физическими недостатками (левая рука короче правой, притом лишена свободы движения, два пальца на ноге срослись, лицо обезображено следами перенесенной и плохо излеченной оспы), – нет ничего страшнее для человека этого типа, чем покровительственная снисходительность, готовность помочь и, что хуже всего, реально оказанная помощь (продуктами, одеждой, приютом, деньгами, редактурой вымученных «сочинений»)...

С самого начала борьбы за власть главными соперниками Сталина были евреи: Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Евреями же были и ближайшие к этим трем партийные и военные деятели, составлявшие их опору: Михаил Лашевич, Эфраим Склянский и другие, но прежде всего Григорий Сокольников (Бриллиант), бывший адвокат, едва ли не самый блестящий после Троцкого, большевистский вождь, член ЦК, а одно время и кандидат в члены политбюро. Это он подписал печально знаменитый Брестский мир. С равным блеском он командовал армиями и осуществлял денежную реформу. Сталин люто его ненавидел, и неспроста: именно Сокольников в 1926 году с трибуны партийного съезда будет

требовать снятия Сталина с поста генерального секретаря. К тому же Зиновьев и Каменев были самыми близкими людьми – в личном плане – к Ленину и Крупской, а Троцкого Ленин считал самым талантливым и перспективным руководящим деятелем, рассчитывая на его помощь в наиболее острых конфликтных ситуациях, которые возникали на кремлевских верхах. Эта ситуация сама по себе была взрывоопасной, и антисемитизм Сталина до поры до времени не проявлялся внешне лишь потому, что абсолютной властью он еще не обладал, а открытый антисемитизм (не завуалированный хотя бы видимостью шутки) был тогда совершенно не в чести в партийных кругах.

Уйдя с поста наркома по делам национальностей и с других правительственных постов, Сталин оказался генеральным секретарем ЦК партии – пост этот тогда никому еще не казался ключевым. Но Сталин метил только на «ключ», и ни на что больше. Для этого ему было нужно стопроцентно надежное «техническое обеспечение», то есть абсолютно преданный и энергичный аппарат, легко ориентирующийся в партийных интригах и склоках и успешно исполняющий предназначения своего вождя. Выбор, видимо, был не слишком велик, если ближайшими к Сталину сотрудниками – его помощниками, по официальной терминологии, – оказались опять-таки четыре еврея: Григорий Каннер, Лев Мехлис, Арон Герценберг и Илья Трайнин, а начальником личной охраны (пост, как все понимают, важнейший) пятый еврей – Карл Паукер. Каннера, Паукера и Герценберга за беспредельно верную службу он впоследствии уничтожит, бездарному и безграмотному, но зато сверхсервильному Мехлису простит все прегрешения (из-за его невежества в декабре 1941 года, в Крыму, куда он был послан Сталиным с неограниченными полномочиями, погибнут десятки тысяч солдат) и оставит его на высоких постах в доказательство отсутствия государственного антисемитизма, а самоучку Трайнина, вообще не имевшего никакого диплома, в 1939 году ни много ни мало возведет в академики, чтобы тот прославлял великого и мудрого Сталина в своих «научных» трудах...

Если не считать вроде бы невинных антисемитских шуточек, которые в узком кругу отпускал Сталин (о них, в частности, рассказывает в позднейшей редакции своих мемуаров сбежавший на Запад еще в двадцатые годы секретарь генсека Борис Бажанов[3]), никаких видимых проявлений сталинского антисемитизма в ту пору никем не замечено. Революционный романтизм-интернационализм еще не был изжит, в различных структурах советской власти процент евреев был еще велик, а число русских, которым антисемитизм был органически чужд, в тех же кругах было огромно. Это вовсе не означает, что антисемитизм вообще не проявлялся вовне в партийно-советских кругах. Иначе М. Горький, обращаясь к Ленину в защиту своего издателя и друга Зиновия Гржебина, не написал бы: «Гржебина травят как собаку или – что еще хуже – как еврея»[4]. Травили Гржебина как еврея не какие-нибудь темные, малограмотные лавочники, а официальные представители советской власти.

Они-то и не давали антисемитизму заглохнуть: при новой власти он стал куда более мощным и всеохватным, чем был при власти свергнутой. Для его проявления не требовались обязательно публичные заявления – вполне достаточно было «просто» распространения слухов. Исследовавший этот вопрос М. Агурский установил, что в борьбе с оппозицией Сталин недвусмысленно разыгрывал еврейскую карту, старательно навязывая так называемой «партийной массе», то есть рядовым партийцам, нужную ему интерпретацию занятой им позиции в противостоянии с Троцким, Зиновьевым и Каменевым: необходимо-де исправить допущенную Лениным ошибку – устранить непропорционально большое представительство евреев в верхушке власти. Это как бы оправдывало ту последовательность, с которой Сталин вытеснял из «верхов» троцкистов и зиновьевцев, и в свою очередь провоцировало проявление юдофобства на более низких уровнях[5].

Информационный отдел ОГПУ тщательно собирал данные об антисемитских настроениях и посылал их генеральному секретарю ЦК Сталину. Уж не по его ли заказу все это делалось? Даже если это предположение верно, то прямых доказательств мы, скорее всего, никогда не найдем: Сталин не любил

без надобности оставлять какие-либо письменные следы, предпочитая давать указания устно, зачастую даже просто намеками.

Сразу после смерти Ленина, когда Троцкий, поверив телеграмме Сталина с указанием ложной даты похорон, неразумно остался лечиться на Кавказе, Сталин начал атаку на своего главного конкурента, и, конечно, он не мог при том не использовать «еврейскую карту». Ему пришлось поэтому очень кстати так называемая «спецполитсводка», составленная Лубянкой в первой декаде февраля 1924 года: «В связи со смертью Ленина среди населения распускаются слухи (ясное дело, их намеренно распускали! – А. В.), что Ленин не умер, что его отравили жида, стремящиеся захватить власть в свои руки, что <...> вместо Ленина будет Троцкий, и тогда <...> евреи возьмут в руки власть и окончательно задушат русский народ»[6].

И все же, какие бы сводки ни составляла Лубянка, окончательная победа советской власти притушила открытые антисемитские проявления – хотя бы уже потому, что значительная часть населения собственно России, Украины и Белоруссии, где антисемитизм имел глубокие и давние корни, практически ассоциировало эту власть с властью евреев, а практической возможности выступить против власти уже не было. Но сам антисемитизм, разумеется, никуда не делся, и его существование секретом ни для кого не являлось. Для кремлевских руководителей – в том числе. И даже – прежде всего[7]. Притом он дал о себе знать и в столице, и в крупных российских городах, где ранее для него не имелось почвы из-за незначительной доли евреев среди проживающих в них. Массовый приток евреев в города, куда им ранее был доступ закрыт, не мог не породить в определенных кругах антисемитские настроения. Израильский историк (эмигрант из СССР) Михаил Агурский исследовал этот феномен по материалам официальной советской статистики. Если в 1920 году в Москве проживало 28 тысяч евреев (2,2 процента всего населения столицы), то в 1923-м их доля составляла уже 5,5 процента, а в 1926-м – 6,5 процента. В Москву к этому времени приехало около 100 тысяч евреев, в начале тридцатых годов их число приближалось к 250 тысячам (рост в 9 раз), тогда как все население Москвы в целом за 15 лет выросло лишь в два раза[8].

Советская власть действительно сняла с евреев все прежние ограничения и установила полную свободу выбора места жительства, но она (то есть ее высшие руководители) совершенно не брала в расчет неизбежные последствия этих новаций в контексте неприятия самой новой власти огромным числом людей, для которых «большевики» и «евреи» по-прежнему оставались синонимами.

Впрочем, может быть, это категорическое утверждение и не совсем верно: «советская власть» в ту пору еще не была чем-то единым и цельным – некоей жесткой вертикалью, где все решения принимаются только на самом верху. Некоторых ее деятелей нестихающая эскалация антисемитизма весьма беспокоила.

В 1926 году ОГПУ регулярно информировал «верха» об антисемитских проявлениях в городе и в деревне, причем, судя по всему, это делалось по указанию ЦК, а значит, как минимум, с согласия Сталина. Распространенность антисемитизма в среде интеллигенции волновала его не столько потому, что этот социальный слой был очень влиятелен, а скорее потому, что он напрямую связывал свое отношение к еврейскому вопросу со своим отношением к советской власти. Сообщая о глубоком проникновении антисемитизма в литературные круги, спецслужбы отмечали, что, по мнению этих кругов, «государственная власть в России находится только в руках евреев»[9]. Особо отмечалось, что «особенно силен антисемитизм в театральной среде. Пожалуй, ни в какой другой сфере интеллигенции нельзя встретить того, что на каждом шагу приходится видеть в театральном мире. <...> Нередко антисемитизм у артистов переходит всяческие границы»[10].

Вряд ли Сталина очень пугала эта информация. Ведь советская власть, неприятие которой было характерно для антисемитов, сопрягалась в их сознании с Троцким и другими заклятыми врагами Сталина. Хотя бы только поэтому он, делая вид, что антисемитизм опасен для власти, не мог в душе не разделять чувства тех, кого вроде бы осуждал. Но многие другие члены руководящей верхушки все еще исходили из

старых большевистских лозунгов – бурный всплеск антисемитизма не мог их не пугать.

Это видно, например, хотя бы по такому факту. В 1926 году ЦК комсомола заказал Информационному отделу Лубянки[11] подготовить материал о распространяемости антисемитизма по доносам секретных осведомителей. Полученные данные настолько ошеломили комсомольских вожаков, что, приняв постановление «О борьбе с антисемитизмом», Бюро ЦК ВЛКСМ засекретило и полученный документ, и само постановление, наложив на них такую резолюцию: «Хранить строго секретно, перепечатка и разглашение воспрещаются»[12]. Каким образом должно было исполняться постановление, с которым никто был не вправе ознакомиться, – этот вопрос, видимо, не обсуждался. Да и что за «борьбу» предлагали комсомольские товарищи? Все те же пропагандистские брошюры, лекции, проработочные собрания, исключение злостных антисемитов из комсомола...

Особое внимание комсомольских верхов к этой проблеме в немалой степени объясняется персональным составом этого руководства. Создателями и первыми руководителями комсомола были Лазарь Шацкин, Оскар Рыбкин, Ефим Цейтлин, Владимир Фейгин, Евсей Файвилович и другие, что предопределило особо стойкую любовь Сталина к этой организации. Не случайно все до одного создатели комсомола и его первые руководители были впоследствии репрессированы.

Поток писем в ЦК с мест о нараставшей лавине антисемитизма увеличивался не с каждым месяцем, а с каждым днем. Архивы бесстрастно сохранили эти письма, но тщетно искать в тех же архивах ответы на них встревоженным авторам, а тем паче куда более важные ответы – делами.

Для того чтобы зримо представить себе тогдашнюю общественную ситуацию, есть смысл привести хотя бы два письма из огромной кремлевской почты на эту тему.

Первое – от 20 августа 1926 года, из Москвы – адресовано «в ЦК ВКП(б) товарищу Сталину и другим товарищам».

«То, что мы последнее время наблюдаем во многих вопросах, в особенности в национальном вопросе, заставляет члена партии сильно страдать, и напрашивается некоторый вопрос, на который наша партия должна дать нам ответ. Дело в том, что за последнее время, как при проклятом царизме, мы всегда стали слышать слово жид по городу. На рынке, в очередях, на биржах труда и даже в отделениях у врачей. Какие-то темные личности заводят разговоры про жидов и злостно агитируют. Недавно на Тишинском рынке кричали «бей жидов», но это еще ничего, наши партийные сейчас стали ругаться «жидом». На место того, чтобы сказать «иди к чорту», они говорят «иди к жи́ду». Еще они говорят, что сейчас выбрасывают всех жидов из Политбюро, из ЦК ВКП(б) и что скоро их вышлют и сделают так, чтобы в партии не было жидов. У нас на фабрике «Красная Роза»[13] и в других местах очень много об этом разговоров. Партия наша молчит, не борется с этим. Мы должны услышать твое слово, ЦК партии. Работница М. Петрова»[14].

Скорее всего, «Петрова» – это псевдоним, ибо обратного адреса на письме нет. Страх, как видим, сковывал уста уже и тогда... Сталин мог с полным удовлетворением потирать руки: цель достигнута! Его расправу с политическими соперниками «партийная масса» (то есть необразованные и малообразованные, зараженные предрассудками люди) восприняла как вытеснение евреев из большой политики и поэтому поддержала, не вдаваясь в детали и не разбираясь в том, что за этой ширмой скрывается.

Второе письмо – из провинции, от 21 февраля 1927 года – не менее показательное. Оно адресовано лично Сталину, и только ему – без всяких «других товарищей».

«Здравствуйте, многоуважаемый Иосиф Виссарионович! С настоящим письмом я хочу узнать Ваше мнение как наилучшего знатока национального вопроса об антисемитизме, господствующем у нас, в городе Вышний Волочек, уж не говоря о беспартийной молодежи, но и подчас среди комсомольцев, выливающимся в форме различных упреков: дескать, евреи наводнили весь высший государственный

аппарат, занимаются исключительно торговлей, спекуляцией, всюду и везде строят себе карьеру, не заботясь о русских, а я, будучи молодым комсомольцем, не в состоянии опровергнуть все эти нападки на евреев. <...>

Иосиф Виссарионович! Вы находитесь в Москве, Вам хорошо известны партийные работники евреи, и Вы мне, пожалуйста, напишите, есть ли среди них карьеристы, которым чужды интересы трудящихся масс. Я все-таки глубоко убежден, что т.т. Зиновьев, Троцкий и другие далеко не враги Советской республики, и неужели их подвергли суровой критике, потому что они евреи? Разве такое может быть в нашей коммунистической партии? Это наверно клевета настоящих врагов Советской власти и тех, кто просто чего-то недомысливает.

Все то, что я слышу из уст моих товарищей по школе, заставляет меня задуматься и обратиться к Вам за своего рода справкой. Урвите из своего бюджета времени 10 минут и ответьте мне, за что я Вам буду искренне благодарен. С нетерпением жду Вашего ответа. Наум Цорнас»[15].

Ждал он, конечно, напрасно: на такие письма товарищ Сталин не отвечал. И даже их не читал. Их читали в другой канцелярии, брали на заметку и делали необходимые выводы. «Справку» Науму Цорнесу прислал не Сталин: в виде ордера на арест ее принесли прямо на дом ничего не забывавшие, зорко глядевшие товарищи-чекисты.

Советская жизнь, как и советская политика – внутренняя и внешняя, – всегда были полны парадоксов, поэтому все, о чем сейчас будет сказано, не должно вызывать никакого удивления. На этот раз парадокс состоит в том, что именно в двадцатые годы, когда Сталиным и его окружением так нагло провоцировалась волна антисемитизма и когда под ее прикрытием он без особого труда избавился от своих «еврейских» конкурентов (кавычки поставлены потому, что этническая принадлежность конкурентов не имела никакого отношения к их политической позиции), – именно тогда, и, пожалуй, только тогда, евреи в Советском Союзе чувствовали себя защищенными от произвола и даже в каком-то смысле ощущали себя общностью, которой покровительствует власть.

В это время получают государственную поддержку российские сионистские организации, а когда низовые и средние звенья Лубянки начинают их преследовать (закрывать их школы, клубы, библиотеки) за призыв к эмиграции в Палестину и к вытеснению языка идиш – «исконно еврейским» ивритом, сам шеф Лубянки Феликс Дзержинский выступает в защиту сионизма.

15 марта 1924 года он писал своему заместителю Менжинскому: «Не пойму, зачем нам преследовать сионистов? <...> их программа нам не опасна, а полезна. Мы им не должны мешать»[16]. Видимо, на местах преследования все-таки продолжались – гонимые обращались в Москву, прямо к Дзержинскому, и находили поддержку: «Преследование сионистов, – заявлял он, – это политическая ошибка. Такая тактика неправильна. Надо этот вопрос изучить и поставить в Политбюро (так, разумеется, и не поставили. – А. В.)»[17].

Сталину было не до сионистов, не до Бунда, который боролся с сионистами, ибо отстаивал идею национально-культурной еврейской автономии вместо эмиграции, наконец, и не до Еврейской секции ЦК, которая боролась и с теми, и с другими, считая себя единственным выразителем чаяний «трудящихся-евреев». Главный специалист по национальному вопросу в течение всех двадцатых годов ни разу не высказался на еврейскую тему публично – он умел выжидать, – но искусно направлял кремлевскую политику таким образом, чтобы проблема сохранила всю свою остроту. Поскольку же официально интернационализм и национальное равенство по-прежнему относились к основным лозунгам большевизма, евреи в своем большинстве чувствовали себя защищенными ими.

Лозунги подкреплялись делами. Еще при Ленине политбюро приняло постановление, разрешавшее

образовать «Еврейский общественный комитет помощи пострадавшим от войн, погромов и стихийных массовых действий» (так стыдливо именовалось поголовное уничтожение евреев в городах и местечках, главным образом, Украины и Белоруссии – резня, которую устраивали «на равных» сражавшиеся друг с другом красноармейцы, петлюровцы, махновцы). Было разрешено создать и региональные отделения комитета «с условием обеспечить в них большинство за коммунистами»[18]. Это был прообраз будущего Еврейского Антифашистского Комитета, созданного во время войны, который, не будучи в состоянии предвидеть последствия, надеялся стать своеобразным комиссариатом по еврейским делам – защитником еврейских интересов. Сталин голосовал вместе со всеми за создание того, первого советского, комитета такого рода[19] – поступить в ту пору иначе он, естественно, не мог.

Тот комитет создал, в свою очередь, Еврейское телеграфное агентство, которое информировало о положении евреев и их жизни в стране Советов международную общественность. Следуя правде и преисполненное самых добрых чувств к породившей его советской власти, агентство сообщало и об антисемитских проявлениях, и о том, как органы власти непримиримо относятся к этому. Такая правда власть не устраивала – корреспонденции агентства вызвали гнев Лубянки. Его быстро закрыли[20].

Формальным поводом послужила переданная агентством информация о том, что в административном порядке была произведена массовая высылка из Москвы «социально-паразитического элемента» – среди высланных было очень много евреев[21]. Хотя специальной антисемитской направленности в данной акции не было, характерно другое: Лубянка испугалась, что ее в этом заподозрят. По известной пословице: на воре шапка горит...

Как ни странно, особым рвением в борьбе с любым проявлением интереса к национальным еврейским проблемам в сфере образования и культуры отличалась Еврейская секция ЦК ВКП(б) – М. Горький, болезненно относившийся к малейшему ущемлению еврейских прав и еврейского национального чувства, реагировал на это вполне недвусмысленно: «Эти сволочи способствуют антисемитизму»[22]

Вся эта возня происходила за кулисами, при закрытых дверях, о ней знали лишь те, кто в ней сам принимал участие, и немногие посвященные. Внешне же еврейская культурная жизнь забила ключом, а этнические евреи отнюдь не скрывали своего происхождения: власти всячески подчеркивали, что, будучи гонимыми при прежнем режиме, евреи обрели теперь полное равноправие и защиту от любых посягательств. Но при этом власти поддерживали лишь такую еврейскую культуру, которая, будучи национальной по форме, непременно несла бы в себе социалистическое содержание.

Московская еврейская студия «Габима», пытавшаяся опереться на библейский эпос и древние религиозные мотивы, то есть обратиться к глубинным корням еврейской истории, не устраивала коммунистический Кремль. Ее не спасла и страстная защита М. Горького. Обвиненная во внутринациональной замкнутости и мистицизме, «Габима» была вынуждена эмигрировать и, после долгих скитаний по Европе и Америке, найти наконец свое место в Израиле. Зато еврейский советский театр на языке идиш, считавшийся тогда языком «живым» и «народным», в отличие от «мертвого» иврита, получил мощную государственную поддержку и стал очагом зарождающейся еврейской национальной культуры «нового типа». Он был создан при активном содействии советского наркома просвещения Анатолия Луначарского сначала как Еврейский камерный театр, затем как Государственный Еврейский театр во главе с Абрамом Грановским (Азархом).

После того как в конце двадцатых годов, оказавшись на гастролях за границей, Грановский стал невозвращенцем, театр возглавил Соломон Михоэлс (Вовси). Поступок Грановского несколько не повлиял на отношение Кремля к самому театру, пользовавшемуся тогда самой высокой поддержкой. Вокруг театра сразу же объединились прежде всего блистательные художники Марк Шагал, Натан Альтман, Роберт Фальк, Исаак Рабинович, Давид Штеренберг, Александр Тышлер, композиторы Александр Крейн и Лев

Пульвер. Специально для театра работали драматурги Арон Кушников, Иехезкиль Добрушин, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Исаак Нусинов, Самуил Галкин, талант которых не имел бы возможности получить развитие, если бы не существовал театр, охотно воплощавший на сцене то, что они создавали. Рядом с Михоэлсом выросла плеяда очень одаренных еврейских артистов, среди которых звездой первой величины блистал непревзойденный, изумительный Вениамин Зускнн. Еврейский театр, для которого власти предоставили великолепное здание в центре Москвы, на протяжении многих лет был одним из самых посещаемых театров советской столицы: на его спектакли с большим трудом можно было достать билеты, особенно на общепризнанный шедевр – шекспировский «Король Лир», – поставленный Михоэлсом, где он сам сыграл главную роль.

Еврейские театры или студии, находившиеся на полном государственном обеспечении, были созданы и в других городах страны (самый профессиональный из них работал в Киеве) – там, где имелось достаточное количество потенциальных зрителей, лучше или хуже владевших идиш. Впрочем, значительную часть публики составляли русские зрители, языком не владевшие и обходившиеся без перевода. Это был поистине нескончаемый праздник искусства, который не только в двадцатые, но, по сути, и в тридцатые годы не был омрачен ядом антисемитизма. Наряду с большим числом еврейских школ, клубов, эстрадных групп и отдельных исполнителей (певцов, музыкантов, чтецов) эти процветающие коллективы свидетельствовали о том, что евреи на самом деле, а не декларативно, влились на равных в большую семью народов, населявших Советский Союз, и что они могут беспрепятственно развивать свою культуру.

Кроме собственно своей, национальной, культуры, мощное еврейское присутствие ощутила и культура русская, как и украинская и белорусская, где очень заметное место заняли таланты из замкнутой еще в недавнем прошлом еврейской среды. Прежде всего заявила о себе большая группа писателей, выходцев из традиционно еврейской Одессы, которые переселились в Москву: «яркие, насмешливые, несдержанные и романтические южане», как называл их Илья Эренбург. Они думали, говорили и писали по-русски, они принадлежали русской литературе, но в их творчестве явственно зазвучала неповторимая еврейская интонация и развивались сюжеты из еврейской жизни. Точно так же русский писатель (сто процентов этнически русский!), написавший роман из французской жизни (исторический, скажем), остается русским писателем, а отнюдь не французским.

Имя Исаака Бабеля стремительно вошло в литературу – он стал одним из самых популярных писателей своего времени. Его коллеги и земляки публиковались главным образом под псевдонимами, но происхождение свое не скрывали, да и не могли скрыть, поскольку еврейская нота «выпирала» из каждой написанной ими строки: Эдуард Багрицкий (Дзюбин), Михаил Светлов (Шейнкман), Илья Ильф (Файнзильберг), Вера Инбер (Шпенцер)... Наряду с ними вошла в русскую литературу большая группа писателей еврейского происхождения из других регионов страны, что еще совсем недавно нельзя было себе даже представить: Василий Семенович (Иосиф Соломонович) Гроссман, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Лев Кассиль, Владимир Лидин (Гомберг), Вениамин Каверин (Зильбер), Семен Кирсанов, Евгений Шварц, Иосиф Уткин, Рувим Фраерман, Агния Барто, Лев Никулин (Ольконицкий) Михаил Голодный (Эпштейн) и множество других, очень в то время популярных. Их изучали в школах, их стихи заучивали наизусть, о них писали газеты, их издавали огромными тиражами, они были обласканы и осыпаны орденами.

Даже те писатели еврейского происхождения, которые вскоре обретут мировую славу и которые вместо орденов получали от советской власти главным образом «синяки и шишки», как, например, Осип Мандельштам и Борис Пастернак, – даже они, подвергаясь критике и преследованиям, никогда не имели основания полагать, что их преследуют за этнические корни: гонения на великороссов – Анну Ахматову и Михаила Зощенко, Андрея Платонова, Михаила Булгакова или Николая Заболоцкого ничем не отличались

по сути от гонений на их еврейских собратьев.

Одним из самых «кассовых» фильмов стал созданный в 1925 году Бабелем и Михоэлсом фильм «Еврейское счастье» по мотивам рассказов классика литературы на идиш Шолом-Алейхема. Свои первые фильмы только еще нарождавшейся советской кинематографии начали ставить те, кто вскоре станет основным ядром режиссуры и без кого эта кинематография просто не могла бы существовать – почти все они были еврейского происхождения: Дзига Вертов (Кауфман), Абрам Роом, Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Фридрих Эрмлер, Иосиф Хейфиц, Григорий Рошаль, Александр Зархи, Юлий Райзман, Марк Донской... Вскоре к ним присоединятся Михаил Ромм, Сергей Юткевич и другие режиссеры того же происхождения, которые в двадцатые годы еще проходили школу мастерства у признанных профессионалов: никто не мешал им получить желанное образование, никто не препятствовал развернуться таланту.

Такое количество исключительно даровитых людей, притом не только на поприще литературы, кино, в театре, изобразительном искусстве, а тем паче в науке, не могло, разумеется, появиться совершенно спонтанно, вдруг, из ничего... Ясное дело, такие дарования всегда были в еврейской среде, но ранее не имели возможности проявиться. Как бы внезапное и притом «непропорциональное» (по отношению к общей доле евреев в населении страны) их появление в мире русской культуры, техники, точных и естественных наук только озлобленные и завистливые невежды могли трактовать как некий «еврейский заговор» против славянства. Взаимопроникновение и взаимообогащение этносов и культур – процесс закономерный и повсеместный. Но в традиционно антисемитской среде, провоцируемой к тому же политическими подстрекателями, которые греют руки на укоренившихся предрассудках, открывшаяся для евреев свобода самовыражения таила в себе не только грандиозные перспективы для развития личности, но и была бомбой с детонатором замедленного действия.

Сталин безмолвствовал. Он выжидал. Евреи пользовались всеми «благами революции»: время для гонений еще не настало.

Традиционные упреки, адресованные русскому еврейству и в двадцатые, и в последующие годы, состояли в том, что евреи горазды в «непыльной», престижной и хорошо оплачиваемой работе, но чужаются физического труда, особенно труда сельскохозяйственного. Это обвинение было попросту абсурдным уже потому, что по царским законам даже в черте оседлости евреям запрещалось покупать землю и вести на ней свое хозяйство, отчего в подавляющем большинстве они и подвизались, притом зачастую весьма искусно, в личных ремеслах.

Советская власть устранила и эту дискриминацию. Уже в начале двадцатых годов были проведены активные мероприятия для того, чтобы наделить евреев землей, привязать их к ней и дать возможность проявиться в качестве преуспевающих крестьян, каковыми русские евреи никогда не были – отнюдь не по своей вине. Бундовцы стремились к этому для того, чтобы евреи в городках и местечках слились с основной массой аборигенов и сняли с себя несправедливое обвинение, будто они изначально лентяи и белоручки. Сионисты старались обогатить еврейское население навыками крестьянского труда, чтобы они смогли их использовать позже, переселившись в Палестину. Коммунисты были догматиками, но и прагматиками, они тоже, как и их идеологические противники, выступали за наделение евреев землей, но исходили при этом из других предпосылок: ущемленные и преследуемые свергнутым режимом должны получить все то, чего они были лишены при царизме, и вполне добровольно использовать открывшиеся перед ними возможности.

О так называемой «коренизации» еврейского населения речь зашла уже на XII съезде РКП(б) в 1923 году – еще при жизни Ленина, но без его участия. Сначала родилась идея создать еврейскую автономию в

степной (северной) части Крыма с ее плодородными землями (и даже о создании еврейской республики от Бессарабии до Абхазии, с поглощением и Крыма – этот безумный проект предложил один из деятелей «евросекции» ЦК – Брагин). Автором «крымского варианта» был видный экономист и философ, большевистский функционер Юрий Ларин (Михаил Лурье). По его замыслу туда следовало переселить 280 тысяч евреев. Ровно через месяц после смерти Ленина, 20 февраля 1924 года, было опубликовано сообщение об одобрении этого проекта Троцким, Каменевым и Бухариным – имени главного специалиста по национальному вопросу Сталина среди одобрявших проект не оказалось. Но его позицию озвучил тогдашний нарком земледелия Александр Смирнов: создание такой автономии, настаивал он, лишь вызовет межнациональные трения! С чего это вдруг перспектива межнациональных трений волнует наркома земледелия – такой вопрос никто не ставил. Видимо, потому, что всем было известно: под этим «псевдонимом» выступает на сей раз товарищ Сталин. Проект был провален[23].

Если точнее, провалена была идея автономии, но не планы землеустроить еврейское население, которому было выделено 342 тысячи гектаров в степном Крыму и 175 тысяч гектаров на Украине. Целые районы с компактным еврейским населением получили «революционные» наименования: Фрейдорфский («дорф» на идиш – «деревня»), Калининдорфский и, само собой разумеется, Сталиндорфский – без имени самого большого друга трудящихся евреев обойтись было никак невозможно. Созданные в 1924 году КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев) и ОЗЕТ (Общество землеустройства трудящихся евреев) добыли для переселенцев большие деньги у американского «Агроджойнта». За 12 лет (более поздних сведений не имеется) в Крыму и на юге Украины, где разместились 5 еврейских национальных районов, было создано 113 школ на идиш и 213 колхозов, которые, процветая даже не в самые лучшие годы, обеспечили своих членов и жителей соседних районов изобилием продуктов питания и тем самым спасли от голода, поразившего Украину в начале тридцатых.

Под влиянием пропагандистского, лозунгового пафоса о еврейском национальном возрождении и отеческой заботе отца всех народов – Иосифа Сталина (такая пропаганда усиленно велась прежде всего в странах с наибольшим количеством еврейской диаспоры) сотни, а может быть, и тысячи (точной статистики не существует) дореволюционных эмигрантов, не имевших личного опыта общения с большевиками, вернулись на родину[24].

Почти все они вскоре погибли в мясорубке Большого Террора.

Двадцатые годы (и начало тридцатых), при всей их противоречивости, при всем их драматизме, однозначно вошли в историю как золотые годы русского еврейства. Подтверждением этому служит и тот факт, что ни в один другой период российской истории евреи не находились под столь ярко выраженной юридической защитой. Газеты регулярно помещали информацию об антисемитских проявлениях, сопровождая ее указанием на возбужденные уголовные дела, а то и на проведенные судебные процессы, закончившиеся обвинительным приговором[25].

Хотя в Уголовном кодексе, принятом в 1922 году, не было специального указания на проявление антисемитизма как на самостоятельный состав преступления, но зато была статья, предусматривавшая уголовную ответственность за «возбуждение национальной вражды». Она и использовалась для судебной борьбы с антисемитами.

«Певец революции» Владимир Маяковский, выполняя социальный заказ, написал стихотворение «Жид», которое непрерывно читалось на массовых митингах и собраниях: «...кто, по дубовой своей темноте, / не видя ни зги впереди, / «жидом» и сегодня бранится, / на тех прикрикнем и предупредим». Здесь самое главное, конечно, – словечко «прикрикнем»: оно отражало принципы официальной политики по отношению к антисемитизму.

В конце двадцатых началось наступление на бывшую Петербургскую академию наук, к тому времени

уже переименованную в Академию наук СССР, – «бастион реакции», как ее окрестили в советских верхах. Готовились аресты даже великих ученых с мировыми именами – Ивана Павлова и Владимира Вернадского. Самое поразительное: им и многим их коллегам вменялись в вину – через запятую – «антисоветизм, антисемитизм и черносотенство». Здесь важна не достоверность обвинений (они просто абсурдны, особенно в двух последних позициях), а сам их факт: антисемитизм рассматривался как угроза советской власти[26].

Если те судебные процессы, о которых шла речь выше, как и обвинения академиков, проходили и делались публично и, значит, были рассчитаны и на какой-то пропагандистский эффект, то засекреченные уголовные дела по случаю антисемитских проявлений отражали не показушную, а подлинную политическую линию если и не всего партийного руководства, то хотя бы какой-то его влиятельной части[27].

Именно под таким углом зрения надо рассматривать ставшие достоянием гласности лишь через шестьдесят лет дела сибирских писателей и поэтов есенинского круга, обвинявшихся главным образом и прежде всего в антисемитизме. Друзья Есенина, талантливые и самобытные поэты Сергей Клычков, Петр Орешин, Алексей Ганин не раз привлекались к уголовной ответственности за публичное проявление антисемитизма в кафе, пивных и других людных местах, где они величали посетителей еврейского происхождения не иначе как «паршивыми жидами». В обвинительном заключении по их делу говорилось, что они «ставили своей задачей широкую антисоветскую агитацию <...>, обработку и антисоветское воспитание молодежи и враждебных к советской власти слоев населения <...>, выдвигая в качестве конечной политической цели фашизм. <...> Главной опорой в проведении поставленных перед собой задач группа избрала антисемитизм как способ обработки отсталых слоев в антисоветском, контрреволюционном духе».

В конце концов все они были расстреляны, причем обвинения в антисемитизме и в финальном приговоре прописаны достаточно ясно. Судьба сибирских писателей Сергея Маркова, Николая Анова и самого даровитого из них Леонида Мартынова была чуть менее трагичной – они, к счастью, остались живы, хотя их московский собрат, поэт Павел Васильев и ленинградский – поэт Борис Корнилов были расстреляны. Всех их обвиняли в «русском фашизме», мотивируя это стихами и высказываниями антисемитского характера, подлинность которых они сами не отрицали: «Главной опорой для победы русского фашизма эта группа избрала антисемитизм как способ обработки отсталых слоев в антисоветском, контрреволюционном духе», – говорилось в обвинительном заключении[28].

Высокодаровитый поэт Павел Васильев пострадал по крайней мере за действительный, не выдуманный следователями, антисемитизм, отчего доставшийся ему смертный приговор не становится, разумеется, менее бесчеловечным. Его друг, ленинградский поэт Борис Корнилов, несправедливо нес на себе эту печать вообще неизвестно за что – вероятно, всего лишь за близость к некоторым членам «сибирской антисоветской группы», особенно к Васильеву. Даже то обстоятельство, что его второй женой была шестнадцатилетняя Ципа Борнштейн, не спасло поэта от этого обвинения, которое, как видим, в разных городах и регионах страны считалось тогда одним из тягчайших: Борис Корнилов был расстрелян[29]. В двадцатые годы за это посылали разве что в тюрьму, да и то смягчали наказание или совсем миловали, ссылаясь на невежественность предрассудков и на груз царского прошлого. В первой половине тридцатых никакое снисхождение уже не допускалось: «злой антисемит» – под расстрел...

Вряд ли такое зло с глубоко пущенными корнями, как антисемитизм, можно было искоренить приговорами. Даже самыми жестокими, самыми свирепыми, самыми кровожадными. Скажем с полной определенностью и без всяческих оговорок: никакого прощения власти за это злодейство быть не может. Но все же такая судебная политика (не приговоры, а именно политика) вполне определенно говорила об

отношении к нему властей и вселяла в евреев, пусть иллюзорное и – по методам – подлое, чувство защищенности.

«Золотой век» русского еврейства, возводившийся на крови и чреватый трагедией, длился недолго.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Радзинский Э. Сталин. М., 1997. С. 31.

2. Там же. С. 32. Поиски ответа на вопрос о корнях сталинской любви к евреям побуждают разных авторов делать самые невероятные открытия. Некто Г. Климов «докопался» до такой сенсации: «Семья Джугашвили, христианского вероисповедания, происходит от горских евреев Кавказа, обращенных в христианство в начале XIX века. <...> Отец Като (матери Сталина) был евреем-старьевщиком в Кутаиси» (см.: Климов Г. Красные проколы. Краснодар, 1992. С. 117). Мысль понятна: Сталин имел зуб на несуществующую нацию за то, что сам к ней принадлежал, но скрывал свое происхождение. О «еврействе» Берии написаны десятки страниц. И сколько еще будет написано!

3. Бажанов Борис. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1991. С. 30.

4. Известия ЦК КПСС. 1991. № 6. С. 155.

5. Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980.

6. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 708. Л 15, 22 и 24.

7. Весьма показательное хранившееся в полном секрете до девяностых годов письмо Ленина членам политбюро от 19 марта 1922 года относительно программы физического уничтожения православного духовенства в изъятия церковных ценностей. Ленин повелел поставить во главе комиссии по осуществлению этой программы не еврея, а «чистокровного великоросса» Михаила Калинина, открытым текстом объясняя необходимость такой замены «национальной принадлежностью» Троцкого, Каменева и других «соискателей».

Странно, что никому не пришло в голову сместить Емельяна Ярославского (Миня Губельмана) с поста председателя Союза воинствующих безбожников, который натравливал миллионы своих хунвейбинов на разгром (кстати, отнюдь не только православных) храмов и молитвенных домов. Эта акция не могла не разжигать антисемитские страсти (см.: Театральная жизнь. 1989. № 20. С. 28).

8. Агурский М. Демографические сдвиги после революции. Иерусалим, 1985. С. 265.

9. ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 374. Оп. 27. Д. 1096. Л. 69.

10. Там же. Л. 71.

11. Лубянка – улица и площадь в Москве, где располагались многократно менявшие свое официальное наименование советские и постсоветские секретные службы. «Лубянка» – традиционное наименование этих служб в исторической литературе.

12. ГА РФ. Ф. 371. Оп. 6. Д. 1096. Л. 98.

13. «Красная Роза» – это германская социал-демократка Роза Люксембург, еврейка по национальности. Ее именем были названы в Советском Союзе сотни, если не тысячи, улиц, площадей, фабрик, школ и т. д., и даже во время самых оголтелых антисемитских кампаний никто их не переименовывал. Травля евреев на фабрике, носившей имя еврейки, – один из привычных парадоксов

советской жизни.

14. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 77. Л. 86.

15. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 77. Л. 13.

16. РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 2.

17. Там же. Л. 4-5.

18. РГАСПИ. Ф. 445. Оп. 1. Д. 65. Л. 208-209.

19. Там же.

20. РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 1.

21. Источник. 1994. №4. С. 114.

22. Минувшее. 1992. № 10. С. 190. Руководителя Еврейской секции ЦК Диманштейна, пламенного борца за ассимиляцию, т. е. за растворение евреев в русском этносе, Сталин казнит в 1937 году.

Яростная защита Горьким евреев побудила современных демократов постсоветского образца поставить кощунственный вопрос: «Не Горький ли и насадил антисемитизм в современной России?» (см.: Октябрь. 1992. № 5).

23. Отечественная история. 1993. № 4. С. 176.

24. Там же. Свою роль, вероятно, сыграло и выступление М. Калинина на Всесоюзном съезде ОЗЕТ в 1926 году, где он страстно поддержал идею землеустройства евреев в южной части Украины и в степном Крыму (см.: Ленинградский еврейский альманах. Л., 1987. Вып. 14. С. 37). См. также книгу Давида Заславского «Евреи в СССР» (М., 1936), где содержится много убедительных фактов об успехах советских евреев-земледельцев.

25. Бейзер Михаэль. Евреи Ленинграда. Иерусалим, 1999. С. 111.

26. Вопросы истории КПСС. 1988. № 11. С. 4. См. также: Минувшее. № 7. 1992. С. 443.

27. Судебное преследование академиков все же последовало и для многих крупнейших ученых закончилось даже смертным приговором уже в тридцатые годы. Среди расстрелянных по этому делу – виднейшие русские филологи Николай Дурново, Григорий Ильинский и другие. Процессы шли при закрытых дверях, тем большее значение приобретает тот факт, что обвинение в антисемитизме осталось, то есть государство продолжало осуждать его не фиктивно, а реально, сколь ни абсурдно и дико такое обвинение применительно к ученым мирового уровня. Настораживает, однако, тот факт, что оно было предъявлено академиком следователями исключительно еврейского происхождения: Лазарем Коганом, Лазарем Альтманом и Генрихом Люшковым. Некоторые авторы не без основания усматривают в весьма специфическом подборе следователей нарочитую, хорошо обдуманную провокацию, продиктованную кремлевским дирижером. Этой зловещей странице советской истории посвящено специальное исследование Ф. Д. Ашнина и В. М. Алпатова «Дело славистов» (М., 1994).

28. Все архивные материалы по этим делам – в книге Станислава и Сергея Куняевых «Растерзанные тени» (М., 1995).

29. Из его небольшого поэтического наследия, отличавшегося несомненным и ярким талантом, до сих пор – вот уже 70 лет – жива песня «Нас утро встречает прохладой», музыку которой написал Дмитрий Шостакович. Великий композитор, чье абсолютное отвержение даже самого малого проявления антисемитизма общеизвестно, никогда не стал бы сотрудничать с человеком, чья репутация запятнана именно этим пороком.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Очень много лет назад знаменитый в ту пору, особенно в двадцатые и тридцатые годы, московский адвокат Илья Брауде, стажером которого я был в течение полутора лет, сказал мне нечто такое, что тогда звучало почти как фантастика: «Еще каких-нибудь четверть века назад быть евреем считалось престижным». Он сказал это, прочитав принесенное ему досье о мытарствах человека, который годы подряд безуспешно искал работу: бедолаге с отличным дипломом и великолепным послужным списком всюду отказывали, как только узнавали, что он еврей. В Советском Союзе к тому времени уже давно не было пособий по безработице, так что этот человек был обречен на нищенство. К тому же неработающие (кроме инвалидов и пенсионеров), независимо от того, почему они оказались в таком положении, подвергались административному выселению из Москвы в течение 48 часов. «А вот в двадцатые годы, – продолжил Брауде, – у евреев при приеме на работу или когда сокращался аппарат даже была привилегия. Они считались нацменьшинствами, пострадавшими при царизме и оттого нуждающимися в особой заботе».

Многочисленные подтверждения этому я нашел в домашнем архиве. Моя мать, адвокат с 1926 года (сначала в Сибири, затем в Москве), провела много судебных дел – уголовных и гражданских, – в которых очень ярко присутствовала еврейская тема: обвинения в антисемитских проявлениях, даже совсем невинных по нынешним меркам. В одном деле, к примеру, датированном 1927 годом, содержится такая формула обвинения: «...Х. неоднократно намекал (!), что евреи тянут за собой друг дружку на теплые места». И за такие «намеки» его привлекли к уголовной ответственности! Чаще всего подобные дела завершались обвинительным приговором, а в трудовых спорах, при конфликтах между администрацией и служащим-евреем, победа последнего была почти всегда обеспечена – судьям не хотелось, чтобы кто-либо из них сочли антисемитом.

В то же время значительная часть еврейского населения сменила тогда свои – специфически национальные – имена и фамилии на русские. Это происходило отнюдь не из желания скрыть свою национальность – в этом не было еще никакой нужды, – а из стремления не выделяться, не акцентировать этническую принадлежность, ибо в соответствии с господствовавшей тогда идеологической установкой для коммуниста не существует ни русских, ни евреев, ни латышей, ни татар – только пролетарии и буржуа. Перемена имен и фамилий производилась в простейшем порядке: надо было лишь опубликовать соответствующее сообщение в прессе и, ничего не доказывая и ничем не аргументируя свое желание, отправиться за новыми документами в районный загс: их обязаны были выдать по первому требованию заявителя.

Местные газеты того времени переполнены информацией такого рода – почти все эти сообщения однородны: Абрам менял свое имя на Александр, Соломон – на Семен, Моисей на Михаил, Израиль на Илья... Отчества менять не разрешалось (это можно было сделать лишь в случае, если здравствующий отец сам изменит свое имя), но очень многие явочным порядком пользовались такой заменой в быту: практически почти все евреи – «Семеновичи» были на самом деле Соломоновичами или Самуиловичами, а «Михайловичи» – Моисеевичами или Менделевичами. Лишь для немногих псевдоним был обусловлен соображениями конспирации при нелегальной партийной работе до 1917 года. Двойная фамилия (подлинная – в скобках), неоднократно встречающаяся и на страницах этой книги, объясняется главным

образом той же причиной. Этот прием, как мы увидим впоследствии, широко использовался державными советскими антисемитами для «разоблачения» еврейского происхождения жертвы. Я вынужден пользоваться им для того же самого, но, как каждому очевидно, с совершенно иной целью. Строго говоря, в официальной терминологии, а тем более в деловой документации, слова «еврей» вообще не существовало. До 1933 года в стране не было внутренних паспортов, а стало быть, не было и документа, фиксирующего этническую принадлежность. Главная причина введения паспортов вполне очевидна: уже готовился Большой Террор, все население надо было взять на контроль и следить за передвижением каждого. Но попутно решалась и другая задача: отделить «овец от козлищ», с тем чтобы никакая перемена имен и фамилий не могла бы скрыть «состав крови».

В паспорта ввели специальную графу: национальность. Не вероисповедание, как было при проклятом царизме, а именно национальность, то есть этнические корни, как в нацистской Германии, и нигде больше. Эта графа шла в паспорте под пятым номером, поэтому на долгие годы типично советская формула «пятый пункт», не понятная ни одному человеку из иного мира, стала эвфемизмом слова «еврей». Когда говорили: «он не прошел по пятому пункту» или «инвалид пятой группы», это означало, что кого-то не приняли на работу, не дали какого-то разрешения, в чем-то отказали и т. п. из-за того, что он еврей. По существу, в реальности, пятый пункт означал только национальную идентификацию еврея. Принадлежность к другому этносу никого не интересовала. Украинцу, армянину или узбеку обозначение в паспорте его этноса ничем не угрожало, как и не сулило никаких благ. Недаром же – правда, чуть позже – появился такой анекдот, очень краткий и выразительный: на вопрос «ваша национальность?» следует ответ «да». Никаких других пояснений не требовалось.

Паспорта, с момента их введения, получали лишь жители городов. Крестьяне – в том числе, разумеется, и колхозники – права на паспорт не имели. Это было сделано для того, чтобы привязать их, как рабов, к своей деревне, ибо без паспорта никуда уехать было нельзя. Даже купить билет на поезд... Но – заметим опять же попутно – это не слишком мешало контролю за принадлежностью к еврейству, поскольку еврей-земледельцы, как будет сказано ниже, работали почти исключительно в этнически «чистых» (еврейских) колхозах и были там на учете, а передвигаться без паспортов не могли. Получался замкнутый круг.

Все это можно понять и по достоинству оценить лишь с дистанции времени. Тогда никто – ни в самом СССР, ни за границей, где тотальная паспортизация советского населения активно обсуждалась, – не видел в этом административном нововведении еще и какого-то – не главного, разумеется, а дополнительного, но все же специфического подтекста. Тем более что сами кремлевские вожди не скупились на заверения в своем неизменном интернационализме, а для зарубежной общественности с таким категорическим заявлением, притом прямо по самому «больному» вопросу, выступил лично – Сталин.

В самом конце 1930 года Еврейское телеграфное агентство США попросило Сталина ответить на вопрос, каково официальное отношение советской власти к антисемитизму. Не было никакого специального повода или события в самом СССР, которые могли бы спровоцировать этот вопрос. Просто-напросто агентство, специализирующееся именно на еврейской тематике, задало вождю самой интернациональной в мире страны естественный и вполне невинный вопрос, неизменно интересовавший медию, на которые оно работало. Тем более что антисемитизм уже поднимал голову во многих европейских странах, прежде всего – в Германии.

Привычки давать интервью западной прессе у Сталина не было, и, однако, уже 12 января 1931 года кремлевский владыка ответил. Не только с поразительной быстротой, но и с поразительной категоричностью: «Антисемитизм опасен для трудящихся как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты <...> не могут не быть непримиримыми

и заклятыми врагами антисемитизма. «...» Антисемитизм как крайняя форма расового каннибализма является наиболее опасным пережитком каннибализма «...» Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью». Об этой благородной и достойной позиции своего вождя страна (не за граница!) узнала лишь через двадцать лет[1]. Но так или иначе Сталин такое вдохновляющее заявление сделал, и его разнесла по свету мировая печать.

Конечно, при желании некоторые, действовавшие тогда, советские законы (например, статью Уголовного кодекса, предусматривавшую ответственность за «возбуждение национальной розни») можно было бы истолковать и как направленные против антисемитов, а если, в духе традиционной советской юстиции, объявить все, что не по нраву властям, контрреволюцией, то нашлись бы и законы, допускавшие за такие деяния даже смертную казнь. Так что если бы Сталина вдруг попросили уточнить свою декларацию и сослаться на конкретный закон, сделать это было не сложно. Но все же Сталин явно перегнул. Закон, напрямую объявлявший преступлением именно антисемитизм, перестал существовать в 1922 году с принятием Уголовного кодекса (вряд ли Сталин об этом забыл), а антиантисемитских процессов, завершившихся смертным приговором, не было, разумеется, и в помине.

У меня сохранилось досье по одному делу, которое Илья Брауде вел в конце двадцатых годов. Молодой муж юристки еврейского происхождения, русский рабочий парень, беспрерывно оскорблял ее национальное достоинство, публично измывался над ней и унижал, а закончилось это тем, что в пылу очередной ссоры пальцем проткнул ей глаз. Его судили – и осудили – за увечье, которое он причинил, но ни в формуле обвинения, ни в приговоре нет ни слова о самостоятельном, ничуть не менее тяжком (а судя по сталинскому ответу Еврейскому телеграфному агентству США – даже более тяжком) преступлении: активном антисемитизме, который якобы карался в Советском Союзе смертной казнью.

И все же в утверждении, что двадцатые годы, как и первая половина тридцатых, – период государственного покровительства российскому еврейству, есть немалая доля правды. Именно в этот период множество лиц еврейского происхождения выдвигается на руководящие посты во всех сферах партийной, комсомольской, государственной, профсоюзной, хозяйственной, культурной жизни. Даже в военном ведомстве, где участие евреев после гражданской войны было не слишком заметным (не считая политработников – комиссаров), к началу тридцатых годов весьма высокие посты заняли лица еврейского происхождения. Когда был создан в очень узком составе Военный Совет при наркомате обороны, шестнадцать мест получили в нем военачальники еврейского происхождения[2]. Вскоре все они погибли в лубянской застенке.

Даже в святая святых – в партийном идеологическом штабе, в редакции газеты «Правда» – высшие руководящие посты были отданы евреям: газетой управлял триумvirат в лице пользовавшихся безраздельным доверием Сталина Льва Мехлиса, Михаила Кольцова (Фридлянда) и Льва Ровинского[3]. Еще того более: Сталин направил на работу в «Правду» ее чрезвычайно плодовитым и чрезвычайно воинственным фельетонистом Давида Заславского, меньшевика, активного «бундовца», справедливо обвинявшего Ленина (1917 год) в сговоре с германскими властями для низвержения законной российской власти и заслужившего от Ленина самые бранные клички, которые были в печатном словаре. До сих пор кажется невероятным: в 1928 году центральное место на страницах главного партийного органа занял беспартийный еврей, не раз себя заявлявший как непримиримый антибольшевик! И лишь шесть лет спустя, в 1934 году, доказав своим ядовитым пером верность отцу народов, Давид Заславский вступил в партию. Рекомендацию ему дал лично Сталин[4].

Все советские послы персонально утверждались политбюро, то есть фактически самим Сталиным. Тем показательнее, что и в двадцатые, и в тридцатые годы послами в самых важных для Москвы западных странах (США, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании и других) были евреи: Максим Литвинов

(Баллах), Иван Майский (Израиль Ляховецкий), Адольф Иоффе, Григорий Сокольников (Бриллиант), Борис Штейн, Яков Суриц, Марсель Розснберг, Михаил Кобецкий, Лев Хинчук, Константин Уманский... Еще того более: Яков Суриц с вызывающей демонстративностью был назначен послом в Берлине в 1934 году, когда там уже установилась нацистская власть, даже на первом этапе отнюдь не скрывавшая своего отношения к евреям[5].

Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что Сталин именно демонстрировал, иногда и без видимой необходимости, не только свою толерантность, но даже какую-то особую симпатию к евреям, – это говорит лишь о том, что он боялся (еще не пришло время!) обнажить истинное отношение к ним. Он знал в себе этот порок и пока еще ни в коем случае не хотел, чтобы о нем узнали другие: такие болезненные «перестраховочные» комплексы хорошо известны психологам и достаточно подробно изучены. В русской лексике они выражены старой народной пословицей: «на воре шапка горит».

Когда в 1934 году потерпел катастрофу стратостат, поднявшийся на рекордную для того времени высоту (свыше 22 тысяч метров), и три стратонавта погибли, их прах в виде особой чести было решено замуровать в кремлевской стене. Сталин лично участвовал в торжественных похоронах, но нес урну не с прахом командира экипажа Павла Федосеенко, как было бы положено генсеку и великому вождю, а члена экипажа под третьим номером, 24-летнего специалиста по космической радиации Ильи Усыскина – вряд ли случайно в его некрологах настойчиво подчеркивалось, что молодой ученый родился в бедной еврейской семье[6].

Для сталинской мнительности, несомненно, были достаточные основания. Прямых доказательств эскалирующего сталинского антисемитизма – документов, публичных заявлений, откровенных высказываний, пусть даже в узком кругу, но не с глаза на глаз, – таких доказательств, разумеется, нет и быть, применительно к тому периоду, просто не может: Кремль все еще играл в несокрушимый интернационализм и в «сталинскую дружбу народов». Но есть слишком много косвенных доказательств, которые по своей убедительности и силе не кажутся более слабыми, чем доказательства прямые.

Из их числа есть смысл выделить одно, которое столь красноречиво, что в комментариях не нуждается.

После смерти Ленина множество партийных историков занялось его биографией. Без малейшего труда иные из них обнаружили факт, никем, естественно, никогда не скрывавшийся, но просто никому не известный, поскольку раскопки в этнических корнях какой бы то ни было личности тогда были просто не в чести: вождь русского (но, кстати, и мирового) пролетариата оказался – подумать только! – на четверть евреем.

Теперь предоставим слово старшей сестре Ленина – Анне Ульяновой.

Вот что она писала Сталину 19 декабря 1932 года в письме, пребывавшем до самого последнего времени в архивной папке с грифом: «Совершенно секретно. Не выдавать никому»:

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Обращаюсь к Вам не только потому, что Вы стоите во главе партии, но и поскольку люди, причастные, по-моему, к очень постыдной истории, заставившей меня написать Вам, дают понять, что действуют по согласованию с Вами, хотя я просто не могу в это поверить. <...> Исследование о происхождении моего, а значит и Владимира Ильича, деда показало, что он происходил из бедной еврейской семьи, был, как говорится в документе о его крещении, сыном житомирского мещанина Мойшки Бланка. Этот факт, имеющий важное значение для научной биографии Владимира Ильича, для исследования его мозга, был признан неудобным для разглашения. В Институте (речь идет об ИМЭЛ, то есть институте Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б). – А. В.) было постановлено не публиковать и вообще держать этот факт в секрете. В результате этого постановления я никому, даже близким

товарищам, не говорила о нем. <...> Этот факт, вследствие уважения, которым пользуется Владимир Ильич, может сослужить большую службу в борьбе с антисемитизмом, а повредить, по-моему, ничему не может. <...> У нас ведь не может быть никакой причины скрывать этот факт, а он является лишним подтверждением данных об исключительных способностях семитского племени и о выгоде для потомства смешивания племен, что разделялось всегда Ильичем. Ильич высоко ставил всегда евреев»[7].

Письмо Анны Ильиничны дошло до адресата: на нем имеется сталинская пометка: «В архив»[8]. Это значит: ответа не требует. Сестра «вождя и учителя», именем которого Сталин клялся тысячи раз, ответа его верного ученика не удостоилась. Вне всякого сомнения, будь письмо на другую тему, тогда, в тридцать втором, он бы еще ей ответил.

Что касается отношения Ленина к евреям, то Анна Ильинична совершенно права. В одном из писем Горькому Ленин писал: «Русский умник всегда еврей или человек с примесью еврейской крови»[9]. Скорее всего, имел в виду и себя.

К еврейским корням Ленина, точнее, к вакханалии, которая была поднята вокруг этого открытия всего через несколько лет, нам еще предстоит вернуться. Сейчас же важно отметить, что в самом начале тридцатых, когда на поверхности не было вроде бы никаких признаков государственно-партийного антисемитизма, за кулисами, вдали от посторонних глаз, он активно себя проявлял на самом высшем уровне – иначе такое письмо Анны Ульяновой просто не было бы написано. И уж вполне красноречива ссылка сотрудников партийного института на самого товарища Сталина – все, без оснований, в таких стенах такие ссылки не делались.

Добавим к этому, что страх, который испытывали сотрудники института, был подогрет еще и событием как бы локального значения. Только что, в начале того же года, был изгнан со своего поста, судим во внесудебном порядке (это не обмолвка, такая тогда существовала официальная формула), исключен из партии и сослан директор ИМЭЛ, академик Давид Рязанов (Гольденбах). Он осмелился выступить и против идеологической монополии Сталина, и против извращения истории, и против уже затеянных к тому времени фальсифицированных судебных процессов (к примеру, против никогда не существовавшей «Промпартии» или «вредителей»-меньшевиков), и против антисемитизма, пока еще как бы негласно процветавшего в среде молодых партийцев и комсомольцев, то есть – тех люмпенов, на которых Сталин и сталинцы уже безошибочно сделали ставку в борьбе за власть[10].

Из многочисленных свидетельств о нараставшем сталинском антисемитизме вспомним и свидетельство из первых рук. Светлана Аллилуева, рассказывая об отношениях между Сталиным и ее матерью, пишет, что отец часто ругался с Надеждой Сергеевной, когда та защищала кого-либо из гонимых евреев. Сталин, утверждает С. Аллилуева, не раз говорил, что история партии – это история борьбы против евреев. Естественно, он имел в виду борьбу с меньшевиками и свою личную борьбу с Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Выдавая свои, пока еще не афишируемые, чувства, он даже принципиальную, позиционную конфронтацию окрашивал в национальные тона, видя в своих противниках не просто врагов, но врагов-евреев.

Еще больше подливало масла в огонь то обстоятельство, что эти враги были выше, чем Сталин, хотя бы по части образования, эрудиции, знаний, культуры – они чувствовали свое превосходство и не сомневались, что он сам чувствует то же. Для Сталина это было величайшим унижением, которое он всемогущий! живой Бог! – ни при каких условиях не мог оставить без последствий. Вообще, надо сказать, евреям сильно не повезло оттого, что главными врагами Сталина в борьбе за власть после смерти Ленина оказались евреи. Будь на месте Троцкого, Зиновьева и Каменева кто-то другой, не семитских корней, – возможно, многое в последующие годы происходило бы иначе. Хотя бы по отношению к евреям.

Этот довод может кому-то показаться слишком наивным и уж во всяком случае не научным. Но к

Сталину, как, впрочем, и к любой крупной фигуре на общественной сцене, нельзя подходить слишком функционально – только как к участнику большой игры в высших эшелонах власти. Он еще и «просто» человек – со своим характером, темпераментом, физическими и психическими отклонениями. Без психологического портрета не существует и политического. Или, во всяком случае, политический будет в таком случае неточен и плосок.

Гнев его копился годами – он обладал кавказским накалом чувств, но и кавказской же терпеливостью, умением ждать. Оттого так долго терпел, уже «разобравшись» с еврейскими претендентами на трон, своих, еврейских же, секретарей – разгони он их всех сразу, пошел бы разговор о Сталине-антисемите.

Еще – на этот счет есть множество свидетельств – его бесило «засилье» еврейских жен в ближайшем окружении, на самом-самом партийном верху. На еврейках были женаты многие русские члены ЦК и даже Политбюро в двадцатые или тридцатые годы: Молотов (Перл Карповская, она же Полина Жемчужина), Ворошилов (Голда Горбман), Бухарин (сначала Эсфирь Гурвич, потом Анна Лурье), Рыков (Нина Маршак), Калинин (Екатерина Лорберг), Киров (Мария Маркус), Куйбышев (Евгения Коган), Андреев (Дора Хазан, она же Сермус), Орджоникидзе (Зинаида Павлуцкая), Крестинский (Вера Иоффе), Постышев (Татьяна Постоловская), Луначарский (Наталья Розенель), Межлаук (Чарна Эпштейн), Ежов (Евгения Файгенберг-Хяютина-Гладун) и еще многие другие – их перечень занял бы непомерно большое место. Даже самый близкий к Сталину помощник, едва ли не его alter ego, Александр Поскребышеа тоже выбрал себе в жены Брониславу Соломоновну Вайнтрауб...

Ничего удивительного в этом, конечно, нет. За очень малым исключением все новые, после октября 1917 года, властители России вышли из бедных пролетарских и крестьянских семей, и встреча с восторженными девушками совсем другого круга, пламенными большевичками неизмеримо более высокого образовательного и культурного уровня (некоторые даже называют их «экзотическими» – такими они, вероятно, казались рабочим парням), не могла не поражать воображения. Это тоже было вхождением в иной мир, но уже не в общественном, а в личном плане. Сталин же переводил и это, как и все остальное, сугубо в политическую плоскость. Вполне знаменательна такая его, очень уж специфическая, шутка. Обращаясь в своих письмах к ближайшему и самому верному «соратнику» Вячеславу Молотову, он нередко, еще с двадцатых годов, и впоследствии тоже, называл его «Молотштейн» – подтекст вполне очевиден[11]. Иногда Сталин варьировал свою шутку, превращая «Молотштейна» в товарища тоже с еврейским душком – «Молотовича»[12].

Так называемые «мелкие факты» иногда говорят больше, чем «крупные».

В 1934-1935 годах в Берне состоялся судебный процесс, на котором рассматривалось происхождение пресловутых «Протоколов сионских мудрецов» – апокрифического документа о так называемом заговоре мирового еврейства, стремившегося захватить власть над всем миром. Сочиненные еще в конце XIX века в царской России кучкой черносотенных журналистов, «Протоколы» были разоблачены в стране своего происхождения, причем большевистская печать принимала активное участие в этой акции, возмущаясь «грязной кухней тюрьмы народов».

В Берне фальшивка была полностью разоблачена теперь уже на международном уровне, притом с соблюдением всех правил демократической судебной процедуры. Казалось бы, советской печати пристало громче всех заявить об этом: ведь даже (!) буржуазный суд признал правоту большевиков, давно разоблачивших буржуазную подделку и антисемитскую клевету. Однако все советские газеты (все – откуда такое единение?!) обошли сенсационное решение бернского суда полным молчанием[13].

Нарочитость этого молчания станет еще более заметной, если сопоставить его с таким фактом. В Швейцарию был направлен в качестве специального корреспондента «Известий» Илья Эренбург, который

посвятил присланную оттуда статью поднимавшему в Европе голову нацизму, проникшему даже в Швейцарию, активности различных нацистских объединений, преследованиям евреев и клевете на них, распространявшейся в разных странах, – эти проблемы обсуждались тогда в Лиге Наций[14].

Как раз в этой связи и возник бернский судебный процесс и как раз по случаю разгула фашистского «Национального фронта» в Швейцарии туда и был направлен Эренбург. Но ни одного слова об этом судебном процессе, происходившем тут же, в Швейцарии, в те же самые дни (о нем гремела мировая печать) и имевшем к теме его статьи самое прямое отношение, там нет ни слова.

Разумного объяснения этому факту нет. Но дочь Ильи Эренбурга, Ирина Ильинична (автор первоклассных переводов с французского; подписывала их псевдонимом И. Эрбург), с которой я поделился своим недоумением, рассеяла все сомнения. Она достоверно знала о том, что отец подробно написал о процессе, но все упоминания о нем были вырезаны в редакции. В шестидесятые годы Илья Эренбург собирался включить эту статью в один из томов собрания своих сочинений и тщетно искал в архиве выброшенные куски – именно поэтому дочь хорошо запомнила, о какой статье и о каких погибших ее фрагментах шла речь. Совершенно очевидно, что, не имея каких-то указаний сверху, редакторат «Известий» пойти на такие скандальные купюры в 1935 году не мог.

К этому же времени относится и еще один документ, на долгие годы упрятанный в секретных архивах Кремля. Отраженным, но очень ярким светом он фиксирует эволюцию сталинского отношения к «еврейскому вопросу», пока еще не слишком очевидного для непосвященных, но уже замеченного теми, для кого этот «вопрос» носил отнюдь не теоретический характер. Словечки «якобы», «будто бы», «неким» и им подобные, которые употребляет автор цитируемого ниже письма, должны были, видимо, смягчить реакцию Сталина, позволить ему отвергнуть «несправедливые обвинения», но все же довести до его сведения, что миру известны факты, не слишком красящие его режим.

27 декабря 1935 года Ромен Роллан отправил с оказией (советской почте он не слишком доверял) письмо Сталину. Его привез и лично передал 16 января 1936 года в руки генсека дипломат, ближайший друг Молотова, Александр Аросев, занимавший тогда пост председателя Всесоюзного общества культурной связи с заграницей[15].

«Я недавно получил из Тель-Авива (Палестина), – писал Роллан, – письма, за подписью еврейского писателя, объявляющего себя революционером и поклонником СССР. Он возмущается, однако, якобы царствующим в СССР неким антисемитизмом, который находит свое выражение в преследовании евреев, желающих говорить на своем языке. Этот древнееврейский язык будто бы объявлен правительством «контрреволюционным» и по этой причине запрещен. Я слышал такую же жалобу от молодых евреев в Швейцарии»[16].

Слишком осторожные выражения, которые выбирает Роллан, с непреложностью означают, что он не сомневается в достоверности излагаемых им фактов, но считает вредным для дела впасть в обличительную тональность. Естественно, все, что «якобы царствовало» в СССР, царствовало там без всякого «якобы». И Сталин знал это, как знал и то, что Роллан тоже знает. И поэтому на письмо его не ответил, как и на четыре других, хотя сам же заверял Роллана, который посетил его вместе с М. Горьким несколькими месяцами ранее, что находится в его, Роллана, «полном распоряжении»[17].

Особенность ситуации (иные говорят, что в сочетании несочетаемого и состояла сталинская хитрость, принятая за гениальность) отличалась тем, что любой просочившийся «в публику» факт очевидно антисемитской направленности мог быть тогда перечеркнут, опровергнут, отвергнут фактами прямо противоположными. Притом не мнимыми, а подлинными. Государственное юдофобство мирно уживалось с государственным юдофильством.

Пожалуй, если быть более точным, назвать юдофильство того времени государственным все же нельзя. Просто Сталин лавировал, соблюдал правила затеянной им многоэтапной игры. Время, когда он мог сказать, пусть даже не вслух, а самому себе: «Пусть говорят что хотят, но я буду делать то, что хочу», – такое время в еврейском вопросе еще не настало. Сталину было пока еще важно, что о нем говорят не только в своей стране, но и в мире, он не хотел ронять своего имиджа и был в этом своем стремлении весьма изворотливым и искусным.

Многие западные деятели – политики, писатели, журналисты – искали встречи с ним, но он тщательно выбирал своих собеседников. Конечно, не было никакой случайности в том, например, что он согласился на встречу с немецким писателем Лионом Фейхтвангером – не только евреем по происхождению, но и с особой остротой относившимся в своем творчестве и в своих публичных высказываниях к еврейской теме. Тем более что все нараставший, агрессивный антисемитизм нацистов на его родине делал эту тему еще острее. Имя Фейхтвангера было известно в Советском Союзе еще больше, чем в Европе и даже в его родной стране, но в любом случае авторитет этого независимого, беспартийного писателя-еврея был очень велик – дружеская беседа с ним отводила от Сталина любые подозрения в его антисемитизме. Было совершенно очевидно, что Фейхтвангер затронет эту тему в беседе, и это давало Сталину возможность совершенно непринужденно, без всякого нажима, внедрить в сознание собеседника (а через него, глядишь, и в сознание тех, с кем Фейхтвангер поделится своими впечатлениями), до какой степени Сталин был, есть и будет другом еврейского народа. Народа, которого, согласно сталинской концепции, изложенной им еще четверть века назад, вообще не существует.

Расчет Сталина оправдался – ему вполне удалось запудрить Фейхтвангеру мозги. Он так убедительно отверг все обвинения, высказывавшиеся на Западе против него (включительно и те, о которых писал ему Роллан), что очарованный немецкий писатель поспешил поделиться своими восторгами со всем миром.

«В общем я считаю, – написал он в своей, поражающей слепотой и наивностью, книге «Москва 1937», – поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза неразумным и недостойным.

Они не видят всемирно-исторических успехов, достигнутых Советским Союзом, они не хотят понять, что историю в перчатках делать нельзя. <...>

Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии»[18].

Ничего необычного в такой реакции просвещенного западного демократа и эрудита для Сталина не было: он знал, что умеет, когда ему это нужно, производить благоприятное впечатление на восторженных западных левых, и успешно пользовался их близорукостью в своих интересах. Перед ним был еще более яркий, еще более впечатляющий пример.

В декабре 1934 года американский журналист Исаак Дон Левин[19] предложил Альберту Эйнштейну осудить начавшийся в СССР террор, обратив, в частности, его внимание на то, что усердная поддержка многими западными либералами еврейского происхождения сталинской деспотии служит удобной ширмой для сокрытия «партийного антисемитизма».

Эйнштейн отказался – с такой мотивировкой: «Согласитесь, большевики доказали, что их единственная цель – реальное улучшение жизни русского народа; тут они уже могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем же акцентировать внимание общественного мнения в других странах на грубых ошибках режима? Разве не вводит в заблуждение подобный выбор?»

Нетрудно догадаться, как покоробили знатока советских реалий Дон Левина слова великого ученого насчет «ошибок», под которыми подразумевались казни безвинных и пока еще скрытый от нежелающих видеть глаз сталинский антисемитизм. Дон Левин ответил Эйнштейну с максимальной для данного случая

деликатностью, но совершенно определенно: «Боюсь, что столь большое число передовых евреев, клянувшихся свободой и принимающих диктатуру, – печальное предзнаменование для нашего будущего»[20].

Но для Сталина позиция еврея Эйнштейна значила куда больше, чем позиция еврея Дон Левина.

Что касается собственно еврейского вопроса, то тут Сталин был пока неуязвим: никаких упреков за те или иные видимые проявления антисемитизма предъявить ему было нельзя. В феврале 1934 года, на 17-м съезде партии, членами и кандидатами в члены ЦК были избраны 139 человек, из них 27 евреев[21]. Такое соотношение (20 процентов) никогда уже больше не повторялось. Число евреев, занимавших самые крупные государственные посты, никто в точности не подсчитывал, но их было много, слишком много для того, чтобы можно было Сталина обвинить в национальной дискриминации.

Он не уставал и в, казалось бы, мелочах демонстративно подчеркивать свое глубокое расположение к еврейскому присутствию – прежде всего в науке и культуре.

Глубочайшее впечатление на московскую публику (а значит, и на аккредитованных в Москве иностранных дипломатов и журналистов) произвел, например, отлично осуществленный Сталиным экспромт (впрочем, экспромт ли?) в Большом театре, где 11 января 1935 года помпезно отмечался несколько странный юбилей – 15 лет советского кино. После мимического номера, исполненного двумя самыми блестящими актерами Еврейского театра (они снимались и в фильмах) Соломоном Михоэлсом и Вениамином Зускиным, Сталин встал в своей правительственной ложе – так, чтобы его видел весь зал, – и долго им аплодировал. Стоя советская публика привыкла приветствовать только самого вождя и его «соратников». Теперь же, вместе с вождем и по его инициативе, она столь почтительно отметила искусство еврейских артистов[22].

Месяц спустя с невероятной помпезностью было отпраздновано еще одно 15-летие – совсем не «круглый», обычно не отмечаемый, юбилей: создание Еврейского театра. Для приветствия театра и получившего в этот день звание народного артиста Михоэлса прибыли официальные делегации из Грузии, Украины, Белоруссии, с Урала, газетные страницы ломались от потока восторженных поздравительных писем, публикация которых была бы невозможна без указания сверху[23].

Только очень наивные люди не могли догадаться, на кого было рассчитано эти политические шоу.

Одного из тех, кому он так восторженно аплодировал, Сталин распорядится убить через тринадцать лет, второго через семнадцать. Как уже неоднократно было отмечено, этот «кремлевский горец» обладал уникальным терпением, он умел ждать.

...Наиболее проницательные люди сразу поняли, что выстрел, прозвучавший в Ленинграде 1 декабря 1934 года и сразивший Сергея Кирова (верного сталинца и потенциального его преемника), перевернул одну страницу советской истории и открыл другую, находившуюся с первой в неразрывной логической связи. От политической конфронтации с негодными ему людьми, сопровождаемой партийными санкциями, Сталин перешел к их физическому уничтожению. Заодно предстояло погибнуть и миллионам людей, не имевшим к этой борьбе вообще никакого отношения: их уничтожение преследовало только одну цель – вселить в население едва ли не мистический страх перед гневом судьбы и побудить его к непрекаемой покорности диктатору.

Трудно сказать, были ли Сталиным просчитаны в точности все последствия, или он просто доверился своей интуиции, но результаты превзошли все ожидания. Фактически вся страна встала на колени, и каждый обреченно ждал своей участи.

Поскольку никакой (по крайней мере, видимой и доступной человеческому пониманию) логики в наступившем и стремительно набиравшем обороты Большом Терроре не было, его нельзя было объяснить

и потребностью в этнической чистке. Скорее всего, если в мыслях Сталина такая задача и присутствовала, то он с ней тогда еще ни с кем не делился: она раскроется лишь через несколько лет. Евреи страдали ничуть не больше, но и не меньше, чем все остальные.

Правда, подозрение в том, что без «еврейского вопроса» не обошлось, возникло уже в 1933 году, когда с подачи Сталина был брошен первый пробный камешек – сколочена в лубянских кабинетах никогда не существовавшая «контрреволюционная троцкистская группа», которую для отвода глаз стали называть группой Ивана Смирнова, Тер-Ваганяна и Преображенского: ни одного еврея! На самом деле в «группе» из восьмидесяти шести человек их было пятьдесят три, из-за чего это «совершенно секретное» дело стали в партийных кругах, где о нем все же было известно, называть «делом Бейлиса»[24].

В мифический «Московский центр», который Сталин повелел «создать», чтобы арестовать 16 декабря 1934 года своих заклятых друзей Зиновьева и Каменева, впихнули в общей сложности 18 человек (для начала этой цифры оказалось достаточно) и к этим двум «главным» евреям добавили еще пятерых. Заподозрить Сталина в антисемитизме и на сей раз было невозможно – процент евреев на руководящих постах, откуда рекрутировались все новые и новые враги народа, был и в самом деле велик[25].

Однако в сколоченной параллельно, в те же самые дни, «ленинградской контрреволюционной группе» (общим числом в 843 человека), главным образом, кстати сказать, не из партийных функционеров, а из среды рабочих и служащих весьма среднего уровня, количество евреев не могло не обратить на себя внимания: оно превысило 60 процентов. Но и это еще можно было бы при желании объяснить особой, «специфически еврейской», приверженностью к оппозиционности.

Однако произошло событие, для тогдашней советской реальности знаменательное. В группу, отобранную для первого судебного процесса, вошло 17 евреев из 77 привлеченных к ответственности, и впервые за годы большевизма они были обозначены по своей этнической принадлежности[26]. Среди обвиняемых (и обвиненных) была и Сарра Равич[27].

Здесь я позволю себе сделать одно отступление, связанное с моими личными воспоминаниями. Оно имеет самое прямое отношение к теме.

В 1956 году, когда началась кратковременная хрущевская «оттепель» и стал активно развиваться процесс реабилитации жертв Большого Террора, моя мать, которая в качестве адвоката много занималась делами такого рода, предложила мне поехать вместе с ней на встречу с одной, вернувшейся из лагеря, жертвой. Эта жертва, как объяснила мама, нуждалась в ее помощи. Обычно, естественно, не она ездила к своим клиентам, а те приходили к ней. Но женщина, которая ее сейчас ожидала, не могла передвигаться, и мама не просто из сострадания, а из уважения к ее драматичной судьбе, вызвалась поехать сама. Я, к тому времени тоже адвокат, помогал ей в ведении этих дел, оттого и поехал с нею.

Просившая о помощи женщина пребывала не в своей квартире (таковой у нее все еще не было), а у знакомых, живших в знаменитом Доме на набережной, то есть гигантском Доме правительства, три четверти обитателей которого в тридцатые годы переместились или в безымянные могилы, или в Гулаг. Нас встретила укутанная в два пледа, несмотря на июльскую жару, согнувшаяся в три погибели, скрючившаяся, совершенно седая женщина с поразительно живыми – по-молодому живыми – глазами, сохранившая столь же молодой, задорно молодой, голос. Ее звали Сарра Наумовна Равич.

Точнее, ее звали ОЛЬГА Наумовна. Саррой она оставалась только по паспорту, в быту же и на работе она для всех была Ольгой. Ничего не тая, она объяснила, что партийная, агитационная работа, которой ей пришлось заниматься многие годы, не допускала фиксирования внимания аудитории, да и просто всех, с кем она то службе общалась, на ее национальной принадлежности. «Это мешало бы пропагандистскому эффекту», – объясняла – по своей, кстати, инициативе – она, хотя мне казалось, что и объяснений никаких

не требовалось: называй себя, как хочешь, кому какое до этого дело?! Но так, вероятно, казалось только мне.

Ольга Наумовна состояла в партии большевиков с 1903 года, была близким другом (а впоследствии, после смерти Златы Ионовны Лилиной, и женой) Зиновьева, вместе с ним и, стало быть, с Лениным находилась в эмиграции. Все они вернулись – через Германию, в запломбированном вагоне – из Швейцарии в Россию в апреле 1917 года. Она работала в Петрограде в команде Зиновьева, переменяя много постов. После убийства Урицкого заняла на короткое время его пост, став комиссаром внутренних дел Союза коммун Северной области, то есть «по долгу службы» принимала непосредственное участие в терроре. Делегат многих партийных съездов, член Центральной Контрольной комиссии партии, она примкнула, естественно, к зиновьевской оппозиции. Ей пришлось разделить – по счастью, не до конца – участь своего друга и мужа. Равич исключили из партии, сослали, а через несколько дней после ареста Зиновьева арестовали и ее (22 декабря 1934 года).

Ее четырежды судила лубянская «тройка», и все же она отделалась лишь тюрьмой и ссылкой, избежав палаческой пули. Получив реабилитационные документы и вернувшись в Москву, она стала хлопотать о посмертной реабилитации Зиновьева (всех других родных и близких Зиновьева уже успели истребить), наивно полагая, что вот-вот справедливость и тут восторжествует. Эти хлопоты и побудили ее обратиться к моей матери: Равич просила ее взять на себя юридическую аргументацию ходатайств, сохранив за собой аргументацию политическую. Но до реабилитации Зиновьева надо было еще ждать тридцать пять лет, а самой Ольге-Сарре Наумовне оставалось жить только год.

Я не стал бы в этой книге вспоминать о встрече с одной из неисчислимых жертв сталинского террора (таких встреч было немало), если бы меня не поразил ее рассказ о том, как на протяжении разных десятилетий (она арестовывалась и соответственно допрашивалась в 1934, 1937, 1946 и 1951 годах) менялась тональность следователей, когда в канву допросов так или иначе вплеталась еврейская тема. В 1934 году, рассказывала Равич, следователи этой темы не касались вообще и даже в анкетных данных, которые должен был сообщить следователю каждый допрашиваемый, графы «национальность» еще не было вовсе. В 1937 году графа появилась, но следователи этой темы старательно избегали, фиксируя внимание лишь на том, что Равич «продалась врагам народа». Один из следователей, глумясь над нею, гнусно именовал ее «шлюхой» (ей было тогда 58 лет), но ни разу не использовал прилагательное: «еврейская» или «жидовская». Но уже в 1946-м другой следователь издевательски допытывался, почему в разговоре и даже в иных документах ее называли Ольгой, а не Саррой, и пытался даже извлечь из этого какой-то криминал («признайтесь, что в контрреволюционных целях вы пытались скрыть свое еврейское происхождение»). А в 1951-м совсем откровенно называл семидесятидвухлетнюю подследственную не иначе как «старой жидовкой», «крючконосой уродиной», «тель-авивской гнидой» и, омерзительно картавя, приговаривал: «Ну что, Саррочка, будем колотиться?»

Эволюция лубянского отношения к «теме» на протяжении этих десятилетий станет еще понятней, когда мы пройдем все этапы прогрессирующего сталинского юдофобства.

Если судить по витрине советской жизни, для подозрений в государственном юдофобстве не было никаких оснований. Да его тогда и, действительно, не было – в тех формах, с которыми сопрягается сегодняшнее о нем представление.

Именно в 1934 году произошло событие, расцененное не самыми глупыми, признаться, людьми как мудрейшее решение векового «еврейского вопроса»: 7 мая (только что прошел 17-й съезд, явившийся полным сталинским триумфом: Зиновьев и Каменев покаялись и признали свои «ошибки») было объявлено о создании Еврейской автономной области. Строго говоря, ничего неожиданного не случилось:

ведь шестью годами раньше, в марте 1928 года, параллельно с заселением евреями степного Крыма, было решено создать еще один еврейский национальный район совсем в другом конце страны – вокруг железнодорожной станции Тихонькая, которая вскоре превратилась в маленький городок Биробиджан – придуманную сталинским гением новоявленную еврейскую «столицу». Этому правительственному решению сначала нигде не придавали большого значения – на проекте еврейского Крыма тогда еще не был поставлен крест.

Но и началу тридцатых годов план создания еврейского национально-территориального очага в северном Крыму окончательно рухнул, хотя там все еще не только существовали, а даже процветали десятки колхозов и совхозов, благодаря чему еврейские имена так непривычно стали мелькать в списках награждаемых орденами хлеборобов и скотоводов. С помощью благотворительных зарубежных организаций, прежде всего американского «Агроджойнта», еврейские земледельческие организации в Крыму и прилегающих к нему районах южной Украины получили огромное количество сельскохозяйственной техники и племенного скота, что позволило им разбогатеть в неслыханно короткий срок. Еврейская беднота, преимущественно из городков бывшей черты оседлости, хлынула в эти необжитые районы с не слишком, кстати сказать, благоприятным климатом (сильные ветра, песчаные бури, резкие перепады температур!), но зато близкие к местам давнишней еврейской оседлости, и, обжив, буквально за считанные годы преобразила их.

Все, казалось, шло к тому, что именно эта – небольшая по масштабам Советского Союза, но способная свободно вместить сотни тысяч пришельцев – территория и станет административной единицей еврейской «окраски». О причинах, по которым Сталин воздержался от этой идеи, можно только гадать, ибо прямых его высказываний против нее никто до сих пор не обнаружил, хотя один из ближайших к нему членов политбюро – Михаил Калинин еще в 1926 году, лично явившись на съезд ОЗЕТ, призывал именно здесь «компактно сконцентрировать значительную часть еврейского населения» для того, чтобы «сохранить свою национальность»[28]. Несмотря на литературную и научную безграмотность этого высказывания, направленность его очевидна: у евреев не было своей территории, теперь предстоит ее создать, и советская власть способствует этому, отдав евреям для заселения именно степной Крым.

И вот – все рухнуло! Крым давно уже (с 1921 года) в административном отношении представлял собой автономную республику, где преобладавшей частью коренного населения были крымские татары – они искони населяли приморскую часть полуострова. От раздела его на татарскую (южный Крым) и еврейскую (северный) Сталин решил отказаться, вопреки настойчивым ходатайствам Комитета по земельному устройству трудящихся евреев. Председатель этого комитета Ю. Ларин (М. А. Лурье), чья юная дочь вскоре станет женой Бухарина, категорически протестовал против этого[29], называя сталинский план безумием и напоминая о том, что евреев, в сущности, обманули: десяткам тысяч переместившихся в Крым людей и уже там благоустраившихся предлагали теперь отправиться в прямо противоположную часть страны, отделенную ют Крыма десятью тысячами километров, и своими руками создавать «национальный очаг» для себя и будущих поколений"[30]. Но переметнувшийся на сторону Сталина Калинин поддержал этот план и с тех пор получил репутацию «крестного отца» еврейского Биробиджана[31].

Сталин, однако, вовсе не собирался облагодетельствовать горячо им любимый народ (не забудем, что он его даже не считал народом), как и не стремился создать для него территорию – необходимый, будто бы, элемент, чтобы получить право считаться народом. Просто ему нужно было иметь формальное основание для очистки от евреев тех городов, где их процент, по его мнению, был слишком высок. Для создания огромного гетто под видом прообраза еврейской государственности были окончательно избраны гиблые районы Дальнего Востока на пустынных отрогах горного массива Малый Хинган, вдоль берегов Амура. До двадцатых годов XX века евреи там никогда не жили.

Однако освоение Дальнего Востока входило в общую геополитическую программу Кремля, который использовал для этого возродившиеся (не без активной помощи пропагандистского аппарата) романтические порывы новой молодой генерации. Той, что пришла на смену романтикам первой волны, рожденной революцией и гражданской войной. Массовое переселение евреев в необжитые районы Дальнего Востока должно было вписаться в общий контекст грандиозных людских перемещений, о которых тогда беспрестанно трубили все газеты. Тем более что много евреев к концу двадцатых годов уже переселились в те края, но отнюдь не в качестве собственно евреев, а в качестве романтиков-комсомольцев, для которых национальности якобы вообще не существует.

Тогда упорно внедрялась в сознание мысль, что главная опасность Советскому Союзу грозит со стороны Японии и что безлюдье грандиозных дальневосточных просторов облегчает японским «самураям» злодейское проникновение на советскую территорию. «На высоких берегах Амура часовые родины стоят», – пелось тогда в одной из самых популярных песен.

Евреи-переселенцы как раз и должны были стать «часовыми родины». Сталин хорошо знал, что сгоняемые им на радость змеям и москитам создатели еврейской советской «государственности» никакие не предатели, не сионисты, не замаскированные враги, а преданные обитатели социалистического рая и что на границе с Маньчжурией, где господствовали японцы, еврейские переселенцы смогут оказаться неплохим заслоном.

Вопреки прогнозам скептиков, какое-то еврейское «движение» в сторону Дальнего Востока все же наблюдалось. Конечно, даже о частичном осуществлении грандиозных сталинских планов не могло быть и речи. Планировалось переселить в Еврейскую автономную область (даже на то, чтобы создать не область, а марионеточную автономную республику, Сталин все-таки не решился) полмиллиона евреев, но к середине тридцатых годов их набралось там в пятнадцать раз меньше – всего-навсего чуть более 30 тысяч человек[32], хотя некоторые (считанные единицы) клюнули на пропаганду и приехали даже из США и из Палестины.

О том, в каких условиях (отнюдь не только бытовых) они там оказались и как вдохновились реальным осуществлением мечты об еврейской государственности, свидетельствует такая цифра: уже к 1939 году число евреев, проживавших в своем «национальном» регионе, сократилось вдвое – до 17 700 человек, тогда как общее население «еврейской» области составляло 109 тысяч[33].

Горький курьез состоит в том, что после всплеска второй, послевоенной, волны переселения евреев на Дальний Восток их бегство оттуда достигнет такой степени, что к середине шестидесятых годов там останется всего 4300 евреев[34], а к началу девяностых менее 2 тысяч при общем населении в 220 тысяч человек[35]. Такова закономерная эволюция мудрости человека, объявленного величайшим знатоком национальных проблем.

Напомним, что до сих пор область, где евреи составляют менее одного процента населения, официально считается Еврейской национальной автономией, хотя там не осталось ни одного человека, знающего идиш или иврит[36]. Другого подобного прецедента, столь же комичного, сколь и печального, мир не знает.

В памяти самого старшего, уже уходящего, поколения сталинская мистерия по заселению евреями Дальнего Востока связана только с пропагандистским художественным фильмом «Искатели счастья» (режиссер Владимир Корш-Саблин), снятым по высочайшему заказу в 1936 году. Благодаря блистательному мастерству исполнителей главных ролей – еврейского актера Вениамина Зускина и старейшей русской актрисы Марии Блюменталь-Тамариной, – а также музыке Исаака Дунаевского, этот пропагандистский фильм имел большой зрительский успех.

Никто не обращал внимания на абсурдность сюжета (из Америки в «свой» национальной очаг приезжают рвущиеся на советскую землю евреи, и один из них, Пиня, мечтавший здесь разбогатеть, наконец прозревает, осознав, что счастье не в деньгах, а в советской власти и сталинской дружбе народов): большевистские утопий уже многими бездумно принимались за истину. Когда несколько лет спустя, в самом начале эпохи откровенного гонения на евреев, Кремль повелит изъять фильм из центрального и местных киноархивов и не допускать его больше в прокат, для этой акции будет найдена формулировка в истинно сталинском стиле: оказалось, что специфический местечковый акцент, который звучит с экрана, пробуждает у некоторых неразумных зрителей антисемитские чувства.

Тогда же был создан один из популярнейших фильмов советского кино «Цирк» (режиссер Григорий Александров) – лирическая комедия, тоже с резко пропагандистским уклоном (обличение американского расизма). Музыка и к этому фильму, не забытую до сих пор, написал Исаак Дунаевский.

В «Цирке» еврейские актеры Соломон Михоэлс и Вениамин Зускин поют на идиш колыбельную песню маленькому черному ребенку, вызывая шквал аплодисментов и на экране, и – на премьере – в зрительном зале. Среди аплодировавших был и Сталин[37]. Это не мешает ему впоследствии убить Михоэлса и Зускина, а эпизод с колыбельной на идиш будет из фильма вырезан, хотя сам фильм, без этого эпизода, все-таки сохранится[38].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сталин И. Собрание сочинений. Т. 13. М., 1951. С 28.

2. Известия ЦК КПСС. 1989. № 4. С. 74-80.

3. Новое время. 1993. № 35. С. 57.

4. Лацис О. Перелом. Сталин против Ленина. М., 1989. С. 161-164. Позже я получил подтверждение этому из первых рук: о подробностях загадочного сближения Заславского со Сталиным рассказал мне на вечере, посвященном столетию Ильи Эренбурга (1991), ближайший друг Заславского, член ЦК КПСС, политический обозреватель «Правды» и президент общества «СССР – Франция» Юрий Жуков. По его мнению, Сталин «любил» Заславского лишь потому, что его ненавидел Ленин. В лице еврея Заславского, полагал Жуков (коллеги, кажется не без основания, считали и его самого «скрытым» евреем), Сталин нашел такого же антисемита, каким был сам.

Эта неожиданная откровенность партийного пропагандиста тем поразительней, что сам Жуков зарекомендовал себя как фанатичный сталинист. Просто в 1991 году политическая ситуация кардинально изменилась, и известный конформист пожелал идти в ногу со временем.

5. Список советских дипломатов еврейского происхождения, хоть и в усеченном составе, приводит и Солженицын (т. 2, с. 288) – с такой иронической ремаркой: «Так была представлена советская Россия». Чем же провинились эти послы? Тем, что были слабыми специалистами? Вовсе не специалистами? Плохо отстаивали интересы советской России? Или тем, что – евреи? Сознаю: стыдно задавать столь плоские риторические вопросы. Но не стыдно ли писать то, что побуждает их задать?

6. См. «Правду», «Известия» и другие советские газеты от 31 января 1934 года.

7. РГАСПИ.Ф. 13. Оп. 1. Д. 471. Л. 1-3.

8. Там же. Л. 1.

9. Русский современник. 1924. № 4. С. 241.

10. Исторический архив. 1995. № 2. С. 205-215.

В 1938 году Д. Рязанова расстреляли. По слухам, Сталин был готов признать его заслуги (Рязанов достал в Европе и привез в Москву ценные документы – Лауры и Поля Лафаргов, Бебеля, Каутского и других), ждал покаяния, но не дождался (см.: Там же. С. 216-217).

11. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5388. Л. 109.

12. Известия ЦК КПСС. 1991. № 7. С. 130.

13. Лишь в корреспонденции без подписи, состоявшей из нескольких строк, «Известия» 14 ноября 1934 года сообщили о начале процесса, не объяснив, в чем его сущность. Чем закончился процесс, читатели газеты так и не узнали.

14. «Известия» от 6 мая 1935 года.

15. А. Аросев будет казнен в 1938 году. О нем подробнее в моей книге «Гибель Буревестника. М. Горький: последние двадцать лет» (М., 1999).

16. АП РФ (Архив Президента Российской Федерации). Ф. 45. Оп. 1. Д. 795. Л. 137.

17. Источник. 1996. №2. С. 124.

18. Фейхтвангер Лион. «Москва 1937.» М., 1937. С. 117. Книга эта, выпущенная в Голландии крохотным тиражом и совершенно не замеченная на Западе, была переведена на русский с молниеносной быстротой и немедленно издана миллионным тиражом. Несколько месяцев спустя с такой же быстротой она была изъята из продажи и из библиотек: в ней Фейхтвангер благожелательно отзывался о некоторых кремлевских руководителях, ставших к тому времени «врагами народа».

19. Исаак Дон Левин родился в Российской империи (Западная Белоруссия) и в 1911 году, будучи студентом Киевского университета, эмигрировал в США. Автор многочисленных публикаций о Советском Союзе и о сталинских политических репрессиях в двадцатые – пятидесятые годы, в том числе биографии убийцы Троцкого – Рамона Меркадера.

20. Континент. 1976. № 9. С. 190.

21. XVII съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М., 1934. С. 792.

22. Советский экран. 1989. № 9. С. 15.

23. Гейзер Матвей. Михоэлс. М., 1998. С. 182.

24. Известия ЦК КПСС. 1991. № 6. С. 78-81.

25. Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 64-65.

26. Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 39-43.

27. Там же. С. 51.

28. Заславский Давид. Евреи в СССР. М., 1936 и Ленинградский Еврейский альманах. Л., 1987. Вып 14.

29. Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 169.

30. Ковчег: Альманах еврейской культуры. Москва – Иерусалим. 1992. № 3. С. 290.

31. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. М., 1996. С. 98.

32. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 600. Л. 45.

33. Там же.

34. Население земного шара: Справочник. М., 1965. С. 59.
35. Большой Энциклопедический Словарь. М., 1997. С. 386.
36. Сообщено в письме к автору этой книги от 26 марта 1998 года биробиджанским жителем – А. Зильберштейном.
37. Рыбин А. Рядом со Сталиным. М., 1992. С. 11.
38. Марьямов Григорий. Кремлевский цензор. М., 1992. С. 47.

ВЕЛИКИЙ ДРУГ ВСЕХ НАРОДОВ

ВЕЛИКИЙ ДРУГ ВСЕХ НАРОДОВ

Для фильма «Цирк» была написана и еще одна песня, на долгие годы ставшая неофициальным, но чрезвычайно популярным советским гимном. Называлась она «Песней о Родине» – рефреном были слова, исключительно злободневно, а главное справедливо, звучавшие в дни, когда Большой Террор стал достигать своего пика: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Каждое утро, в шесть часов, она исполнялась по Всесоюзному радио – с нее начинался новый день. Пел ее, любимую Сталиным песню, композитора-еврея Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача, любимый Сталиным певец-еврей Марк Рейзен, а сразу после песни звучал дикторский голос уникального по богатству красок тембра: «С добрым утром, товарищи!» Это был голос любимого сталинского диктора-еврея Юрия Левитана: только ему Сталин будет доверять до самой своей смерти зачитывать по радио свои указы и приказы. Он же – Левитан известит страну и мир о кончине диктатора.

Здесь уместно вспомнить, что тридцатые годы вообще прошли под знаком массовой советской песни. Этот феномен не имеет никакого отношения к собственно искусству, хотя некоторые песни в чисто музыкальном отношении демонстрировали исключительный талант их создателей – это относится прежде всего к тому же Исааку Дунаевскому, композитору мощного дарования и необыкновенной популярности. Советская массовая песня тех лет была явлением прежде всего политической и социальной жизни, создавая музыкальный фон эпохи и служа яркой, праздничной ширмой, за которой лилась кровь миллионов жертв Большого Террора. Ее бравурные звуки, часами лившиеся из радиорепродукторов и слетавшие с киноэкрана, заглушали звук выстрелов, отнимавших жизнь у безвинных людей.

Создателями этого песенного богатства в тридцатые, а не в позднейшие, годы были почти исключительно композиторы-евреи: кроме Дунаевского – братья Дмитрий и Даниил Покрасс, Матвей Блантер, Сигизмунд Кац, Виктор Белый, Юлий Хаит, Константин Листов, Зиновий Компанец. Да и позже, когда получают широкое признание, всесоюзную, а то и всемирную известность песни «этнически чистых» русских композиторов Соловьева-Седого, которого Солженицын, неведь почему, унижает, посчитав за еврея (т. 2, с. 321), Богословского, Хренникова, Мокроусова, вклад композиторов-евреев в русское песенное искусство все равно останется огромным: к названным выше присоединятся и более молодые Ян Френкель, Марк Фрадкин, Аркадий Островский, Оскар Фельцман, Эдуард Колмановский, Вениамин Баснер, Давид Тухманов, Исаак Шварц, Владимир Шаинский.

Их песни завоюют огромную популярность в русской национальной среде, и никто (за некоторым, как видим, исключением) при этом не вспомнит, к какой этнической группе относятся их создатели. Большинство этих песен живет и сегодня, они воспринимаются сейчас даже острее, чем раньше, с ностальгической теплотой, притом не только старшим, но и более молодым поколением русских людей, способных отличить само произведение от его «социальных заказчиков». Их по-прежнему поют не только с концертных площадок, но и за дружеским и семейным столом, меньше всего интересуясь составом крови тех, кто их сочинил.

Но, по Солженицыну, это «они все (еврейские композиторы-песенники – А. В.) наступали оглушительных советских агиток в омрачивание и оглушение массового сознания, и начиняя головы ложью, и коверкая чувства и вкус» (т. 2, с. 321). Ни малейшей дискриминации композиторы-евреи, естественно, не подвергались – напротив, их творчество всячески поощрялось, ибо оно – это, разумеется,

верно – способствовало созданию и укреплению благообразного имиджа режима. Композиторов награждали орденами, им давали почетные звания – можно ли, однако, про это сказать, что они (они – словно сами себя награждали!) «зорко не упускали ступенек советской карьеры»? (т. 2, с. 320)

Тогда же невероятную популярность, директивно раздувавшуюся прессой, получили молодые музыканты, завоевавшие высшие премии на самых престижных международных конкурсах – в Варшаве, Вене, Брюсселе. Разумеется, эта громкая слава была ими вполне заслужена, но она никак не была адекватна тому месту, которое, в отличие от массовой песни, занимала скрипичная и фортепианная музыка в реальных культурных запросах большинства населения. Однако триумфальные успехи молодого советского искусства на международной арене также входили составной частью в программу, которая предусматривала создание мощного отвлекающего пропагандистского фона в эпоху кровавых репрессий. Но в славословиях, адресованных музыкантам, которые покорили своим искусством весь западный культурный мир, присутствовал особый смысл.

Дело в том, что все они, за очень малым исключением, тоже были евреями. Именно тогда на небосклоне искусства вспыхнули неведомые дотоле имена Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса, Якова Флиера, Якова Зака, Елизаветы Гилельс, Розы Тамаркиной, Бориса Гольдштейна, Арнольда Каплана, Михаила Фихтенгольца, Григория Гинзбурга, Марии Гринберг, Татьяны Гольдфарб, Якова Слободкина (чуть позже – Леонида Когана, Беллы Давидович, Юлиана Ситковецкого). Их имена мелькали повсюду – в газетах, журналах, по радио, афишами с их портретами были оклеены стены домов. Сталин наградил их орденами и осыпал денежным дождем.

Вся страна звала четырнадцатилетнего скрипача-лауреата Бориса Гольдштейна его домашним, типично еврейским, именем Буся. Сталин принял его в Кремле и пожелал ему – «замечательному советскому пионеру Бусе, которым гордится весь советский народ», – успехов и счастья. Пожелание свое он даже облек в материальную форму: одесситу Бусе Сталин лично выделил трехкомнатную квартиру в Москве и дал на обзаведение три тысячи рублей – по тем временам огромные деньги[1].

Когда специально выделенная для этого бригада ЦК подбирала Анри Барбюсу, вознамерившемуся написать апологетическую (а если не выбирать выражений, то просто холуйскую) биографию Сталина, эпизод о том, как юный Буся был обласкан вождем и осыпан щедротами с барского стола, был включен в число «фактов, подлежащих обязательному отражению». Этот гимн людоеду был рассчитан не только на западных простаков, но и на «внутренний рынок»: книжонку Барбюса в обязательном порядке изучали в школах, вузах, кружках политпросвещения. Замечательные музыканты с полным основанием принимали знаки общественного внимания и верховного признания, вряд ли осознавая, какую политическую роль им суждено сыграть.

Благодаря выдающимся успехам на международных и всесоюзных чемпионатах молодого шахматиста еврейского происхождения Михаила Ботвинника, который лишь в конце сороковых станет чемпионом мира, огромную популярность обрели тогда и шахматы, причем пресса восторженно отмечала и успехи его коллег: Григория Левенфиша, Исаака Болеславского, Ильи Кана, Григория Бондаревского, а также эмигрировавшего из Чехословакии, спасаясь от близящегося аншлюса, Сало (Саломона) Флора, беглеца из Венгрии Андре Лилиенталя и других – всех, как на подбор, с теми же этническими пороками.

Незадолго до своей смерти Михаил Моисеевич Ботвинник, оставшийся, несмотря на преследования, которым позже неоднократно подвергался, верным советской власти, уверял меня, что Сталин особо покровительствовал ему из-за того, что тогдашний чемпион мира, – русский эмигрант Александр Алехин, слыл убежденным антисемитом. Даже если это и апокриф, то все же весьма знаменательный.

В сознание миллионов как бы непринужденно и ненавязчиво внедрялся образ Сталина – друга всех народов, обеспечившего каждому, независимо от национального происхождения, расцвет всех его

способностей и получающего заслуженное воздаяние за результаты своего труда. Не то что вслух, но даже про себя ни один здравомыслящий человек не мог бы упрекнуть Сталина в антисемитизме. Его потайные мысли по-прежнему оставались действительно потайными. Время им выплеснуться наружу еще не настало. Впрочем, собственно национальные проблемы вряд ли тогда занимали его в первую очередь. Ликвидировать подчистую всю «ленинскую гвардию», всех подлинных и мнимых соперников, независимо от их «пятого пункта», нагнать страх на всю страну – такой была первоочередная задача.

Начавшийся сразу же после большевистского переворота террор против всех, кто был не согласен с новым режимом или даже только мог оказаться не согласным, не прекращался ни на один день, но Большим его стали называть лишь после того, как Сталин приступил почти к поголовному уничтожению старых большевиков, а попутно и еще нескольких миллионов людей, воообще далеких от всякой политики, – для всеобщего устрашения. Поскольку же главный удар пришелся все-таки по ленинцам и прочей ангажированной публике марксистской ориентации, то среди обреченных на заклание был заведомо большой процент евреев, составлявших значительную часть партийного, государственного, управленческого, пропагандистского и хозяйственного аппарата.

Евреи все еще занимали руководящие посты в правительстве в качестве наркомов и их заместителей. В состав Совета народных комиссаров в середине тридцатых годов входили Максим Литвинов (Валлах-Финкельштейн) – нарком иностранных дел, Генрих (Иегуда-Генах Гиршевич) Ягода – нарком внутренних дел, Лазарь Каганович – нарком путей сообщения, Аркадий Розенгольц – нарком внешней торговли, Израиль Вейцер – нарком внутренней торговли, Моисей Калманович – нарком совхозов, Моисей Рухимович – нарком оборонной промышленности, Исидор Любимов – нарком легкой промышленности, Александр Брускин – нарком среднего машиностроения, Григорий Каминский – нарком здравоохранения. Евреи – заместители наркомов и начальники главных управлений, входивших в наркоматы, – исчислялись многими десятками. Сталин хорошо знал, что «еврейскому засилью» продолжаться недолго, что в огне близящегося Большого Террора предстоит сгореть многим и многим высоким персонам и что на необычайно высокий процент евреев среди жертв неизбежно обратят внимание и дома, и за границей. Репутация антисемита, естественно, не устраивала великого поборника нерушимой дружбы народов. И он своевременно принял превентивные меры.

Середина тридцатых годов отличается необычайным ростом антиантисемитских судебных дел. И в материнском архиве, и в архиве моего патрона по адвокатуре Ильи Брауде, откуда я своевременно сделал обширные выписки, сохранялось много досье по делам тридцатых годов, связанных с этой темой. К ответственности по обвинению в антисемитизме привлекали даже таких людей, которые, возможно, и не отличались большой любовью к еврейству, но однако же не совершили ничего такого, что должно было влечь за собой непременно кару, предусмотренную Уголовным кодексом.

Ничем серьезным не подкрепленные доносы об антисемитских высказываниях (не более того!), – доносы, явно инспирированные указаниями, которые давались секретным осведомителям, – сразу же приводили в действие прокурорско-судебный механизм. Тривиальные обывательские разговоры под пьяную лавочку о том, что «от евреев житья не стало», служили достаточным основанием для возбуждения уголовного дела по статье о распространении призывов к межнациональной розни. В архиве Брауде сохранилось письмо с рассказом о том, что одному арестованному «за контрреволюцию» вменялись какие-то разговоры в приятельских компаниях, где было «много всяких слов против евреев». Эти «разговоры» были квалифицированы «тройкой» НКВД («Особым совещанием») как «перепевы контрреволюционной клеветы на советскую страну и на политику партии». Совершенно очевидно, что такой, едва ли не повсеместный, интерес спецслужб к, одной и той же теме, причем весьма слабо стыкующийся с законом, не мог быть простой случайностью. Поскольку никаких письменных указаний на

этот счет не обнаружено, а факт остается фактом, можно предположить, что имелись указания устные, шедшие с самого верха.

Наиболее зримым свидетельством этого феномена явилось громчайшее дело, потрясшее всю страну летом 1936 года. Это был единственный за всю советскую историю случай, когда антисемитизм осуждался не за закрытыми дверями, не теоретически и не пропагандистски, а вполне конкретно, с соблюдением формальных правил судебной процедуры, персонифицировавшись в реальных обвиняемых, которые были приговорены за совершенное ими на антисемитской почве злодеяние к смертной казни. Такой процесс был совершенно необходим Сталину именно в этот момент: вот-вот должен был начаться публичный суд над Зиновьевым, Каменевым и еще большой группой евреев, а по сути – над отсутствующим евреем Бронштейном-Троцким, и Сталину необходимо было заранее отвести от себя подозрения в антисемитизме. Отвести именно потому, что антисемитизм в этом первом из трех Больших Московских процессов присутствовал слишком уж густо.

Счастливым случай сам пришел в руки – ничего выдумывать не пришлось.

«В январе 1935 года на далеком заполярном острове Врангеля – в Восточной части Ледовитого океана – был найден изуродованный труп одного из зимовщиков, врача Николая Вульфсона. Его жена, тоже врач, Гита Фельдман заподозрила, что смерть мужа наступила не в результате несчастного случая (согласно первоначальной версии Вульфсон отправился по вызову больного в пургу на собачьей упряжке, упал, ударился лицом о лед и погиб), а в результате убийства, которое совершил «каюр» (водитель упряжки) Степан Старцев по указанию начальника зимовки Константина Семенчука. С обоими чета Вульфсон-Фельдман находилась в конфликтных отношениях. Вдова написала письмо прокурору СССР Андрею Вышинскому – шло оно бесконечно долго и поспело очень кстати, ибо Вышинский был лучше, чем кто-то другой, информирован о пожеланиях вождя.

В распоряжении следствия (его вел ближайший сподвижник Вышинского – Лев Шейнин, который вскоре станет еще и «писателем») не было решительно ничего, кроме подозрений Гиты Фельдман. На место предполагаемого преступления никто не выехал, труп эксгумации не подвергся, никаких улик в юридическом смысле слова не было и в помине, экспертиза производилась в Москве на основании «чертежей» и «схем», нарисованных самой потерпевшей, при этом эксперты отвечали на чисто умозрительные вопросы следствия и суда: «могло ли быть так, что?..». Экспертами выступали знаменитые и уважаемые полярники, но они исходили не из каких-либо конкретных событий данного случая и предполагаемого способа данного убийства, а лишь из предыдущего опыта своих путешествий по Северу (целый день, например, обсуждался вопрос, как обычно ведут себя собаки в пургу), никакого отношения не имевших к тому, что на этот раз рассматривал суд[2].

Но Вышинскому, или, точнее, тому, чью волю он исполнял, конкретная истина по конкретному делу была совершенно не нужна. Дело служило лишь поводом для решения совсем иной «сверхзадачи». Одно то, что жертвами стали врачи с ярко выраженными еврейскими фамилиями, а «убийцами» – лица с фамилиями совершенно иными, придавало или, точнее, могло придать делу при особом желании определенную национальную окраску. Как раз такое желание у Сталина и было. Притом ему в данном случае нужны были не намеки, не предположения, не чтение между строк, не догадки и загадки, над которыми еще пришлось бы ломать голову, а недвусмысленный открытый текст. Ему было нужно, чтобы каждый понял: Сталин, великий друг и защитник всех без исключения народов, не допустит антисемитизма ни в коем случае. И карать за него будет строжайшим образом – именно так, как и обещал Еврейскому телеграфному агентству США: у товарища Сталина слова никогда не расходятся с делами.

Поэтому мотив преступления, который в другое время и при других обстоятельствах скорее всего был бы зашифрован или заменен каким-то другим, на этот раз нарочито выдвигался и педалировался. Скорее

всего, между прочим, и Семенчук, и Старцев были и правда, безотносительно к гибели доктора, привержены «пережитку», который теперь называют ксенофобией, но здесь он использовался явно в спекулятивно-политиканских целях.

Процесс против Семенчука и Старцева состоялся в мае 1936 года. Он длился семь дней и проходил в самом тогда представительном зале Москвы – Колонном зале Дома Союзов на две тысячи мест. (Для судилищ над бывшими руководителями партии и правительства – своими заклятыми друзьями – Сталин выделит только Октябрьский зал Дома Союзов вместимостью в триста человек.) Обвинять подсудимых пришел сам прокурор СССР Вышинский, хотя никогда – ни раньше, ни позже – по делам об убийстве он не выступал и хотя судил Семенчука и Старцева суд не всесоюзной, а республиканской, то есть более низкой инстанции, где главному прокурору страны просто нечего делать.

Это был очень точный, даже можно сказать – блестяще рассчитанный ход. Зловещая экзотичность преступления, якобы совершенного на краю земли под покровом полярной ночи, не могла не привлечь широчайшего внимания. Его загадочность добавила процессу особую остроту. Присутствие Вышинского и его страстная речь, обличавшая не столько подсудимых, сколько антисемитизм, приведший «этих извергов» на скамью подсудимых, придали делу ту масштабность, на которую оно вряд ли потянуло бы, если бы место обвинителя занял другой прокурор.

Подсудимые свою вину отрицали, и никто их не понуждал к самооговору. Уже одним только этим дело существенно отличалось от всех других, так называемых «показательных», рассматривавшихся в те годы при огромном скоплении публики. Прокурорским и лубянским умельцам ничего не стоило выбить у обвиняемых какие угодно признания, но никто не стал тратить на это время и силы: исход дела был предreshен, а упорство подсудимых, отрицавших свою вину, лишь подчеркивало общественную опасность антисемитов, не желающих «разоружаться» перед советским судом. Не случайно еще и то, что защита подсудимых была поручена адвокатам русского происхождения Николаю Коммодову и Сергею Казначееву, дабы избежать прямого русско-еврейского столкновения в суде: типично советское правосознание не допускало возможности защиты антисемитов евреями.

О том, что предметом судебного разбирательства было все же обвинение в убийстве, а не в антисемитизме, устроители процесса, похоже, забыли. Прокурор Вышинский нисколько и не скрывал сверхзадачу процесса. Некоторые пассажи его обвинительной речи почти без утайки свидетельствуют о замысле превратить дело Семенчука и Старцева в своеобразное «дело Бейлиса наоборот». Там надо было любой ценой доказать ритуальный характер убийства, что превращало процесс в антиеврейский, здесь тоже любой ценой надо было доказать «лютый антисемитизм» Семенчука и загадочно покончившего с собой его дружка, биолога Вакуленко, что превращало процесс в проеврейский. «Вся деятельность Семенчука, – вещал Вышинский в обвинительной речи, – была направлена на подрыв авторитета советской власти (...), представляя собой удар по основным принципам нашей национальной политики, по ленинско-сталинской национальной политике в целом. Семенчук действовал грубо преступно, нарушая все принципы ленинско-сталинской национальной политики, позволяя себе чудовищные извращения указаний нашей партии и вождя народов Союза ССР товарища Сталина. (...) Семенчук осмелился не просто игнорировать, а прямо нарушать замечательные указания нашего вождя и учителя о нерушимой дружбе народов нашей страны»[3].

Назойливое повторение жвачки про «сталинскую дружбу народов» свидетельствует о том, что целью процесса был не суд над предполагаемыми убийцами, а суд над бесспорными антисемитами. Но в еще большей мере раскрывают истинные задачи этого показательного процесса те слова, которые Вышинский нашел, чтобы пропеть гимн покойному Вульфсону и его жене. «Единственным человеком, – упоенно вещал Вышинский, привыкший только клеймить, а не восхвалять, – представляющим собой просвет на мрачном,

черном фоне этой в моральном отношении сплошной полярной ночи, поднявшим голос протеста, начавшим борьбу и доведшим ее до конца ценою своей жизни, был доктор Николай Львович Вульфсон и поддерживавшая его верная спутница Гита Борисовна Фельдман. Если бы не они, может быть, мы не так скоро и решительно сумели бы вскрыть этот позорный антисоветский гнойник. <...> Память о докторе Вульфсоне будет жить в сердце каждого честного гражданина нашей советской земли. <...> Нашего восхищения и признательности заслуживает и доктор Фельдман, которую уже после убийства мужа Семенчук и Вакуленко (приятель и собутыльник Семенчука, покончивший с собой и потому не привлеченный к суду. – А. В.) предполагали убить, сговаривались о том, как лучше «убрать эту жидовку», продолжая глумиться над убитым ими Вульфсоном, называя его «грязным жидом» <...> Это говорил Вакуленко, а Семенчук его поддерживал, потому что сам вел такую же линию...»[4]

За всю российскую историю – досоветскую, советскую и постсоветскую – ни одного подобного процесса, на котором с главной трибуны страны власть столь громогласно и столь страстно обличала бы антисемитизм, не было и скорее всего не будет. Казалось бы, какие еще нужны доказательства для того, чтобы показать всю несовместимость большевизма в его сталинском варианте и антисемитизма? Но пропагандистская нарочитость выпирала столь сильно, что и в те, сохранившие революционный романтизм, времена он был очевиден для всех, кто не был полностью ослеплен и зашорен. Когда я впервые рассказал в советской прессе периода перестройки об этом, совершенно неведомом новым поколениям, деле[5], пришло много писем от тех, кто еще помнил тот громкий процесс. Все они утверждали, что искусственность процесса и фальшивый пафос обвинителя были для них очевидны еще и тогда[6]. Один из моих корреспондентов, врач ленинградской скорой помощи Михаил Голощекин, встречался с Гитой Фельдман в пятидесятые годы, работавшей уже в московской больнице имени Боткина. Хотя Вышинский не скупился на лестные слова об этой «хрупкой, но героической женщине», она отзывалась о нем весьма нелестно. Принимая ее накануне и после процесса, говорил с ней грубо и оскорбительно[7].

Это лишний раз подтверждает спекулятивный характер процесса. Судьба конкретного человека, равно как и судьба «униженного и оскорбленного» народа, в защиту которого так страстно выступал знаменитый златоуст, ничуть прокурора не волновали. Его единственной задачей было исполнить тайное поручение вождя, создав себе имидж неподкупного стража законности накануне первого из трех «процессов века», а вождю – имидж великого борца за дружбу народов и непримиримого врага антисемитов.

Требование Вышинского расстрелять и Старцева, и Семенчука было исполнено. Отметим, однако: для этого мнимые действия подсудимых пришлось квалифицировать не по какой-то статье об антисемитизме или разжигании национальной розни, и даже не по статье об убийстве (она тогда не предусматривала расстрела), а как «бандитизм», что с формально юридической точки зрения было чистейшим абсурдом.

Три месяца спустя, когда приподнялся загадочный занавес и пред миром предстали вчерашние трибуны и вожди революции – Григорий Зиновьев и Лев Каменев, превратившиеся в заурядных «фашистских шпионов», никто не мог заподозрить уехавшего отдохнуть на черноморском побережье Сталина, что он расправляется со своими еврейскими соперниками, что он сводит какие-то личные счета, подверженный предрассудкам, с которыми сам же так беспощадно сражается.

Ему совершенно необходимо было это моральное алиби. Перед самым началом первого Московского процесса он лично, своей рукой (есть его правка на машинописном документе, подготовленном Ягодой), внес в список подсудимых новые, не предусмотренные первоначально Лубянкой, имена обреченных только еврейского происхождения, причем некоторые из них еще не были

арестованы или даже не могли быть арестованы, ибо находились за границей: Дрейцер, Ольберг, Берман-Юрин, Фриц Давид (Круглянский), Натан Лурье, Моисей Лурье, Павел Липшиц, Исаак Эстерман, Рейнгольд, Гертик и другие[8]. Отлично сознавая, сколь дико это звучит, он – также собственноручно – приписал, что все эти евреи были не просто шпионами, а «служили в гестапо и выполняли личные задания Франца Вайса, представителя Гиммлера»[9].

Всего на скамью подсудимых в августе 1936 года посадили 16 человек, из них 11 были евреями. Но, в отличие от того, что уже делалось раньше и всегда будет делаться позже, никакого упоминания об их национальной принадлежности в деле нет. Более того, все они, кроме одного, названы по своим партийным псевдонимам, и ни о каком «раскрытии скобок», как это станет практиковаться 12-15 лет спустя, не было и речи. Так что Каменев, скажем, судим и расстрелян как Каменев, а вовсе не как Розенфельд, которым юридически он был до последней минуты. Единственное исключение (работник Коминтерна Круглянский) было сделано потому, что «Фриц Давид» – один из его бесчисленных не партийных, а шпионских псевдонимов, и судить его под этим именем было невозможно. Отметим попутно, что «Фриц Давид», как и другие секретные агенты Коминтерна, действительно был шпионом, только шпионил он не против, а в пользу Советского Союза.

Традиционный сталинский прием – одно для публичного потребления, а для того, что скрыто от посторонних глаз – другое. Этот прием использовался им с середины тридцатых годов очень успешно в «еврейском вопросе». Поощрение евреев за подлинные или мнимые успехи продолжалось с прежней, а может быть, даже повышенной интенсивностью. За успешное завершение строительства (с помощью рабского труда, руками заключенных) канала, связавшего Белое и Балтийское моря, высшую награду – орден Ленина – получили лубянские начальники, все до одного евреи: Лазарь Коган, Матвей Берман, Семен Фирин, Яков Рапопорт и многие другие.

Максим Горький, с одобрения Сталина (об этом прямо говорится в предисловии), отредактировал и выпустил книгу об этом строительстве, украсив ее портретами энкавэдэшников-орденоносцев сплошь с еврейскими фамилиями. Вряд ли он сознавал, как ловко подыгрывал Сталину, снимая с него подозрения в антисемитизме и вместе с тем провоцируя антисемитские чувства у читателей: ведь все таким образом узнали, в чьих руках находятся судьбы рабов, обреченных на мучительный принудительный труд.

На втором Большом Московском процессе (январь 1937 года) евреев тоже было немало (6 из 17), и чуткий гитлеровский барометр в лице доктора Геббельса сразу уловил в списке подсудимых антисемитский привкус: «В Москве снова показательные процессы, – отметил шеф гитлеровской пропаганды. – Снова, очевидно, против евреев. Сталин прижмет евреев. Военные, должно быть, тоже настроены против евреев»[10]. Но мудрый и хитрый Сталин пошел на совершенно неожиданный ход. Из четверых главных подсудимых (Пятаков, Радек, Сокольников и Серебряков) он сохранил жизнь (очень ненадолго[11]) двоим: Карлу Радеку (Собельсону) и Григорию Сокольникову (Бриллианту). Оба они были евреями и оба пользовались большой известностью на Западе. Радека знали по его многочисленным статьям и выступлениям за границей, по обширнейшим личным связям, а Сокольникова – как бывшего посла в Лондоне. Появился еще один аргумент, снимавший со Сталина подозрения в антисемитизме. Вместе с тем за кулисами все было иначе.

Среди подсудимых на процессе Пятакова – Радека был занимавший ранее ответственные посты в государственном и хозяйственном аппарате инженер Борис Норкин. Его родная сестра, педиатр Лия Норкина, работала в детской поликлинике на Большой Полянке, по соседству с домом, где мы жили, и была, таким образом, моим лечащим врачом. С моей матерью у нее установились личные, не формальные, отношения, и она иногда заходила к нам, навещая меня и попутно получая от матери юридические советы. Все это, конечно, я знаю только с материнских слов – детская память воспоминаний об этих визитах не

сохранила.

Когда в газетах появилось сообщение о составе подсудимых на судебном процессе, Лию Осиповну изгнали с работы не сразу – сначала провели общее собрание сотрудников поликлиники, где ни слова не говорилось о ней лично, но нескончаемо много о ее брате. Больше всего Лию Осиповну потряс нескрывавшийся «антисемитский фон», как она выражалась, на котором проходило все ее шельмование: тогда это казалось необъяснимым контрастом с официальной политикой. Представители райкома и лубянских служб все время подчеркивали еврейское происхождение «шпиона, вредителя и двурушника» Бориса Норкина, а тем самым и его сестры, вызывая присутствующих на соответствующую реакцию. Но не вызвали. Русские коллеги тайком выражали Лие Осиповне свое сочувствие. Обо всем этом она еще успела рассказать моей матери. По неподтвержденным сведениям, которые до нас дошли позже, Лия Осиповна Норкина умерла в ссылке (или была убита?) в 1940 году[12].

В те самые дни, когда проходил суд над Пятаковым, Норкиным и другими, в «Правде» появилась редакционная статья, продиктованная лично Сталиным. Она была озаглавлена «Великий русский народ»[13]. Такая формулировка еще совсем недавно была невозможна – она противоречила так называемой «национальной политике партии». Между тем первые признаки возникновения великодержавного государственного национализма можно было заметить и раньше[14]. Сталин вступил в открытую полемику с Лениным (не называя его по имени) и демонстративно отказался от коминтерновской риторики с ее вненациональными лозунгами мировой революции. В конкретных советских условиях утверждение величия именно русского народа означало, что он «более равный», чем все остальные, населяющие Советский Союз. Пройдет девять лет, и Сталин скажет именно это открытым текстом.

В декабре 1937 года прошли выборы в советский квази-парламент – Верховный Совет СССР, образованный в соответствии со «сталинской конституцией», принятой годом раньше. Было избрано 47 евреев[15] – цифра ничтожная в сравнении с еврейским присутствием в предыдущих «представительных» органах, но все-таки кажущаяся очень большой – астрономической даже – в сравнении с еврейским присутствием в Верховном Совете последующих созывов. На первой сессии было избрано новое правительство. В нем уже не было, разумеется, ни Ягоды, ни Розенгольца, ни Вейцера, ни Любимова, ни Каминского, ни Калмановича[16] – все они были или расстреляны, или ожидали неминуемого расстрела в лубянских камерах. Но остались (на несколько месяцев, до уже предрешенной посадки) Моисей Рухимович и Александр Брускин, остался Максим Литвинов, остался Лазарь Каганович, к которому присоединился его брат Михаил, ставший наркомом авиационной промышленности. В правительство вошли также Матвей Берман (нарком связи), Абрам Гишинский (нарком пищевой промышленности), Семен Дукельский (начальник главного управления кинематографии в ранге наркома, затем нарком морского флота). Чуть позже в состав правительства введут жену Молотова – Полину Жемчужину (нарком рыбной промышленности) и Наума Анцеловича (нарком лесной промышленности). Так что никаких внешних признаков национальной дискриминации заметить было нельзя.

Нельзя – если судить по тому, что проникало в печать, что было у всех на виду. Знала ли так называемая «широкая публика» о том, что началось массовое закрытие еврейских школ, техникумов, газет, клубов, театральных и музыкальных коллективов?[17] Что усилилось выталкивание евреев из прессы? Из «Правды» убрали Илью Ерухимовича (несмотря на то, что он писал под псевдонимом Ермашов), Бориса Изакова (Изаксона), Анну Гольдфарб, из «Известий» Анатолия Канторовича, причем никто и не скрывал, что «вина» изгнанных состояла лишь в их еврейском происхождении. Других обязали взять псевдонимы. Когда такое предложение сделали одному из самых известных в ту пору журналистов Михаилу Розенфельду, он сказал: «Согласен, буду подписываться – Пуришкевич»[18]. До падения царизма Владимир Пуришкевич был лидером откровенно антисемитских, погромных организаций «Союз русского

народа» и «Союз Михаила Архангела». К тридцатым годам нарицательность этого имени никем еще не забылась.

Эти и многие другие, им подобные, симптомы побудили Крупскую обратиться к Сталину с очередным письмом – до сих пор ни на одно ее письмо, и на это тоже, он, естественно, не ответил, а сломленная, потерявшая себя Крупская, все продолжала и продолжала писать, не чувствуя уже, как видно, сколь унизительна эта переписка в одну сторону. В письме от 7 марта 1938 года она писала: «Дорогой Иосиф Виссарионович, по обыкновению пишу Вам о волнующем меня вопросе. <...> Мне сдается иногда, что начинает показывать немного рожки великодержавный шовинизм. <...> Среди ребят появилось ругательное слово «жид». <...> Правда, пока это отдельные случаи, но все же нужна известная осторожность»[19].

Слишком уж нарочитой и чрезмерной осторожностью, как видим, отличается само письмо Крупской. Она все еще занимала более чем скромный пост заместителя наркома народного образования РСФСР и находилась в глубочайшей опале. Лишь положение вдовы Ленина пока что спасало ее, – участника зиновьевской оппозиции и очень близкого к Бухарину человека, от лубянской пули. Письмо написано в те самые дни, когда вовсю шел третий Большой Московский процесс, где ленинский любимец и «враг народа» Бухарин был главным подсудимым, заведомо обреченным на казнь. Крупская в своем письме этой больной темы не касается вовсе, словно для товарища Сталина она не существует, но зато крайне робко, в предельно деликатной форме, обращает его внимание на «отдельные» проявления антисемитизма среди детей, ничем не подчеркивая, что за детьми, естественно, стоят их родители и что, если бы антисемитизм не поощрялся, эти «отдельные проявления» давно были бы пресечены самими учителями. Да и стоило ли из-за отдельных детских словечек беспокоить самого вождя, отвлекая его внимание от более серьезных дел?

Вопросы эти, конечно же, риторичны. И автор письма, и его адресат отлично знали, что речь идет о полномасштабном явлении, эволюция которого неизбежно должна привести к самым тяжким последствиям, иначе Крупская вообще обращаться к Сталину не стала бы. Для нас это смелое обращение важно прежде всего потому, что документально подтверждает обстановку, сложившуюся во второй половине тридцатых годов, когда за фасадом полного благополучия в национальном вопросе уже создавалась база для нескрываемого государственного антисемитизма.

В том же 1938 году, только несколькими месяцами позже, произошло событие, огласки не получившее и потому оставшееся не замеченным в мире, но очень симптоматичное для эволюции кремлевского (то есть сталинского) отношения все к той же еврейской теме.

Писательница Мариэтта Шагинян, некогда жеманная поэтесса-символистка, затем автор политических детективов и, наконец, претендент на роль первооткрывательницы партийных архивов, наткнулась там, готовя документальный роман «Семья Ульяновых», на потрясающие ее материалы. Впрочем, открытие, которое сделала Шагинян, для Сталина секретом не являлось – про еврейские корни в биографии Ленина он, как мы помним, узнал еще в 1932 году от Анны Ульяновой. Но за пределы узкого партийного круга эта новость, как видно, тогда еще не вышла, и Шагинян, похоже, самостоятельно сделала это открытие вторично. Заодно она узнала, что в жилах Ленина кроме еврейской текла еще немецкая, шведская (по матери), калмыцкая и чувашская (по отцу) кровь, и не было ни одной капли русской. Некоторые из своих находок она включила в роман, получивший полное одобрение Крупской.

Первая часть романа под названием «Билет по истории» вышла летом 1938 года и немедленно вызвала гневную реакцию Сталина. Вопрос рассматривался на политбюро и завершился принятием решения, оформленного как «Постановление ЦК ВКП(б) без объявления в печати»[20]. Книга подверглась жесточайшему осуждению (вместе с книгой – и лично Крупская, позволившая себе книгу одобрить, не испросив сталинского согласия) и была тотчас изъята из продажи и из библиотек. Для устрашения других

литераторов, которые гипотетически могли бы себе позволить нечто подобное, добивать автора поручили Союзу писателей СССР. Уже 9 августа узкий состав руководства Союза вынес Шагинян «суровое порицание» за написание книги, получившей «идеологически враждебное звучание»[21]. Несколькими часами позже состоялось экстренное заседание расширенного состава президиума правления Союза писателей, которое подвело еще более жесткую идеологическую базу под санкции, принятые против автора романа. «Применяя псевдонаучные методы исследования так называемой «родословной» Ленина, – говорилось в писательском постановлении, – М. С. Шагинян дает искаженное представление о национальном лице Ленина, величайшего пролетарского революционера, гения человечества, выдвинутого русским народом и являющегося его национальной гордостью»[22].

Даже такое решение Сталина не устроило из-за «мягкости формулировок». Президиуму правления Союза писателей пришлось собраться снова. Была найдена более жесткая формулировка. Роман Мариэтты Шагинян был назван в новом писательском постановлении «политически вредным и идеологически враждебным», а автора уже не «порицали» – ему объявили выговор, что по действовавшей тогда иерархии санкций считалось более суровым наказанием, чем порицание[23].

Самое любопытное, пожалуй, состоит в том, что Шагинян в своем романе не только не акцентировала внимание на еврейских корнях ленинской родословной, но впрямую о них даже не упоминала, лишь весьма туманно сообщив, что дед Ленина по материнской линии был родом с Украины. Ничего не было сказано и о том, что русских корней у вождя мирового пролетариата нет вовсе. Речь шла лишь о его калмыцких и чувашских корнях. Но Сталин-то знал, что осталось за скобками, и категорически не желал проявления сколь угодно малого интереса к ленинской генеалогии. Очевидная неадекватность его реакции на довольно безобидные изыскания писательницы говорит сама за себя. Редко когда еще он представал так обнаженно в роли великого интернационалиста и лучшего друга всех народов, населяющих Советский Союз.

Опасения Сталина, видимо, были не столь безосновательны. Вся эта история с ленинскими этническими корнями, о которой успело узнать множество людей, не осталась погребенной в секретных архивах. Молва распространила ее довольно широко. Сужу об этом по некоторым материалам материнского архива. Сохранилось ее досье по делу некоего Зелика Каменицера, который был в 1940 году осужден на десять лет лагерей за «злостную контрреволюцию»: в разговорах со своими знакомыми он «клеветнически утверждал, будто В. И. Ленин по происхождению частично еврей и что в биографии В. И. Ленина, изучаемой в средней и высшей школе, а также в сети партийного просвещения, этот факт умышленно скрывается». Когда же он из лагеря письменно пожаловался Сталину на несправедливый приговор («...на этом примере я показывал беспартийным товарищам великий интернационализм нашей великой партии»), лагерный суд добавил ему еще пять гулаговских лет за то, что Каменицер, «отбывая наказание, продолжал вести среди заключенных злостную антисоветскую пропаганду» (наверно, просто, как водится, рассказывал другим лагерникам, за что его посадили).

На третьем (и последнем) Большом Московском процессе, вошедшем в историю как процесс Бухарина-Рыкова, из 21 подсудимого лишь четверо были евреями. Никакой антисемитской окраски этот процесс не имел. Не имел бы, если...

Да, не имел бы, если последнее судебное заседание, предшествовавшее грозной обвинительной речи, неожиданно не закончилось бы ничем не прикрытой антисемитской выходкой прокурора Вышинского: его прорвало!

Процесс близился к концу, когда Вышинский, хорошо, разумеется, знавший настроения Сталина, которые тот уже фактически и не скрывал, решил ему угодить, всласть поглумившись над Аркадием

Розенгольцем. Он публично высмеял подсудимого, огласив найденный в его брюках при аресте «талисман» с текстом из Торы, который вложила туда жена Розенгольца. Это не имело ни с какой стороны ни малейшего отношения к делу, но Вышинский упоенно смешил зал – с весьма специфическим еврейским акцентом, омерзительно картавя, зачитывал нараспев текст «талисмана»[24]. Никакими другими соображениями, кроме как стремлением потрогать сталинскому антисемитизму, объяснить эту выходку невозможно. Следует отметить, что Розенгольц, единственный из приговоренных к смертной казни на этом процессе, не обратился с ходатайством о помиловании[25]. Разумеется, практически такие ходатайства были заведомо обречены на отказ, но ведь утопающий, как известно, хватается за соломинку. Розенгольц, отлично зная о том, сколь нежные чувства питает к нему Сталин, тем более после грязного оскорбления, которое ему нанес Вышинский, унизиться не пожелал.

Объективности ради надо сказать, что существуют – чисто субъективные, ничем не подкрепленные – позднейшие высказывания современников, утверждающих, будто Сталин во время Большого Террора не использовал антисемитизм как орудие проведения своей политики. Характерно, что такие высказывания принадлежат главным образом самим жертвам террора еврейского происхождения, оставшимся, после всего ими пережитого, убежденными сталинистами. Такой точки зрения придерживался, например, Абрам Зискинд, Один из семидесяти двух начальников главных управлений наркомата тяжелой промышленности (во главе сорока из них находились евреи) – почти все они погибли. Зискинд провел в Гулаге двадцать лет (1937-1957), но любовного отношения к Сталину не изменил. Его рассказ записал писатель Юрий Домбровский[26].

Высказывания такого рода лишены доказательственной силы, поскольку не содержат ни одного факта, ни одного довода, которые опровергают изобилие документов и свидетельств, подтверждающих противоположное, и исходят от людей, оставшихся зашоренными сталинистами.

Театральный режиссер Леонид Варпаховский, ученик и сотрудник Мейерхольда, проведенный в Гулаге 18 лет[27], напротив, уверял меня в шестидесятые годы, что антисемитизм не был замечен в лагерях в первый год его заключения (с конца 1937-го по начало 1939-го), когда немалую часть лагерного начальства еще составляли евреи, и стал очень замечен, когда это начальство заменили другим. По утверждению Варпаховского, еще в меньшей степени антисемитизм проявлялся среди самих заключенных. Лагерное начальство, утверждал Варпаховский, особенно плохо относилось к евреям-«выкрестам», если каким-то образом узнавали о таком факте из их биографий. Они их считали предателями: «сегодня изменил одним, завтра изменит другим».

Ээки-старожила рекомендовали новичкам никогда не признаваться в своем православии, а лучше откровенно называть себя евреями без всяких уточнений. Вопреки устоявшемуся мнению, в таком случае сохранялось больше шансов избежать лютой ненависти начальства. Рассказ Варпаховского дополняет его товарищ по несчастью Матвей Грин, тоже деятель искусств, режиссер, оказавшийся в лагере после войны. Тогда уже евреев-начальников почти не осталось, антисемитизм охранников проявлялся в полной мере, но не среди заключенных[28]. К «честным» евреям относились все-таки лучше, чем к тем, кто свою национальную принадлежность скрывал.

Коснувшись темы «евреи в Гулаге», придется снова обратиться к сочинению Солженицына. Он посвящает этой теме целую главу – «В лагерях Гулага» – с четко, им самим сформулированной целью: показать, что «евреям, насколько можно обобщать, жилось легче, чем остальным» (т. 2, с. 331, разрядка автора. – А. В.). Признавая, что имелись и отдельные исключения (с. 337-338), Солженицын настаивает на том, что все евреи устраивались в лагерях «придурками», то есть находили для себя теплые местечки, позволявшие уклониться от общих работ (т. 2, с. 330), что лично он еврея на общих работах в лагерях не встречал (избежав, по счастью, лагерной участи, не смею судить, как назывались те ээки, которые попали

на шарашку, где Солженицын и отбыл значительную часть своего срока). Ну, что ж, поможем ему, напомнив хотя бы о судьбе тяжело больного кинодраматурга Юлия Дунского (автор сценариев «Жили-были старик со старухой», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и многие другие), который весь лагерный срок провел на лесоповале, лесосплаве и в шахтах (надо же и мне хоть раз сослаться на полюбившуюся Солженицыну энциклопедию! См.: Российская Еврейская Энциклопедия. Биографии. М., 1994. Т. 1. С. 447). И защитим от постыдных, оскорбительных намеков мученика Льва Разгона, наверно самого порядочного из всех порядочнейших людей: «Ни из какого рассказа его не просверкнет, что хоть чуть побывал на общих работах» (т. 2, с. 332). И не могло просверкнуть, ибо Разгон предпочитал рассказывать о чужих, а не о своих бедах, меньше всего заботясь о том, что напишет впоследствии про него Солженицын или кто-то другой. О том, как он кайфовал в лагере и через какие работы прошел, рассказал его друг, солагерник, писатель и просто человек безупречной честности и кристальной чистоты – Камил Икрамов (Знамя. 1989. № 6). Есть много других свидетельств, опровергающих «обобщения» Солженицына, – например, воспоминания бывшего зэка Матвея Грина, о которых у нас речь впереди. Не напоминают ли Солженицыну его рассуждения о лагерных «евреях-придурках» – одно к одному – неумирающую, расхожую модель «евреи не воевали, а отсиживались в Ташкенте», к которой нам еще предстоит вернуться? Или, может быть, он согласен и с нею?

Есть и еще один феномен – тоже поразительный, но не парадоксальный. В нем – зловещность сталинского коварства, в нем же и еще одна грань трагедии российского еврейства.

К сожалению, евреи были блистательно представлены – особенно в предвоенные годы, но и в военные тоже – не только в списке генералов и командиров производства, офицеров и солдат, ученых и деятелей культуры, но еще и в том списке, который популяризации не подлежал. Это относится к тем, кого Сталин боялся больше всего. Их же руками вершил свои самые черные и самые гнусные дела, их же и боялся, что, наверно, ни в каких дополнительных объяснениях не нуждается.

Удельный вес евреев в карательном (точнее, палаческом) ведомстве был очень велик – отнюдь не только потому, что, как наивно полагают некоторые, их «тащил» туда Генрих Ягода, возглавлявший Лубянку два года, а состоявший в ее руководстве в общей сложности семнадцать лет. Ни один – не только высокий, но даже среднего уровня – пост в этом ведомстве нельзя было занять без санкции политбюро, оргбюро или секретариата ЦК. Попасты в номенклатуру Лубянки можно было только с личного благоволения товарища Сталина.

А. Н. Яковлев высказал предположение, что Сталин (сознательно поставил евреев во главе одиннадцати из двенадцати крупнейших лагерных комплексов[29]). Не могло быть такого случайного совпадения. И не сами же себя они назначили. Никто, кроме «вождя», утвердить кого-либо на таких должностях не мог. Эта очень серьезная гипотеза заслуживает внимания и обсуждения.

Солженицын в «Архипелаге Гулаг» рассказывает, что «живет упорная легенда: лагеря придумал Френкель». Наверно, «придумал» все же не он, но Сталину было явно с руки, чтобы это, отнюдь не почетное, авторство приписали не Ленину, не Дзержинскому и уж тем более не ему самому, а неизвестному еврею Нафталию Френкелю, отличившемуся неукротимой энергией, изобретательностью, деловитостью в сочетании с жестокостью и цинизмом[30]. Махинатор и организатор темных афер в России и за границей, многократно арестовывавшийся чекистами, Френкель уже в качестве заключенного стал надсмотрщиком над другими заключенными, а потом, освобожденный, назначенный на большой энкавэдистский пост, получил орден Ленина и дослужился до генеральского звания. Встречавшийся с ним в пятидесятые годы советский (ныне израильский) журналист Шимон Черток утверждал на страницах журнала «Континент», что Френкель «сумел выжить благодаря адскому дару: умению заставить заключенных за пайку гнилого хлеба и миску тухлой баланды день и ночь до полного изнеможения работать на своих тюремщиков».

Ясно, что этот адский дар Сталин никак не хотел приписать себе, и молва, переадресовавшая его Френкелю (не исключено, что намеренно запущенная из лубянского штаба), хорошо работала на мудрый замысел «чудесного грузина». Столь же ненавистными заключенным, и – справедливо ненавистными, разумеется, были другие начальники лагерей, и Сталин мог испытывать лишь удовлетворение оттого, что ревностно служившие ему еврей-садисты вызывают презрение и злобу у миллионов своих рабов. Эту горькую страницу истории российского еврейства, а значит и России, негоже замалчивать: она требует глубокого, объективного анализа и четкой оценки – ни то, ни другое нельзя отдавать на откуп злобствующим юдофобам, извлекающим из этой, никого не красящей, страницы истории свой пропагандистский капитал.

Подчеркнем, однако: палачей русского (грузинского, армянского, латышского, польского и пр.) происхождения было не только не меньше, но на определенных этапах значительно больше, чем евреев, особенно на региональном уровне (в этом каждый может убедиться, обратившись к ценнейшему справочнику: «Кто руководил НКВД. 1934-1941 г.» (Сост. Н.В.Петров и К.В.Скоркин. М., 1999.). Однако их палачество с национальной принадлежностью никак не сопрягалось в сознании, зато истязатели и палачи (конечно же, истязатели и палачи!) еврейского происхождения непременно воспринимались прежде всего как евреи.

Если бы их хоть как-то беспокоила репутация народа, к которому они принадлежали (хотели того или нет, но – принадлежали), да к тому же с тем клеймом, которое накладывали на этот народ отечественные черносотенцы разных призывов, они, возможно, бежали бы без оглядки от кресел в том ведомстве, куда их тянули. Но в том-то и дело, что интересы соплеменников были им глубоко чужды, ничего собственно еврейского в них не было, евреев они терзали точно так же, как не евреев. Даже еще свирепей, – чтобы не заподозрили в покровительстве.

Кем они были, все эти члены Лубянской зондеркоманды? Безграмотным и тупым плебсом с комариными мозгами, поднявшимся на гребне «революционной» волны! Так и не овладевшие никакой профессией ученики портных, сапожников, парикмахеров, приказчиков, официантов... Лишь очень немногие из них имели даже начальное образование. О среднем, тем более о высшем, и речи быть не могло. Для них работать там, да к тому же на полковничьих и генеральских постах, было делом не постыдным, а почетным. «Генерал Михаил Белкин, – рассказывает об одном из этих заплечных дел мастере историк и публицист Лев Безыменский, – (в молодости) еврейский рабочий, был не единственным человеком такого рода у Берии, которому верно служили много евреев (и Ежову тоже! – А. В.) <...> Берия понимал, как можно использовать евреев, которые евреями быть не хотят»[31]. В том смысле не хотят, что не щадят никого, демонстрируя свой нестигаемый пролетарский интернационализм.

Скорбя о жертвах сталинизма, сегодняшние лубянские руководители назойливо напоминают о пострадавших от репрессий своих коллегам: и они, стало быть, не палачи, а жертвы. Насчитали примерно двадцать тысяч... Неплохо бы, однако, отделить овец от коздищ. Среди этих двадцати тысяч уж никак не меньше четверти, а то и трети, непосредственных участников репрессий, захлебнувшихся в крови, которую они сами обильно и беспощадно проливали. В то время как гибель сотен тысяч узников тщательно скрывалась, их родственникам сообщали о мифических приговорах («десять лет без права переписки»), расправа с палачами (первое бериевское «исправление перегибов») ни для кого не была секретом. Как повинные в необоснованных репрессиях, они становились объектом вполне заслуженных, но целенаправленных поношений, и никто не старался пресечь слухи о той судьбе, которая их постигла. Имена расстрелянных на этот раз красноречиво говорили сами за себя: посмотрите, кто виноват в гибели ваших близких! Истязателей постигло возмездие, но истязаемым не вернули при этом ни жизнь, ни свободу, ни доброе имя.

...Красноречивый язык цифр наглядно свидетельствует об эволюции сталинского отношения к еврейским кадрам на руководящих постах. Динамика еврейского присутствия в верхушке спецслужб говорит сама за себя. Если летом 1934 года евреи составляли 31 процент всех работников высшего эшелона НКВД, осенью 1936 года – 39 процентов (пик их присутствия), весной 1937 года – все еще 37 процентов (практически тот же уровень), то дальше идет неуклонный спад: осенью 1938 года – 21 процент, а уже летом 1939 года – всего лишь около 4 процентов[32]. Конечно, это связано прежде всего с первой волной чистки, обрушившейся на НКВД, когда Сталин решил уничтожить тех, кто ревностно осуществлял террор по его же распоряжению.

Во главе всего Архипелага стоял Матвей Берман (он же возглавлял осуществлявшееся трудом заключенных строительство Беломорско-Балтийского канала), заместитель наркома внутренних дел СССР. Его расстреляли в феврале 1939 года. Это была одна из жертв «возвратной волны», когда Сталин решил уничтожить большинство из вчерашних палачей, которые слишком многое знали и стали слишком могучими. Кроме того, опять-таки, надо было направить ненависть изнемогшей от крови страны по желанному руслу. Уничтожая тех, кто осуществлял Большой Террор, Сталин одним ударом достигал две цели: снимал вину с себя самого и переносил ее на «еврейский предательский клубок, свивший себе гнездо под крышей НКВД».

Среди уничтоженных брат Матвея Бермана – Борис Берман, нарком внутренних дел Белоруссии, заместили наркомов внутренних дел СССР Яков Агранов (Сорензон), Лев Бельский (Левин), Семен Жуковский, Леонид Заковский (Генрих Штубис), наркомы внутренних дел союзных и автономных республик Лев Залин (Зельман Левин; Казахстан), Израиль Леплевский (Украина), Семен Миркин (Северная Осетия), Михаил (Яков) Раев (Каминский; Азербайджан), Илья Рессин (Республика немцев Поволжья), заместители наркомов Иосиф Блат, Зиновий Кацнельсон, руководящие работники Главного управления госбезопасности НКВД СССР Яков Аронсон, Соломон Бак, Моисей Богуславский, Яков Вейншток, Захар Волович, Марк Гай (Штоклянд), Матвей Герзон, Моисей Горб, Илья Грач, Валерий Горожанин (Кудельский), Израиль Дагин, Яков Дейч, Лазарь Коган, Владимир Курский, Михаил Литвин, Генрих Люшков (бежал в Японию и уничтожен в августе 1945 года «самураями», а не на Лубянке), Лев Миронов (Коган), Сергей Миронов (Мирон Король), Карл Паукер, Александр (Израиль) Радзивиловский, Григорий Раппопорт, Абрам Ратнер, Яков Серебрянский (Бергман), Абрам Слуцкий, Давид Соколинский, Соломон Стойбельман, Меер Трилиссер, Семен Фирин (Пупко), Владимир Цесарский, Леонид (Исаак) Черток, Исаак Шапиро, Сергей Шпигельглас и еще очень много других энкавэдистских шишек того же уровня и, увы, того же происхождения. Некоторые из них не имели прямого отношения к репрессиям, занимаясь преимущественно заграничными операциями, но кто же не знает, что заграничные операции были сплошь и рядом отнюдь не менее кровавыми, чем «операции» в лубянских подвалах?

После спада этой волны террора опустевшие места другими евреями уже заняты не были. Перед самой войной процент их присутствия на руководящих постах в НКВД почти не поднялся (около 5,5 процента), тогда как процент русских с 31 процента (лето 1934 года) подскочил к весне 1941 года до 65 процентов[33].

Чуждые всяких эмоций цифры подкрепляют компетентное свидетельство лубянского генерала Павла Судоплатова, воспроизведенное его сыном Андреем. Генерал рассказывал сыну, что в 1939 году чекисты получили устную директиву следить за тем, какой процент лиц той или иной национальности находится в руководстве различных ведомств (не только в самом НКВД). Слово «евреи» не упоминалось, но ни для кого, уточняет генерал, не было секретом, о какой национальности идет речь, притом впервые за годы советской власти вошло в служебный словарь понятие «система квот» (то есть, попросту говоря, «процентная норма» царского времени)[34].

В воспоминаниях Павла Судоплатова содержится и еще один эпизод, который необходимо связать со всеми другими того же ряда, тем более что все они относятся к одному и тому же времени. В 1939 году начальник управления идеологической контрразведки НКВД Сазыкин получил личный приказ Сталина арестовать Илью Эренбурга, как только он вернется из Франции, где тот все еще пребывал в качестве корреспондента «Известий». По чистой случайности (?) именно в эти дни на Лубянку пришла зашифрованная депеша от резидента НКВД в Париже Льва Василевского, в которой он высоко оценивал политический вклад Эренбурга в развитие советско-французских отношений и его антифашистскую деятельность. Берия сразу же доложил об этой шифровке Сталину. «Ну, что ж, – сказал Сталин, – если ты так любишь этого еврея, работай с ним и дальше»[35].

В этом эпизоде примечательны не кремлевско-лубянские игры и даже не то, как в этих играх ставились на кон судьбы людей. Примечательна та дефиниция, под которой в сталинском мозгу значился знаменитый писатель и журналист, которому суждено будет вскоре сыграть очень значительную роль в масштабной и трагической политической пьесе. Для Сталина речь шла о том, что делать с евреем. Еще совсем недавно даже в узком кругу при решении вопроса о судьбе Эренбурга вождь подобрал бы ему другую дефиницию.

...В отличие от того, что произойдет десять лет спустя, никаких внешних признаков надвигающейся антисемитской волны еще не было. С присущим ему мастерством Сталин демонстрировал прямо обратное. Например, 31 января 1939 года указом, который Сталин лично готовил, корректируя список счастливых, была награждена орденами огромная группа советских писателей: более ста семидесяти тружеников пера. Среди тех, кто получил высший орден Ленина, – Перец Маркиш. Орденов были удостоены и другие литераторы, писавшие на идиш: Лейба Квитко, Самуил Галкин, Давид Гофштейн, Ицик Фефер. Сталин лично добавил к подготовленному аппаратом списку еще трех писателей-евреев (и никого больше!): автора научно-популярных книг М. Ильина (Илью Маршака, брата поэта Самуила Маршака), забытого ныне прозаика Виктора Финка и молодую, пока что мало кому известную, Маргариту Алигер. Решив, что ее фамилия начинается с буквы «О», он своей рукой определил ей место в списке по алфавиту – между Новиковым и Осмоновым. В указе фамилию все же написали правильно, а место, которое для нее выбрал Сталин, изменить не посмели. Так она и значится в списке: Алигер, затесавшаяся почему-то между буквами «Н» и «П»: прихоть Отца-покровителя... Столь же щедрым было и еврейское представительство в списке награжденных одновременно деятелей советского кино, как и в списке новых членов Академии наук СССР – после выборов, проведенных под полным контролем Кремля.

Не освободился полностью от евреев, несмотря на жестокие, беспощадные чистки, и НКВД. Среди садистов нового призыва, занявших освободившиеся места, причем весьма высокого уровня, были все «те же»... Кое-кто уцелел и из бывших. Пощадили, к примеру, дав возможность куражиться над беззащитными жертвами одного из самых страшных и омерзительных монстров лубянского ведомства Андрея Свердлова – сына Якова Свердлова. Еще мальчиком он стал секретным осведомителем ГПУ, писал доносы на своих сверстников – детей других кремлевских воротил. Едва достигнув совершеннолетия, поступил на штатную чекистскую работу, проявив особый вкус к профессии следователя, которая полностью позволяла ему проявить свою патологическую жестокость. Особое наслаждение он испытывал, ведя дела своих школьных товарищей или соседей по Дому на набережной.

Кстати, дело поэта Павла Васильева, обвиненного в «контрреволюционном антисемитизме», вел тоже Андрей Свердлов. Есть множество свидетельских показаний жертв, которым сын прославленного советского «президента» выбил зубы, сломал руки, ноги и ребра. Его даже посадили однажды в камеру Внутренней тюрьмы где он изображал из себя арестанта, а несколько недель спустя он допрашивал своих «сокамерников» и жестоко их избивал. От этого чудовища Сталин (пока!) отказываться не хотел. Люто ненавидя своего «товарища» по Туруханской ссылке, он таким путем жестоко мстил усопшему сопернику:

его сын служил лакеем у Сталина и лично истязал друзей своего отца, детей этих друзей. Среди многочисленных жертв этого монстра была и жена Бухарина – Анна Ларина. И ведь – отдадим должное Сталину, добился цели: имя Свердловых – и отца, и сына – вызывает сегодня у любого порядочного человека только одну реакцию: отвращение. Убийственный портрет Андрея Свердлова – почетного пенсионера хрущевско-брежневских времен – можно найти в «Рабочих тетрадях» А. Твардовского.

Распространено мнение, что сам Берия таким пороком, как антисемитизм, не страдал, подтверждением чему служит не просто присутствие в его ближайшем окружении многих евреев, но даже инициатива по выдвижению их на крупные энкавэдистские посты. Называют, и справедливо, генералов Аркадия Герцовского, Вениамина Гульста, Илью Ильюшина (Эдельмана), Матвея Поташника, Соломона Мильштейна, Льва Новобратского, Леонида Райхмана, Наума Эйтингона, руководителей следственной группы полковников Бориса Родоса, Льва Шварцмана (эти двое – просто чудовища из чудовищ), Исаю Бабича, Иосифа Лоркиша и, увы, многих других.

Свидетельствами о каком-то особом бериевском антисемитизме мы действительно не располагаем, и всех этих людей на их высокие посты Берия или сам «привел», или сам же сохранил как «ценные кадры». Но все они относились к номенклатуре ЦК, что при жизни Сталина означало – в его личной номенклатуре. И достаточно было ему шевельнуть пальцем, чтобы никого из них не осталось на Лубянке, а может быть и в жизни.

Пальцем он не шевельнул. Почему – тоже понятно. Он-то знал, что с Большим Террором еще не покончено, что близятся его новые волны, а за ними и попросту Девятый вал. Так что надо будет и на этот случай иметь козлов отпущения.

И все же публично в малопочтенном качестве юдофоба Сталин пока еще себя не проявлял. Нельзя же считать несомненным антисемитизмом его требование сменить актера, исполняющего в кино его роль. Дело в том, что в юбилейном (20-летие переворота) фильме «Ленин в Октябре», для которого Сталин сам выбрал и сценариста (Алексей Каплер), и режиссера (Михаил Ромм) – оба евреи. Роль Сталина сыграл малоизвестный артист провинциальных драматических театров Самуил Гольштаб, очень похожий на вождя народов.

Посмотрев фильм, Сталин распорядился подобрать для второй части дилогии («Ленин в 1918 году») другого актера. Из Тбилиси срочно доставили Михаила Геловани, актера ничуть не большего дарования, чем его предшественник, и ничуть не более похожего на прообраз – теперь этот грузинский счастливчик был навсегда обречен только эту роль и играть – до тех пор, пока Сталин не захочет предстать перед народом не грузином, а русским. А Гольштаб так и остался актером областного театра в городе Кирове и умер в полной неизвестности в 1971 году[36]. Но увидеть в этом требовании вождя (весть о поступившем сверху распоряжении широко распространилась по Москве) антисемитскую подоплеку было все же нельзя: Гольштаб был, действительно, весьма заурядным актером (точнее сказать, никаким), хотя Сталина почти наверняка прежде всего раздражал сам, неприемлемый для него, факт: как это в сознание зрителей войдет образ вождя, созданный евреем?! Ни сценариста, ни режиссера он не заменил: его интересовал лишь тот, кто перевоплотился в него самого. Тут уж никакой компромисс был невозможен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вечерняя Москва. 1992. 30 декабря.
2. Московские новости. 1989. 3 сентября.

3. Вышинский А. Судебные речи. М., 1938. С. 249.
4. Там же. С. 251.
5. Литературная газета. 1988. 28 января.
6. Письма 74-летнего С. Д. Луковникова из Москвы, 82-летней А. А. Златкиной из Ленинграда, Б. Базельского (возраст не указан) из Одессы и многие другие хранятся в архиве автора.
7. Письмо М. Голощекина автору этой книги от 1 февраля 1988 года.
8. Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С. 100-110.
9. Там же. С. 112.
10. Дневник Йозефа Геббельса. Запись от 27 января 1937 года.
11. 9 мая 1939 года, в разгар тайных переговоров, которые вели в Германии эмиссары Сталина с высокопоставленными гитлеровскими чинами, и Радек, и Сокольников были зверски убиты в тюрьме посаженными к ним в камеры уголовниками. См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 69.
12. Этот вывод можно было сделать из обтекаемого ответа прокуратуры на запросы моей матери в октябре 1957 года. К тому времени Борис Норкин еще, видимо, не был реабилитирован, чем и объясняется «стыдливая робость» мелкого сотрудника, который отвечал на запрос.
13. Правда. 1937. 15 января.
14. Правда. 1936. 10 февраля.
15. Верховный Совет СССР. Первый созыв. Первая сессия: Стенографический отчет. М., 1937. С. 192.
16. Г. Каминский в узком кругу своих коллег возмущался «идиотизмом» шефа Лубянки Ежова, сочинившего легенду о том, что большевики-евреи стали агентами нацистского гестапо. Неужели он не догадывался, кто на самом деле этот вздор мог сочинить? О разговорах Каминского с коллегами незадолго до его ареста знаю со слов тогдашнего заместителя наркома здравоохранения СССР – старой большевички Екатерины Гордеевны Кармановой. Впоследствии она была резко понижена в должности, став директором института санитарного просвещения, юридическим консультантом которого была в течение нескольких лет моя мать. Обе женщины были в очень добрых отношениях друг с другом и имели между собой много доверительных бесед.
17. Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. М., 1994. С. 82.
18. Орлова Раиса. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993. С. 191.
19. Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 179.
20. Решение от 5 августа 1938, протокол № 63. См. также: Арутюнов Аким. Досье Ленина без ретуши. М., 1999. С. 19.
21. РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 631. Оп. 15. Д. 271. Л. 34-35.
22. Там же. Л. 1-2.
23. Там же. Д. 265. Л. 2. Любопытно продолжение этой истории. Шагинян упорно продолжала разрабатывать полюбившуюся ей «ленинскую тему» и в итоге за тетралогия «Семья Ульяновых», куда вошел и «Билет по истории», удостоилась Ленинской премии (1972). Даже это не излечило ее от шока, который она пережила почти сорок лет назад. Когда в середине семидесятых у нее возникли какие-то трудности с изданием девятитомного собрания сочинений, она была убеждена, что причиной тому ее

«правда о ленинском еврействе», и даже хотела – «от позора и унижения» – покончить с собой. «Они не могут мне простить то, что я написала о национальности Ленина, о еврейской примеси в его крови, – утверждала неистовая Мариэтта. – Теперь это непоправимо. Это навсегда». См.: Карпов Владимир. Жили-были писатели в Переделкино... М., 2002. С. 51.

24. Судебный отчет по делу Антисоветского право-троцкистского блока. М., 1938. С. 547-548. О том, как издевательски гнусавил и картавил Вышинский, зачитывая текст из Торы, мне рассказывал в феврале 1988 года в Лондоне сэр Фицрой Маклин, который, будучи тогда сотрудником британского посольства, присутствовал на процессе с первого до последнего дня.

25. Известия. 16 марта. 1938.

26. Континент. 1992. № 2 (72). С. 227-254.

27. Любопытная и весьма красноречивая подробность. В ранней молодости Леонид Варпаховский отдал дань увлечению джазом и в двадцатые годы руководил одним из джаз-оркестров. На допросах, как он мне рассказывал, от него требовали, в частности, ответа на вопрос: какие задания дала ему американская разведка по вербовке шпионов через джазовые клубы? «Ведь джаз, – убеждали его следователи, – это еврейская музыка, насаждаемая американцами». И приводили «доказательства»: практически всеми советскими джазовыми оркестрами тех лет руководили евреи – Юлий Мейтус, Григорий Ландсберг, Александр Цфасман, Яков Скоморовский, Леонид Утесов (Лазарь Вайсбейн)... Видимо, что-то было отражено в арестантском деле Варпаховского и на этот счет, поскольку лагерное начальство часто требовало от него «сыграть что-нибудь еврейское», подразумевая под этим джазовую музыку. Круг джазистов в сороковые годы пополнился именами Эдди Рознера, Виктора Кнушевицкого и другими – сплошь евреями. Музыкальные деятели, с которыми мне довелось общаться, считали, что особая ненависть Кремля к джазу была вызвана не столько самой музыкой, сколько «специфическим» составом ее исполнителей в Советском Союзе.

28. Театральная жизнь. 1989. № 12. С. 30.

29. Iakovlev Alexandre. Ce que nous voulons faire de l'Union Sovietique. Paris, 1991. P. 148.

30. В письме Солженицыну от 30 января – 5 февраля 1985 года Лев Копелев писал: «...мучительно было читать в «Архипелаге» заведомо неправдивые страницы в главах о блатных, о коммунистах в лагерях, о лагерной медицине, о Горьком, о Френкеле (очередной образ сатанинского иудея, главного виновника всех бед, который в иных воплощениях повторяется в Израиле Парвусе и в Багрове (убийце Столыпина. – А. В.)). См.: Синтаксис. Париж. 2001. № 37. С. 95-96.

31. Безыменский Лев. Будапештский мессия. М., 2001. С. 123.

32. Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934-1941. М., 1999. С. 495.

33. Там же. В то время как сотрудники Лубянки еврейского происхождения активно участвовали в осуществлении террора, что, впрочем, их самих не спасло в будущем от расправы, прокуроры-евреи, хоть и работали под началом Вышинского, очень часто пытались сопротивляться беззаконию, отказывая в санкциях на арест. Уже намеченных к уничтожению это, конечно, спасти не могло. Зато сами прокуроры за верность профессиональному долгу заплатились арестом, гулаговской каторгой, а то и жизнью: главный военный прокурор Наум Розовский, помощники прокурора СССР Лев Субоцкий и Вениамин Малкис, прокурор Омской области Евсей Рапопорт, военный прокурор Хабаровского гарнизона Матвей Капустянский, прокуроры военных округов Юлий Берман, Исай Гай и многие другие. Всем им вменялись, среди прочего, в вину «попытки укрыть от ответственности врагов народа». См. также: Бобринев В. А., Рязанцев В. Б. Палачи и жертвы. М., 1993. С. 106 и 118-125.

34. Судоплатов Андрей. Тайная жизнь генерала Судоплатова. М., 1998. Т. 2. С. 292.

35. Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 404. Сообщение Судоплатова о готовившемся аресте И. Эренбурга находит убедительное подтверждение в одном неоспоримом факте. В январе 1940 года вышел в свет подписанный к печати еще в мае 1939 года очередной том многотомного библиографического справочника Н. Мацуева, куда включены все книги, относящиеся к жанру «русская художественная литература» и опубликованные в 1933-1938 годах. Разумеется, сведений о книгах «врагов народа» там нет. Нет и имени Эренбурга, хотя именно в это пятилетие его романы и эссе выходили в Советском Союзе девять раз. В этом «пробеле» виноват, разумеется, не добросовестный и в высшей степени компетентный составитель справочника, а цензура, получившая соответствующее указание, которое к моменту подписания тома в печать никто не отменил.

36. Торчинов В. А., Леонтьев А.М. Вокруг Сталина. СПб., 2000. С. 160.

ГОНИТЕ ИХ ВОН!

ГОНИТЕ ИХ ВОН!

1 мая 1939 года на Красной площади в Москве, как всегда, состоялись военный парад и многотысячная демонстрация. Сталин и не попавшие в мясорубку, но сами активно ее творившие, «верные соратники» – члены политбюро с трибуны ленинского мавзолея демонстрантам махали руками, ведя между собой доверительные беседы. А столь же верные, но рангом пониже, пребывали на почетных трибунах – внизу, в непосредственной близости к мавзолею. Среди почетных гостей находился, в соответствии со своим рангом – наркома иностранных дел, и Максим Литвинов. Его знали в лицо все иностранные дипломаты и журналисты, тоже находившиеся на Красной площади и, естественно, именно о его присутствии они сообщили в свои газеты и в свои министерства иностранных дел.

2 мая в стране еще был праздничный день, но Литвинову позвонили от Сталина и приказали срочно явиться в свой служебный кабинет. Туда же, только часом позже, были вызваны руководители большинства управлений и отделов наркомата. В литвиновском кабинете, где нарком уже не чувствовал себя хозяином, расположилась созданная Сталиным так называемая проверочная комиссия ЦК под водительством Молотова, в составе ближайших к Сталину членов политбюро – Маленкова и Берии и правой руки самого Берии, его заместителя Владимира Деканозова. Они заявили наркому, что политбюро приняло решение провести тщательную проверку работы всех подразделений наркомата в связи с крайне неудовлетворительным, как считает товарищ Сталин, практическим осуществлением сталинской внешней политики[1].

Разумеется, никто из тех, кого в хамском тоне допрашивали (именно допрашивали, а не спрашивали) проверяльщики, не знал и не мог знать, какие внешнеполитические планы вынашивал и уже начал осуществлять Сталин. И тем более они не знали о том, что как раз в это самое время его особо доверенные и абсолютно засекреченные лица ведут тайные переговоры с ближайшим окружением Гитлера. Соответственно они не могли знать и о том, к каким кардинальным поворотам в стране и в мире, со всеми вытекающими из этого последствиями, такой поворот приведет. Но Молотов и его компания вовсе и не собирались оставлять ошеломленных наркоминдельцев в неведении.

Стенографистка Литвинова – Агнесса Ромм оставила воспоминания о тех незабываемых днях. По ее словам, Молотов сразу же сообщил, что наркоминдел ожидают крупные кадровые перемены, уточнив, чтобы на этот счет не было никаких сомнений: «Мы навсегда покончим здесь с синагогой»[2].

Конец синагоги начался, естественно, с самого наркома – о снятии Литвинова было официально сообщено 4 мая. Его кресло занял сам глава Совета народных комиссаров Молотов. В секретной депеше своему правительству германский поверенный в делах в Москве Типпельскирх восторженно докладывал о том, что сменивший ненавистного еврея Литвинова Молотов «не еврей»[3]. Столь же восторженно было воспринято это известие и в Берлине[4]. Еврейская жена нового наркома для Берлина, как видно, угрозы не представляла: там хорошо понимали, что означало смещение Литвинова – не просто еврея, а убежденного антинациста. В Берлине поняли также, что Сталин недвусмысленно аиширует то, о чем тайные его эмиссары уже успели Гитлеру пообещать.

Полная неожиданность случившегося даже для людей, которых, казалось, их служебное положение обязывало быть осведомленными о кардинальных поворотах в политике, наглядно иллюстрируется таким, например, фактом. За несколько дней до падения Литвинова его коллега, – советский посол в Швеции

Александра Коллонтай на первомайском митинге в посольстве назвала Литвинова «стахановцем по иностранным делам», который олицетворяет «всю мощь, все величие, всю непобедимость, всю гуманность и мудрость советской международной политики»[5]. О том, что этот «стахановец» на самом деле всего-навсего глава «синагоги», Коллонтай, конечно, не знала – это подтверждает, какой секретностью была обставлена готовившаяся отставка Литвинова. Никаким санкциям за такое самовольство Коллонтай не подверглась: на каждый случай у Сталина была своя логика.

Многие годы спустя, Молотов – уже в полной опале, сохраняя собачью верность усопшему хозяину, ничуть и никого не стесняясь, исповедовался своему confidentу – такому же, как он сам, фанатичному сталинцу Феликсу Чуеву, откровенно назвав Литвинова «большой сволочью» и посетовав на то, что тот в годы террора остался жив (чудом, как выразился Молотов): «В 1939 году, когда сняли Литвинова и я пришел на иностранные дела, Сталин сказал мне: «Убери из наркомата евреев». Слава Богу, что сказал! Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов, Это, конечно, неправильно. (Почему неправильно – не разъяснил. Потому ли, что были плохими профессионалами, или просто потому, что евреи? Солженицын – об этом сказано выше – тоже считает, что неправильно: трогательное единодушие с товарищем Сталиным. – А. В.) Латыши и евреи. И каждый за собой целый хвост тащил. (Эта фраза маниакально повторяется Молотовым в беседе с Чуевым множество раз – в разные годы и по разному поводу. Видимо, мысль о мифическом «хвосте» просто не давала ему покоя. – А. В.) Причем свысока смотрели, когда я пришел, издевались над теми мерами, которые начал проводить. <...> Сталин, конечно, был настороже в отношении евреев»[6].

На молотовские «меры», ясное дело, смотрели не свысока («свысока» могли смотреть только на безграмотность и хамство нового наркома, всегда и во всем его отличавшие), а с ужасом и отчаянием. В течение ближайших нескольких дней из наркомата были изгнаны и арестованы наиболее квалифицированные, образованные и опытные работники наркомата – все, разумеется, евреи: Евгений Гиршфельд, Марк Плоткин, Эммануил Гершельман, Лев Миронов (Пинес), Григорий Вайнштейн, Евгений Гнедин (Парвус) и многие другие[7]. Гнедин был сыном Александра (Израиля) Гельфанда (Парвуса) – уроженца Белоруссии, эмигрировавшего в Швейцарию, где он проявил себя на разных поприщах: философа, бизнесмена, книгоиздателя, революционера-подпольщика. Парвус был близок и к Ленину, и к Троцкому, он спонсировал переезд Ленина и его группы из Швейцарии в Россию в марте 1917 года[8]. Слишком образованные (не чета сталинским невеждам) отец и сын вызывали у Сталина, Молотова и Берии особую ненависть, хотя старший Парвус умер еще в 1924 году. Сталинскую компанию бесила еще и «необъяснимая» щедрость Парвуса-младшего: с чего бы вдруг «этот еврейчик» отдал всю свою долю папиного наследства «на борьбу с капитализмом»?[9] В поступке не изжившего наследственный революционный романтизм эрудита и полиглота Евгения Гнедина им не виделось ничего другого, кроме «амбициозных стремлений еврейского выскочки»[10].

Литвинов остался не у дел («в резерве наркоминдела»), и это было для него еще не самое худшее. Тем более что он пока (до начала 1941 года) оставался членом ЦК.

Мне пришлось ознакомиться с большим числом досье, заведенных в тридцатые годы на бывших дипломатов высшего ранга и еще хранившихся в конце 1988 года в архиве Верховного суда СССР (позже они были сданы в архив спецслужб и стали для меня практически недоступными). Из них с очевидностью вытекает, что готовился грандиозный процесс дипломатов, где в списке подсудимых под номером первым предстояло значиться Максиму Литвинову. Второе и третье места достались бы тогда послу в Лондоне Ивану Майскому (Израилю Ляховецкому) и послу в Риме Борису Штейну – оба евреи, четвертое – Александре Коллонтай, воинственной юдофилке. Во всяком случае, следователи по делам уже арестованных дипломатов настойчиво домогались показаний против них. Задуманный сценарий проводил в жизнь шеф следственной бригады – Израиль Пинзур. По излюбленной сталинской модели евреи

уничтожались руками евреев.

От первоначального решения Сталин, видимо, отказался, проявив свойственную ему – нет, не проницательность, а интуицию, – которая удивляла многих. Скорее всего, он пришел к выводу, что увольнение Литвинова и разгон наркоминдельской «синагоги» вполне достаточный подарок для Гитлера, и слишком уж шикавать, радуя фюрера трупом расстрелянного Литвинова, пока не стоит: может еще пригодиться. И пригодился (как, кстати сказать, и Штейн): мы вскоре увидим, что и на этот раз интуиция Сталина не подвела.

Тайные переговоры в Берлине шли тем временем полным ходом и завершились известным всему миру, судьбоносным событием: Риббентроп прибыл в Москву и ближе к полуночи 23 августа подписал пакт, который так и вошел в историю под названием «пакт Молотова-Риббентропа». Как стало известно впоследствии, Сталин и его немецкий гость в дружеском разговоре затронули и еврейскую тему, хотя ни один источник не сообщает, кто из них был инициатором. Вероятнее всего – Сталин, поскольку Риббентроп, не зная в точности сталинское отношение к «вопросу», но крайне заинтересованный в благополучном исходе этих и предстоящих еще переговоров, вряд ли стал бы «дразнить гусей»: дискуссия со Сталиным на эту тему в планы Гитлера (и, соответственно, Риббентропа) не входила.

Но дискутировать, как оказалось, и не было необходимости. Гитлеровский «летописец» – юрист и стенограф Генри Пиккер – опубликовал годы спустя свой дневник под названием «Застольные разговоры Гитлера в ставке. 1941-1942», где есть запись от 25 июля 1942 года. За ужином накануне, в ставке под Винницей, расслабившийся Гитлер (немецкие дела на фронте шли в это время великолепно) рассказывал о том, с каким докладом явился к нему после визита в Москву Риббентроп. «Сталин не скрывал, что ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно своей (то есть русской. – А. В.) интеллигенции, чтобы полностью (!) покончить с засильем евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему нужны»[11]. Потребность в советско-нацистском братстве, стало быть, была столь велика, что Сталин был даже готов отказаться и от обычной осторожности в формулировках, и от имиджа коммуниста-интернационалиста, обнажив свои истинные чувства и намерения в самом чувствительном для обеих сторон вопросе.

В этой связи вызывает большое сомнение рассказ одного из тех, кто был тогда Сталину «пока еще нужен», – Лазаря Кагановича, до самой сталинской смерти остававшегося в ближайшем его окружении. Он рассказывал более чем полвека спустя все тому же неугомонному Феликсу Чуеву, что во время торжественного кремлевского обеда 23 августа 1939 года Сталин вдруг произнес тост «за нашего наркома путей сообщения Лазаря Кагановича», который будто бы сидел тут же, за столом, через кресло от Риббентропа. «И Риббентропу, – вспоминал Каганович, – пришлось выпить за меня»[12].

Эта версия, в которой Сталин выступает несгибаемым интернационалистом, нарочито провоцирующим гитлеровского посланца, является, скорее всего, апокрифом. По логике событий у Сталина не могло быть намерения дразнить Риббентропа, да еще в таком вопросе. Имя Кагановича отсутствует в списке лиц, присутствовавших при подписании пакта[13], а по протоколу на обед, который следует за этим, приглашаются лишь те, кто участвовал и в самой церемонии подписания. Наконец, ни один другой источник, особенно с немецкой стороны, этот скандальный (для Риббентропа) и мужественный (для Сталина) эпизод не подтверждает. Видимо, рабски преданный Сталину до своего последнего вздоха Каганович просто хотел отлакировать постыльную действительность...

Резкий поворот в кремлевской национальной политике пока еще никакой огласке не подлежал. Напротив, Сталин по-прежнему хотел выглядеть «несгибаемым коммунистом», то есть интернационалистом, как того требует коммунистическая доктрина. Иначе невозможно объяснить демонстративный жест, который последовал немедленно вслед за отъездом Риббентропа из Москвы: заместителем председателя Совета народных Комиссаров, то есть все того же Молотова (став наркомом

иностранных дел, тот сохранил за собой пост главы правительства), Сталин неожиданно назначил Розалию Землячку (Залкинд)[14]. Ту самую, которая отличилась беспримерной (даже на фоне других большевистских террористов) жестокостью при расправе над Белой Армией и мирным населением в Крыму в 1920 году.

Землячка никогда не принадлежала к числу активно действовавших большевистских лидеров первого ряда, никогда не была до этого ни наркомом, ни заместителем наркома, довольствуясь второстепенными и третьестепенными постами в кремлевской номенклатуре. Была известна как на редкость серый, малограмотный функционер, абсолютно ничем, кроме резни в Крыму, себя не проявивший. Но Сталину явно нужно было символически «уравновесить» сговор с Гитлером и разгон наркоминдельской «синагоги» какой-то позитивной акцией на еврейскую тему – кадровой и в то же время ничего не значащей по существу. Назначение Землячки, – бесцветной и абсолютно ему преданной, заведомо готовой на все, – на крупный государственный пост было в этом смысле идеальным вариантом. Когда надобность в мимикрии отпала, когда антисемитская кадровая политика перестала быть секретом даже для публики, а не только для аппарата, Землячка со своего поста слетела. Это случилось в августе 1943 года. Ее пребывание в кресле вице-премьер-министра просто никто не заметил.

Хитрый, просчитывавший шаги, как в шахматах гроссмейстер высокого класса, на несколько ходов вперед, Сталин не ограничился лишь бесцветной Землячкой, а вернул на политическую сцену отстраненного было Соломона Лозовского (Дридзо), ранее возглавлявшего Профсоюзный Интернационал (Профинтерн). Причем отправил его не куда-нибудь, а в ту самую «синагогу», которую сам же и разогнал: Лозовский получил пост заместителя наркома иностранных дел. Попробовал бы теперь кто-нибудь сказать, что изгнанные из наркоминдела дипломаты, пострадали лишь за свое еврейское происхождение! Лозовский не представлял для Сталина никакой опасности. Звезд с неба он не хватал, безропотно исполнял любые предписания кремлевского диктатора и в качестве «еврейской ширмы» мог еще пригодиться...

Внезапно вспыхнувшая братская дружба с нацистской Германией и последовавший за этим раздел Польши неизбежно обострили все ту же «еврейскую проблему», поставив Сталина перед необходимостью решать ее не теоретически, а практически. Огромная масса польских евреев, спасаясь от нацистов, искала, естественно, спасения в Советском Союзе – в стране, где все народы равны и где никакой этнической дискриминации нет и не может быть. Десятки тысяч людей устремились навстречу наступавшей с Востока Красной Армии. Немецкие войска не препятствовали этому потоку, зато перед беженцами воздвигли преграду войска советские. Попытки прорваться встречались огнем, равно как и попытки некоторых беглецов вернуться обратно: по ним открывали огонь немцы. Эта бесчеловечность лицемерно представлялась советской дипломатией как недоразумение, спровоцированное неразумными германскими военачальниками.

17 декабря 1939 года новоназначенный заместитель наркома иностранных дел Владимир Потемкин докладывал Сталину о приеме им германского посла Шуленбурга: «Я пригласил Шуленбурга, чтобы сообщить ему о ряде случаев насильственной (!) переброски через границу на советскую территорию значительных групп еврейского населения <...> Я отметил, что при попытке обратной переброски (!) этих людей на германскую территорию германские пограничники открывают огонь, в результате чего десятки людей оказываются убитыми. <...> Ввиду того, что эта практика не прекращается и приобретает все более и более широкий характер, я прошу посла снести с Берлином. <...> Шуленбург, изображая крайнее возмущение, заявил, что сегодня же снесется с Берлином и потребует прекращения насильственной переброски евреев на территорию СССР»[15]. Из письма явствует, что речь идет о многих тысячах польских граждан еврейского происхождения[16].

В «Открытом письме Сталину», написанном в сентябре 1939 года, знаменитый советский

невозвращенец, «герой Октября», посол в разных странах Европы – Федор Раскольников называл вещи своими именами: «Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах могла гостеприимно приютить многие тысячи эмигрантов»[17].

Ясное дело – германские власти не изгоняли польских евреев в Советский Союз – те сами бежали от нацистов, как от чумы. Им в голову не могло прийти, что в стране «победившего коммунизма» к ним отнесутся ничуть не лучше, чем в стране победившего национал-социализма. Но еще более печальная участь ждала евреев немецких, в большинстве своем коммунистов, которые эмигрировали в СССР и которых Сталин пообещал вернуть Гитлеру. Пообещал – и вернул. В дипломатической переписке они именовались «германскими гражданами, арестованными в СССР и подлежащими репатриации на родину», – в соответствии с секретным советско-германским протоколом от 28 сентября 1939 года.

Арестовано было, как известно, множество немецких коммунистов, главным образом еврейского происхождения, – значительную их часть еще не успели расстрелять, и теперь им предстояло вернуться к тем, от кого они бежали. Все тот же Потемкин, 21 ноября 1939 года, в таких выражениях докладывал об этом Молотову и его первому заместителю Вышинскому: «О положении вопроса об арестованных в СССР германских гражданах (...) Этой работе дано благоприятное направление, и не исключена возможность некоторых практических решений уже в течение будущего месяца. Типпельскирх[18] выразил большое удовлетворение. Он добавил, чтобы эвакуированные немцы (в дипломатических документах – и советская, и германская стороны – избегают называть обреченных на «эвакуацию» евреями. – А. В.) направлялись более или менее крупными партиями в Ленинград, откуда их могло бы доставить в Германию специально присланное из Германии судно»[19].

О том, что собой представляла эта «эвакуация», подробно рассказано в воспоминаниях жены казненного по приказу Сталина члена политбюро германской компартии Гейнца Ноймана – Маргарет Бубер-Нойман (ее книга «Узница Сталина и Гитлера» вышла во Франкфурте-на-Майне в 1949 году).

Жестокий парадокс судьбы состоял в том, что, обреченная на гибель в Гулаге, Маргарет Бубен-Нойман, благодаря «эвакуации», выжила в нацистском лагере Заксенхаус и в 1946 году давала свидетельские показания в Париже на процессе Виктора Кравченко против арагоновских «Леттр франсез». За рассказанную ею правду о циничном предательстве Сталина подверглась глумлению и насмешкам со стороны представителей «прогрессивного еженедельника».

Логика развития событий неизбежно приводила к тому, что Сталин – хотел он того или нет – был вынужден подчиняться антисемитским требованиям нацистов, даже когда речь шла о сугубо внутренних делах Советского Союза. Гитлеровцы без сомнения знали, что неприятие евреев в любой форме найдет в Кремле полную поддержку. Например, из информации, опубликованной в газете «Ленинградская правда», германское посольство узнало, что на киностудии «Ленфильм» снимается картина о Карле Либкнехте.

Это само по себе не могло вызвать у нацистов большой симпатии. Однако Типпельскирх, посетив 28 марта 1940 года заместителя наркома иностранных дел Владимира Деканозова, – для выражения своего протеста, счел нужным особо отметить, что среди героев фильма есть и Роза Люксембург (вполне очевидный намек на ее еврейское происхождение), а съемочный коллектив состоит «сплошь» из евреев: сценарист и режиссер Лев Арнштам, оператор Владимир Раппопорт, второй режиссер Моисей Розенберг, консультант и переводчик Рита Райт...

Протест дошел до Вышинского, тот доложил Молотову, Молотов отправился к Сталину – и съемки были прекращены. Фильм не состоялся[20].

В это же время в кадровых документах сотрудников Коминтерна стали появляться такие уточняющие

данные биографического характера, которые были абсолютно невозможны еще год или два назад. Аннотации, составляемые отделом кадров, касающиеся персонального состава центрального аппарата Коминтерна или его зарубежных филиалов, стали дополняться сведениями, изначально не совместимыми с самой сутью этой международной организации и абсолютно не свойственными стилистике коминтерновской документации: «родители – набожные евреи», «отец – учитель Талмуда», «румынский еврей, получивший традиционное еврейское воспитание», «еврей, не порвавший связи с еврейскими кругами». Такими характеристиками пестрят документы, исходившие из отдела кадров[21]. Эти подробности еще можно было бы понять, если такие факты биографии способствовали бы, по мнению авторов аттестаций, выполнению той работы, которая была поручена «румынскому еврею» или «сыну набожных евреев». Но из контекста аттестаций с непреложностью вытекает, что именно эти детали – вкуче, правда, с другими – дают основание для выражения недоверия к тем, кого они характеризуют.

К началу 1939 года еврейское население СССР составляло три с небольшим миллиона человек. Аннексия Прибалтики, Восточной Польши, Молдавии и Северной Буковины добавила еще два миллиона, так что общее число советских евреев перевалило за пять миллионов[22]. Хотя пик Большого Террора был уже на исходе, новоиспеченных советских граждан еврейского происхождения ждала, однако, печальная участь. Особо жестокой оказалась судьба евреев, проживавших ранее в Восточной Польше или бежавших из Польши Западной, тем более что 84 процента всех польских беженцев, устремившихся в СССР, составляли именно евреи[23]. Вместо желанной свободы они получили Гулаг...

Оказавшись в лагерях, они встретились там с таким антисемитизмом, которого никак не ожидали увидеть, а тем более познать на самих себе в Советском Союзе. Характерно, что в своих секретных донесениях лагерное начальство вовсе и не собиралось скрывать антисемитские чувства, сознавая благоприятную реакцию, которую эти чувства получит на самом верху. «Евреи никогда не научатся работать, – докладывали политбюро в марте 1941 года лубянские шефы. – Ни один еврей не нужен на производимых в лагерях работах, евреи – это балласт»[24].

Какой практический вывод должны были сделать адресаты такой «сводки НКВД»? Отпускать этот «балласт» на волю никто не собирался. Единственным выходом из положения, стало быть, была просто ликвидация обременительного балласта...

Однако, как бы ни нарастали антисемитские тенденции в различных сферах жизни, политика государственного антисемитизма обществом не ощущалась – по той, вероятно, причине: как определившейся и сформулированной политики, ее еще не было. Сталин охотно пользовался услугами специалистов-евреев, в том числе и в самых деликатных (если такое слово вообще здесь уместно) делах. Евреи по-прежнему занимали очень важное место в руководстве различных отделов Лубянки, не говоря уже о науке и производстве, в том числе и в военной промышленности. Ликвидацию своего заклятого друга – Льва Троцкого – Сталин поручил евреям: Науму Эйтингону, Григорию Рабиновичу и Льву Василевскому, а также женатому на еврейке Павлу Судоплатову. Когда Сталину понадобилось решать сложнейшие проблемы с Финляндией в 1939 году, он специально пригласил для тайных переговоров с финнами вчерашнего кандидата в арестанты, посла Бориса Штейна и лубянского резидента, полковника госбезопасности Боруха Рыбкина – лично их принял и дал свободу действий, тем самым выразив им свое безусловное доверие. Среди жертв предвоенной волны арестов, наряду с генералами-евреями: Григорием Штерном, Яковом Смушкевичем, создателем высокоэффективного авиационного вооружения Яковом Таубиным и другими, преобладали русские военачальники: Павел Рычагов, Александр Локтионов, Иван Проскуров, Федор Арженухин и другие.

За несколько дней и недель до войны Сталин не побоялся обезглавить штабы и армейские

соединения, возложив командование полками и дивизиями на младших, в лучшем случае на старших лейтенантов. Еврейские офицеры пока еще не ощущали дискриминации по национальному признаку.

Начало войны сразу же перевело «еврейскую проблему» в совсем иную плоскость. Нацистская Германия, «друг и союзник», внезапно превратилась в заклятого врага. Идеологически родственные державы, постепенно смыкавшиеся друг с другом и в своем отношении к евреям, неизбежно должны были теперь четко определиться и в этом вопросе.

Казалось, Кремль сразу же определился. Уже на следующий день после нападения Германии, 23 июня 1941 года, на экраны кинотеатров снова выпустили произведенные в середине тридцатых годов и запрещенные к показу в 1939 году антинацистские фильмы, страстно разоблачающие гитлеровский антисемитизм: «Профессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм». Но уже в конце июля они были снова сняты с показа и никогда больше не появлялись в прокате, даже в кинотеатрах повторного фильма.

Советские власти отлично знали, как нацисты поступали с евреями на оккупированных ими территориях Западной, Центральной и Восточной Европы, и, стало быть, отлично понимали, как те поступят в оккупированных ими районах Советского Союза. Но если и была какая-то проблема, которая беспокоила Сталина тогда меньше всего, то именно эта. Красная Армия терпела сокрушительное поражение, и решалась судьба советской власти и лично его самого.

Уже на исходе первого месяца войны нацисты контролировали территорию, на которой проживало более 20 процентов всего еврейского населения СССР в границах 1939 года и около 40 процентов в границах 1940 года, – когда Советский Союз поглотил Прибалтику, Молдавию и Северную Буковину. Никакого сомнения в том, какая судьба их ожидает, у Сталина быть не могло, но нет никаких данных, свидетельствующих о том, что этот вопрос как-нибудь его занимал, что он хоть когда-либо обсуждался в кремлевских верхах. К тому времени в Советском Союзе уже не осталось никаких еврейских организаций, которые могли бы поставить этот вопрос перед властями. Евреи – главные жертвы нацистских оккупантов, были брошены на произвол судьбы.

В прокоммунистических кругах Запада была широко распространена легенда о том, что Сталин сделал все возможное для первоочередной эвакуации еврейского населения из районов, которым заведомо грозила немецкая оккупация. Что местным властям было предписано оказывать евреям преимущество при формировании эшелонов, отправлявшихся на Восток. Эту лживую версию поддержал даже тогдашний киевский раввин Шехтман (а что еще мог сказать официальный раввин, живший в Советском Союзе?). Более того, в середине шестидесятых годов, когда я впервые оказался в Париже, здешние коммунисты уверяли меня, будто был даже издан специальный указ Президиума Верховного Совета СССР о первоочередной эвакуации еврейского населения.

Естественно, все это оказалось легендой, распространявшейся центром по дезинформации, десятилетиями существовавшим в советских спецслужбах и, видимо, существующим (реанимированным?) еще и сейчас. Мне пришлось специально провести тщательные розыски в архивах, но никаких следов такого указа, ни «открытого», ни даже секретного, там не оказалось.

Зато большой ненавистник советского режима – Солженицын в этом вопросе оказался его страстным защитником. Подвергнутые сомнению и яростно оспоренные им по другим позициям советские пропагандистские материалы здесь принимаются им без малейших сомнений, хотя сам же, себе противореча, приводит приоритеты Совета по эвакуации под председательством Шверника: государственные и партийные учреждения, промышленные предприятия, сырье, заводы с их рабочими, молодежь призывного возраста (т. 2, с. 347).

Конечно, с прагматично-стратегической точки зрения это было разумное решение. Еврейские пенсионеры, женщины, дети никакой пользы для отпора врагу принести не могли. Но о том, что все они будут нацистами уничтожены, не зная в Кремле не могли.

Можно было хотя бы сообщить по местному радио о том, что надо спастись любыми доступными средствами, даже если для эвакуации заведомых смертников не могли подать специальные составы. Не было сделано ничего. («Вывозили, сколько могли», – утверждает Солженицын: т. 2, с. 349.) Обо всем этом подробно рассказано Василием Гроссманом, оказавшимся в своем родном Бердичеве сразу после освобождения города и написавшим отвергнутый всеми изданиями свой очерк «Украина без евреев». Рассказано и не только им...

Затевать спор по этому вопросу, давным-давно уже исследованному и вполне очевидному, совершенно бессмысленно. Ведь и о том, что вообще не было Холокоста, – по крайней мере, в тех масштабах, которые давно уже признаны всем миром, кроме нацистов и «патриотов», – ведь и об этом слишком много написано, и пусть те, кто такие суждения разделяет, останутся при своем мнении: их не переубедишь и не переспоришь.

Совершенно очевидно, что призыв о немедленной эвакуации ради спасения жизни, исходивший от советских властей, которым население тогда полностью доверяло, побудил бы многие тысячи евреев преодолеть апатию и нерешительность и бежать на Восток. Такого призыва не было. Более того, права на эвакуацию надо было добиваться – и это в условиях, когда дорог был каждый час. Писатель Юрий Щеглов, в те годы киевский житель, вспоминает, как «люди метались в поисках помощи – эвакокарты доставались не каждому». Здание, где они раздавались, было оцеплено милицией и войсками[25].

Справедливости ради надо сказать, что вообще о судьбе мирного населения, не только еврейского, Сталин заботился тогда меньше всего. Характерным подтверждением этого является поистине поразительное постановление Государственного Комитета Обороны (созданный в начале войны высший орган власти) за подписью Сталина от 15 октября 1941 года, когда над Москвой нависла реальная угроза оккупации. Постановление носит название: «Об эвакуации столицы СССР города Москвы». В нем есть четыре пункта: об эвакуации иностранных миссий, правительства во главе с Молотовым (тот был тогда лишь заместителем председателя правительства!), Президиума Верховного Совета СССР, Генерального штаба, а также о взрыве всех важных объектов, включая даже Большой театр, и системы городских коммуникаций, кроме водопровода и канализации. Но ни одного слова об эвакуации мирного населения, тем более заведомо обреченной на гибель еврейской его части, в постановлении нет[26].

Любопытная деталь: уничтожение Москвы должен был осуществить еврей – начальник Главного Военно-инженерного управления Красной Армии, генерал Леонтий Котляр. Потом, если бы снова повернулась фортуна, на него и можно было бы свалить вину за уничтожение столицы великой русской державы.

Сталин, однако, не знал, что директивой Альфреда Йодля от 7 октября 1941 года было доведено до сведения всех немецких генералов следующее: «Фюрер (...) решил не принимать капитуляции Ленинграда или позднее Москвы, даже если она будет запрошена противником»[27].

В семидесятые-восьмидесятые годы я был близко знаком с тогдашним председателем Верховного суда Грузии Акакием Каранадзе. Его отец Григорий Каранадзе, в прошлом генерал КГБ, близкий к Берии человек, встретил войну на посту наркома внутренних дел Крымской Автономной республики. Акакий Григорьевич со слов отца рассказывал мне, что тот, уже зная, каким зверствам подверглись евреи в ранее оккупированных районах соседней Украины, хотел организовать приоритетную и срочную эвакуацию еврейского населения Крыма, но секретарь обкома партии и член Военного Совета фронта (то есть главный политкомиссар) ему это запретили, чтобы «не поднимать панику» и не создавать «дискриминацию по

национальному признаку». Из Лубянки также пришла директива, подтверждавшая этот запрет.

До агрессии против СССР нацистские власти никогда не объясняли причины войны против любой европейской страны еврейским господством или еврейским влиянием в ней. Зато уже утром 22 июня 1941 года, через несколько часов после нападения на Советский Союз, Геббельс зачитал по берлинскому радио декларацию Гитлера о «заговоре между евреями и демократами» и об «иудейско-большевистских правителях Москвы, которые хотят разжечь пожар во всей Европе». В тот же день было зачитано по радио на русском языке «Обращение к советскому народу» – о том, что «население СССР превращено в рабов, в крепостных еврейских комиссаров, а патриоты России расстреляны этой жидо-большевиетской властью». О том, сколько этой же властью расстреляно «патриотов России – жидов», в этом обращении, естественно, не было сказано ничего. Обращение завершилось призывом «срубить голову еврейскому Коминтерну».

Расчет Гитлера оказался верным. Настолько верным, что поразил даже Сталина, который, казалось, должен был знать о настроениях населения – прежде всего в той части страны, которая подверглась нацистской оккупации. Именно антисемитизм, который в головах многих и многих был синонимом антисоветизма, объединял при оккупации людей различной политической и идеологической ориентации. С оккупантами, например, стала сотрудничать значительная часть белорусской интеллигенции. «На этой земле хозяева мы, а евреи – непрошенные и надоевшие приживалы», – говорилось в обращении, под которым поставили подписи профессора университетов, литераторы, журналисты, деятели искусств[28]. На оккупированной Украине антисемитизм стал еще более типичным выражением враждебности к советскому режиму. И наконец в полной мере это относится к странам Балтии, успевшим к началу войны в течение года побыть под советской оккупацией. К несчастью, первым наркомом внутренних дел Латвии (точнее, исполняющим обязанности наркома) в течение всего нескольких недель был еврей Семен Шустер. Но именно он начал депортацию неугодных советской власти латышей и кампанию чисток. «Симпатии» населения к временщику Шустеру распространились, естественно, на всех «московских» евреев.

Нацисты отлично сознавали все это и весьма успешно использовали эти настроения в своих целях, всячески стимулируя их нарастание. Большой популярностью пользовался плакат с надписью: «ЖИДУ нет места среди вас! Гоните его вон!» (на портрете были изображены красивые и молодые мать, отец и сын школьного возраста, позади которых «художник» поместил гнусное лицо горбоносого, старого еврея с нечесаной бородой). Насаждение антисемитизма велось на оккупированных территориях и посредством бульварной литературы – памфлетов, рассказов, лирики, карикатур, изображавших евреев кровожадными дебилами.

Под оккупацией оказалась гигантская территория с населением приблизительно в 80 миллионов человек. Для них выходило (по разным подсчетам) от 200 до 400 газет, у которых была одна главная цель: сплотить все народы СССР на основе антисемитизма, который был приравнен к антикоммунизму. Газеты призывали к искоренению «жидокоммунизма», избегая при этом говорить просто об уничтожении коммунистов – без приставки «жидо». В различных оккупированных областях, отстоявших друг от друга на многие сотни километров, газеты пропагандировали один и тот же тезис: Германия воюет только против евреев. Одна из одесских газет писала в 1942 году: «Многие считают, что наше место на фронте борьбы с большевизмом. Но немцы и их союзники с этим справятся и сами. У нас есть более важная задача – это борьба с евреями»[29].

В Европе уничтожение евреев совершалось тайно, жертвы вывозились далеко, в лагеря смерти. Депортацию объявляли просто переводом обреченных в новые места жительства, обманывая тем самым и евреев, и местное нееврейское население. В Советском Союзе нацисты не утруждали себя изобретением каких-либо ширм, зная, что у многих встретят сочувствие. Казни евреев совершались публично, при большом скоплении публики. Евгений Евтушенко, увы, прав, напоминая о том, что в «в Бабьем Яре среди

карателей было больше украинских полицаев, чем немцев»[30].

В романе «Жизнь и судьба» Василий Гроссман воспроизводит синтезированное, то есть составленное из сотен подлинных, письмо о том, как еврейская женщина-врач из украинского областного центра воспринимает моментальный поворот в отношении к ней после захвата города нацистами. «Жена дворника стояла над моим окном и говорила соседке: «Слава Богу, жидам конец». <...> Соседка моя, вдова, у нее девочка шести лет, я ей всегда рассказываю сказки, она сказала мне: «Вы теперь вне закона, попрошу вас к вечеру забрать свои вещи, я переселюсь в вашу комнату» <...> Старик-педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда был так почителен со мной, а на этот раз, встретив меня, отвернулся. Потом мне рассказывали – он на собрании в комендатуре говорил: «Воздух очистился, не пахнет чесноком». Почти все евреи, авторы воспоминаний, говорили о поразившем их факте: бывшие школьные друзья, соседи, сослуживцы вдруг начали отказывать им в любой помощи, когда нужно было переночевать всего одну ночь или получить кусок хлеба. Было ли это только страхом перед оккупантами? Вряд ли. Ведь в то же самое время помогали с риском для жизни бежавшим военнопленным, а наказание, которое за это грозило, было все тем же. Срабатывала открытая им нацистами «правда» о евреях.

Вся эта лавина неожиданной информации докладывалась Сталину, в том числе и «информация» о том, что, как утверждали нацисты, большинство советской профессуры, студенчества, учительства и других представителей интеллигенции составляли евреи[31].

Мог ли Сталин никак не отреагировать на такие тексты, как, например, на тот, что был опубликован в одной смоленской газете: «Советский Союз – царство жидов, Сталин только вывеска, а за его спиной прячутся все эти Кагановичи, Собельсоны (то есть Радек, давно к тому времени уничтоженный! – А. В.), Финкельштейны (то есть Литвинов. – А. В.) и прочий жидовский кагал. Чтобы обмануть вас, они скрываются под русскими фамилиями. <...> Там, где раньше с благословения великого Сталина сотни жидов ухитрились жить, и жить хорошо, ничего не делая, занимаясь только всякими торговыми делишками, теперь нет паразитов, все работают. Служащие, рабочие живут хорошо. Им не приходится теперь работать на жидов и прочих властителей сталинского режима»[32].

Было бы просто странно, если бы Сталин из этой поразительной информации не сделал никаких практических выводов.

Первые признаки таких выводов появились уже в конце июля, когда, как сказано выше, вдруг были сняты с экрана фильмы о преследовании евреев в нацистской Германии. Но еще очевиднее они проявились осенью сорок первого года. Именно тогда секретарь ЦК Александр Щербаков (он возглавлял еще и Совинформбюро, и Главное Политическое управление Красной Армии) повелел главному редактору самой популярной во время войны газеты «Красная звезда», генералу Давиду Ортенбергу сменить свою подпись в газете на русскую. Очередной номер вышел уже с указанием: «Главный редактор О. Вадимов». Кстати, в 1943 году не помогло и это: «Вадимов» был изгнан и заменен не нуждавшимся ни в каких псевдонимах генералом Николаем Таленским[33].

Другой знаменательный факт, гораздо более важный, также относится к осени сорок первого года. Спасаясь от уничтожения на месте и депортации в лагеря смерти, многие евреи бежали из гетто в леса, надеясь присоединиться к партизанским отрядам. Их туда, однако, не принимали. «К партизанскому отряду, – рассказывает один из участников побега Абрам Плоткин (город Ганцевичи, Белоруссия), – нас близко не подпустили, но продуктами обеспечили. Через несколько дней мы узнали, что отряд ушел, а нас оставили»[34]. Оставили на верную гибель – спаслись единицы.

В литературе описано множество подобных случаев. Вряд ли это была самодеятельность отдельных партизанских руководителей – потому, во-первых, что абсолютно одинаково поступали не в двух-трех, а во многих отрядах, отделенных друг от друга сотнями километров, и потому, во-вторых, что в каждом отряде

имелись комиссары, присланные из Москвы. Направляющая кремлевская рука тут вполне очевидна.

И все же в докладе, посвященном очередной годовщине «Великой Октябрьской социалистической революции», который Сталин произнес 6 ноября 1941 года на собрании в подземном вестибюле одной из станций московского метро, советский вождь охарактеризовал Нацистскую партию как партию «врагов демократических свобод, средневековой реакции и черносотенных погромов».

С тех пор ни в одном документе, исходявшем от Сталина, ни в одной его речи никакого намека на нацистский геноцид по отношению к евреям найти не удастся.

Первая массовая акция по уничтожению евреев нацистами произошла, напомним еще раз, 29 сентября 1941 года под Киевом, в Бабьем Яру. Сведения об этом быстро просочились через линию фронта. Короткая информация появилась и в советской печати[35]. С тех пор в газетных сообщениях о жертвах нацистских расправ никакой национальной идентификации уже не содержалось. Гитлеровцы, оказывается, уничтожали просто «мирных советских граждан».

С точки зрения формальной это соответствовало действительности: ведь уничтоженные, и правда, были мирными (цивильными) людьми и на самом деле являлись советскими гражданами. То обстоятельство, что они были уничтожены отнюдь не за это, а за кровь, за свои этнические корни, тщательно замалчивалось. Еще того хлеще: «забыв» о том, что писала советская же печать до 1939 года о гонениях на немецких евреев, один из руководителей кремлевского пропагандистского аппарата – Георгий Александров назвал массовое изгнание евреев из нацистской Германии «отъездом за границу 400 тысяч патриотов, которые не были согласны с фашистским режимом»[36].

Правда, в декабре 1942 года, после получения – с большим опозданием – от разведки информации про так называемый «план Ванзее» (январь 1942 года), вошедший в историю как план «окончательного решения еврейского вопроса», было сделано заявление Совинформбюро «О гитлеровском плане уничтожения еврейского населения Европы», однако во всех последующих сообщениях Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений нет никакого упоминания о том, что речь шла об уничтожении именно еврейского населения. Точное наименование «плана Ванзее» более никогда не упоминалось в советской печати[37].

Историк Лев Безыменский нашел в архиве поразительные документы, раскрывающие механизм утаивания правды о Холокосте, происходившем на оккупированной территории Советского Союза.

В декабре 1943 года, с опозданием более чем в два года, был наконец подготовлен доклад Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений о массовой казни евреев в Бабьем Яру. В проекте сообщения для прессы содержался вполне адекватно отражавший реальные события абзац: «Гитлеровские бандиты произвели массовое истребление еврейского населения. Они вывесили объявление, в котором всем евреям предлагалось явиться 29 сентября 1941 года на угол Мельниковой и Доктеревской улиц, взяв с собой документы, деньги и ценные вещи. Собравшихся евреев палачи погнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли».

Эти несколько строк предполагавшегося сообщения согласовывали в ЦК более двух месяцев. В бюрократической партийной переписке участвовали, не считая более мелких товарищей, три члена политбюро Молотов, Шверник и Хрущев, секретарь ЦК Щербаков, а также заместитель наркома иностранных дел Вышинский. «Согласованный» и опубликованный в печати текст в окончательном варианте выглядел так: «Гитлеровские бандиты согнали 29 сентября 1941 года на угол Мельниковой и Доктеревской улиц тысячи мирных советских граждан. Собравшихся палачи повели к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли»[38].

В конце 1943 года на освобожденных территориях начались судебные процессы, на которых обвиняемыми предстали пособники нацистов – те, кого на Западе называют коллаборантами. О них сообщала вся советская пресса. Но в этих корреспонденциях нельзя найти ни слова о том, что жертвы нацистских расправ – почти исключительно евреи. Повторим еще раз: речь идет не о расправах над партизанами или над тем, кто как-то им помогал, а о тех, кто ни в каких действиях против оккупантов участия не принимал. Именно поэтому и в советской прессе того времени всюду говорилось о преследованиях «мирного советского населения» – без уточнения, какое именно население имеется в виду. Исключение было сделано почему-то для отчета из Минска. В нем говорилось о «поголовном истреблении еврейского населения». Два месяца спустя в статье об Освенциме глухо упоминалось о том, что среди(!) задушенных и сожженных жертв были евреи[39]. Кроме этих, затерявшихся в тексте, упоминаний, никаких следов о Холокосте на советской территории мне в прессе найти не удалось.

Василий Гроссман написал небольшой очерк необычайной эмоциональной силы: «Убийство евреев в Бердичеве» – городе, где половина жителей (более 30 тысяч человек) были евреями. Немцы вошли в город внезапно уже через две недели после вторжения, и поэтому эвакуироваться успело менее трети его еврейского населения.

Хотя Бердичев считался на юге «еврейской столицей», в нем никогда не было еврейских погромов.

До конца сентября 1941 года практически все оставшиеся в городе евреи были уничтожены. К апрелю 1942 года были уничтожены уже и дети от смешанных браков. В их выявлении оккупантам помогали местные русские и украинцы. Пережили оккупацию лишь несколько малолетних детей и один подросток. Обо всем этом и был написан Гроссманом очерк. Его тоже отказались печатать все издания (ежедневные, еженедельные, ежемесячные), в которые он обращался. Невозможно поверить, что на этот счет не было специального руководящего указания, иначе одному из самых известных в то время писателей, обладавшему блестящим, необыкновенным по силе воздействия пером, никто не мог бы отказать[40].

Добавлю к сказанному и один документ из семейного архива. Как уже говорилось, мама вела довольно много дел тех, кто был осужден по политическим причинам и, начиная с середины пятидесятых годов, добивался реабилитации. Одним из ее клиентов был житель Таганрога Федор Николаевич Лаура. Адвокатское досье по этому делу сохранилось. В протоколе допроса обвинявшегося (без достаточных оснований) в сотрудничестве с нацистами есть такой диалог. Лаура: «Я видел, как гнали по улице большую колонну евреев». Следователь: «Лаура, не вводите следствие в заблуждение. Гнали не евреев, а советских граждан, и вы помогали фашистам, потому что ненавидите советскую власть». Допрос велся в 1944 году. Такая была установка: никакого упоминания об антисемитизме – ни с той, ни с другой стороны! Ни за что не хотели признать, что евреи уничтожались только за то, что евреи. Даже младенцы... Всем остальным грозила расправа, лишь если они сопротивлялись немецким войскам, оккупационной администрации. Партизанили. Или прятали партизан и советских солдат, искавших спасения от плена.

Нет ни малейшего сомнения: Сталин смертельно испугался того несомненного успеха, который имела гитлеровская антисемитская кампания на оккупированных территориях, и сделал для себя надлежащие выводы, тем более что они никак не расходились с его подлинными чувствами. Но, конечно, он не мог действовать грубо и прямолинейно: необходимо было учитывать и наличие демократических союзников (США, Англии, Свободной Франции), от которых он был тогда весьма зависим, и еще не утерянный имидж вождя мирового коммунизма, и гигантский научный потенциал, сосредоточенный в очень значительной части в руках еврейских ученых, и множество других факторов. И еще, конечно же, он не мог забыть о деньгах – для закупки вооружения, техники, продовольствия, медикаментов: деньги надлежало выпросить у американских «буржуев», спекулируя на их национальных чувствах и беспрестанно напоминая о том, что

только Советский Союз может спасти евреев мира от тотального уничтожения. Об этом еще речь впереди.

Информация об открытых антисемитских проявлениях – уже не на оккупированной территории, а в советском тылу, и даже в самой Москве, шла потоком в партийные органы и спецслужбам. В отличие от ситуации, существовавшей в двадцатые и даже в тридцатые годы, за этой информацией не только не следовали какие-либо санкции по отношению к обнажившим себя антисемитам, но и сама эта информация тщательно засекречивалась, чтобы создать иллюзию, будто ее и не было вовсе. Особо примечательно прямое или косвенное участие в проявлении страстных антисемитских чувств номенклатурных деятелей и так называемой «культурной элиты». Приведу лишь два весьма характерных примера.

19 мая 1944 года инструктор одного из московских райкомов партии – Оссовская докладывала наркомату госбезопасности: «17 мая с. г. вечером в 173-й школе в шестом классе была обнаружена на классной доске надпись: «Бей жидов – спасай Россию». Проходившая заведующая учебной частью т. Тимошенко стерла надпись с доски. Утром эта же надпись снова появилась на доске. Директор школы т. Задиранова в беседе с ученицами установила, что надпись сделана ученицей 6 класса Колпаковой, дочерью заместителя наркома заготовок, члена ВКП(б)»[41]. На карьере заместителя наркома, чьим рупором и была тринадцатилетняя школьница, это, разумеется, никак не сказалось.

27 сентября того же года другой инструктор того же райкома Хохловский сообщал тому же адресату: «18 сентября композитор Мокроусов, основательно выпивши, зашел в биллиардную Союза композиторов со словами: «Когда только не будет у нас жидов и Россия будет принадлежать русским!» Он подошел к композитору Кручинину, взял его за воротник, встряхнул и сказал: «Скажи, ты жид или русский?» Кручинин ответил: «Был и останусь жидом» (хотя он в действительности является русским). Присутствующие композиторы были возмущены поведением Мокроусова и написали заявление, где процитировали и еще несколько, возмущивших их, высказываний Мокроусова: «Довольно жидовского царства» и тому подобные. Заявление подписали Кручинин, Иванов-Радкевич (то есть русские композиторы. – А. В.), Матвей Блантер и еще несколько человек. Партбюро ставит вопрос об исключении Б. А. Мокроусова из Союза советских композиторов СССР»[42].

Из Союза композиторов Бориса Мокроусова, автора нескольких, часто исполнявшихся по радио, массовых песен, к тому же (еще один советский парадокс!) написанных на стихи поэтов-евреев Долматовского, Матусовского и Лисянского, конечно, не исключили. Но кое-какие последствия для него этот инцидент все же имел: постановлением ЦК и Совета народных комиссаров, за подписью Сталина, Борису Андреевичу Мокроусову была присуждена Сталинская премия.

К списку свидетельств, подтверждающих эскалацию поощряемого (а если точнее – насаждаемого сверху) антисемитизма, можно добавить еще один. Несмотря на кажущуюся незначительность, он представляется весьма симптоматичным. Сознвая необходимость мобилизации всех сил для отпора фашизму, девятнадцать врачей – бывших бойцов интербригад в Испании, граждан Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Польши, – обратились с просьбой отправить их на фронт. Восторженную аттестацию всем обратившимся дал генеральный секретарь Коминтерна – Георгий Димитров, особо отметив их порядочность, высокую квалификацию и владение каждым несколькими языками. Свою аттестацию дал и НКВД: решительно возражая против удовлетворения их просьбы, лубянский товарищи дали всем девятнадцати врачам свою аттестацию: «болгарский еврей», «венгерский еврей», «еврей – уроженец Западной Белоруссии», «из еврейской чешской семьи» – и так о каждом из тех, кто подписал письмо![43] Без сталинских указаний – не по данному конкретному случаю, конечно, а касательно общего поворота политики в «еврейском вопросе» – дело, думается, не обошлось.

Отзвуки сталинского отношения к «нации, которой не существует», мы найдем и в совершенно неожиданном месте: в записи допроса плененного сына Сталина – Якова Джугашвили – в штабе

командующего авиацией 4-й германской армии 18 июля 1941 года. Известно, что Яков с самого начала держался в плену совершенно независимо, сотрудничать с нацистами отказался и защищал на допросах своего отца, излагая его взгляды. Сам он не мог быть антисемитом хотя бы уже потому, что, вопреки воле Сталина, женился на одесской еврейке Юлии Исааковне Мельцер (в девичестве Бессараб), которая была на десять лет старше его, и уже имела в прошлом трех или четырех мужей, то есть, иначе сказать, женился отнюдь не по принуждению, а, как свидетельствуют хорошо его знавшие люди, по любви[44].

Вот как отвечал он на вопросы допрашивавших, явно отражая в своих ответах позицию Сталина:

«- Красное правительство главным образом состоит из евреев?

– Все это ерунда, болтовня. Они не имеют никакого влияния. Напротив, я лично, если хотите, могу вам сказать, что русский народ всегда питал ненависть к еврейству. <...>

– Известно ли вам, что вторая жена вашего отца тоже еврейка? Ведь Каганович тоже еврей?

– Ничего подобного. Она была русской. Что вы там говорите?! Никогда в жизни ничего подобного не было! Его первая жена была грузинка, вторая русская – вот и все.

– Разве фамилия его второй жены не Каганович?

– Нет, нет! Это все слухи, чепуха. Его жена умерла. Аллилуева. Она русская. Человеку 62 года. Он был женат. Сейчас нет»[45].

Даже в мирное время Сталин, как, наверно, глава любого, особенно крупного, государства, не мог обойтись без разведки. В годы войны пользование ее услугами стало просто жизненно необходимым. Нужно отдать должное тем службам, которые создали и направляли действия советской агентуры за рубежом: она работала первоклассно и снабдила Кремль ценнейшей, притом – точнейшей, информацией. Об этом очень много написано на разных языках мира.

Но нам важно отметить одну особенность этой уникальной, безупречно работавшей, шпионской сети: вся она, за ничтожным исключением (а практически – без всяких исключений), состояла из евреев или опиралась на них. Работали советские агенты не за страх, а за совесть, руководствуясь единственно своими убеждениями, – верностью коммунистической идее. Это подтверждается тем несомненным фактом, что даже крупнейшие агенты – перебежчики и невозвращенцы, сбежавшие от Сталина, которого они считали изменником делу революции, извратившим ее священные идеалы, оказавшись на Западе, не выдали ни одного из своих коллег и не нанесли никакого ущерба советской агентуре: Лейба Фельдбин (по другим сведениям Фельбинг; известен на Западе как «генерал Александр Орлов»), Игнатий Рейсс (Порецкий), Вальтер Кривицкий (Самуил Гинзбург). Двое последних были уничтожены убийцами, которых подослал Сталин, а первый выжил, благодаря своему высокому искусству конспирации, едва сводил концы с концами, но так и не раскрыл американцам хорошо известную ему «кембриджскую пятерку» (тоже состоявшую из евреев, как и бежавший впоследствии в СССР знаменитый итальянский физик-атомщик Бруно Понтекорво) – едва ли не главный тогда источник, информировавший советскую разведку о разработке атомного проекта.

Основной костяк агентуры, рискуя жизнью, успешно работал в годы войны, снабжая Сталина информацией, которой поистине не было цены. Получавший в Швейцарии материалы из ближайшего гитлеровского окружения «Шандор Рудольфи», или «Дора», был венгерским евреем Александром Радо. В единой связке с ним находились немецкие евреи: Рахель Дубендорфер («Девчушка»), Рудольф Ресслер и Кристиан Шнайдер. В Бельгии, сотрудничая с «Красной капеллой», блестяще работали на Кремль польские евреи Леопольд Треппер и его жена Любовь Бройдо. Другим членом «Красной капеллы» был

прославленный «Кент» – русский еврей Анатолий Гуревич. Еще один русский еврей – Лев Маневич, посылал важнейшую информацию из Италии. Самой удачливой шпионкой за всю историю мировой разведки называли «Соню» – немецкую еврейку Рут Вернер, работавшую на пару со своим братом Юргеном Кучинским (впоследствии стал академиком в коммунистической Германии). В Соединенных Штатах добыче атомных секретов способствовали Григорий Хейфец, Лиза Горская-Зарубина (Розенцвейг) и другие «подобные». Виднейшими деятелями советской разведки были тогда: Янкель Черняк (Герой России, удостоившийся награды за несколько дней до смерти в феврале 1995 года в возрасте 86 лет), Симон Кремер, Борух Рыбкин, Мария Фортус, Раиса Соболев (Азарх), Гилель Кац, Вера Аккерман, Давид Ками, Исидор и Флора Шпрингер, Мира и Герш Сокол, Юлиус и Этель Розенберги, Клаус Фукс, Дэвид Гринглас, Гарри Голд, Яков Голос, Арнольд Дейч, Питер Смоллет (Смолка) и еще множество (именно множество!) других из того же ряда.

Вся эта огромная армия разведчиков-евреев рисковала жизнью, не зная, что в Советском Союзе, которому они так верно служили, уже пришла в движение и раскручивается с каждым днем антисемитская кампания, а страдания евреев под пятой оккупантов используются как карта в большой политической игре[46]. Зато Сталин хорошо знал, каким роковым «недостатком» обладают почти все его осведомители. Не боясь ошибиться, можно сказать, что он глубоко страдал, сознавая свою зависимость от разведчиков-евреев, тем более что почти все они были завербованы, когда во главе советской внешней разведки стояли Меер Трилиссер, Абрам Слуцкий и Сергей Шпигельглас[47], которых Сталин уже успел объявить предателями и расстрелять. Правительственный и партийный аппарат он мог произвольно тасовать, как карточную колоду, но заменить одного разведчика, уже обросшего необходимыми связями и внедренного в соответствующие структуры, на другого, более ему симпатичного, – этого он позволить себе не мог. Ограничение в свободе действий не могло его не уязвлять. И, расточая похвалы своим важнейшим агентам, он никому из них не доверял. Это видно уже из того, что Сталин не внял сообщению немца Рихарда Зорге[48], заранее назвавшего точный день, когда гитлеровцы нападут на Советский Союз: ведь Зорге был завербован евреем («изменником») Соломоном Урицким, который, по мнению Сталина, был («не мог не быть») английским шпионом...

Это не помешало кремлевскому диктатору высоко отозваться о тех, кого он вынужден был терпеть, поскольку их ценнейшую информацию он не мог получить ни от кого другого. «Что касается моих информаторов, – писал Сталин Рузвельту в своем секретном послании от 7 апреля 1945 года, за несколько дней до смерти американского президента, – то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно <...> Эти люди многократно проверены нами на деле <...> Я имел возможность неоднократно убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов»[49].

После войны «честные и скромные, аккуратные и осведомленные» Александр Радо, Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич и другие асы разведки за свои успехи испили до дна чашу Гулага: всем им, среди прочего, вменялись в вину «сионизм» и «еврейское засилье» среди их сотрудников[50].

В то время, как еврейские агенты советской разведки самоотверженно работали, способствуя победе над гитлеровской Германией, в Советском Союзе с молниеносной быстротой по всей стране распространился слух о том, что евреи уклоняются от участия в боевых действиях, что они ничем не помогают стране в то время, когда стоит вопрос о самом ее существовании, и что все они отсиживаются в тылу («Иван воюет в окопе, Абрам торгует в горкоопе», – с горькой иронией воспроизводил эти слухи в своих стихах поэт-фронтовик Борис Слуцкий).

Символическим местом, где евреи «отсиживались», считался город Ташкент, столица Узбекистана, давно уже вошедший в сознание советских граждан как «город хлебный», то есть сытый, благополучный, полный чуть ли не дармовых вожделенных фруктов, которых и в мирное-то время не хватало жителям

собственно России. В годы войны само название этого города, весьма удаленного от фронта, теплого и благоустроенного, не нуждавшегося в затемнении для спасения от бомбардировок, полного не только хлебом, но персиками и яблоками, дынями и арбузами, вызывало вполне естественную зависть у огромной массы людей, жестоко страдавших даже в тылу – на Урале или в Сибири.

Что касается Ташкента как реального города, а не символа, то он действительно принял на себя немалую часть эвакуированных граждан самых разных национальностей, но лишь пять процентов эвакуировавшихся на Восток евреев осели в этом городе и его пригородах. Зато это были очень известные в стране люди из мира науки, культуры, искусства. Они-то и создавали впечатление у обработанной пропагандой массы, будто все евреи переместились в Ташкент[51]. На самом деле главная их часть обосновалась в городах и поселках как раз Урала и Западной Сибири", деля с местными жителями все тяготы военного лихолетья.

Евреи действительно составляли немалую часть всех эвакуированных. Хотя еще большая часть осталась под оккупацией.

Однако нацистская пропаганда сумела добраться до самых дальних уголков страны, главным образом, через раненых фронтовиков, проходивших лечение в тыловых госпиталях, – они наслушались нацистских пропагандистов, вещавших через громкоговорители, и начитались пропагандистских нацистских листовок, которые в сотнях тысяч экземпляров разбрасывались с самолетов во фронтовой полосе. Так что взрыв антисемитизма, который стал особенно заметен приблизительно в 1943 году и с тех пор уже не ослабевал, был спровоцирован не Кремлем и не Лубянкой, но зато воспринят ими со всей серьезностью: Сталин быстро сделал для себя надлежащие выводы, которые постепенно, но все же довольно быстро, привели к серьезным переменам во внутренней государственной политике.

Между тем миф об уклонении советских евреев от фронта, давным-давно опровергнутый документально, никогда не был официально опровергнут в какой бы то ни было форме сталинской пропагандой и ждал несколько десятилетий, чтобы печатно быть названным ложью. Достаточно сказать, что в годы войны ста двадцати евреям было присвоено высшее звание, отмечавшее военную доблесть, – звание Героя Советского Союза[53]. Кстати, трое из них – юноши 18-20 лет, сначала эвакуированные как раз в Ташкент, – были там мобилизованы в действующую армию и получили затем звание Героя: один посмертно, после гибели в бою (Семен Гельферг), второй за день до смерти от ран, полученных в боях (Рафаил Лев). Зато третий (Миля Фельзенштейн) выжил, но позже был лишен геройского звания, полученного им в двадцатилетнем возрасте, за то, что эмигрировал в Израиль[54].

В боях погибло свыше двухсот тысяч солдат и офицеров – евреев, свыше ста шестидесяти тысяч воинов, включая и тех, кто погиб, были награждены боевыми орденами, двенадцать еврейских солдат стали полными кавалерами ордена Славы. За форсирование Днепра первым получил только что учрежденный орден Суворова 3-й степени полковник Элиокум Шапиро (на ордене было высечено: номер 1). Вскоре в печати были опубликованы эскизы орденов Суворова всех степеней и указаны обладатели орденов, имевших 1-й номер. Орден Суворова 3-й степени № 1 почему-то не имел владельца...[55]

Роль советских евреев в обороне страны во время Второй мировой войны совсем особая тема, выходящая за рамки данной книги. Ей посвящено много исследований, проведенных как в России, так и за границей, причем непосредственным поводом для поисков правды оказался именно рожденный партийной пропагандой под влиянием нацистов и распространенный департаментом по дезинформации Лубянки слух о тотальном дезертирстве советского еврейства. Но есть у этой проблемы один особый аспект, который имеет к нашей теме самое прямое отношение.

Речь идет об очередном, но весьма впечатляющем, сталинском парадоксе – о массовом (именно так: массовом, а не единичном!) использовании в те годы евреев на самых важных постах и участках в

государственном аппарате, в науке и промышленности (военной прежде всего): совершенно очевидно, что при всем желании Сталин обойтись без них не мог. Но это, в разгар начавшего набирать обороты государственного антисемитизма, неизбежно создавало иллюзию, что из Кремля не только не исходит даже в малой степени дух антисемитизма, а напротив – Кремль демонстративно поощряет вполне откровенное юдофильство.

Оставляя за скобками гигантский (сотни имен!) список евреев, занимавших в годы войны ведущее положение в работавшей на оборону науке и в производстве (начальники союзных управлений, директора и главные инженеры заводов, руководители крупнейших научно-исследовательских институтов и т. д.), вспомним лишь тех, кто был вознесен на вершину исполнительной власти, вошел в правительство и получил генеральские звания. Кроме Лазаря Кагановича, сохранившего свой пост (заместитель председателя правительства и нарком путей сообщения) наркомом стали Борис Ванников (выпущенный из тюрьмы в самом начале войны и вскоре назначенный наркомом вооружения), Исаак Зальцман (первый из евреев, удостоенный звания Героя социалистического труда, он возглавил наркомат танковой промышленности), Семен Гинзбург, Владимир Гроссман, Самуил Шапиро. Среди двадцати девяти евреев – заместителей наркомов очень большую известность получили награжденные за свою работу в годы войны множеством орденов: Юлий Боксерман, Израиль Гальперин, Юлий Коган, Эдуард Лифшиц, Давид Райзер, Соломон Рагинский, Соломон Сандлер. Генеральские звания, среди десятков, если не сотен, других евреев, получили те, чьи имена множество раз удостоивались самых восторженных аттестаций в печати – они возглавляли ведущие промышленные комплексы, где под их началом работали тысячи людей: Давид Будинский, Исаак Баренбойм, Давид Вишневский, Лев Гонор, Михаил Жезлов, Израиль Левин, Семен Невструев, Наум Носовский, Яков Рапопорт, Хаим Рубинчик, Абрам Танкилевич, Шлема Фрадкин, Самуил Франкфурт, Самуил Шапиро...[56]

Самыми высокими наградами были отмечены создатели новых типов самолетов и совершенного оружия: Семен Лавочкин, Михаил Гуревич, Исаак Зальцман, Лев Люльев, Александр Нудельман и еще многие другие. Некоторые из них имели не по одному ордену Ленина – высшей награды страны, а по три, по четыре, по пять... Сталин чуть ли не ежедневно лично принимал еврейских генералов-производственников в своем кабинете и часами беседовал с ними (заместитель начальника Генерального штаба, отвечавший, в частности, за снабжение армии вооружением – генерал-лейтенант Арон Гиршевич Карпоносов, дед будущего чемпиона Европы и мира по фигурному катанию Геннадия Карпоносова, был просто-напросто завсегдатаем сталинской ставки)[57].

Так создался даже миф об особом благоволении Сталина к евреям, который тогда вряд ли кому-нибудь вообще мог показаться мифом. Для того чтобы понять истинную сущность этого поразительного и парадоксального феномена, понадобились многие годы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гнедин Е. Катастрофа и второе рождение. Амстердам, 1977. С. 113-114.
2. Совершенно секретно. 1992. № 4. С. 15.
3. СССР – Германия. 1939-1941. Нью-Йорк, 1989. С. 12.
4. Розанов Г. Л. Сталин – Гитлер. 1939-1941. М., 1991. С. 65.
5. РГАСПИ. Ф. 134. Оп. 1. Д. 258.

6. Чуев Ф. 140 бесед с Молотовым. М., 1992. С. 274.
7. Новый мир. 1988. № 7.
8. См.: Земан З. А. и Шарлоу В. Б. Купец революции. Кельн, 1964.
9. Берберова Н. Железная женщина. М., 1991. С. 183.
10. Гнедин Е. Лабиринт. Лондон, 1982.

«Когда Гнедин вернулся в 50-е годы после долгого лагерного срока, однако, не испытал, кажется, лесоповала, – он выглядел почтенным страдальцем, и никто не напоминал ему прежней лжи... (в качестве публиковавшего свои статьи дипломата. – А. В.)», – с нескрываемой злостью пишет Солженицын (т. 2, с. 333-334). Словечко «кажется» дает ему, видимо, моральное алиби. Дает ли? Глумление над людьми трагической судьбы с позиций верховного и непререкаемого судьи не должно остаться бесследным. Должен же кто-то защитить добрые имена страдальцев, которые сами уже не могут ответить.

После смерти Сталина старший следователь министерства госбезопасности Воронович, арестованный за свое палачество, рассказывал на следствии (20-21 сентября 1954 года; копия протокола – в архиве автора): Берия и его заместитель Богдан Кобулов лично избивали Гнедина в наркомовском кабинете в течение 45 минут, требуя подписать протокол о «шпионско-террористической организации, которую возглавляет Литвинов, а участниками являются советские послы и руководящие работники НКВД» – все до одного, добавлю от себя, еврейского происхождения.

В предисловии к книге Е. А. Гнедина (1898-1983) «Выход из лабиринта» (N.Y., Chalidze Publication, 1982) А. Д. Сахаров отмечает, что его жизнь «при всей необычности отразила судьбу его поколения. <...> В начале пути Гнедин – революционер по убеждению и идеалист в жизни <...>, видный деятель иностранной политики СССР, один из главных помощников Литвинова. В 1939 году Гнедин арестован, его избивают в кабинете Берии, затем в особорежимной Сухановской тюрьме, но он не оговаривает ни других, ни себя. Два года строжайшей изоляции, стандартно-беззаконный суд, общие работы в лагере, ссылка. <...> Главное содержание книги – мучительные сомнения и искания автора – этические, философские, политические и социально-экономические».

Дадим слово Л. К. Чуковской – человеку уникальной стойкости, непримиримой даже к малой толике лжи, восторженной, кстати сказать, почитательнице писателя Солженицына: «Евгений Александрович <...> вызвал беспредельное уважение окружающих в подследственной тюрьме; в лагере на общих работах; в «вечной ссылке». Везде он оставался самим собой, <...> помогал товарищам» (Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 3, С. 391).

Вот еще свидетельство уже упоминавшегося Камила Икрамова: «Гнедина таскали волоком по роскошным кабинетам, изредка смачивали раны и ушибы и били снова – то следователи, то Кобулов в присутствии Берии <...> Я имел честь быть его другом, – гордо заявляет Камил, который встретился с Гнединым в лагере «на водоразделе Печоры и Камы» (Знамя. 1989. № 6. С. 48).

Добавим еще, что Гнедин активно участвовал в действиях по защите Бродского – вместе с Копелевым, Вигдоровой, Ахматовой, Чуковской, Чуковским, Паустовским, Эткингом и другими. В 1980 году в знак протеста против советской агрессии в Афганистане вышел из партии. Как же с таким непристойным прошлым его могли почитать глубоко порядочные люди и даже считать за честь оказаться в его друзьях?

Походя, ни за что ни про что, досталось от Солженицына и мученику Аркадию Белинкову (т. 2, с. 331-332), искалеченному на следствии, прибывшему в лагерь на общие (общие, общие!..) работы с отбитыми почками и легкими, с уже изношенным сердцем. Потом ему удалось как-то пристроиться и уцелеть. «Значит, ничего другого не остается, как идти в придурки, ясно», – иронизирует Солженицын, комментируя

столь безнравственный поступок приспособленца-еврея. А то он не знает, что спастись «доходяге» можно было, лишь оказавшись среди презираемых! Надеюсь, здравствующая вдова писателя, Наталья Яблокова-Белинкова, лучше, чем я, защитит оскорбленную честь своего мужа.

11. Знамя. 1993. №2. С. 174.

12. Чув Ф. Так говорил Каганович. М., 1992. С. 19.

13. Правда. 1939. 24 августа.

14. Государственная власть в СССР. М., 1999. С. 318.

15. АВП (Архив внешней политики). Германия, 1939. Оп. 32. П. 92. Д. 4. Л. 102.

16. Там же.

17. Новая Россия (Париж). 1939. 1 октября. См. также: Досье ЛГ. 1994. № 1. С. 26.

18. Типпельскирх – в то время поверенный в делах германского посольства в Москве.

19. АВП. Германия, 1939. Оп. 32. П. 92. Д. 4. Л. 84-85. Всего таким образом было выдано Гитлеру на расправу более 4 тысяч антифашистов и коммунистов главным образом еврейского происхождения: Правда. 1989. 7 апреля. Однако в служебном дневнике Деканозова от 19 мая 1940 года называется более реальная цифра – 60 тысяч, причем, избегая слова «евреи», заместитель наркома даже в служебном документе использует зашифрованную, но абсолютно прозрачную дефиницию: «лица не немецкого происхождения» – АВП. Секретный политархив НКВД. Фонд референтуры по Германии. Оп. 23. П. 95. Д. 7. Л. 49.

20. АВП. Фонд референтуры по Германии. Оп. 23. П. 95. Д. 7. Л. 35.

21. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 62. Л. 21, 52 и другие в том же деле.

22. Подробно о динамике еврейского населения в СССР и демографической ситуации накануне войны см.: Altshuler. M. Soviet Jewry on the eve of the Holocaust. A Social and Demographic Profile. Jerusalem, 1998. Мордехай Альтшулер является профессором Центра по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме.

23. Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997. С. 129.

24. ГА РФ. Фонд 9479с. Д. 74. Л. 30-31.

25. Щеглов Юрий. В окопах Бабьего Яра // Континент. 2002. № 111.

26. Известия ЦК КПСС. 1990. № 12. С. 217.

27. Совершенно секретно. 1995. № 4. С. 11.

28. Тень Холокоста. М., 1998. С. 117-119.

29. Там же. С. 39.

30. Итоги. 2002. № 28. С. 55.

31. Там же. С. 142-146.

32. Там же. С. 134-136.

33. Ортенберг Д. Сорок третий: Рассказ-хроника. М., 1991. С. 299.

34. Общая газета. 2000. № 20. С. 15.

35. Правда. 1941. 23 ноября.

36. Правда. 1941. 4 декабря.
37. Информационные сообщения ЧГК от 3 апреля, 5 мая, 3 августа и 18 августа 1944 года. Все материалы ЧГК хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ).
38. Подробный анализ архивных документов, воспроизводящий механизм партийной дезинформации об истреблении нацистами советских евреев, – см.: Знамя. 1998. № 5.
39. Правда. 1944. 5 августа и 1944. 27 октября.
40. РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 104. См. также: Знамя. 1990. №6. С. 144.
41. Источник. 1999. № 3. С. 107.
42. Там же. С. 108.
43. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 10-а. Д. 433-в. Л. 45-46.
44. Микоян Анастас. Так было. М., 1999. С. 362.
45. АП РФ (Архив Президента Российской Федерации). Ф. 45. Оп. 1. Д. 1554. Л. 11.
46. См.: Судоплатов Андрей. Тайная жизнь генерала Судоплатова. М., 1998. Т. 2. С. 132, а также: Совершенно секретно. 1989. № 1. С. 24.
47. Гордиевский О., Эндрю К. КГБ. М., 1999. С. 652.
48. Там же. С. 274.
49. Переписка Сталина с президентами США и премьер-министрами Великобритании. 1941-1945. М., 1957. Т. 2. С. 207-208.
50. Совершенно секретно. 1993. № 9. С. 21.
51. Мининберг Л. Л. Советские евреи в науке и промышленности СССР в период второй мировой войны (1941-1945 годы). М., 1995. С. 392.
52. Там же.
53. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. 1941-1948. М., 1996. С. 379. Арон Абрамович в своем двухтомнике «В решающей битве» (издан в Тель-Авиве) называет другую цифру: 157. Думается, первая цифра (120), которую приводит виднейший израильский исследователь Шимон Редлих, является более точной.
54. Артемьев А. Братский боевой союз народов СССР. М., 1975. С. 150.
55. Разгон Л. Позавчера и сегодня. М., 1995. С. 59-61.
56. Мининберг Л. Л. Цит. книга. С. 445-523.
57. Исторический архив. 1996. № 3. С. 4 и след. Уже в 1946 году генерал А. Г. Карпоносов скатился со своих высот до заместителя начальника штаба Приволжского военного округа, а затем отправлен в отставку.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Как бы Сталин ни относился к тем или иным этносам, к тем или иным лицам и организациям, он прежде всего был прагматиком, а в ту пору, когда на карту было поставлено самое существование его власти, – прагматиком вдвойне и втройне. Поэтому, надо думать, почти сразу после начала войны он вспомнил о том, какую роль в мировой политике и мировых финансах играет «нация, которая не существует», – прежде всего в Соединенных Штатах. Он хорошо понимал: жестокое и абсолютно откровенное преследование евреев нацистами неизбежно приведет к тому, что каждая сила, противостоящая гитлеризму, найдет сочувственную поддержку в еврейских кругах всего мира. Надо было только умно и убедительно сыграть на чувствах еврейского рассеяния, объявив себя непримиримым борцом с эскалирующим геноцидом.

Видимо, в какой-то степени его навели на эту мысль (или, по крайней мере, укрепили в ней, если она у него уже была) два очень активных и очень известных в еврейских кругах Запада беженца из Польши, поспешно арестованные Лубяньскими службами в Восточной Польше и Литве после их оккупации Советами, – Генрих Эрлих и Виктор Альтер, которые выступили с предложением создать Всемирный Еврейский Антигитлеровский комитет для отпора нацизму. На всемирный Сталин не согласился: создание на советской территории любой организации, не находящейся под монопольным контролем Кремля, его не устраивала.

Эрлиха и Альтера сначала освободили и даже окружили фарисейским вниманием, а затем, после омерзительного шантажа и обмана, которым они подверглись, тайно казнили (точнее, казнили только Альтера, а Эрлих в тюрьме покончил с собой): после нескольких месяцев колебаний, у Сталина появились другие планы.

Была начата и, какое-то время не без успеха, проводилась шумная кампания по запудриванию мозгов мирового еврейства. 24 августа 1941 года в Москве, в так называемом Центральном парке культуры и отдыха, был проведен «митинг представителей еврейского народа», который транслировался по радио[1]. Среди выступавших и подписавших обращение «К братьям-евреям во всем мире» оказались даже те, чьи имена были широко известны не только в стране, но и за ее пределами, но которые, однако, вовсе и не были евреями (физик Петр Капица) или таковыми себя не считали (сын еврея – кинорежиссер Сергей Эйзенштейн). Организаторов митинга подвело «еврейское звучание» их фамилий, а отказаться от приглашения, за которым стоял сам Сталин, они не посмели. Но и без них список митингующих был бы вполне представительным. Обращение подписали режиссер и актер Соломон Михоэлс («Еврейская мать! – зывал он в своем выступлении. – Если у тебя даже единственный сын, благослови его и отправь в бой против коричневой чумы!»), писатели Илья Эренбург, Самуил Маршак, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Самуил Галкин, Алексей Каплер, художник Александр Тышлер, архитектор Борис Иофан, кинорежиссер Фридрих Эрмлер, музыканты – победители международных конкурсов Давид Ойстрах, Яков Флиер, Эмиль Гилельс, Яков Зак и еще многие другие деятели культуры, которых, конечно, знали, хотя бы по именам, те, кто был истинным, не названным вслух, адресатом воззвания: влиятельные американские евреи, чья позиция имела реальный вес в политических и финансовых кругах.

Несколько месяцев ушло не столько на бюрократическое согласование, сколько на принятие Сталиным вынужденного решения, которое вряд ли было ему по душе: лишь весной 1942 года состоялось

наконец формальное образование Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК) под руководством Соломона Михоэлса, целью которого была мобилизация «еврейского народа» (оказалось, что такой народ все-таки существует) для отпора фашизму. Пропагандистский фасад этой организации, за которым ничего другого и не скрывалось, ни для кого не был секретом, и однако же впервые за долгие годы появился какой-то общественный центр, построенный по национальному признаку и, независимо от того, декларировалось это или нет, неизбежно призванный защищать еврейские интересы[2].

Видимо, именно этого как раз и боялся Сталин, так долго не решаясь его создавать. Но тактическая задача, стоявшая перед Сталиным, несомненно, перевешивала стратегическую: сначала надо было выжить в войне, а потом уже «разобраться» с евреями.

Видимо, теми же соображениями руководствовался Сталин и в ноябре 1941 года, вызвав опального Литвинова из эвакуации и срочно назначив его послом в США. Этот потенциальный союзник (тогда еще США формально и не вступили в войну) был для Сталина настолько важен, что он не мог позволить себе роскоши поддаваться эмоциям или следовать желаниям Молотова, который, как мы помним, всегда считал Литвинова «большой сволочью» и сожалел о том, что тот «случайно остался в живых»[3]. Литвинов пользовался большим авторитетом в Соединенных Штатах, Рузвельт полностью ему доверял, и это определило сталинский выбор. В Лондоне по-прежнему оставался на посольском посту Майский, и было бы чистым безумием в создавшихся условиях его оттуда отзывать: близкие контакты Майского с Черчиллем, Иденом и другими ведущими государственными деятелями и политиками Великобритании были Сталину хорошо известны.

Формально ЕАК состоял при Советском Информбюро – организации, созданной еще в самом начале войны для предоставления прессе дозированной информации о положении дел на фронте. При той же организации были созданы и другие комитеты – Славянский, Женский, Молодежный, Ученый и прочие, – с той же пропагандистской целью. Но, естественно, у ЕАК цель была куда более важная и перспективная: ни женщины, ни славяне, ни работники науки, ни юноши и девушки, как бы и сколько бы они ни объединялись, никаких денег (разумеется, кроме нищенских, символических) принести Сталину не могли.

Официальным куратором ЕАК Сталин назначил того самого Соломона Лозовского (Дридзо), о котором уже говорилось выше: старого партийца и профсоюзного деятеля – ранее он возглавлял так называемый Профинтерн, то есть Интернационал профсоюзов разных стран, находившийся под полным контролем Москвы. В 1937 году его «избрали» в Верховный Совет СССР, а потом вдруг сняли со всех государственных постов. На пике Большого Террора, когда снаряды рвались совсем рядом, он остался вдруг не у дел и ждал ареста. Но то обстоятельство, что его не вывели ни из ЦК, ни из Верховного Совета, оставляло надежду. Ему дали скромную должность директора издательства художественной литературы, где его крутой нрав оставил по себе недобрую память, а потом перевели в наркоминдел. Во время войны к посту заместителя наркома прибавился пост заместителя начальника Совинформбюро. Теперь он стал еще и «куратором» всех антифашистских комитетов, созданных при Информбюро, прежде всего – ЕАК, что выглядело вполне естественно, поскольку Лозовский и сам был евреем.

Но истинным куратором ЕАК, и это тоже не было секретом ни для еаковцев, ни для тех, кто следил за его работой, являлись спецслужбы (тогда НКВД СССР), или, если совсем уж точно, лично Лаврентий Берия, глава грозного лубянского ведомства, «карающий сталинский меч». Весь аппарат ЕАК был в руках штатных офицеров Лубянки. Фактически, а не формально, ЕАК представлял собою лубянский департамент, и это, кстати сказать, изначально определило его дальнейшую судьбу. Вершителем всех повседневных дел ЕАК был не его председатель Михоэлс, а тот, кто занимал должность «ответственного секретаря»: сначала давний сотрудник «органов», журналист Шахно Эпштейн, а после его смерти поэт Ицик Фефер, который мог получить эту должность, лишь будучи сотрудником НКВД[4]. Он им и был, имея, как водится в этих

органах, зашифрованное имя «Зорин»[5].

Как во всех советских «общественных организациях», в ЕАК были созданы декоративно-представительный и управляющий рабочий органы. В декоративный (он назывался собственно комитетом) вошли люди известные («с именами», если пользоваться аппаратно-партийным языком): первые евреи Герои Советского Союза – летчица Полина Гельман и командир подводной лодки Израиль Фисанович (вскоре он погибнет в морском бою), авиаконструктор Семен Лавочкин, очень популярная в те годы камерная певица (колоратурное сопрано) Дебора Пантофель-Нечецкая, артисты, музыканты, художники, а также русские писатели еврейского происхождения (в том числе и Илья Эренбург). Реальное же руководство комитета (его президиум) – рабочее, не закулисное – состояло главным образом из писателей, писавших на языке идиш: Переца Маркиша, Давида Бергельсона, Лейбы Квитко и других, для которых защита еврейских национальных интересов была продолжением их профессиональной, литературной деятельности. Ведь подвергавшиеся тотальному уничтожению гитлеровцами евреи из городов и местечек Украины, Белоруссии, Крыма, Бессарабии, Буковины были их главными читателями – в городах России идиш стремительно выходил и из разговорного обихода, и из круга постоянного чтения. Наряду с еврейскими писателями, еще большую роль, чем они, играл в комитете, став членом его президиума, человек неумной энергии, крупнейший медик и организатор здравоохранения, главный врач московской больницы имени Боткина – Борис (Борух) Шимелиович[6].

Непосредственную задачу, поставленную перед комитетом, – сбор денег на оборону, – его руководители осуществляли неукоснительно, как, впрочем, это делали и разные другие «общественные» организации, не имевшие к еврейству никакого отношения. Свидетельством их активности является телеграмма, отправленная в город Куйбышев на Волге, куда был эвакуирован из Москвы Еврейский Антифашистский Комитет: «Председателю Еврейского Антифашистского Комитета в СССР народному артисту СССР товарищу Михоэлсу копия ответственному секретарю товарищу Шахно Эпштейну копия писателям товарищам Бергельсону Феферу Квитко Галкину копия скульптору товарищу Сабсаю копия главному врачу Боткинской больницы товарищу Шимелиовичу копия начальнику цеха оборонного завода товарищу Наглеру прошу передать трудящимся евреям Советского Союза собравшим дополнительно 3 294 823 рубля на постройку авиаэскадрильи «Сталинская дружба народов» и танковой колонны «Советский Биробиджан» мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин»[7].

Такие телеграммы, составленные по одной и той же модели, под которыми шлепались сталинские факсимиле (скорее всего, он сам понятия не имел об их тексте), сотнями отправлялись по разным адресам: кампания по сбору средств на оборону ширилась с каждым днем. Но можно поручиться, что, по сравнению с вышеприведенной, в них не было и не могло быть лишь одного аналога. Немыслимо представить себе, чтобы хоть в одной телеграмме Сталин передал благодарность «трудящимся армянам Советского Союза», «трудящимся якутам...», «трудящимся башкирам...». И кому могла бы быть адресована такая странная благодарность? Кому еще, кроме евреев, у которых был «свой» комитет?

Внешне дела складывались вполне пристойно, вселяя законный оптимизм: Сталин посылал благодарственные телеграммы, Еврейский комитет, находясь на очень хорошем государственном денежном обеспечении, выполнял под покровительством Лубянки полезную работу, Кремль демонстрировал перед всем миром свое сочувствие страданиям евреев – жертв гитлеровской оккупации – и декларировал единство «братьев-евреев», где бы они ни жили, во имя демократии и гуманизма. О том, какая в это же время шла невидимая постороннему взору возня в кремлевских кругах, вряд ли могли догадываться даже те, кому по их официальному положению надлежало бы знать больше, чем они знали, например, – Лозовскому.

Трудно поверить, но документы свидетельствуют с непреложностью: 17 августа 1942 года, когда

немецкие войска подходили к Сталинграду, когда разворачивалась судьбоносная битва на Волге, неясный финал которой мог привести вообще к крушению режима, Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) не нашло ничего более актуального, как обратиться к секретарям ЦК Маленкову, Щербакову и Андрееву с докладной запиской о том, что «во главе учреждений русского искусства оказались не русские люди (преимущественно евреи)»[8]. Перечислялись ведущие должности в Большом театре, в Московской и Ленинградской консерваториях, в Московской филармонии, в отделах искусств центральных газет, – должности, занятые евреями, которые «вытеснили талантливых русских исполнителей», а заодно, как с очевидностью вытекало из докладной, и талантливых русских критиков, талантливых русских педагогов, талантливых русских журналистов... Среди тех, кто «вытеснил», допустив «непозволительную засоренность евреями русской культуры», оказались всемирно известные музыканты, часть которых состояла к тому же в членах Еврейского Антифашистского Комитета: Давид Ойстрах, Эмиль и Елизавета Гилельс, Яков Зак и другие[9].

Аналогичных документов, касающихся «еврейского засилья» в различных сферах гуманитарной науки (именно гуманитарной: на физику, химию или математику ревнителю этнической чистоты посягать пока что не смели) и в искусстве, пренебрежения «русскими национальными интересами» и т. п., в архиве хранится немало, и все они относятся к тому же периоду[10]. Совершенно очевидно, что такая фронтальная атака на «еврейское присутствие» в самых разных сферах культуры, причем с аналогичными формулировками – о «преобладании» евреев над русскими, – не могла возникнуть спонтанно. Ее не могли начать по своей инициативе сотрудники ЦК среднего уровня и докладывать об этом сразу нескольким секретарям ЦК, отлично сознавая (ведь все они были опытными аппаратчиками), что о таком документе адресаты непременно доложат самому Сталину – хотя бы уже потому, что речь шла о главном, любимом вожде, кремлевском театре и о всемирно известных музыкантах, обласканных им лично. Поэтому решиться на столь дерзкий шаг, находившийся в кричащем противоречии с официальной советской идеологией, партийные чиновники могли лишь в том случае, если имели на то специальный заказ.

По существовавшей тогда партийной иерархии и аппаратной практике он мог исходить только от самого Сталина. Никто другой по своему личному почину пойти на него не мог, если не был, разумеется, самоубийцей. Этот документ явно не дошел до доктора Геббельса, иначе он не преминул бы его использовать, и мы давно узнали бы о его существовании. Фактически кремлевские аппаратчики, хоть и в не подлежащих оглашению секретных документах, подтвердили то самое, о чем трубила каждый день нацистская пропаганда: евреи душат русскую национальную культуру, они захватили все «тепленькие» места.

Новая кадровая политика Сталина очень быстро стала достоянием гласности. И как бы она могла таковой не стать, если – то по мотивам «преклонного возраста», то «по болезни», то «в связи с переходом на другую работу», а то и вовсе «по целесообразности» – один за другим вдруг начали покидать различные должностные посты «лица еврейской национальности», а разговоры о том, что евреям нет места в административных структурах, стали вестись практически в открытую. Еще совсем недавно за этим следовало бы исключение из партии, а то и суд по обвинению в разжигании национальной розни, теперь же не просто сходило с рук, а стало нормой жизни.

Борьба с еврейским засильем началась в сфере культуры – на науку и производство Сталин в условиях войны пока еще посягнуть не мог. Но вскоре очередь дойдет и до них.

Всякое упоминание об уничтожении нацистами евреев вообще исчезло не только из ежедневной прессы, но и из пропагандистских брошюр, из лекций, которые читались в массовых аудиториях партийными агитаторами, посвященных теме борьбы с нацизмом. Не случайно, скорее всего, и то, что термин «нацизм» в лексиконе советских газетчиков и пропагандистов вообще не существовал – его

заменял более общий, не имевший точной дефиниции, термин «фашизм», который просто стал синонимом термина «противник»: Сталин воевал не против воплощенной в кровавые дела гитлеровской идеологии, а против гитлеровской Германии, напавшей на Советский Союз. Если все же сквозь зубы упоминалось о «наличии жертв среди еврейского населения», то тут же добавлялось, что «мировой сионизм» и «буржуазные еврейские организации» сотрудничают с фашистами и помогают им в истреблении своих собратьев[11].

Иосиф Бергер, создатель и генеральный секретарь компартии Палестины, прошедший 16 лет в сибирских концлагерях и 4 года в ссылке, считал, что запрет упоминать в печати о массовом уничтожении евреев нацистами объяснялся боязнью Сталина разжечь антисемитизм в Советском Союзе[12]. Общеизвестна трогательная забота коммунистических фанатиков о чистоте имиджа советских главарей даже после того, как эти фанатики сами прошли через гулаговский ад. В данном случае «комментарий» Бергера просто абсурден. Если кто и разжигал антисемитизм – с подачи гитлеровцев – на неоккупированной части страны, так это именно Сталин. А боялся он совсем иного: взрыва симпатии к немцам, которые борьбу с советской властью приравнивали к борьбе с евреями. Или наоборот – практического значения это уже не имеет.

В конце сорок второго года резкий поворот к государственному антисемитизму уже был очевиден для всех. Раиса Орлова, работавшая тогда во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей, вспоминает, как в ноябре 1942 года председатель общества Владимир Кеменов, антисемитизмом отнюдь не страдавший, но все-таки верный партийный служака, мучительно пытался оправдать перед своими сотрудниками, среди которых было немало евреев, новую сталинскую национальную политику: «лучшие евреи – интеллигенция, партийный актив – оторвались от народа»[13].

Этот поворот, совершенно непостижимый для деятелей культуры еврейского происхождения, побудил многих из них искать объяснения у самого Сталина. Простейшая мысль – он же эту политику и проводит – в голову прийти им еще не могла. Два документа – из множества подобных им – наглядно передают атмосферу, которая тогда воцарилась в среде творческой интеллигенции.

В начале 1943 года с письмом к Сталину обратился художественный руководитель Комитета кинематографии, режиссер Михаил Ромм, создатель очень полюбившихся вождем довоенных фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», где – в полном противоречии с исторической реальностью – Сталину приписывалась главная роль в осуществлении «революции». С большой осторожностью, тщательно выбирая выражения, Ромм писал о «непонятных явлениях», которые происходят в кинематографе, в результате чего «советская кинематография находится сейчас в небывалом состоянии разброда, растерянности и упадка». Причина – в «разгроме творческих кадров», который осуществляет Большаков (глава кинокомитета в ранге наркома. – А. В.). Перемещения и снятия, которые он производит, не объясняются никакими политическими и деловыми соображениями. Поскольку же все снятые работники оказались евреями, а все заменившие их – не евреями, то кое-кто после первого периода недоумения стал объяснять эти перемещения антиеврейскими тенденциями в руководстве Комитета по делам кинематографии. <...> Проверяя себя, я убедился, что за последние месяцы мне очень часто приходилось вспоминать о своем еврейском происхождении, хотя до сих пор я за 25 лет советской власти никогда не думал об этом, ибо родился в Иркутске, вырос в Москве, говорю только по-русски и чувствовал себя всегда русским, полноценным человеком. Если даже у меня появляются такие мысли, то, значит, в кинематографии очень неблагоприятно, особенно если вспомнить, что мы ведем войну с фашизмом, начертанным антисемитизм на своем знамени»[14]. Письмо дошло до Сталина, он исчеркал его синим карандашом и передал одному из главных партийных пропагандистов Георгию Александрову с резолюцией: «Разъяснить»[15].

Мы не знаем, кто и как разъяснил Ромму ситуацию, о которой идет речь в его письме, – воспоминаний об этом он не оставил. Скорее всего, никаких разъяснений и не было (по принципу: «скажи спасибо, что тебя самого не уволили»).

Но то, что «неблагополучно» было отнюдь не только в кинематографии, видно из другого письма, тоже адресованного Сталину и датированного 13 мая 1943 года. Его автор – член партии с 1919 года, один из руководителей Московского управления по делам искусств Яков Гринберг.

«Дорогой вождь и учитель И. В. Сталин! Чем можно объяснить, что в нашей советской стране в столь суровое время мутная волна отвратительного антисемитизма возродилась и проникла в отдельные советские аппараты и даже партийные организации? Что это? Преступная глупость не в меру ретивых людей, невольно содействующих фашистской агентуре, или что-либо иное? <...> В органах, ведающих искусством, об этом говорят с таинственным видом, шепотом на ухо. В результате это породило враждебное отношение к евреям, работающим в этой области. <...> Еврей, любой квалификации, сейчас не может рассчитывать на получение самостоятельной работы даже самого скромного масштаба. Эта политика развязала многим темным и неустойчивым элементам языки, и настроение у многих коммунистов очень тяжелое <...> Знаю, что с большой тревогой об этом явлении говорят народный артист тов. Михоэлс, народный артист А. Я. Таиров (Корнблит, создатель и художественный руководитель Московского Камерного театра. – А. В.) и очень много рядовых работников. Известно, что ряд представителей художественной интеллигенции (евреев) обращались к писателю И. Эренбургу с просьбой поставить этот вопрос. Со мной об этих явлениях говорил писатель Борис Горбатов (журналист, прозаик, драматург еврейского происхождения, очень популярный в годы войны. – А. В.). <...> Становится невмоготу! Это же не случайность, а явление. Вновь возник этот страшный еврейский вопрос. Наше поколение еврейского народа (автор письма забыл, что, по мнению Сталина, никакого еврейского народа не существует. – А. В.) испытало очень многое – от времен «Союза русского народа» до исступленного кровавого фашизма. Меня товарищи уверяют, что в руководящих партийных органах многое известно. Ваше личное вмешательство может коренным образом изменить положение вещей, в связи с чем я и решил обратиться к Вам непосредственно»[16].

Сталин этого письма не прочитал: шеф его секретариата Александр Поскребышев не счел нужным беспокоить вождя информацией о том, что Сталин и так хорошо знал. Он отправил его по нисходящей цепочке группе тех товарищей, которые как раз и проводили в жизнь новую национальную политику «партии», и письмо партийного ветерана благополучно осело в архиве[17]. А личное вмешательство дорогого вождя и учителя, которого добивался Яков Гринберг, – оно не замедлило.

Изгнание евреев с руководящих постов высокого, среднего и ниже среднего уровня продолжалось с нарастающей силой. Из сферы искусств оно перешло уже и в другие сферы. В 1943 году академик Лина Штерн, выдающийся биолог, директор ею же созданного Института физиологии Академии наук, направила Сталину письмо о дискриминации евреев, о том, что их последовательно вытесняют из науки. Она сообщила, что занимавший какую-то административную должность действительный член Академии медицинских наук Павел Сергиев предложил ей уволить любых двух сотрудников-евреев, превысивших «допустимую для одного научного учреждения норму еврейского присутствия»: «Гитлер бросает листовки и указывает, что повсюду в СССР евреи, а это унижает культуру русского народа». Штерн предложила начать процесс освобождения от евреев с себя самой, на том «доверительная беседа» и закончилась[18].

Тогда же, в сорок третьем, проходили очередные выборы в Академию наук СССР – для заполнения возникших вакансий. Весь партийный и лубянский аппарат был мобилизован, чтобы преградить путь в Академию ученым-евреям: более важной и более актуальной работы для аппаратчиков не нашлось. Из архивных материалов видно, что голосовавшие по представленным кандидатурам академики

воспротивились этому насилию и стремились исходить только из научных и деловых, а не каких-либо иных критериев. Об этом с тревогой доносили Сталину: Александр Щербаков, Андрей Вышинский и еще большая компания членов ЦК, брошенная на проведение в жизнь соответствующих сталинских указаний и весьма опечаленная тем, что их не удалось выполнить так легко, как хотелось.

Замечательна та откровенность, с которой в письменном документе раскрывается отношение партийных лидеров к позиции, занятой академиками, и с каким смаком авторы докладной записки цитируют еврейские имена, отчества и фамилии. Академики, оказывается, проявили «чрезвычайно большую активность в стремлении <...> противопоставить всем (то есть цековским кураторам. – А. В.) близких себе людей: Семена Исааковича Вольфовича, Исаака Абрамовича Казарновского, Александра Абрамовича Гринберга, Симона Залмановича Рогинского, Якова Кивовича Сыркина, Исаака Рувимовича Кричевского»[19]. Речь идет о крупнейших физико-химиках, работы которых были известны их коллегам во всем мире. Команда погромщиков, хоть и с трудом, добилась своего: прошли годы, прежде чем Вольфович, Гринберг и Сыркин все-таки получили академическое звание, а Казарновский, Рогинский и Кричевский так его никогда и не получили (Кричевскому не дали получить даже звание члена-корреспондента).

Быть может, никакие документы и письма не передадут нам с такой очевидной эмоциональностью новую ситуацию, возникшую тогда в пресловутом «национальном вопросе», как стихи современников, ошеломленных свалившейся на них, нежданной бедой. Маргарита Алигер, та самая, чье имя Сталин лично внес в список награжденных всего пять лет назад, писала:

«Я спрошу у Маркса и Эйнштейна,
что великой мудростью сильны.
Может, им открылась эта тайна
нашей перед вечностью вины?»

Милые полотна Левитана,
доброе свечение берез...
Чарли Чаплин с белого экрана –
вы ответьте мне на мой вопрос.

Разве все, чем были мы богаты,
мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?»

Эти строки были запрещены цензурой, исключившей их из опубликованной два с лишним года спустя отдельной книжкой поэмы «Твоя победа». Зато они широко распространялись в списках (пожалуй, с этого и должен вести отсчет «самиздат»), зачастую с огромным количеством искажений. Но приведенные выше строки не апокриф, один экземпляр, на тонкой папиросной бумаге, хранится в моем архиве, и многие годы спустя Маргарита Иосифовна подтвердила мне его достоверность. В печать попали другие строки из той же поэмы. Опровергая злонамеренно распространявшуюся клевету на свой народ, Алигер писала, что знает совсем не лодырей и дезертиров, а

«поэтов и ученых
разных стран, наречий и веков.
По-ребячьи жизнью увлеченных,
благородных грустных шутников».

Она продолжала:

«Щедрых, не жалеющих талантов,
не таящих лучших сил души,
знаю я врачей и музыкантов,
тружеников малых и больших,

и потомков храбрых Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,
тысячи воюющих евреев –
русских командиров и бойцов».

Вот эти настроения – обиды, недоумения, возмущения, опровержения – содержались в сотнях и тысячах писем, хлынувших в ЕАК, на которые Михоэлс и его друзья не могли не реагировать. Вызывающе дразнящие сигналы ЕАК об «отдельных» участвовавших проявлениях антисемитизма приводили в ярость чиновников, хорошо осведомленных об истинном положении дел, ускоряя неизбежную ликвидацию этого странного «общественного» института, слишком заглотившегося на политическом небосклоне сороковых годов.

Прослыть погромщиком и антисемитом Сталину отнюдь не хотелось: он должен был тогда еще сохранять имидж марксиста-интернационалиста (для западных левых, многие из которых в разных странах или находились у власти, или ощутимо влияли на нее) и демократа-гуманиста (для западных союзников любой политической ориентации, которые вели войну не только со страной Германией, но и с нацистской идеологией, воплощенной в систему массового уничтожения людей).

Чтобы в глазах современников и потомков дистанцироваться от погромщиков, с его же благословения организующих травлю евреев, Сталин нашел простейший и безотказно действовавший на легковверных прием: как подвергшихся чистке, так и еще ниоткуда не изгнанных еврейских ученых и деятелей культуры он щедро награждал главными премиями страны, которые носили его имя. Сталинская премия служила как бы щитом, гарантирующим неприкосновенность лауреата, а само число (достаточно высокое, надо сказать) евреев в очередном лауреатском списке рассматривалось наивными, жаждущими любого луча надежды, простаками как гарант от всевозможных гонений и, уж во всяком случае как свидетельство непричастности дорогого вождя и учителя к тем безобразиям, которые творит местная власть.

Показательна в этом отношении судьба тех, кто был персонально поименован в цитированном выше письме о «еврейском засилье» на ниве искусства. Дирижер Самуил Самосуд, увенчанный Сталинской премией еще в 1941 году, а два года спустя изгнанный из «императорского» (то есть Большого) театра, получил затем еще две Сталинские премии – обе из рук вождя. Дирижер Юрий Файер, тоже «засорявший русское национальное искусство», удостоился ее четырежды, солисты балета Асаф Мессерер и Михаил Габович – дважды, музыканты Александр Гольденвейзер (выдающийся пианист, друг Льва Толстого, изгнанный в годы войны с поста ректора Московской консерватории), Давид Ойстрах и Эмиль Гилельс – по одному разу.

Так что никакого опровержения слухов о каких бы то ни было санкциях за их еврейское происхождение не требовалось: подписанные лично Сталиным, опубликованные во всех газетах и торжественно зачитанные по радио постановления о присуждении Сталинских премий как раз и были наглядным, весомым, безоговорочным опровержением. Любому зарубежному клеветнику, который заикнулся бы о каких-то признаках антисемитизма в СССР, можно было заткнуть рот, ознакомив его со списком лауреатов. Но, само собой разумеется, ни малейшей гарантией от последующих санкций по каким угодно причинам и поводам эти награды служить не могли: Сталину столь же легко было вознести человека на вершины власти и славы, сколь и низвергнуть, отправив в опалу, а то и в расстрельные ямы.

Сталина, видимо, мучили его скрывавшийся до поры до времени государственный антисемитизм, как и страх, что тот очевиден не только для узкого круга. Самым ярким проявлением этого синдрома является, пожалуй, свидетельство мало кому известного ныне композитора и профессора Московской консерватории Дмитрия Рогаль-Левицкого, которое было найдено в его личном архиве после его смерти[20]. Свидетельство этого музыканта тем более интересно, что сам он – поляк, интеллигент высшей пробы, человек с безупречной репутацией, притом бесконечно далекий от каких бы то ни было политических страстей. Со Сталиным общался один-единственный раз, по чистой случайности. Лучший в то время мастер оркестровки, он в 1944 году получил задание оркестровать новый государственный гимн и, по случаю принятия всей работы в целом, был приглашен на правительственный банкет для узкого круга за кулисами Большого театра. Той же ночью с почти стенографической точностью он воспроизвел без каких-либо комментариев весь закулисный разговор, и спрятал свою запись подальше от любопытных глаз.

Сталин спросил, сколько дирижеров в Большом театре. Ему ответили: семь, из них, заметим попутно, трое евреев, но Сталина это вроде бы не интересовало – знал и так... «А Голованова (оперный и симфонический дирижер, профессор Московской консерватории. – А. В.) у вас нет?» – хитро спросил Сталин. (Хитрость понятна: ведь ответ он тоже знает. – А. В.) – «Мы думали поручить ему две-три постановки...» – начал Пазовский (главный дирижер Большого театра, еврей, что в данном случае, как увидим, имеет значение. – А. В.)». – «И что же?» – прервал его Сталин. – «Он отказался». – «Хорошо сделал! – чиркнув спичкой, сказал Сталин. – Не люблю я его... Антисемит. Да, самый настоящий антисемит. Грубый антисемит. Его в Большой театр пускать нельзя... Это то же самое, что козел в капусте», – засмеялся он».

Далее разговор перешел на другую тему, но какое-то время спустя, без всякой видимой связи, Сталин возвратился к первой. «И все-таки Голованов антисемит», – вдруг снова стал настаивать Сталин. – «В этом смысле я с ним не сталкивался». – «Ничего, столкнетесь, если его в Большой театр пустить... Голованов настоящий антисемит, вредный, убежденный антисемит, – с сердцем произнес Сталин. – Голованова в Большой театр пускать нельзя. Этот антисемит все перевернет».

Целенаправленный характер сталинских высказываний очевиден, как очевидно и то, что они, «с сердцем» произнесенные в присутствии нескольких музыкантов, сразу же разойдутся и станут предметом обсуждения не только в музыкально-театральной Москве. Та, почти маниакальная, назойливость, с которой он множество раз талдычит одно и то же, свидетельствует лишь об одном: ему во что бы то ни стало необходимо было создать впечатление, что уж он-то решительный противник антисемитизма и, что бы когда-нибудь ни случилось, он, Сталин, не имеет к этому ни малейшего отношения. Если что и произойдет, то помимо – нет, вопреки его воле.

Высокопрофессиональный музыкант, Голованов действительно был известен в самых широких кругах как человек, который, мягко говоря, недолюбливает коллег еврейского происхождения. Тот, кто не забыл архаичную идиому «как козел в капусте», хорошо поймет ее место в сталинских рассуждениях: будь у Голованова власть, он бы слишком «засоренный» евреями Большой основательно почистил даже без указаний сверху.

Блестяще сочиненный несравненным «драматургом» сюжет получил завершение через четыре года. 17 мая 1948 года Сталин подписал постановление политбюро, которым Арий Пазовский увольнялся с поста художественного руководителя и главного дирижера Большого театра, а на его место назначался Николай Голованов[21]. И, естественно, повел себя там новый худрук в точном соответствии со сталинским прогнозом: как козел в огороде... За это немедленно получил от Сталина звание «Народный артист СССР» и до конца жизни вождя еще три Сталинские премии. Ни один другой, из числа мне известных, эпизод богатейшей на сюжеты сталинской биографии не передает с такой, почти фарсовой, обнаженностью его

коварство и двуличие в так называемом «еврейском вопросе».

Пока партийные аппаратчики, получив надлежащие указания, разворачивали кампанию по очищению культуры (а потом и науки) от чрезмерного еврейского присутствия, ЕАК продолжал заниматься своим делом – вести внутри страны и за границей активную пропагандистскую кампанию для привлечения максимально возможного потенциала своих соплеменников во благо Кремля. 24 мая 1942 года – ровно через девять месяцев после первого – состоялся в Москве второй митинг «еврейской общественности», прошедший с меньшей помпой и меньшим резонансом в прессе, чем тот, что был созван в августе минувшего года. Было принято еще одно обращение «к братьям-евреям во всем мире» – слезный призыв оказать финансовую и материальную помощь в борьбе против гитлеризма. К тем, кто подписал первое Обращение, прибавились новые имена: академики Лина Штерн (ее хорошо знали и в Америке, и в Европе), Александр Фрумкин, художник Натан Альтман, профессор медицины, генерал Меер Вовси (двоюродный брат Михоэlsa) и другие. Митинг транслировался по радио. Было оглашено приветствие Лиона Фейхтвангера – никакой другой зарубежной знаменитости, более влиятельной на Западе, привлечь не удалось.

К тому времени поиск надежных контактов и авторитетных личностей, которые могли бы решить главную задачу, вдруг возникшую перед Сталиным, составлял главную заботу ЕАК. В чем конкретно состояла эта задача, не знал никто, кроме самого-самого узкого круга, но еаковцам вменили в обязанность максимально расширить зарубежные (точнее, американские) связи, что они охотно и делали – в меру своих, довольно скромных, возможностей.

А задача была действительно первой важности...Многочисленная и блестяще осведомленная лубянская агентура посылала в Москву сообщения об успешно реализуемом американцами ядерном проекте. Создание атомного оружия становилось делом ближайшего будущего. Относясь с вполне понятным недоверием к советскому союзнику, американцы и англичане держали всю эту работу в полном секрете. Овладеть как можно скорее тайной расщепления атомного ядра – эта задача превратилась для Сталина в навязчивую идею.

Эти работы велись давно, еще с довоенных лет, и в Советском Союзе, но ощутимого результата пока не приносили. Практически все, кто прямо или косвенно участвовал в советском проекте по расщеплению атомного ядра до войны и в начале войны, за исключением, пожалуй, Петра Капицы, были евреями (впрочем, Сталин по ошибке считал евреем и его): Матвей Бронштейн, Яков Френкель, Лев Ландау, Евгений Лифшиц, Наум Мейман, Исаак Померанчук, Владимир Векслер, Юрий Румер, Исаак Кикоин (Кушелевич), Яков Зельдович, Юлий Харитон, Аркадий Мигдал, Илья Франк, Бенцион Вул, Герш Будкер и ряд других ученых того же происхождения. (Этнический русский Андрей Сахаров был тогда еще молод, позже он присоединится к работе своих коллег и станет «отцом водородной бомбы».) Многие из них были арестованы в годы Большого Террора, а затем выпущены (кроме Бронштейна, которого успели расстрелять) по ходатайству Капицы и Нильса Бора[22].

Все они, естественно, были известны коллегам во всем мире, и Сталин весьма рассчитывал на «содружество ученых», чтобы выудить у продвинувшихся в разработке иностранцев информацию, которая ускорила бы создание атомного оружия и в Советском Союзе, тем более что большинство американских исследователей, занятых той же проблемой, во главе с Эйнштейном, тоже были не без греха по части этнических корней. Посылать для этого кого-либо из своих ученых в Америку Сталин, разумеется, не решился: еще, чего доброго, сбегут или хотя бы разгласят государственную тайну. Но найти какой-либо неожиданный ход, с помощью которого можно было бы выкрасть у американцев атомные секреты, склонить зарубежных ученых-евреев к сотрудничеству с Советским Союзом – главным защитником

мирового еврейства от уничтожения, – такая задача была поставлена Сталиным перед Берией, возглавлявшим могучее лубянское ведомство.

И вполне естественно, что тот обратил свои взоры на ЕАК, бывший под его полным контролем.

Тут Кремлю с Лубянкой улыбнулась фортуна. Впрочем, не исключено (даже более, чем вероятно!), что фортуна тоже хорошо подготовили советские агенты в Америке. Еврейский Антифашистский Комитет получил приглашение прислать делегацию в Соединенные Штаты для поездки по стране и встреч с еврейскими общественными организациями. Явно не без подсказки толково делавших за океаном свое дело лубянских товарищей приглашение поступило от Американского комитета еврейских писателей, художников и ученых, во главе которого был Альберт Эйнштейн, а членами состояли писатели Шолом Аш, Лион Фейхтвангер, Говард Фаст, Лилиан Хелман, журналист Бенцион Гольдберг (зять классика литературы на идиш Шолом-Алейхема) и другие известные личности – известные не только своим талантом, но симпатиями к Советскому Союзу, а некоторые – своим безоглядным и безграничным просоветизмом. Таким образом, гости попадали в надежные руки совершенно «своих», которые обеспечили им все необходимые контакты с нужными людьми и организациями, кровно заинтересованными в общем успехе.

Пропагандистская цель поездки, прежде всего, – сбор денег на закупку вооружения, продовольствия, медикаментов – ни от кого не скрывалась, но она ни у кого и не могла вызвать никаких подозрений и возражений: такая акция в чьих угодно глазах выглядела вполне естественной. Подобная задача, поставленная перед теми, кому разрешили бы откликнуться на приглашение американских евреев, была вовсе не только декоративной, а жизненно необходимой. И все же, даже она не шла ни в какое сравнение с задачей тайной и главной: перебросить мост между физиками – теоретиками и практиками – двух стран для получения информации, позволяющей как можно скорее осуществить советский атомный проект.

Ни один неспециалист ничего подобного сделать, конечно, не мог, но повлиять на умы и чувства своих собеседников, убедить их не только в том, что в Советском Союзе нет никакого антисемитизма, а более того, – что он, и только он, надежный гарант и защитник интересов евреев во всем мире и что поэтому ему надо помогать всеми доступными средствами, – такая задача посланцам была по плечу. Если только, конечно, они обладали достаточным шармом, способностью убедить тех, с кем встречаются, в искренности своих заявлений.

Соломон Михоэлс лучше, чем кто-нибудь, подходил для этой роли, хотя его, артиста, ни разу не выступавшего на театральных подмостках Америки, там мало кто знал. И все же кому, как не ему, председателю ЕАК, было откликнуться на приглашение и стать первым посланцем советских евреев в страну, где евреи – выходцы из прежней Российской империи – завоевали высокие позиции во всех областях жизни? Но кроме того он обладал неслыханным актерским обаянием, был несравненным оратором и темпераментным собеседником, отличался большим полемическим даром, словом, обладал буквально всеми качествами, необходимыми для выполнения и фасадной, и тайной задачи. Притом – ничуть не кривя душой: ведь он действительно не имел никаких оснований скорбеть о плохой участи евреев под солнцем Сталинской конституции и усомниться в протекционизме советских властей по отношению к еврейскому меньшинству. И конечно, ему на самом деле и в голову не пришло бы заподозрить Сталина в повороте к государственному антисемитизму.

Кандидатура Михоэлса в Кремле никаких сомнений не вызвала, обсуждалась кандидатура второго члена делегации: вакансий было всего две. По логике вещей вторым должен был быть ответственный секретарь ЕАК и, по совместительству, сотрудник Лубянки – Шахно Эпштейн. К тому же он долго жил в Америке, сотрудничал в еврейской печати Соединенных Штатов, был знаком в этой стране со множеством людей. Но, видимо, это было и минусом: никто не мог поручиться за то, как именно он использует там свои связи. Выбор пал на поэта Ицика Фефера, члена партии с почти двадцатипятилетним стажем, который уже

успел себя проявить как надежный сексот.

Никто не знает в точности, какой разговор имел Берия перед отлетом делегации с ее членами, но в том, что разговор имел место, притом и с двумя сразу, и с каждым порознь, – в этом можно не сомневаться[23]: слишком уж ответственная, беспримерно ответственная, задача возлагалась на них. Хотя даже на закрытом заседании суда девять лет спустя будет сказано, что беседу вел только секретарь ЦК Щербаков[24], но этот деятель занимался идеологией и пропагандой, атомные секреты в его компетенцию не входили.

Со слов своего отца, крупнейшего функционера и аса советской внешней разведки генерала Павла Судоплатова, его сын Андрей сообщает, что «перед поездкой в Соединенные Штаты Михоэлса (Михоэлса одного, а не вместе с Фефером. – А. В.) вызвал на Лубянку Берия и проинструктировал его, как завязать широкие контакты с американскими евреями»[25]. Сам Павел Судоплатов утверждает, что Берия точно определил главную задачу советско-еврейских посланцев: «убедить американское общественное мнение, что антисемитизм в СССР полностью ликвидирован вследствие сталинской национальной политики»[26].

Вопреки своей воле и, возможно, не сознавая в полной мере, какую миссию ему на самом деле придется исполнить, Михоэлс фактически становился посланцем спецслужб, которые доверили ему выполнение одной из самых грандиозных по масштабу секретных операций. На помощь Михоэлсу в этом деле были мобилизованы лучшие и опытнейшие агенты, работавшие в Америке, прежде всего резидент НКВД в Вашингтоне, генерал Василий Зарубин, его жена Елизавета Зарубина (по первому мужу Лиза Горская, в девичестве Розенцвейг) – одна из самых результативных советских агенток, блестяще владевшая несколькими языками (в двадцатые годы она выдала на смерть Лубянке своего тогдашнего любовника Якова Блюмкина – убийцу германского посла Мирбаха и близкого сотрудника Троцкого), генерал Гайк Овакимян, а также резидент в Сан-Франциско, работавший под крышей вице-консула СССР, Григорий Хейфец, многоопытный советский шпион, проявивший себя до этого не в одной стране и имевший в Америке огромные связи. «Наводку» осуществляла также проверенный агент НКВД – Маргарита Коненкова, жена очень почитаемого в Америке русского скульптора-эмигранта Сергея Коненкова, охмурившая своими любовными чарами самого Альберта Эйнштейна, в душу которого предстояло проникнуть Соломону Михоэлсу – растрогать, обворожить... Знал ли Михоэлс, в какие сети его вовлекли и в какую игру он играет? Вряд ли – знал, но догадывался несомненно. Доказательством тому служит его письмо жене Анастасии Потоцкой, написанное перед самым отъездом в Америку (семья Михоэлса находилась тогда в эвакуации, в Ташкенте): «Снова и снова припадки отчаяния и одиночества – и деться мне от них некуда. Не знаю, что делать, чтобы отделаться от гнетущего чувства. <...> Много-много передумал я за эти дни. <...> Здесь (в Москве. – А. В.) выявилась картина весьма тяжелая и сложная той обстановки, в которой мне придется очутиться фактически одному. Ибо мой агорой коллега (так безлично, выражая этим свое отношение к нему, называет Михоэлс хорошо известного адресату письма – Ицика Фефера. – А. В.), который едет вместе со мной, вряд ли может явиться опорой мне и подмогой. А сложность растет там с каждым днем. Придется нырять. Но ведь это не роль. Здесь провал немислим – это значит провалить себя, обезглавить себя. Любимая, мне тяжело и тоскливо»[27].

Вряд ли можно было сказать что-либо еще точнее в подлежавшем военной цензуре письме! Но и сказанного более чем достаточно. Ясно, что речь идет не о пропагандистских выступлениях и не о сборе денег, – всю прозрачность эвфемизмов Михоэлса можно понять лишь сейчас, когда истинная цель поездки уже известна. Но, судя по письму, хотя бы в общих чертах она была известна Михоэлсу еще тогда. И приводила его в отчаяние – точное слово найдено им самим.

Труднее всего, наверно, было для Михоэлса найти общий язык с влиятельными сионистскими кругами – сам он сионистом никогда не был. Поиск ходов к ним, внедрение в их среду своих людей начал

еще создатель и первый шеф лубянского ведомства – Феликс Дзержинский, который, как мы помним, возлагал на них большие надежды[28], но тогда, в двадцатые годы, не преуспел: заигрывания с сионистами не нравились Сталину, который на том этапе, погруженный целиком во внутривнутрипартийные интриги и озабоченный борьбой за власть, не смог разглядеть перспективность многоходовой комбинации, задуманной «железным Феликсом».

Теперь Берия решил продолжить дело своего предшественника, и Сталин ему не мешал. Задача была возложена на Михоэлса – в эту, чуждую для него, среду ему и предстояло «нырять»: было от чего прийти в отчаяние.

Результаты поездки превзошли все ожидания. Состоялись не только встречи с лидерами сионистского движения, но еще и с Эйнштейном, и артисту удалось произвести на ученого то впечатление, которое и было запланировано Лубянкой. Физики-евреи, работавшие в близком контакте с Эйнштейном над атомным проектом: Оппенгеймер, Ферми, Фукс, супруги Розенберг и другие прониклись мыслью о том, что помогают не только союзнику в лице Советского Союза, но прежде всего евреям мира, чьему существованию угрожает гитлеризм. Это максимально стимулировало их деятельность в качестве советских информаторов.

Вряд ли «первые данные о создаваемой американцами атомной бомбе привез из Америки в 1943 году И. Фефер», как без каких-либо оснований и без ссылки на чьи-то свидетельства утверждает литератор Варлен Стронгин, сын тогдашнего директора московского издательства на языке идиш «Дер Эмес»[29]. Можно сказать и категоричней: это безусловно не так. Такую миссию никто на Фефера не возлагал – он должен был просто приглядывать за Михоэлсом, а за атомными секретами охотилась огромная армия профессиональных советских шпионов. Водевильная версия («Передать чертежи Феферу во время многочисленных митингов, встреч и раутов, – фантазирует Стронгин, – не составляло большого труда») вообще не заслуживает внимания: для осуществления операции такого масштаба и такого значения существуют совсем другие каналы. Не Фефер, а Михоэлс был реальным, очень страстным, очень эффективным агентом влияния, и через Эйнштейна и через других людей, с которыми встречался и к мнению которых прислушивались в США (Марк Шагал, Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Поль Робсон и другие, а также руководители Еврейского комитета писателей, артистов и ученых, сенаторы, банкиры, промышленники), он влиял на тех, от кого действительно зависела передача Кремлю секретов новейшего «сверхоружия».

Чудовищная, неправдоподобная, страшная связка Берия-Михоэлс, где второй, по указанию первого, мучительно, но и блестяще, играл роль подсадной утки, – дала свои сенсационные результаты.

Великолепные – явные и тайные – результаты поездки в США на короткое время породили в еврейских кругах Советского Союза состояние эйфории. Посланцы ЕАК привезли из Америки сотни восторженных статей об их пребывании там, а значит и о Советском Союзе. Они привезли еще и чеки на миллионы долларов – пожертвования богатых американских евреев на продолжение войны с нацизмом во имя общего для всех евреев дела.

И мало кто обратил внимание на то, что именно в дни их триумфального успеха из Вашингтона и Лондона в конце весны 1943 года практически одновременно были спешно отозваны послы Литвинов и Майский. Если Майский провел на своем посту многие годы, то Литвинов всего-навсего полтора года, и ему пришлось убираться из Вашингтона буквально в пожарном порядке, не дожидаясь, пока прилетит делегация ЕАК: с ней он, как говорится, «встретился» в воздухе...

Свидетельство бывшего референта Литвинова Анастасии Петровой записал в шестидесятые годы журналист Зиновий Шейнис. По словам Петровой, Литвинов перед отъездом из США посетил президента

Рузвельта и в ходе беседы наедине передал ему доверительное личное письмо с объяснением истинных причин его отзыва: посол-еврей, да еще в такой стране, Сталину больше не угоден. Устно же он добавил: «Сталин развязал в стране антисемитскую кампанию. Это приведет к тяжелым последствиям». Аналогичное письмо он передал вице-президенту Уоллесу[30]. Если информация Петровой не вымысел – сознательный или невольный, – что вполне вероятно, то такое письмо еще может найтись в архивах Белого дома. Но в любом случае содержание подлинного или апокрифического письма Литвинова полностью соответствует действительности.

В кремлевских верхах антисемитская кампания шла уже полным ходом. Об этом прежде всего свидетельствуют начавшие поступать в ЕАК письма евреев из разных уголков страны о притеснениях, которые они начали испытывать именно на национальной почве. Та самая волна антисемитизма, о которой сказано выше – и в предыдущей, и в этой главе, – уже ни для кого не была секретом, тем более для самих евреев, испытавших ее на себе: многим отказывали в приеме на работу, не слишком скрывая причины отказа, многих с работы увольняли, другим не давали жилья или иных, жизненно необходимых, благ. Жалобы обиженных и дискриминированных людей шли непрерывным потоком в партийные органы, вплоть до ЦК, и в органы государственной безопасности: авторы писем справедливо видели в такой политике влияние того самого фашизма, с которым шла кровавая борьба на полях сражений.

Множество писем такого рода приходило и в ЕАК: в соответствии с элементарной житейской логикой их авторы полагали, что комитет призван бороться с фашизмом во всех его проявлениях, притом всюду, где бы тот себя ни обнаружил. Эти письма регулярно переправлялись комитетом в те самые компетентные партийные и государственные органы – центральные или региональные, – которые были правомочны (точнее, обязаны) принять конкретные меры для устранения допущенной несправедливости. Письма самих авторов благополучно сплавлялись в архив, а вот сопроводительные письма ЕАК, приводившие в ярость читавших их аппаратчиков, вызывали совсем иную реакцию.

О ней можно судить по письму, которое ответственный секретарь Совинформбюро (номенклатурная должность, созданная для повседневного контроля за деятельностью всех подразделений этой организации) – Владимир Кружков отправил начальнику Совинформбюро (он же секретарь ЦК) Александру Щербакову, чей лютый антисемитизм был всем хорошо известен: «...полагаю, что руководство Еврейского антифашистского комитета вмешивается в дела, в которые оно не должно было бы вмешиваться. Считаю политически вредным тот факт, что руководство Еврейского антифашистского комитета, получая письма с разными рода ходатайствами материально-бытового характера от советских граждан – евреев (так этот аппаратчик называл стоны жертв набравшего обороты государственного антисемитизма. – А. В.), принимает на себя заботу об удовлетворении просьб и затевает переписку с советскими и партийными органами»[31].

Хотя Кружков и просил дать руководителям ЕАК указание не заниматься тем, чем им якобы заниматься не положено, такого указания ему, вероятней всего, не дали, ибо в архивах хранятся гораздо более поздние «ходатайства материально-бытового характера», которые были поддержаны комитетом[32]. Если бы комитету дали такие указания, оттуда перестала бы приходиться «наверх» соответствующая корреспонденция, сопровождаемая просьбой помочь авторам слезных писем. Но какую-то накачку руководителям ЕАК все-таки, видимо, дали. Это вытекает из докладной записки Шахно Эпштейна тому же Щербакову от 23 ноября 1943 года, где он жалуется на одного из руководителей Агитпропа – Дмитрия Поликарпова за то, что тот «обрушился» на него, обвиняя в присвоении себе комитетом статуса «какой-то особой державы»[33].

Крутые меры в отношении ЕАК, возможно, не были приняты тогда потому, что в большой политике – не столько внутренней, сколько внешней – продолжала разыгрываться еврейская карта, на которую Сталин

делал большую ставку. Нет ни малейших доказательств тому, что он НА САМОМ ДЕЛЕ, пусть только в ограниченных временем пределах, хотел создать в Советском Союзе еврейскую автономию, но то, что он подбрасывал эту идею американцам, вселял в них какие-то надежды и словами, и (еще чаще) двусмысленными намеками, не столько лично, сколько через доверенных лиц, – в этом нет никакого сомнения.

Одними из таких доверенных лиц – точнее, переносчиками и передатчиками нужной Сталину информации (дезинформации?) – были Михоэлс и Фефер. Будучи в США, они вели об этом разговоры (именно так: разговоры, а не переговоры!) с различными еврейскими деятелями, в том числе с представителями деловых и финансовых кругов[34]. Великолепно осведомленный о тайном сталинском замысле (выкачать из американских евреев как можно больше денег, убаюкивая их сказками о скором создании в СССР еврейской государственности), Павел Судоплатов, – один из руководителей советской разведки, подробно рассказал об этом в своих мемуарах, изданных на всех главных языках мира. В частности, именно от него известно достаточно детально о том, что Сталин, принимая американских сенаторов, практически подтвердил серьезность этого проекта и уговаривал своих гостей оказать максимально возможную финансовую помощь для восстановления тех областей Белоруссии, которые традиционно являлись местом еврейского заселения (например, Гомельская область).

Поскольку по логике вещей этот проект не мог казаться совершенно утопическим – ни американцам, ни руководителям ЕАК, он воспринимался последними как вполне достижимая реальность. Иначе они ни в коем случае не могли бы (особенно – не политически наивный Михоэлс, – но прекрасно разбиравшиеся в политике Лозовский, Эпштейн, Шимелиович) проявить инициативу и разрабатывать проект создания Еврейской советской социалистической республики, совершенно официально представляя его высшему партийному и государственному руководству. Что касается американцев, то они великолепно знали, в какой стадии уже находится другой проект – создание еврейского государства на территории Палестины, и им никак не могла казаться фальшивкой информация о том, что Сталин, в противовес этой идее, хотел бы создать еврейскую государственность на своей территории и под своим полным контролем. Логически рассуждая, ему именно так и следовало поступить.

Этот проект – утопический, но казавшийся реальным – должен был получить горячую поддержку в кругах левой еврейской диаспоры, которая не разделяла экстремистскую категоричность сионистов. Создание «параллельного» национального очага в «социалистическом отечестве – родине трудящихся всего мира» – не могло не найти своих приверженцев в зарубежных еврейских кругах. Кроме того, многие на Западе (серьезные политики прежде всего) понимали, что создание, еврейского государства в Палестине неизбежно приведет к затяжному и мучительному конфликту с арабским населением региона и с противоборством великих держав, каждая из которых имела здесь свои интересы. Таким образом, игра Сталина на внутриеврейских и межгосударственных противоречиях должна была выглядеть в их глазах вполне разумной с его, Сталина, точки зрения. Для еаковцев это должно было выглядеть точно так же, как и для их американских друзей. Американцам эта политическая наивность ничем не грозила, а вот Михоэлс со товарищи, проявив чарующее простодушие, снова оказались на поводу у кремлевских интриганов.

К тому времени никто уже не скрывал – едва ли не официально, – что создание так называемой Еврейской автономной области в приграничной дальневосточной тайге ни к каким результатам не привело. Искусственность этого «национально-территориального образования», удаленность от мест традиционного проживания евреев и тяжелые климатические условия не сулили надежды на то, что ситуация впредь изменится к лучшему. Приходилось выбирать другой «объект» – более реальный, более привлекательный. «Объект» был найден – конечно, не самими Михоэлсом с Фефером, а Сталиным и Берией, и ими подсказан «советским делегатам», чтобы те подбросили эту «дезу» американцам.

Теперь еаковцев толкали на другой шаг: начинался второй акт многоактной драмы. Они, а не кто-то другой, должны были выступить инициаторами создания еврейской республики в Крыму! Посредником стал Лозовский (он подтвердил это на судебном процессе 1952 года) – лицо сугубо официальное: заместитель наркома иностранных дел Молотова, чуть ли не ежедневно общавшийся с ним самим, а то и со Сталиным. Слух о том, что евреи скоро получат свою республику в Крыму, моментально распространился по всей Москве, а оттуда благополучно перекочевал и в другие регионы страны: Сталину только это было и нужно, теперь уже американцы могли уверовать в серьезность его намерений.

Именно в такой обстановке и было составлено коллективное письмо на высочайшее имя с просьбой разрешить заселение Крыма евреями для последующего образования там еврейской республики. Поскольку именно это письмо затем было поставлено в вину руководителям ЕАК, что привело к трагедии, о которой речь впереди, долгие годы существовала версия, будто в реальности такого письма не было вообще, будто оно просто выдумано Лубянской как повод для организации кровавого судебного шоу. А. Н. Яковлев развенчал этот миф лишь в 1991 году[35], но не сослался ни на один документ, который подтвердил бы это его утверждение, не привел никаких доказательств.

Мне удалось разыскать в архиве переведенный на микрофильм[36] и впервые опубликовать (из-за недостатка места на газетной странице – только в отрывках) как подлинный черновик этого письма от 15 февраля 1944 года, так и заверенную копию белого варианта письма, которая позволила уточнить датировку, восстановить окончательный текст и представить, как разворачивались события, оказавшиеся столь далеко идущими и столь фатальными[37]. Так что мы можем судить о нем не на уровне предположений и слухов, а на уровне документа.

Письмо объемом в пять машинописных страниц подписано Соломоном Михоэлсом, Шахно Эпштейном и Ициком Фефером и первоначально адресовано Сталину. Проект письма Лозовский показал Молотову, который внес в него небольшую правку и посоветовал адресовать на свое имя. Поэтому обращение «Дорогой Иосиф Виссарионович!» заменили на «Дорогой Вячеслав Михайлович!», и письмо отправилось вверх. Теперь оно уже было датировано 21 февраля и занимало только четыре машинописные страницы. Три дня спустя, 24 февраля, оно зарегистрировано под номером М-2314 в секретариате Молотова, который наложил на нем резолюцию: «Т.т. Маленкову, Микояну, Щербакову, Вознесенскому».

Аргументация, содержащаяся в письме, весьма солидна и в точности соответствует тем основным положениям, из которых исходил ЕАК в своей работе на протяжении последнего года (об этом можно судить, анализируя протоколы его заседаний и обширную переписку с различными официальными органами). Евреи разбросаны по всей территории Советского Союза, говорилось в письме, и в таких условиях они не могут создавать свою национальную культуру (точно совпадает с известной сталинской концепцией о «несуществующей» еврейской нации). Им тяжело возвращаться к прежним своим домам после освобождения городов и местечек от фашистских оккупантов: там ждут их лишь пепелища и могилы замученных родственников. К тому же их квартиры и дома уже заняты теми, кто, пережив ужасы оккупации, лишился крова. Попытка вселения в прежние помещения сулит лишь обострение конфликтов.

Авторы письма напоминали также, что пробужденные нацистами антисемитские проявления не исчезли с изгнанием оккупантов. Евреи могут, утверждалось в письме, создать свою государственность, об этом свидетельствует эксперимент, проведенный на Дальнем Востоке, но Биробиджан далеко, он не привлечет и не привлечет большого числа переселенцев. Наиболее подходящим местом является Крым – и по своему географическому положению, и по климату, и по вместимости. Наконец, там уже были созданы и хорошо работали еврейские колхозы.

«Создание еврейской советской республики, – говорилось в письме, – раз навсегда разрешило бы по-

большевистски, в духе ленинско-сталинской национальной политики, проблему государственно-правового положения еврейского народа и дальнейшего развития его вековой культуры. Эту проблему никто не в состоянии был разрешить на протяжении многих столетий, и она может быть разрешена только в нашей великой социалистической стране».

Резолютивная часть письма состояла из двух пунктов: 1) создать на территории Крыма Еврейскую Советскую Социалистическую Республику и 2) заблаговременно, не дожидаясь освобождения Крыма (до этого оставалось еще два месяца), создать правительственную комиссию для разработки всех необходимых мер.

Существуют две – диаметрально противоположные – точки зрения на эту акцию, которая вскоре так дорого обошлась причастным к ней лицам. Одна состоит в том, что это была тщательно спланированная сталинско-бериевская провокация, имевшая целью создать впоследствии обоснование для принятия карательных мер против руководства ЕАК и для жестокого решения судьбы советских евреев вообще. Другая отстаивает совершенно иное: письмо явилось трагической инициативой самих еаковцев, оно «стало логическим следствием гипертрофии национальных чувств евреев, возникшей в годы войны как реакция на угрозу их полного физического уничтожения, по крайней мере в Европе»[38].

Обе эти версии, скорее всего, не соответствуют действительности, хотя, казалось бы, никакой третьей не может быть. Но она существует...

О несостоятельности первой говорит хотя бы то, что Сталин вообще никогда не нуждался ни в каких «обоснованиях» для расправы с негодными. Тем более что «обоснования» если и бывают нужны, то лишь на публичных судебных процессах, а эпоха таких шоу уже закончилась. Кроме того, ни малейшей нужды ликвидировать ЕАК и уничтожить его руководителей у него в конце 1943 – начале 1944 года не было и быть не могло: под руководством Лубянки комитет хорошо выполнял свою пропагандистскую миссию, а ядерными секретами в полной мере Москва пока не располагала, так что ЕАК мог еще пригодиться. Разрабатывать же столь громоздкую стратегию на несколько лет вперед – дело абсолютно бессмысленное: кто мог знать, как будут дальше разворачиваться события?

Но и вторая версия тоже ничуть не весомей. Как могли бы Михоэлс и Фефер пойти на столь убийственный шаг, чтобы по своей инициативе обсуждать в Америке, в сионистских и им близких кругах, план превращения Крыма в еврейскую республику?! Да к тому же после того, как уже целый год подвергались бесконечным проработкам в ЦК за самовольное расширение функций комитета, за придание ему «статуса самостоятельного государства». Комитету!.. А тут, получается, они всерьез взялись за то, чтобы придать этот статус огромному полуострову. Не могли перед Михоэлсом и Фефером всерьез поставить такой вопрос и сами американцы: откуда они могли знать, что Сталин вынашивает планы депортации крымских татар? А о расчленении Крыма на Южную (татарскую) и Северную (еврейскую) ни в одном последующем документе вопрос вообще не стоял – значит, никем, ни на каком уровне не обсуждался.

Все, видимо, было гораздо проще – и в точном соответствии со сталинским восточным коварством, с его, не раз себя оправдавшей, тактикой опытного интригана, с его иезуитской манерой загребать жар чужими руками, дистанцируясь от того, что дурно выглядело бы на политической арене, и обвиняя других в том, в чем повинен он сам. Запустив утку насчет возможной (пока еще только возможной!) передачи Крыма евреям, распалив воображение и тех, кто мечтал создать для своего народа национальный очаг, и тех, кто за рубежом хотел того же, но скептически относился к идее создания еврейской государственности в Палестине, Сталин рассчитывал прежде всего на грандиозные финансовые вливания для восстановления разрушенного войной – он отлично сознавал, что союзнические отношения с Соединенными Штатами завершатся после разгрома нацистской Германии, и помощь надо искать по другим каналам.

Павел Судоплатов, великолепно осведомленный о скрытой от глаз политической кухне, и сам имевший к ней прямое отношение, также подтверждает, что «Михоэлсу и Феферу <...> было поручено прозондировать реакцию влиятельных зарубежных сионистских (скорее всего, еврейских национальных, а не только сионистских. – А. В.) организаций на создание еврейской республики в Крыму. Эта задача специального разведывательного зондажа <...> была успешно выполнена»[39].

Если бы американцы не имели «информационной дезы» о готовности Сталина создать в Крыму еврейскую республику, а располагали бы только доверительными разговорами с Михоэлсом и Фефером, – Гарриман не мог бы себе позволить в феврале 1945 года, во время подготовки к Ялтинской конференции, открытым текстом спрашивать у Судоплатова и у Новикова (помощника Молотова), о том, как идут дела с созданием еврейской крымской республики в связи с будущими американскими кредитами под этот проект. И не смогли бы тогда американские сенаторы, уже после войны приехав в Москву, обсуждать тот же проект лично со Сталиным, который горячо их заверил, что дела движутся вполне успешно...[40] Но уже в ноябре 1945 года, когда Гарриман пожелал продолжить обсуждение со Сталиным этого проекта, тот даже отказался его принять[41].

Однако в 1944 году нелепая, опасная и заведомо обреченная на провал затея, цинично разыгрываемая Сталиным, Берией и подыгрывавшим им Молотовым, казалась настолько осуществимой, что члены руководства ЕАК стали готовиться, не дожидаясь ответа кремлевского диктатора, к практическим шагам.

Лев Квитко, автор многих стихов, которые, благодаря мастерству талантливых русских поэтов-переводчиков, знали наизусть миллионы советских детей всех национальностей, – отложив на время поэзию, отправился в Крым, чтобы «изучить вопрос на месте», разобраться в тех практических проблемах, которые возникнут при переселении «компактных масс» на разоренную землю, внести свои деловые предложения.

Несколько лет спустя эта командировка, бесплодная, но невинная, продиктованная самыми возвышенными целями, на привычном языке Лубянки будет квалифицирована так: «Выполняя преступные указания руководства ЕАК, выезжал в Крым для сбора сведений об экономическом положении в области»[42]. Сведения эти, ясное дело, были нужны американской разведке: по неистребимой лубянской логике никаких иных мотивов, кроме шпионских, ни у одного советского гражданина, тем более «еврейской национальности», не было и быть не могло.

Я хорошо знал жену Льва Квитко – Берту Самойловну: в пятидесятые годы моя мать вела дело по реабилитации ее мужа. С его слов Берта рассказывала, какие ужасные впечатления вынес Квитко из своей крымской поездки: антисемитизм, с которым он там столкнулся, притом обкомовский и райкомовский, не укладывался в его голове. Больше всего его потрясли высказывания партийных князьков такого типа: «почему евреи так рвутся сюда, на курорты, – ведь Крым не их, а наша общая, всесоюзная здравница».

Бесполезно было доказывать невеждам и хамам, что еврейская община (караимы) существовала в Крыму с XIII века – в нескольких километрах от Бахчисарая, бывшей столицы Крымского ханства, то есть именно там, где жили татары: бок о бок с ними (аналогия с Палестиной поразительная!). Что со временем именно здесь караимы создали и пещерный город Чуфут-Кале («еврейская крепость») – в виде памятника истории и архитектуры он существует еще и сейчас. Что еврейская община в Крыму просуществовала до 1925 года – остатки были рассеяны среди населения северного Крыма, но нацисты находили евреев и в местах, заселенных вроде бы целиком татарами (например, в Джанкое). И что еврейские колхозы были организованы здесь не на пустых землях, а на местах бежавших от большевиков немецких и болгарских колонистов: никто другой восстанавливать разрушавшиеся хозяйства не захотел.

Квитко говорил жене, что «диалог с антисемитами исключался напрочь» в силу полной

бесперспективности, и что они, по его убеждению, чувствовали за спиной не только поддержку Москвы, но и прямое указание, которое им, несомненно, было дано.

«Он приехал из Крыма совершенно больной, – рассказывала Берта Самойловна, – и с чувством полной обреченности. Предстоящая катастрофа была для него очевидной, вопрос состоял только в том, как скоро она наступит».

Между тем ЕАК все еще пребывал в состоянии радужной эйфории. В том же состоянии находились и те, кто по советской терминологии именовался еврейской общественностью. Эта слепота тем более непонятна, что одновременно разыгрывалась другая драматичная история, которая была столь очевидной, что могла, казалось бы, остудить слишком горячие головы.

Еще в сорок втором – сорок третьем годах, когда поток информации о гитлеровском геноциде по отношению к советским и европейским евреям достиг своего апогея, родилась идея создать об этих зверствах «Черную книгу»: сборник соответствующих документов и свидетельских показаний. В равной мере эту идею активно проталкивали и в Москве, и в Нью-Йорке. Она не встретила возражений в кремлевских верхах, так что Михоэлс и Фефер, разумеется, с согласия Берии, спокойно могли ее обсуждать со своими собеседниками в США.

В начале 1944 года работа была в основном закончена, и рукопись отослана в Нью-Йорк: предполагалось, что оба издания – русское и два американских (на английском и на идиш), с предисловием Альберта Эйнштейна и с участием, в качестве авторов статей – Элеоноры Рузвельт, Томаса Манна, Лиона Фейхтвангера – выйдут одновременно. Книгу составляли Илья Эренбург и Василий Гроссман, в обработке материалов и литературной записи рассказов очевидцев принимали участие не только писатели-евреи: Павел Антокольский, Вера Инбер (Шпенцер), Вениамин Каверин (Зильбер), Маргарита Алигер, Владимир Лидин (Гомберг), Лев Озеров (Гольдберг), но и видные писатели русского происхождения: Андрей Платонов, Всеволод Иванов, Константин Симонов, Лидия Сейфуллина, Владимир Ильенков, Мария Шкапская и другие.

Подготовленные материалы направлялись в ЦК и в цензуру – из рукописи методично вычеркивались все упоминания о коллаборационизме русских, украинцев и белоруссов с оккупантами, об их участии в уничтожении евреев. Кремль панически боялся признать, сколь сильны были антисемитские настроения, умело разжигавшиеся гитлеровцами именно на антисоветской почве, и того, – прежде всего того, – что еврейство ассоциировалось с советской властью. И, конечно, Сталин никак не хотел выделять страдания только одного народа, тем самым как бы умаляя меру страданий других.

Однако американское издание, хотя и в покалеченном советской цензурой виде, все-таки вышло, «Черную книгу» приняли также к изданию в Париже, Бухаресте, Софии, но разрешение на русское издание в ЦК всячески затягивали, и трудно понять, почему это никак еаковцев не насторожило[43].

Тем временем почта ЕАК ежедневно пополнялась огромным количеством писем практически одного и того же содержания. Авторы писем рассказывали о том лютом антисемитизме, который стал неприкрыто заявлять о себе на всей территории Советского Союза, но прежде всего в тех областях, которые были освобождены Красной Армией от нацистских оккупантов. Начать с того, что евреям всячески чинились препятствия для их возвращения в покинутые ими места. Без так называемого персонального вызова, без включения в утверждавшийся партийными органами и органами госбезопасности список возвращающихся домой или – на худой конец, без специального разрешения местных властей реэвакуация в период с 1943 по 1946 год была совершенно невозможна, особенно в Москву, Ленинград и Киев.

Об этом очень подробно рассказано в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Но иным это все-таки удавалось. Прибывших ждал не просто ледяной – погромный прием. Им открытым текстом предлагали возвращаться в «свой Ташкент» – название этого города продолжало оставаться синонимом еврейского «дезертирства» – или в лучшем случае, «в свой Биробиджан» («своего» Тель-Авива тогда еще не было). Обращения к местному начальству не давали никакого положительного результата. Более того, часто партийные князьки встречали жалобщиков еще более злобным потоком брани, оскорблений и издевательств, чем бывшие соседи.

Писем, где об этом рассказывается с душераздирающими подробностями, немало в моем семейном архиве – их получала моя мать, к которой обращались за юридической помощью пострадавшие от советского антисемитизма из различных областей Украины, из входивших в Российскую Федерацию – Ростовской области и Краснодарского края. Самое поразительное состоит в том, что такие письма приходили и из Житомирской области, первым партийным секретарем которой беспримерно хитрый и предусмотрительный Сталин назначил еврея Моисея Спивака: кто теперь мог бы доказать сталинский антисемитизм?

Но, естественно, в ЕАК таких писем приходило в десятки, в сотни раз больше. Отвыкнув от антисемитских акций властей за двадцать лет, предшествовавших войне, а тем более ощутив себя жертвами фашистского геноцида в антифашистской войне, которую вел Советский Союз, эти люди не могли представить себе, что погромная инициатива идет откуда-то сверху. Им казалось, что все это проявления какого-то замаскированного фашистского «недобитка» или не разоблаченного вовремя, очередного «врага народа», о чем официально существующий Еврейский Антифашистский Комитет должен незамедлительно информировать высшие сферы и госбезопасность для принятия мер. И тот информировал – очень деликатно и осторожно, страшно боясь разгневать высокое начальство.

О «ненормальном положении, которое создалось для еврейских колхозов в Крыму и на Украине», сообщалось в письме члену политбюро и наркому земледелия Андрею Андрееву[44], о «ненормальных явлениях по отношению к евреям на местах» – в письме Лаврентию Берии[45]. О том, что же это такое – «ряд ненормальных явлений», – рассказывает, в частности, еще одно письмо, подписанное Михоэлсом и другими руководителями ЕАК и адресованное Молотову. Оно отправлено 28 октября 1944 года: «В наших предыдущих письмах к Вам (из этих слов можно понять, что переписка на данную тему была весьма обширной. – А. В.) мы указали на целый ряд недопустимых явлений при распределении дарственного имущества, получаемого «Красным Крестом» из-за границы. Еврейское население, за весьма редким исключением, совершенно игнорируется местными органами власти при распределении этого рода помощи. Даже евреи-партизаны Белоруссии, Украины и других республик ничего не получают. <...> Из многочисленных писем и заявлений, которые мы продолжаем получать из разных концов СССР, явствует, что игнорирование еврейского населения при распределении помощи из-за границы продолжается и оно принимает характер грубого нарушения советских принципов и издевательства над людьми, исключительно пострадавшими от фашизма»[46].

Молотов, надо отдать ему должное, отреагировал незамедлительно: поручил наркомату государственного контроля «тщательно и быстро проверить обоснованность настоящего заявления», не преминув добавить; «Заранее считаю нужным сказать, что Еврейский Антифашистский комитет создан не для этих дел и Комитет, видимо, не вполне правильно понимает свои задачи»[47].

По злой иронии судьбы наркомат государственного контроля возглавлял тогда один из немногих евреев, еще оставшихся на верхах: бывший сталинский секретарь Лев Мехлис, – садист и негодяй высшей пробы! На счету этого генерала (в годы войны он был еще и военачальником) десятки тысяч погибших советских солдат при бездарной эвакуации Керченского полуострова и проведении других фронтовых операций. «Нет ни одного свидетельства, – подтверждает его биограф Юрий Рубцов, – что Мехлис хотя бы

раз возвысил свой голос против преследования единокровников»[48]. Да и как бы он мог возвыситься, если всегда исходил из «принципа»: «Я не еврей, я коммунист»[49]. Разумеется, осуществлявшие «проверку» письма ЕАК сотрудники Мехлиса, хорошо знавшие и позицию своего наркома и, – что гораздо важнее, позицию Сталина и Молотова, признали все жалобы не соответствующими действительности[50]. Что и требовалось доказать...

Но в одном, если рассуждать здраво, Молотов все-таки был прав: ЕАК действительно создавали «не для этих дел». Его создавали для осуществления пропагандистской и иной, нужной Сталину в тот момент, работы. И ни для чего больше. Но, логика развивавшихся не по воле ЕАК событий, вынудила его заниматься «не своими» делами. А кто мог бы ими еще заниматься? Кто мог защитить в СССР евреев, вдруг подвергшихся гонениям и травле? Никакого другого органа, государственного или «общественного», призванного защищать еврейские национальные интересы, не существовало. Как должен был реагировать ЕАК – точнее, люди, работавшие в нем и широко известные своей литературной и общественной деятельностью, своим гуманизмом и честностью, – как должны были они реагировать на стоны, содержащиеся в тысячах писем, адресованных лично им, как членам ЕАК,?

Еврейский Антифашистский Комитет на глазах, явочным порядком, превращался в просто Еврейский комитет и, уже по одному этому, был обречен. Наступательная активность его руководителей, с демонстративной неадекватностью реагировавших на изменение обстановки, вызывала у Сталина все нарастающее возмущение, и это способствовало скорейшему приближению неизбежного конца.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ГАРФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 898. Л. 1.
2. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 59. Л. 29.
3. Чуев Ф. 140 бесед с Молотовым. С. 97.
4. Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 41.
5. Судебное дело ЕАК № 2354. Протокол судебного заседания. Т. 8. Л. 68-69. См. также: Литературная газета. 1989. 15 марта.
6. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. 1941-1948. М., 1996. С. 63-64.
7. Правда. 1943. 17 февраля.
8. Совершенно секретно. 1991. № 11. С. 22-23.
9. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 123. Л. 21-24
10. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 222.
11. См. «Ex Libris», приложение к «Независимой газете» (2000. № 38. С. 5).
12. Бергер Иосиф. Крушение поколения. Firenze, Edizioni Aurora, 1973. С. 223.
13. Орлова Л. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993. С. 191.
14. Ромм М. Устные рассказы. М., 1989. С. 167.
15. Там же. С. 77.
16. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 136. Л. 123-125.

17. Там же. Л. 121-122.
18. Судебное дело ЕАК. Протокол судебного заседания. Т. 7. Л. 16.
19. Источник. 1999. №2. С. 68.
20. Независимая газета. 1991. 12 февраля. Переложить на других свои пороки, свою вину, свои злодеяния – характерный сталинский почерк. На это обращали внимание многие зарубежные исследователи, в том числе психологи и психоаналитики. См.: Досье ЛГ. 1991. № 6. С. 14-15.
21. Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 224. В фонде М. И. Калинина (РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 294) хранятся «Материалы по обвинению в антисемитизме дирижера ГАБТ Голованова», относящиеся еще к концу двадцатых годов. Вопрос тогда трижды рассматривался на политбюро, – итогом было решение: «прекратить травлю Голованова». Подробнее см.: Государство и писатели. 1925-1938: Сборник документов. М., 1997. С. 77-78.
22. Известия ЦК КПСС. 1991. № 3. С. 134-157.
23. Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 223.
24. Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. М., 1994. С. 39.
25. Судоплатов Андрей. Тайная жизнь генерала Судоплатова. М., 1998. Т. 2. С. 296.
26. Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 223.
27. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. М., 1996. С. 197.
28. РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 2-5.
29. Диалог: Литературный альманах «Россия-Израиль». М., 1996. С. 332.
30. Совершенно секретно. 1992. № 4. С. 15.
31. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 792. Л. 9.
32. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 20. Л. 14,45 и мн. др. в том же деле; Д. 792. Л. 54, 56 и мн. др. в том же деле; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 211. Л. 25-27.
33. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Л. 87.
34. Об этом подробно, хотя и в очень тщательно отшлифованных выражениях, сообщал Фефер на судебном процессе 1952 года (показания на заседании 8 мая).
35. Iakovlev Alexandre. Ce que nous voulons faife de l'Union Sovietique. Paris. Ed. Seuil. 1991. P. 143.
36. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 246. Л. 169-172. Имеющееся в ГА РФ (Ф. 8114. Оп. 1. Д. 910. Л. 134) чуть более пространное письмо того же содержания на имя Сталина – с правкой и редактурой – является черновиком неотправленного послания. В архиве Сталина среди полученной его секретариатом корреспонденции такое письмо не значится.
37. Литературная газета. 1993. 7 июля.
38. Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 43.
39. Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 340.
40. Там же. С. 344. С присущим ему коварством Сталин через несколько лет «открестится» от своего участия в этой грандиозной афере и взвалит всю вину на Молотова. Леонид Николаевич Ефремов, ставший в октябре 1952 года членом ЦК (он был тогда первым секретарем Курского обкома партии), присутствовал на первом, после XIX съезда, пленуме и записал (судя по всему, весьма точно) речь вождя (в отличие от

того, что сделал потом по памяти Константин Симонов, не в изложении, а текстуально). «Для чего это (предложение о «передаче Крыма евреям») ему (Молотову) потребовалось? Как это можно допустить? На каком основании товарищ Молотов высказал такое предложение? У нас есть Еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. (Забыл, что никакая она не республика? О том, как вождь способствовал ее «развитию» в то время, речь впереди.) А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш (!) советский Крым». См.: Ефремов Л.Н. Дорогами борьбы и труда. Ставрополь, 1998. С.12.

41. Там же.

42. Неправедный суд. М., 1994. С. 43 и 379.

43. Драматичная история создания и запрета «Черной книги» отражена во многих документах. См.: ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 967. Л. 15-20; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 438. Л. 214-221.

44. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 792. Л. 150.

45. Там же. Л. 56.

46. Там же. Л. 62-63.

47. Там же. Л. 64.

48. Рубцов Юрий. Alter ego Сталина. М., 1999. С. 288.

49. Бажанов Борис. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М., 1990. С. 82.

50. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 792. Л. 65 67.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ЗАКЛАННИЕ

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ЗАКЛАННИЕ

Третий и последний митинг «еврейской общественности» прошел в Москве совсем незаметно. Он состоялся 2 апреля 1944 года и, в отличие от двух предыдущих, по радио не транслировался. В этом сказались не только кардинально изменившаяся политическая ситуация, о чем уже шла речь, но и острое недовольство тем, как прошел второй митинг. Больше всего Кремль и его подпевал беспокоили не банальные обличения фашизма, чем занимались все ораторы, а открытое возмущение поднимавшим голову антисемитизмом: в контексте с инвективами против немецких оккупантов это возмущение читалось как осуждение «своей» ксенофобии, не отличающейся от той, что принес с собой гитлеризм.

Печальный курьез состоял в том, что самые бранные слова в адрес ЕАК и его руководителей содержались в доносе, который направила в ЦК так называемая «Информационная служба» Коминтерна за подписью заведующего отделом печати его Исполкома – «Фридриха». Под этим конспиративным псевдонимом скрывался чешский коммунист Бедржих Геминдер, который вскоре станет членом ЦК КПЧ, а затем – по указанию из Москвы, – после комедии суда, будет повешен как воинствующий сионист и американский шпион. В своей записке, не предвидя, естественно, судьбы, которая его ожидает, он утверждал, что материалы второго митинга и последовавшего за ним пленума ЕАК «льют воду на мельницу фашистов», что члены ЕАК «отличились недопустимым зазнайством и кичливостью касательно роли евреев в Отечественной войне», а главное – на митинге и на пленуме ЕАК «были допущены грубые, политически вредные промахи». «Промах», как явствует из пространного доноса, состоял лишь в одном: «писатель тов. Эренбург призывал в своем выступлении бороться против антисемитизма»[1].

Вряд ли эта секретная «докладная записка» была доведена до сведения писателя тов. Эренбурга, иначе он не повторил бы на третьем митинге то же самое, что сказал на втором, только еще острее и еще категоричней: «В мусорной яме истории гитлеровцы подобрали антисемитизм. Они воскресили забытые предрассудки, осмеянные суеверия. Фашистов не переубеждают. Фашистов убивают. Советский народ выжжет фашистов. Но он не потерпит на своей земле и эрзац-фашизм (яснее не скажешь! – А. В.). Трупный яд опасен для всех народов. Предрассудки распространяются быстрее, нежели познания. Прививку нужно найти, изготовить, переслать, а микробы путешествуют без виз и без лицензий»[2]. Слишком прозрачные эвфемизмы эссеиста были понятны любому, поэтому они и увидели свет лишь в малотиражной, не привлекавшей к себе внимания, брошюре через год после того, как были произнесены, когда реальной опасности уже не представляли.

В свою очередь другие члены ЕАК ни о каком «эрзац-фашизме» не обмолвились ни словом. Напротив, они гнули совсем в другую сторону – туда, куда им было велено гнуть их кураторами и надзирателями. «Одной из существенных задач нашего комитета, – вещал перед своими слушателями Шахно Эпштейн, – является беспощадная (именно так! – А. В.) борьба (нет, не с антисемитизмом. – А. В.) против всяких нездоровых узконационалистических настроений. Нам надо разоблачать эти настроения и пресекать в корне всякое нытье и хныканье в нашей среде»[3]. Что касается антисемитизма, который Эпштейном ни разу не назван по имени (вместо этого слова он употреблял безликое, хотя и понятное аудитории, выражение: «пережитки мрачного прошлого»), то «отдельные проявления таких пережитков», предупредил он, ни в коем случае «не следует раздувать, обобщать и преувеличивать»[4].

По чьей подсказке вся эта чушь произносилась, кто давал указания и шлифовал формулировки – на

этот счет гадать не приходится. И нет оснований ни в чем упрекать несчастных еаковцев: их загоняли в угол, ставя жесткие и жестокие условия, при соблюдении которых только и мог какое-то время уцелеть комитет и его активисты. И тем не менее комитет продолжал еще действовать, уже смирившись с тем, что «крымский вариант» провален: Сталин повелел его сдать в архив, продолжая, однако, блефовать с американцами – надеялся еще что-то у них урвать.

Кремлевское иезуитство наглядно проявилось в том, что руками журналистов-евреев, сотрудничавших с комитетом и получавших от него (формально – от Совинформбюро) командировки для поездок по своей стране и за границу, ЦК и Лубянка стремились получить материалы о «взрыве» так называемого «еврейского национализма» и о той опасности, которую тот представляет. С этой целью ряд сотрудников был отправлен осенью 1944 года в оккупированные («освобожденные»; точнее, действительно освобожденные, без всяких кавычек, и тем самым автоматически оккупированные) Прибалтику, Румынию и Болгарию для получения «объективной» информации на этот счет. Их отправляли не затем, чтобы узнать, в какой помощи нуждаются уцелевшие от гитлеровского геноцида евреи, а чтобы сами еврейские посланцы возмутились наличием еще не искорененных национальных чувств. И, конечно, получили то, что хотели.

В Литву поехала Эмилия Теумин – журналистка, переводчица, деятельница международного коммунистического движения. Вернувшись, она покорно докладывала своим шефам: «Среди еврейского населения (какое там население – от бывшей еврейской общины Литвы остались жалкие крохи... – А. В.) очень сильны сионистские настроения. (...) Евреи чрезвычайно подозрительны и мнительны. Всюду им чудится антисемитизм и презрение, которых, конечно, со стороны советской администрации нет и в помине»[5]. От Эмилии не отставали верный сталинский лакей Яков Хавинсон (журналист, публиковавшийся под псевдонимом «Маринин», – это имя, как, впрочем, и имя Теумин, нам еще встретится), а также журналисты Оскар Курганов (Эстеркин) и Лев Огнев (Бронтман). Они с негодованием докладывали о том, что «Румыния и Болгария, особенно редакции издающихся в этих странах газет и журналов, засорены лицами сионистской направленности, которые могут причинить много вреда»[6].

Шла вполне очевидная подготовка к решительному повороту в сталинской национальной политике – повороту, уже ни от кого не скрываемому, напротив – афишируемому и даже подкрепленному аргументацией. Сигналом к этому послужил ставший едва ли не легендарным сталинский тост, который вождь победившей советской державы произнес 24 мая 1945 года на торжественном приеме в Кремле маршалов и генералов – «полководцев победы», как их тогда называли. Этот тост обрел статус классического произведения марксизма-ленинизма, подлежащего изучению во всех школах, во всех университетах, во всей сети партийного просвещения. По случаю его истинной судьбоносности, краткости и выразительности целесообразно привести этот тост не в пересказе, а полностью, ибо современный читатель, вне всякого сомнения, никогда не держал его перед глазами.

«Я хотел бы поднять этот тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

– У нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения, когда

наша армия отступала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому Правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!»[7]

В эйфории победы, которой только что завершилась страшнейшая из войн, пережитых человечеством, этот тост был сначала воспринят как неожиданное и трогательное по своей искренности сталинское признание того страха, который ему пришлось пережить: ведь он действительно боялся свержения – об этом убедительно говорит совокупность позднейших свидетельств, оставленных людьми, близко его наблюдавшими в первые, да и в последующие, недели войны. Сталин никогда раньше не говорил публично о своих ошибках, тем более о том, что их было немало, и такое признание, не свойственное непогрешимому, всегда правому – вождю – вызвало у «широких народных масс» новый взрыв симпатии и обожания. Во всяком случае, именно такую реакцию пробуждали и нагнетали полчища пропагандистов, брошенных на популяризацию очередной мудрости хозяина Кремля.

В тени этих восторгов остался гораздо более важный вопрос: с каких это пор марксизм-ленинизм стал делить народы (которые тут же, отметим это, спутаны с нациями) на «руководящие», «наиболее выдающиеся», а значит, раз есть «наиболее», то еще и просто выдающиеся и совсем не выдающиеся, заурядные? По существу, именно этот исторический тост и явился первым камнем, заложенным в здание национал-коммунизма, который десятилетия спустя, уже без всякой мимикрии, станут исповедовать профессиональные патриоты в эпоху русского посткоммунизма. Но тогда открытому провозглашению доктрины, повторяющей ведущий тезис гитлеровского национал-социализма, еще не пришло время.

Видимо испугавшись буквального воспроизведения нацистского тезиса о «руководящей и великой германской нации», изданные несколько дней спустя пропагандистские альбомы и буклеты внесли небольшую поправку в сталинский спич. Полный его текст уже не публиковался – издатели ограничились пересказом, сделав уточнение, которого в аутентичном тексте (он полностью приведен выше) вообще не было. Уточнение гласило: «Товарищ Сталин сказал также, что в СССР «впервые в истории человечества справедливо решен национальный вопрос»[8]. Но заковыченных слов, то есть якобы буквально произнесенных Сталиным, в полном тексте тоста нет. Они понадобились в качестве запоздалого «поправочного коэффициента» для отвержения упрека в великодержавном шовинизме.

Упрек этот вслух, естественно, никем не делался, но все основания для него имелись. Сталинский тост обозначал резкий переход к официальному великодержавию, к шовинистической политике, целиком отбросившей мимикрию «пролетарского интернационализма». Это было естественным продолжением геноцида, которому только что подверглись народы-«изменники»: изгнанные с родных земель до последнего ребенка крымские татары и балкарцы, чеченцы и ингуши, калмыки и карачаевцы, а еще раньше – немцы Поволжья. «Предателям», естественно, противостоял тот, кого они «предали» – русский народ.

По не только им: главным своим острием этот тост был направлен в ту сторону, которая по давней российской традиции никогда не называется прямо, но молчаливо и единодушно предполагается, как только высочайшие уста прибегают к нарочито патриотической терминологии. Все партийные и иные официальные инстанции разного уровня безошибочно расценили программную речь вождя как официальное указание ограничить продвижение евреев по службе и закрыть, если и не полностью, то в

значительной мере, доступ для них к высшему образованию.

Пожалуй, именно первое послевоенное лето следует считать началом официального, государственного – не афишируемого, но и не скрываемого – антисемитизма в СССР, который уже не прикрывался фиговым листком интернационалистических деклараций. Еще совсем недавно советская печать, пусть даже только в пропагандистских целях, яростно разоблачала зверства нацистов по отношению к евреям на оккупированных территориях. Теперь о такой «пропаганде» еврейского мученичества не могло быть и речи.

В архиве моей матери я нашел письмо от киевлянки Софьи Куперман от 22 февраля 1946 года. Обращаясь у ней как к адвокату за юридической помощью, она, в частности, пишет про свои мытарства – и хождения по различным канцеляриям, чтобы добиться исполнения уже вынесенного судебного решения о вселении в ранее принадлежавшую ей квартиру. Используя не только юридические, но и эмоциональные доводы, Софья Куперман ссылалась на то, что 11 членов ее семьи замучены нацистами во время оккупации. Первый секретарь райкома партии, на прием к которому она сумела пробиться (увы, в письме его имя не названо), сказал ей в ответ на это: «Кто вас снабжает вражеской дезинформацией? <...> Поищите ваших замученных родственников где-нибудь в Ташкенте. <...> Вы сами-то где прятались? Наверно, не в партизанских землянках. <...> Я передам ваше заявление в НКВД, там разберутся»

В материнском адвокатском архиве сохранились и разрозненные листки из ее досье по делу Абрама Ноевича Бройдо, фотографа, привлеченного в 1947 году к уголовной ответственности по статье 58-10 («контрреволюционная агитация и пропаганда»). Главный пункт обвинения состоял в том, что в витрине московского фотоателье, где он работал, в рекламных целях повесил сделанный им портрет боевого воина в полный рост и при всех орденах, снабдив его надписью: «Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Израиль Соломонович Бескин». На вопрос следователя, чем объяснить, что ни один другой из выставленных в витрине портретов не снабжен никакой пояснительной надписью, бедный Бройдо отвечал, что другие «не были столь знаменитыми» и что этим он «отдавал должное великой Красной Армии, спасшей мир от фашизма».

Этот ответ стоил ему дополнительного обвинения в «высокомерно-презрительном отношении к простым советским людям, якобы не заслуживающим никакого внимания». Московский городской суд, где при закрытых дверях слушалось это дело, признал Бройдо виновным в «злостной националистической пропаганде», в «посягательстве на сталинскую дружбу народов». Он был осужден на восемь лет лагерей и реабилитирован лишь в 1955 году. Прижизненно или посмертно – из имеющихся у меня материалов не видно.

Гордость за своих соплеменников, воинов-героев, позволялась всем, только не евреям. Их гордость считалась не гордостью, а посягательством на дружбу народов. Естественно, сталинскую: другой просто не могло быть.

...На пике празднования победы неожиданно умер один из главных идеологов Кремля Александр Щербаков, страдавший двумя, несовместимыми друг с другом, пороками: сердечной недостаточностью и запойным пьянством. Но он страдал еще и третьим пороком – лютым антисемитизмом, который считал излишним скрывать. О его устных указаниях по очищению культуры и журналистики от чрезмерного еврейского присутствия хорошо знали все, кто работал в этих сферах. Ответственный редактор фронтовой информации Всесоюзного радио Шая Крумин отказался выпускать в эфир материал о похоронах Щербакова, заявив, что это «антисемит, систематически извращавший указания товарища Сталина»[9], то есть человек, поступавший вопреки интернационализму вождя.

Какие же указания давал вождь, которого посмел извращать секретарь ЦК? В том же доносе, где сообщается о безумной выходке Шаи Крумина, дается ответ на этот вопрос – в интерпретации, разумеется,

его самого: «Товарищ Сталин указал, что евреев не следует назначать на руководящие должности в освобожденных от оккупации областях, чтобы не дискредитировать евреев и спасти их от народного гнева (замечательное свидетельство сталинской заботы! – А. В.), а Щербаков распространил это разумное указание на весь центральный аппарат и на должности в областях, которые не имеют отношения к бывшим оккупированным территориям»[10]. С той же мотивировкой отказались вести траурный репортаж из Колонного зала, где проходило прощание с усопшим, репортеры Лубович и Амнисович".

Какая судьба постигла эту безумную троицу, видимо, каждому ясно. Но ясно и то, что выступить в такой форме и с такой самоубийственной отвагой могли лишь люди, которые, с одной стороны, все еще оставались фанатиками коммунистического романтизма, а с другой – были потрясены уже не слухами, а проведением в жизнь новой сталинской политики. Гитлер своего добился: Сталин приступил к осуществлению его замысла, но не так грубо, не так воинственно и откровенно, без газовых печей, а с присущими ему методичностью, постепенностью и вероломством, психологически готовя население к идеологическим новациям.

В начале сентября все того же, 1945-го, года в Киеве произошел инцидент, произведший на сотрудников ЦК (читай: на Сталина) сильнейшее впечатление. Шедший по улице майор с четко выраженными семитскими чертами лица, увешанный множеством боевых орденов и ленточек, свидетельствующих о полученных ранениях, подвергся злобным оскорблениям от повстречавшихся ему двух офицеров – русских. Они набросились на него, требуя «от вонючего жида» снять ордена, которые тот, разумеется, «купил, отсиживаясь в Ташкенте», когда «русские солдаты на фронте проливали свою кровь». В отчаянии, защищаясь, майор выхватил револьвер и уложил на месте обоих. Их, демонстративно торжественные, похороны, в которых приняло участие много тысяч человек, спровоцировали еврейский погром. В городе было убито пять евреев, тридцать шесть человек получили тяжелые увечья, более ста – доставлены в больницы с ранами разной тяжести[12].

Группа киевских евреев, среди которых был награжденный самым почетным, солдатским орденом Славы Гирш Котляр, обратилась со слезным письмом к Сталину, Берии и главному редактору «Правды» Поспелову, взывала к справедливости и, конечно, напоминала о нерушимой ленинско-сталинской дружбе народов. Ответом было лишь осуждение за двойное убийство заслуженного фронтовика (он действовал в состоянии необходимой обороны и потому даже в соответствии со сталинскими законами не мог быть осужден), тогда как ни к одному погромщику, в том числе и к убийцам; никаких мер принято не было. Точнее – их даже не искали[11]. Из резолюции на письме – «Товарищу Сталину доложено. В архив» – можно сделать вывод, какое впечатление наверху оно произвело.

К тому времени уже и без того крайне малое число евреев в высших эшелонах власти сократилось еще больше. Кроме Лазаря Кагановича вблизи Сталина остался пока еще непотопляемый Лев Мехлис, невежда, наглец и самодур, о котором общавшиеся с ним по службе люди – все без исключения – не могли впоследствии сказать ни одного доброго слова. Сталин прекрасно знал про «деловые качества» своего холуя (напомню: в 1941-1942 годах из-за его бездарности и самонадеянности погибли десятки тысяч советских солдат под Керчью), но ничуть не хуже он знал, что тот предан ему как собака. Снятый на короткое время с обременявших его высоких постов, он вскоре снова будет назначен Сталиным министром государственного контроля СССР. Наряду с Кагановичем, Мехлис выполнял роль еврея, который своим присутствием в сталинской свите должен был опровергать любые «сплетни» о кремлевском антисемитизме. В правительстве остались пока (на очень короткий срок) еще три еврея: Борис Ванников (нарком боеприпасов), Бенцион Рыбак (нарком нефтяной промышленности) и Семен Гинзбург (нарком по строительству) – он был очень компетентным специалистом и поэтому сохранял свое положение дольше других. На значительно более скромных постах (заместители не союзных, а республиканских министров) сохранилось несколько человек (Наум Анцелович, Давид Райзер, Соломон Брегман, Иосиф Левин), а один

из руководителей партизанского движения в Белоруссии – Григорий Эйдинов до 1948 года оставался даже секретарем республиканского ЦК партии и вице-премьером правительства республики. Наконец, одним из отделов ЦК (организационно-инструкторским) заведовал Михаил Шамберг, не хватавший звезд с неба, унылый аппаратчик, личный приятель набиравшего вес и ценимого Сталиным – Георгия Маленкова, что и позволило ему какое-то время еще удержаться на плаву.

Все эти единичные примеры, будучи последними рудиментами прошлого, являлись не больше чем безмолвным опровержением потенциальных обвинений Сталина в антисемитизме. Ни один еврей более молодой генерации уже не имел ни малейших шансов оказаться на посту даже среднего и ниже среднего уровня. Сотни генералов еврейского происхождения были оттеснены на самые дальние позиции: большинство отправлено в отставку, другие отосланы в самые отдаленные округа без надежды на какое-либо повышение.

Об этом с горечью рассказывал впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Давид Драгунский, который сначала сам пал жертвой сталинского антисемитизма, а под конец жизни, когда ему вообще уже ничего не грозило, опозорил свои седины, согласившись – «по указанию партии» – возглавить комитет по борьбе с сионизмом[14].

В адвокатских досье моей матери, хранящихся в нашем семейном архиве, есть немало свидетельств о репрессиях, которым сразу после войны и несколько лет спустя подверглись евреи только за то, что они выражали недоумение по поводу новой сталинской национальной политики или даже перепечатавали, передавали из рук в руки, а то и просто читали вслух в какой-нибудь компании стихи советских поэтов (подлинные и апокрифические), где выражалось недоумение в связи с унижением, которым стали подвергаться евреи в «общественном мнении», в высказываниях и действиях должностных лиц.

Не знаю, обращались ли все они за защитой в Еврейский Антифашистский Комитет, но по логике только туда им и следовало обращаться. А куда же еще? Ведь в глазах людей, не погруженных в патологические выверты партийной бюрократии, комитет и был создан, чтобы бороться с фашизмом во всех его проявлениях, причем именно с той ипостасью фашизма, которая обращена против еврейского народа – это видно уже из его названия.

Именно убежденность многих людей, что только в этом комитете они найдут понимание и защиту, побуждало их взывать к Михоэлсу и его коллегам. А те, естественно, посылали соответствующие запросы, просили компетентных товарищей обратить внимание и принять меры к тем, кто проводит национальную дискриминацию, которая извращает основные принципы советской власти. Прежние увещевания, стало быть, на них не действовали. Появилась нужда уже не в увещеваниях, а в окриках.

Сталин никогда не произносил ни одной антисемитской речи, в его «литературном» – письменном, а не устном – багаже, доступном читателям, нет ни одного антисемитского высказывания. Абсолютно все, в том числе и новое, сталинское решение «еврейского вопроса», он делал чужими руками. Но любой, кто хоть сколько-нибудь знаком с реальной ситуацией, существовавшей при нем в Советском Союзе, хорошо знает: ни одно мало-мальски важное политическое действие не происходило в стране без его указания или хотя бы без его согласия: напрямую высказанного или просто молчаливого. На этот раз «еврейским вопросом», который был всегда в ведении только идеологических партийных структур, стала заниматься (не по своей же инициативе!) Лубянка.

Эта закулисная возня дошла каким-то образом до Михоэлса, следствием чего явилось его письмо еще сравнительно молодому (по тогдашним советским критериям: ему не исполнилось и сорока пяти) партаппаратчику с большой перспективой – в ближайшее время он займет место, оставленное умершим Щербаковым. Это был Михаил Суслов, сыгравший одну из самых злобных ролей в драме советского

еврейства. 21 июня 1946 года Михоэлс направил на его имя письмо, где терпеливо и убедительно изложил своему адресату историю создания ЕАК, доказывая полезность его деятельности с точки зрения кремлевских же интересов. Такое письмо не могло появиться случайно – что-то побудило Михоэлса пойти на этот шаг, что-то вынудило его избрать оборонительный тон, защищаться от вроде бы еще не выдвинутых обвинений, отвечать на никем вроде бы не поставленные, но существующие вопросы[15]. Сулов, как водится, на письмо не ответил – лишь принял к сведению. И поручил «разобраться» сотрудникам цековского отдела внешней политики. Он не мог не знать, что параллельно свою «проверку» ведет министерство государственной безопасности. Она завершилась письмом МГБ на имя ЦК партии и Совета Министров.

«Докладная записка» Лубянки была озаглавлена «О националистических проявлениях некоторых работников Еврейского антифашистского комитета» – этим уже было сказано все. Там говорилось, что «члены ЕАК, забывая о классовом подходе, осуществляют международные контакты с буржуазными деятелями и организациями на националистической основе, а рассказывая в буржуазных изданиях о жизни советских евреев, преувеличивают их вклад в достижения Советского Союза» – это следует расценить, с точки зрения авторов документа, как проявление национализма. В документе также подчеркивалось, что «Комитет явочным порядком развертывает свою деятельность внутри страны, присваивая себе функции главного уполномоченного по делам еврейского населения и посредника между ним и партийно-советскими органами». Вывод делался однозначный и беспощадный: деятельность комитета вышла за пределы его компетенции, она становится вредной, дальнейшее существование комитета нетерпимо – он подлежит ликвидации[16].

«Вредность» дальнейшего существования комитета, в глазах Кремля и Лубянки, несомненно, подкреплялась еще информацией, получаемой агентурным путем. Вряд ли «верха» могли остаться безучастными, например, к ставшим им известными таким высказываниям Ильи Эренбурга на рабочих заседаниях ЕАК: «Ради пропаганды против фашизма среди евреев за рубежом нечего было создавать Еврейский комитет, ибо евреи, в какой бы стране они ни жили, меньше всего нуждаются в антифашистской пропаганде. Главная задача Комитета должна заключаться в борьбе против антисемитизма у нас в стране»[17].

Скорее всего, именно это (потенциальная возможность легально существующей общественной структуры противостоять эскалирующему антисемитизму) и вызывало в верхах самое большое беспокойство, поскольку антисемитизм в кадровой политике практически уже стал официальным, а в сфере идеологической и культурной завоевал ведущие позиции. Только так можно объяснить пространное письмо Михаила Суслова от 19 ноября 1946 года, адресованное сразу четырем секретарям ЦК: Андрею Жданову, Алексею Кузнецову, Николаю Патоличеву и Георгию Попову, – беспощадно резкое по формулировкам и категоричное по выводам: «Деятельность Еврейского антифашистского комитета, как на заграницу, так и внутри СССР, приобретает все более сионистско-националистический характер и потому является политически вредной и нетерпимой. Вся деятельность ЕАК в настоящее время противоречит ленинско-сталинским взглядам на существо еврейского вопроса. (Автор, отнюдь не будучи апологетом Ленина, должен, однако, заметить, что взгляды вождя на «существо еврейского вопроса» были высказаны им самим более чем определенно: «Позор тем, кто сеет вражду к евреям»[18]. – А. В.)

В своей деятельности Еврейский антифашистский комитет исходит не из ленинско-сталинских идейных позиций, а из позиций буржуазного еврейского сионизма и бундизма. (...) Объективно ЕАК в советских условиях борется за реакционную идею единой еврейской нации»[19]. Письмо было послано Сталину и всем членам политбюро – с предложением признать «дальнейшее существование Еврейского антифашистского комитета в СССР нецелесообразным и политически вредным»[20].

Может показаться, что речь шла только о существовании ЕАК как легальной структуры, находившейся на государственном бюджете и полностью контролируемой спецслужбами. На самом деле возня вокруг комитета отражала судьбоносные повороты в кремлевской национальной политике, на которую влияло множество факторов, а не только выплеснувшиеся наружу и прогрессирующие эмоции кремлевского диктатора. Резкое обострение отношений с США, где евреи играли видную роль в государственной, общественной и экономической жизни, приближающееся провозглашение самостоятельного еврейского государства, о чем Сталин был, конечно, осведомлен из донесений разведки и по дипломатическим каналам, ничем не погашенный взрыв антиеврейских настроений, спровоцированный нацистами, – прежде всего в славянской среде (то есть в России, Украине и Белоруссии), – взрыв, с которым Сталин не мог не считаться и который он, пусть и негласно, поддержал, – все это определяло новый курс Кремля: наконец-то, хотя бы только в секретной партийной переписке, было признано существование «еврейского вопроса». Идеологические установки двадцатых – тридцатых годов наличие такого вопроса исключали – с победой «Великой Октябрьской социалистической революции» он считался уже решенным.

Однако совершенно четких указаний о судьбе комитета Сталин пока не давал, не теряя, видимо, надежды как-то еще использовать его в своих далеко идущих стратегических, внешнеполитических планах. А внутри партийного штаба явно еще не было единства по этому вопросу, что, при отсутствии ясных указаний от высшего лица, давало сторонникам разных позиций возможность маневрировать и предлагать альтернативные решения.

Именно этим, думается, можно объяснить рождение одного спасительного (увы, спасительного на весьма короткое время) документа, который 19 июля 1947 года подписали, адресуясь к секретарю ЦК Жданову, аппаратчики сравнительно не очень большого масштаба Л. Баранов и Л. Григорян – они были соответственно заместителями заведующих международного отдела и отдела агитации и пропаганды ЦК. Сам заголовок этого документа – «Об ошибках в работе ЕАК» – давал надежды на выживание: ошибки на то и ошибки, чтобы их исправлять; если комитет ликвидируется, то его ошибки уже никого не интересуют. Так прямо в письме и говорилось: работу ЕАК надо «коренным образом улучшить», дополнив его состав еще целым рядом «общественных деятелей, ученых, работников искусств, писателей, журналистов»[21]. В развитие этого предложения, но уже значительно позже (март 1948 года) был составлен список обновленного состава президиума ЕАК без Ицика Фефера, Льва Квитки и других активистов-ветеранов, зато с участием дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского, популярных композиторов Матвея Блантера и Исаака Дунаевского, балерины Майи Плисецкой, скрипача Давида Ойстраха и других, очень известных в стране, деятелей науки и культуры[22]. Самой большой загадкой было предложение об изгнании Фефера: ведь даже на стадии проекта персональный состав президиума ЕАК по тогдашним правилам не мог формироваться без согласия Лубянки, – стало быть, Фефер, – сиречь агент «Зорин», к тому времени чем-то ей не угодил[23].

«Еврейский вопрос» активно разрабатывался в верхах отнюдь не только в связи с существованием и деятельностью ЕАК – он решался глобально. Наглядным, то есть очевидным для всех, стало резкое сокращение «еврейского присутствия» на всех этажах власти. В 1946 году прошли задержавшиеся из-за войны «выборы» в Верховный Совет СССР. Слово это взято в кавычки, поскольку выбирать избирателям было не из кого: в списке кандидатов значилась только одна фамилия будущего депутата. Того, чья кандидатура была действительно избрана в ЦК и утверждена лично Сталиным. Теперь в одной из палат – Совете Союза – было семь евреев (вместо тридцати двух, чей мандат завершился), во второй палате (Совет Национальностей) пять вместо пятнадцати. Это были так называемые «почетные евреи» (например, генерал Исаак Зальцман и полярный летчик Марк Шевелев) или те, кому депутатский статус полагался по должности (министры, заместители министров), а также декоративный депутат – колхозница из-под

Биробиджана Шифра Кочина[24]. Позже их станет еще меньше – в пределах, видимо, установленной для них стабильной (неменявшейся) квоты: три в Совете Союза и три в Совете Национальностей.

Все это происходило в 1946 году. На поверхности никаких очевидных признаков государственного антисемитизма еще не было. Когда началась вторая, не афишируемая, в отличие от первой, волна террора (это также относится к 1946 году), под которую попали очень крупные деятели, в том числе нарком авиационной промышленности Шахурин и маршал авиации Новиков, евреев среди сталинских жертв не оказалось. Более того, заместитель Шахурина – Соломон Сандлер и директор крупнейшего авиационного завода в Саратове Израиль Левин по следственным материалам должны были оказаться также в числе подсудимых, но Сталин не разрешил их арестовать и даже сохранил за ними посты[25]. Не исключено, что все это было сделано сознательно. Слух о случившемся «чуде» немедленно распространился и в узких, и в широких кругах, на что Сталин, скорее всего, и рассчитывал: игра с американцами в «еврейскую тему» все еще продолжалась, и до поры до времени не было нужды их пугать.

Но пора и время стремительно приближались. Наступил 1947-й, а с ним и прекращение этой игры: Сталин сделал выбор. Началось массовое увольнение евреев, в том числе – очень знаменитых, прославившихся в годы войны. Первый удар пришелся по тем, кто, казалось, с рациональной, сугубо прагматической точки зрения, должен был продолжать свою работу, поскольку в годы войны доказал свою компетентность и профессионализм, и свою преданность режиму, за что и был обласкан самыми высшими почетными званиями и орденами. Полетели, притом все разом, директора крупнейших военных заводов и промышленных комплексов: генералы Давид Бидинский, Семен Невструев, Лев Гонор, Самуил Франкфурт, Абрам Быховский, Наум Носовский, заместитель наркома цветной металлургии Соломон Рагинский и еще многие и многие их коллеги – коллеги по профессии, по крови и по судьбе: исследователи считают, что жертвы этих гонений на больших верхах исчислялись сотнями, на средних – тысячами, а в «низах» их и вообще подсчитать невозможно[26].

Самое поразительное (для того времени, потом это уже перестало кого бы то ни было удивлять) состояло в том, что в приказах об их увольнении не содержалось вообще никакой мотивировки, а должность, которую занимали уволенные высокого и среднего ранга, исключала по советским законам возможность обращаться за защитой в суд. Впрочем, мысль о подобной защите ни одной жертве и в голову не могла прийти.

Пожалуй, самой драматичной (если, конечно, не учитывать тех, кто ни за что лишился жизни) была судьба Исаака Зальцмана – человека, чье имя в годы войны не сходило с газетных страниц. Иные даже называли его спасителем отечества, поскольку именно он в немыслимых для этого условиях обеспечил бесперебойное производство тяжелых и средних танков, без которых вести войну было просто невозможно. Бывший заместитель наркома, а потом и нарком танковой промышленности, директор крупнейшего уральского завода, депутат Верховного Совета СССР и Герой социалистического труда был вышвырнут за ненадобностью, как выжатый лимон, только за то, что не захотел лжесвидетельствовать против невинных людей, да еще и исключен из партии, то есть получил «волчий билет». Высочайший профессионал в генеральских погонах, с золотой звездой Героя на груди, не без труда сумел устроиться мастером на крохотном провинциальном заводе, откуда его тоже изгнали, потом трудился рядовым рабочим, скрывая свои прежние заслуги, а позже, и опять-таки с величайшим трудом, добившись возвращения в Ленинград, где жил и директорствовал до войны, нашел работу в небольшой строительной конторе, занимаясь ремонтом квартир. Директором механического завода он стал уже через многие годы после окончания войны, после развенчания Сталина и хрущевской «оттепели»[27].

Сталин не был бы Сталиным, если бы не прикрыл эту, ставшую достоянием множества людей, вакханалию увольнений и издевательств над заслуженными специалистами-евреями (многие из них, не

выдержав унижений и травли, внезапно уходили в мир иной от сердечных приступов, нередко у всех на глазах, во время так называемых собраний, представлявших публичное судилище) какой-нибудь ширмой: на такую «балансировку» он был величайшим мастером. В разгар начавшейся антисемитской кампании, когда интенсивно шла секретная служебная переписка о злокозненности ЕАК и готовился его роспуск, он награбил премией своего имени создателей искрометного, красочного, брызжущего народным юмором спектакля Еврейского театра «Фрейлехс»: на этот веселый и грустный мюзикл, который стал гвоздем театрального сезона, рвалась вся Москва.

Поток восторженных отзывов, исходивших от самых крупных представителей русского искусства, дошел до сталинских ушей, и он сделал этот, традиционный для его виртуозной хитрости, блистательный ход. Сталин отверг верноподданические поклоны на спектакль, которыми его снабдил, зная начавшуюся кампанию антисемитизма, Комитет по делам искусств, и подписал постановление о присуждении высшей государственной премии Соломону Михоэлсу, Вениамину Зускину, художнику Александру Тышлеру и другим участникам постановочного коллектива. То, что премия была совершенно заслуженной, ни у кого не вызывало сомнений. Но к искусству она не имела никакого отношения. Ее цель – служить аргументом против высказанных или невысказанных упреков в раздувании антисемитской истерии или хотя бы в потворствовании ей.

Своей цели Сталин добился. Хорошо помню, как мой дядя, крупный инженер и ученый-химик, сказал, прочитав сообщение о присуждении этой премии и разглядывая портреты лауреатов, опубликованные на первой странице «Правды»: «Все-таки слухи о государственном антисемитизме сильно преувеличены». Его не смутило даже то, что и он сам оказался среди жертв гонений, будучи уволенным – тоже без всякой мотивировки – с работы в крупном научно-исследовательском институте. Обвинить его не могу: страстно хотелось верить в то, во что уже верить было нельзя.

Таких наивников оказалось немало. Хватались за любой повод, чтобы убедить себя в ложности самых дурных предчувствий. Невозможно было смириться с мыслью, что великодержавный национализм стал, пока еще неофициальной, но уже реально действующей идеологией государственного аппарата, что, победив военного противника, Сталин воспринял его идеологию и начал проводить ее в жизнь, маскируя новый курс никем не отмененной марксистско-ленинской интернациональной риторикой.

Да и во всем мире люди демократических взглядов, сбитые с толку советской пропагандой, позволили вешать себе на уши лапшу и продолжали оставаться жертвами политической аберрации. Они по-прежнему воспринимали Сталина как государственного руководителя, сокрушившего нацизм, тогда как он, к тому же отнюдь не в одиночку, ценой невыносимых потерь, сокрушил лишь воюющую Германию, взяв у нее в наследство ту идеологию, которой втайне наверняка сочувствовал и которую полчища советских партайгеноссен Геббельса и Розенберга внедрились на российскую почву. Взял потому, что один лишь он знал, насколько эта идеология близка ему по своему духу. И еще потому, что не сомневался: совсем не у малой части его раболепного населения именно эта идеология, будучи воплощенной в конкретные дела, найдет благожелательный отклик.

Лаврентий Берия уже не руководил зловещим лубянским ведомством. В 1946 году он был брошен на реализацию ядерного проекта, притом любой ценой и как можно скорее, что вынуждало его плодотворно сотрудничать с большой группой ученых еврейского происхождения, среди которых был и профессор Яков Терлецкий, видный специалист-ядерщик и одновременно штатный сотрудник Лубянки (он сыграл большую роль в краже американских атомных секретов)[28]. Идеологическая обработка американских евреев и выколачивание из них финансовой помощи более не входило в компетенцию Берии. В сталинские времена каждый, даже члены политбюро, обязан был заниматься своим делом и ни в коем случае не лезть в чужую

«епархию». Берия, как и все остальные, строго соблюдал эти правила, не смея навлечь на себя сталинский гнев.

Место шефа Лубянки занял новый сталинский любимец – Виктор Абакумов, 38-летний генерал-полковник, завоевавший себе кошмарную славу в качестве начальника главного управления военной контрразведки (вошло в разговорную речь под названием СМЕРШ). Иные из его апологетических биографов, вероятно не без оснований, считают, что он и его подчиненные успешно разоблачали германскую агентуру, засылавшуюся в советский тыл. Теперь ему пришлось решать другие задачи. По крайней мере одна из них – «выкорчевывание еврейского буржуазного национализма» – явно пришлась ему по душе. Сталин уже склонялся к принятию радикальных решений – особенно после того, как 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание на землях Палестины (подмандатная территория Великобритании с 1920 года) еврейского национального государства.

Никаких симпатий к будущему государству Сталин, разумеется, не испытывал. Но практические выводы сделал. Блефовать и дальше по поводу создания какой-то еврейской государственности в пределах Советского Союза становилось уже абсурдным. Но держатель палестинского «мандата» – Британская империя, – теряя свои позиции, поддерживала только арабов, и уже по одному этому Москва горячо приветствовала обретение евреями своей исторической родины.

Сенсационную речь в ООН в поддержку еврейского государства произнес Андрей Громыко. Выдержанная в самых патетических выражениях, она имела целью доказать историческое право евреев на свое государство. Вышинский, с согласия Молотова, написал и опубликовал под псевдонимом статью, в которой он подчеркивал необходимость создания еврейского государства на подмандатной британской территории[29].

Иные из деятелей ЕАК приняли, кажется, эти «приветствия» и «восторги» за чистую монету. Они тоже, не хуже, чем Сталин, знали о том, что едва ли не большинство первых руководителей будущего государства – выходцы из России. И Кремль, и ЕАК возлагали на это определенные надежды – естественно, каждый с разным знаком. Затевалась сложнейшая политическая интрига, где неспособные разобраться в кремлевских игрищах, одержимые идеями, которые вскоре обзовут «националистическими», активисты гибнущего комитета становились жертвами, обреченными на заклятие.

К этому времени в секретариатах Сталина, Маленкова, Жданова и Суслова скопилось множество докладных записок с грифом «совершенно секретно»: все они были одного содержания, в них сообщались «дополнительные факты» о националистической, враждебной, шпионской деятельности Еврейского Антифашистского Комитета[30]. Нет никакого сомнения: такой поток целенаправленной, лживой «информации» не мог идти в столь высокие верха, если бы фальсификаторы не знали, что именно такие материалы от них ждут.

Долго зревший нарыв должен был наконец разорваться.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 158. Т. 22.
2. Еврейский народ в борьбе против фашизма. М., 1945. С. 40.
3. Там же. С. 71.
4. Там же. С. 70.

5. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 247. Л. 96.
6. Там же. Л. 138.
7. Правда. 1945. 25 мая.
8. За великий русский народ! М., 1945. С. 3
9. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 6. Д. 310. Л. 18.
10. Там же.
11. Там же. Л. 19.
12. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 6. Д. 310. Л. 53-59.
13. Там же. Л. 49-52.
14. Независимая газета. 1992. 20 ноября.
15. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 76. Л. 3-5.
16. Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 34-35.
17. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. 1996. С. 327.
18. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 38. С. 120.
19. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 868. Л. 127.
20. Там же. Л. 127-оборот.
21. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 1058. Л. 132-135.
22. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 1714. Л. 3.
23. Там же.
24. М и н и н б е р г Л. Л. Советские евреи... М, 1995. С. 414.
25. Там же. С. 415.
26. Там же.
27. Там же. С. 418-419.
28. Исторический архив. 1994. № 6. С. 112-114.
29. См.: Бирман Джон. Праведник. М., 2001 С.273
30. РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 128. Д.868. Л. 107-115. См также докладную записку Абакумова на имя Сталина, Молотова и других – копия хранится в Центральном архиве Федеральной службы безопасности, воспроизведена в книге «Еврейский Антифашистский Комитет в СССР» (М., 1996. С 359-371).

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

Решение, к принятию которого Сталин уже был близок, не имело еще четкой формулировки и не облеклось в какую-то конкретную форму. Но оно, несомненно, делало ставку на «антисемитизм, который был не случайностью, а рассчитанным ходом с далеко идущими последствиями как во внутренней, так и во внешней политике Советского Союза»[1]. Этот вывод, к которому пришел видный специалист по новейшей российской истории Владимир Наумов, представляется абсолютно бесспорным. Для Лубянки было важно уловить направление ветра, который дул из Кремля, и в соответствии с этим, подчиняясь его движению, разработать надлежащий сценарий.

Ветер дул в ту самую сторону, которая была по душе лубянскому шефу Абакумову, хотя, разумеется, этот исполнительный, толковый и безжалостно жестокий служака подчинился бы любому направлению. Но тут – кремлевский заказ и движение души находились в полной гармонии. Естественно, в силу своей специфики Лубянка не могла ограничиться лишь подачей сигналов об идейной опасности «еврейского национализма». Она должна была его трансформировать в нечто конкретное – по свойственной ей модели – и представить как шпионаж, несущий угрозу безопасности страны.

В центре спешно разработанного сценария оказались два американских журналиста еврейского происхождения – Пейсах Новик и Бенцион Гольдберг. В США они относились к «крайним левым» и подозревались – скорее всего, не без оснований – в связях с советскими секретными службами. Новик был ветераном рабочего движения в США, с 1921 года состоял в компартии, располагаясь на самом просоветском ее крыле, редактировал газету американских коммунистов-евреев «Морнинг Фрайхайд», где всегда печатались статьи, восторженно отзывавшиеся о «сталинской национальной политике», а Гольдберг как раз и был автором большинства этих статей. Возвратившись из поездки по Советскому Союзу, он опубликовал репортажи не только в «Морнинг Фрайхайд», но и в других американских газетах левого направления, где использовал полученные им в Москве пропагандистские фальшивки для восхваления Сталина, советской «дружбы народов» и вообще всего того, что было принято называть «советским образом жизни».

Эти материалы были переданы ему через ЕАК после того, как прошли военную цензуру и получили одобрение множества должностных лиц и инстанций. Однако теперь (таким был осуществленный замысел Лубянки) их следовало признать содержащими шпионские сведения и ответственность за разглашение государственных тайн возложить не на всех проверявших и одобрявших, а только на руководителей и сотрудников ЕАК. И Гольдберг, и Новик входили в руководство Американского комитета еврейских писателей, художников и ученых – главного партнера ЕАК в годы войны, по приглашению которого Михоэлс и Фефер совершили поездку по США, и благодаря которому собрали огромные деньги в поддержку Красной Армии.

Парадокс состоял в том – подчеркнем это снова, – что американская контрразведка (отнюдь, как сказано, не без оснований) подозревала Новика и Гольдберга в «деловом» контакте с Лубянкой, а последняя – без всяких оснований, без каких-либо оговорок и, конечно, без малейших доказательств – представила их Кремлю в качестве несомненных агентов ЦРУ. Да по правде сказать, иного выхода, чтобы выполнить заказ Кремля, у Лубянки попросту не было, ибо никаких других американцев, посещавших Советский Союз и имевших контакт с деятелями ЕАК, не существовало вообще. Поэтому Абакумову не

оставалось ничего другого, кроме как объявить шпионами тех, кто действительно встречался с Михоэлсом и другими сотрудниками ЕАК непременно в Москве: по лубянскому сценарию американские эмиссары не должны были ограничиться тем, что им пересылают через официальные каналы, а сами сюда приезжать за шпионскими материалами.

Еще раньше, и совсем по другому поводу, велось расследование (на языке спецслужб это называлось «разработкой») другого «шпионского» сюжета. Он касался ближайших родственников Сталина по линии его покойной жены: в центре внимания «органов» оказалась вся семья Аллилуевых, к которой Сталин давно питал глубокую неприязнь. Еще в 1938 году был казнен муж одной из сестер Надежды Аллилуевой (жены Сталина), отличавшийся исключительной жестокостью – чекист Станислав Реденс (поляк). Казнен вовсе не за свою жестокость, а за то, что, – по убеждению Сталина, собирался его убить[2]. Тогда же при загадочных обстоятельствах внезапно умер брат Надежды – Павел Аллилуев. Он был командармом (звание, равное введенному позже званию генерал-полковника), близким к военной разведке (работал в Берлине), состоял в тесной дружбе с советским резидентом, впоследствии перебежчиком, Александром Орловым (Фельдбиным).

Есть основания считать, что Павел был отравлен ядом, заложенным в папиросу[3].

Теперь наступил черед его жены Евгении, ее нового мужа Николая Молочника (еврея), ее дочери Киры (артистки Малого театра), и, наконец, последней из оставшихся еще на свободе членов семьи Аллилуевых (кроме стариков – матери и отца – и психически больного брата Федора) – младшей сестры Надежды – Анны, члена Союза советских писателей[4]. К ним пристегнули еще друзей семьи – театроведа Лидию Шатуновскую и ее мужа, опять же еврея, профессора физики Льва Тумермана[5].

За всеми перипетиями этого дела внимательно следил Сталин: его убедили в том, что члены семьи Аллилуевых не только в общении друг с другом, но и встречаясь с «посторонними лицами», клеветают на Сталина. Ясно, что речь шла о загадке гибели его жены, к каковой сам вождь имел самое прямое отношение, даже если он лично и не нажал на курок пистолета. Эта смерть, обросшая достоверными и сомнительными слухами, которые были ему хорошо известны, резко обострила и без того присущую ему мнительность. Страдавший стремительно прогрессирующей манией преследования, он превратил эту манию в главный мотор своей карательной политики.

Хорошо обо всем осведомленный Абакумов точно рассчитал свои ходы. В его мудрую голову пришла дерзкая и вместе с тем простейшая мысль: соединить обе «разработки» – семьи Аллилуевых и ЕАК – в одну. Создать мощное дело – с множеством ответвлений... На этот счет у Лубянки имелся огромный опыт по формированию «контрреволюционных террористических групп». А тут связь никак вроде бы не пересекающихся линий напрашивалась сама собой. Дело в том, что Шатуновская, бывшая ученица Мейерхольда, активно выступавшая в прессе как критик и журналист, находилась в близком знакомстве с Михоэлсом и помогала ему в работе над статьями (театральными и публицистическими), которые тот писал. Для Лубянки не было ничего проще, чем провести цепочку от Аллилуевых к Шатуновской, от нее к Михоэлсу и всему ЕАК, а от них и к американской разведке. Тем более что с Аллилуевыми еще дружили и жили с ними в ближайшем соседстве жена начальника Тыла вооруженных сил СССР Андрея Хрулева – Эсфирь Горелик и сотрудник этого министерства, специалист по радиолокации, генерал Григорий Угер. Таким образом, семья Аллилуевых оказалась в плотном еврейском окружении, и, по лубянской логике, этого было вполне достаточно, чтобы шпионы – Михоэлс и другие еаковцы, – воспользовавшись такими связями, вытягивали из своих осведомленных знакомых важнейшие государственные тайны. Самой важной из важнейших, как напрямую сказано в следственных документах, была тайна «личной жизни Главы Советского правительства», которой «интересовались американские евреи»[6]. При этом, как сказано там же, не названных по именам американских евреев интересовала не только личная жизнь

«главы» в прошлом, но и в настоящем – тоже. Речь, видимо, шла о широко распространявшейся немцами во время войны версии, будто бы Сталин то ли женился, то ли сошелся с некоей сестрой Лазаря Кагановича.

Независимо от достоверности версии, мысль о том, что кто-то осмеливается вторгаться в интимную сферу божества и перемывает его косточки, сидело занозой в сталинском мозгу. Лубянка старалась максимально использовать этот «пунктик» вождя. Еще за несколько лет до описываемых событий кинодраматурга Алексея Каплера – первую любовь дочери вождя, юной Светланы Аллилуевой, обвиняли в том, что по заданию английской разведки, естественно связанной с «сионистскими кругами», он пытался приблизиться к «главной» советской семье, чтобы раскрыть какие-то секреты вождя народов и продать их врагу...[7]

События стремительно развертывались в течение всего декабря 1947 года. 16 декабря, сломленная пытками и издевательствами, в которых отличился один из самых жестоких лубянских садистов и зоологический антисемит, – следователь по важнейшим делам Владимир Комаров, трудившийся в содружестве со своим коллегой Георгием Сорокиным, молодая Кира Аллилуева подписала протокол допроса, в котором утверждалось, что близкий знакомый семьи, старший научный сотрудник Института экономики Академии наук СССР Исаак Гольдштейн в беседах с ней высказывал «клеветнические измышления на советскую действительность». Он был тут же арестован и подвергся чудовищным пыткам[8], которые стоически выдерживал несколько дней, но затем, как он сам впоследствии признавался, впав в апатию и отчаяние, подписал все, что у него вымогали[9].

Теперь истязателям не хватало последнего звена: прямой или, во всяком случае, более короткой связи между Гольдштейном и Михоэлсом, поскольку в сочиненных чекистами многоступенчатых контактах, протянувшихся через всех Аллилуевых, потом еще – через их знакомых и соседей, Сталин мог бы и не разобраться. Для этой цели пригодилось одно близкое знакомство Гольдштейна с литературоведом, сотрудником научно-исследовательского института мировой литературы Захаром (Зорахом) Гринбергом, старым большевиком, некогда работавшим с Зиновьевым в его правительстве Союза Северных коммун (1918-1920 годы; Гринберг был в нем заместителем комиссара по просвещению). Как он выжил в эпоху Большого Террора, никто не знает, но вот теперь настал и его черед.

Гринберг тесно сотрудничал с ЕАК, составляя по его поручению обзоры выходящих в Советском Союзе книг еврейских писателей, а также книг, в которых рассказывалось о жизни советских евреев. Какое-то время он даже был работником аппарата президиума ЕАК. Естественно, он нередко встречался с председателем ЕАК, так что, – по версии Лубянки, – Гольдштейну, который набирался от Аллилуевых клеветнических сведений о Сталине и его личной жизни, сподручнее всего было передавать их Михоэлсу через Гринберга.

Копаться сегодня во всех деталях фальсификаций, созданных безумным воображением лубянских садистов, не имеет ни малейшего смысла. Но в данном случае эти детали, увы, чрезвычайно важны, ибо именно они привели Сталина к окончательному решению судьбы Михоэлса, каковое и было исполнено незамедлительно. По чистой, но трагической случайности именно в это время в американской печати действительно появились статьи, воспроизводившие очередные слухи о сталинских любовных утехх, почти наверняка не имевшие никакой реальной основы. Об этом Сталину было тоже тотчас доложено – с комментарием: вероятным источником информации послужил Михоэлс (чем еще мог заниматься великий режиссер, актер и общественный деятель, если не сбором постельных слухов?!), использовавший свои обширные связи и в советских, и в американских кругах. Какие чувства вызвала у Сталина эта информация, нетрудно представить. Михоэлс должен был быть уничтожен еще и для того, чтобы он унес в могилу свои разговоры с Берией накануне поездки в США, и вообще все то, что он сделал для успешного проведения

атомного шпионажа.

Придется напомнить еще раз: все, о чем рассказано выше, происходило во второй и третьей декадах декабря 1947 года, когда еврейская тема несомненно вышла на первый план в раздумьях кавказского горца. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании на землях Палестины (подмандатная территория Англии с 1920 года) государства Израиль. Стратегия, родившаяся в сталинской голове после этого решения, исключала присутствие в стране признанного духовного лидера еврейского национального движения, символизировавшего национальное самосознание и культуру, пользовавшегося огромным авторитетом во всем мире. Казалось бы, никакой государственной фигурой он не был, на политику никак не влиял, но его личность, а значит и мнение, а значит и позиция, а значит и слово – все это весило очень много. Он был лишним! Есть люди, непригодные для суда. Ни тайного, ни явного. И даже для расправы в тюремных подвалах. Лучше – помочь им уйти...

Тогда-то Сталин и отдал роковой приказ. Это состоялось, повидимому, не раньше 20 декабря, но и вряд ли намного позже. Впоследствии один из руководящих деятелей Лубянки – генерал Евгений Питовранов утверждал, что «решение об убийстве Михоэлса принималось Сталиным 11-12 января 1948 года», то есть чуть ли не непосредственно перед тем, как его осуществить. То же самое, со ссылкой на показания арестованного В. Абакумова, утверждает Г. Костырченко[10].

Лубянские бонзы называли те даты, когда ими было получено прямое указание исполнить сталинский приговор. Почему профессиональный историк, располагающий куда большей информацией, к тому же опубликованной и, стало быть, всем доступной, – почему он, не подвергая их никакому сомнению, берет на веру показания кагэбистов, я понять не могу. Последующее изложение покажет, что версия Питовранова – Абакумова не выдерживает никакой критики: операция требовала тщательной подготовки.

Детальная хронология событий, с приложением аутентичных документов, содержится в книгах двух непосредственных очевидцев (Н. Вовси-Михоэлс «Мой отец Соломон Михоэлс» и Э. Маркиш «Столь долгое возвращение»), которые по другим поводам Г. Костырченко неоднократно цитирует и, стало быть, досконально знает. В данном же случае их свидетельства проигнорированы – лживые рапорты Абакумова и его челяди предпочтительнее, потому что содержатся в архивах...

Механикой уничтожения Михоэлса Сталин не интересовался, в такие подробности он не вникал, полагаясь на поднаторевших в этом ремесле лубянских умельцев. Ему достаточно было произнести одно слово: «ликвидировать». Все остальное было делом искусных исполнителей[11]

На Лубянке решили провести операцию вне Москвы. С точки зрения убийц, осуществить это в Москве было трудно и рискованно. Сталин явно возжелал потайного убийства, заgrimированного под несчастный случай. В Москве Михоэлс крайне редко оставался один, он всегда был на людях или с кем-то из тех, кто его сопровождал. Любое появление непредвиденных, непривычных людей или событий могло вызвать у него подозрения и сорвать операцию. А сорвать – значит не выполнить личное указание Сталина. К тому же, – посвящать в замысел кого бы то ни было, кроме самого узкого круга лиц, было совершенно исключено.

Обстоятельства, однако, складывались для убийц вполне благоприятно. Среди множества общественных должностей Михоэлса была и такая: член Комитета по Сталинским премиям в области искусства и литературы при Совете министров СССР и председатель его театральной секции. В задачу секции входил отбор и просмотр выдвинутых на соискание премии спектаклей, а затем представление имеющихся отзывов на пленарном заседании комитета. По установившемуся порядку каждый член секции вместе с экспертом-консультантом должен был лично просмотреть хотя бы один спектакль, попавший в финальную номинацию.

На этот раз, наряду со спектаклями московских театров, в шорт-лист попали и спектакли двух не московских: ленинградского и минского. Председатель секции обычно смотрел только московские, но главе всего комитета – сталинскому любимцу и генеральному секретарю Союза писателей Александру Фадееву – какой-то компетентный товарищ, видимо, подсказал, что товарищ Сталин придает большое значение завершающей стадии отбора и целиком полагается на суждение такого авторитета, каким является товарищ Михоэлс. Нет ни малейшего сомнения в том, что Фадеев не был посвящен в потайной заговор и воспринял рекомендацию как нечто вполне естественное, как свидетельство высокой требовательности самого Сталина к уровню произведений, отмечаемых премией его имени, и еще как акт личного доверия к великому артисту и режиссеру.

Михоэлс был человеком редкой исполнительности и дисциплинированности. К тому же – вакханалия вокруг ЕАК, зыбкость его положения, интриги, которые не могли оставаться для него незаметными, – все это лишало его возможности отказаться от возложенного на него якобы «Самим» поручения. Он склонялся к тому, чтобы поехать в Ленинград. Это же ему посоветовал и близкий друг – художник Еврейского театра Александр Тышлер. Но ленинградский вариант – это можно утверждать на основании совокупности имеющихся свидетельств и документов – устраивал Лубянку меньше, чем минский: круг друзей и знакомых Михоэлса был там ничуть не уже, чем в Москве.

Предполагалось сначала, что вместе с Михоэлсом в качестве «эксперта» поедет театральный критик Юрий Головащенко, но вдруг его поменяли на Владимира Голубова (тоже еврея), писавшего под псевдонимом «В. Потапов». Он работал ответственным секретарем журнала «Театр». Его перу принадлежит одна из самых восторженных рецензий на спектакль «Фрейлехс», для которого – он поистине не жалел эпитетов: «блистательный», «сверкающий», «мудрый»... Именно Голубов неожиданно стал настаивать на поездке в Минск.

Решение об этой поездке было принято комитетом 22 декабря 1947 года, но, вопреки многолетней традиции, в нем не содержится никаких данных о том, кто же в Минск должен поехать. Стало быть, персональный вопрос еще не был решен. Возможно, Сталин продолжал колебаться. Но скорее всего «колебания» были у тех, кто должен был осуществить его поручение: отработывался механизм «операции» и состав участников так что доложить Сталину о полной готовности они пока не могли. Поэтому Комитет по Сталинским премиям, а точнее тот, кто занимался выдачей командировок, – помощник председателя, он же ответственный секретарь, – не получил пока надлежащих инструкций.

Шли последние дни сорок седьмого года. Новый, сорок восьмой, Михоэлс с женой встречали у заведующего музыкальным отделом Всесоюзного радикомитета Моисея Гринберга. Сохранились воспоминания об этом вечере, но в них нет и намека на то, что Михоэлс обмолвился хотя бы словом про предстоящую ему поездку в Минск. Секрета в этом не было и быть не могло – значит, в точности он о ней еще не знал. Это косвенно подтверждается и сохранившимся командировочным удостоверением: на машинке отпечатаны город, куда предстоит отправиться члену комитета (Минск), и дата постановления (то есть приказа по комитету) об этой командировке (22 декабря). Фамилия же Михоэлса вписана от руки, и конечный срок командировки (10 января) исправлен тоже от руки: 20 января. Дата выдачи командировочного удостоверения: 2 января 1948 года.

Таким образом, хронология событий выстраивается следующим образом: окончательное решение было принято Сталиным в последних числах декабря; 2 января Михоэлсу было объявлено, что высокая миссия «принимать белорусский спектакль» поручена ему; поскольку выехать сразу он не мог, а исполнители «операции» должны были иметь резервное время на случай непредвиденных обстоятельств, срок командировки был продлен. Командировочное удостоверение подписал помощник Фадеева – Игорь Нежный, который совмещал эту работу с обязанностью директора-распорядителя Художественного театра:

оба здания – и театра, и комитета – находились по соседству.

Игорь Нежный будет арестован через несколько часов после того, как Сталин испустит последний вздох. Одновременно арестуют и множество людей, заранее занесенных в список подлежащих аресту на «день Икс», к трагедии, о которой мы повествуем, никакого отношения не имевших. Про большинство из них уже давно известно, что это были секретные сотрудники Лубянки для особых поручений. В принадлежности Игоря Нежного к той же категории мало кто сомневался, но не было несомненных данных, которые позволили бы это категорически утверждать. Недавно Нежный был дешифрован, и сведения о его принадлежности к сексотам появились в печати: он тайно служил Лубянке с 1937 года под псевдонимом «Чайковский».

Разумеется, несмотря на этот его высокий потайной статус, ни сам Нежный, ни его шеф Александр Фадеев не могли знать ничего о подробностях готовившейся операции. Задание отправить в Минск именно Михоэлса имело вполне пристойное и не вызывающее никаких подозрений обоснование: именно белорусскому спектаклю придается столь большое политическое значение, что дать ему объективную оценку может только такой безусловный авторитет, как сам руководитель театральной секции комитета. Против этого аргумента возразить бы не смог никто...

«Выехать сразу Михоэлс не мог», – написано выше. Это и так, и не так. Он действительно был обременен множеством обязанностей, к тому же только что, поранив руку, попросил ему сделать противостолбнячный укол, после которого всегда известное время лихорадит и вообще организм ощущает некоторый дискомфорт. Но, человек долга, он и в этом случае, преодолев недомогание и отложив прочие дела, тут же выехал бы в Минск – достаточно было ему сказать: «выезжайте срочно». Однако «тормознул» не он, а те товарищи, которые поручили Нежному задержать Михоэлса «по техническим причинам».

Дело в том, что произошел непредвиденный сбой. Вместе с Михоэлсом вдруг вызвались поехать в Минск Перец Маркиш и его жена Эстер. В Минске жил их друг – Герой Советского Союза, генерал-полковник Сергей Трофименко, командовавший тогда Белорусским военным округом. Маркиши познакомились с семьей генерала в эвакуации, в Ташкенте, потом с ними познакомился и Михоэлс, дружеская связь оказалась прочной. Воспользовавшись поездкой Михоэлса, Маркиши хотели вместе с ним побывать в этом гостеприимном кругу[12].

Такой эскорт, однако, совсем не входил в планы организаторов операции. Эстер Маркиш, вдова поэта, пишет в своих воспоминаниях: «Буквально за несколько часов до отъезда Маркиш вынужден был отказаться от поездки: необходимо было вычитать корректуру книги». Вряд ли есть сомнения в том, что корректуру, вычитать которую надо было почему-то с молниеносной быстротой (ведь поездка к минским друзьям могла занять всего два-три дня), Маркишу просто подсунули. Ицику Феферу (то есть сексоту «Зорину»), при его руководящем положении в ЕАК, ничего не стоило это сделать, поскольку книга выходила в издательстве «Дер Эмес». подчиненном ЕАК. Тайное убийство Маркиша тогда не планировалось – всему свое время, – а присутствие осторожного и наблюдательного свидетеля могло бы сорвать всю операцию.

Сопровождавшего Михоэлса – Владимира Голубова – формально отправляли для того, чтобы тот подготовил рецензии на спектакль для своего журнала и для газеты «Советское искусство». Но, конечно, выбор Голубова определялся не этим. Он тоже был секретным сотрудником-осведомителем Лубянки и, таким образом, мог следить за каждым шагом Михоэлса, более того – исполняя получаемые указания, корректировать эти шаги, тем более что сам был родом из Минска и имел там обширные связи.

Спектакль, который Михоэлс должен был просмотреть, а Голубов отрецензировать, никогда не назывался, более того, в многочисленных публикациях безлико утверждалось, что оба командированных ехали смотреть «спектакли, выдвинутые на соискание Сталинской премии». На самом же деле высоким

гостям предстояло увидеть лишь один спектакль – современную эпопею «Константин Заслонов» в Минском драматическом театре имени Янки Купалы.

Нетрудно понять, почему эта, вроде бы пустяковая, деталь старательно обходилась молчанием. Иначе у всех людей, имеющих хоть какое-то отношение к искусству, сразу возник бы недоуменный вопрос, который заставил бы их о многом задуматься: с какой стати Комитет по Сталинским премиям, профессиональные журнал «Театр» и газета «Советское искусство» посылают, в качестве автора будущей рецензии, специалиста по хореографии? Владимир Голубов был автором монографии о балерине Галине Улановой, автором балетных либретто и множества статей именно об этом виде искусства.

А как раз в Ленинграде на Сталинскую премию был выдвинут спектакль, имеющий к узкой специальности Голубова самое прямое отношение: балет Михаила Чулаки «Мнимый жених». Ситуация сложилась поистине абсурдная: специалист по балету не едет смотреть балет, но отправляется на просмотр драматической эпопеи на партизанскую тему и прилагает все усилия, чтобы затащить туда Михоэлса...

Горе, постигшее театральную Москву, удар, который она ощутила, заслонили эти, слишком неуместные для такого случая, подробности. Потом об этом и вовсе забыли.

Все близкие к Михоэлсу люди вспоминают, что и он, и Голубов уезжали с очень большой неохотой и дурными предчувствиями – как странно это сочеталось с энергичными уговорами Голубова о совместной поездке именно в Минск!

Поезд уходил вечером, и почти весь день Михоэлс провел в театре. Поездка предполагалась весьма короткой, но он старался завершить все мелкие, повседневные и рутинные дела так, словно ему предстояло очень долгое отсутствие. Наибольшее впечатление (разумеется, впоследствии) произвел на близких его неожиданный прощальный визит к академику П. Л. Капице. Они действительно были очень близки, но им случалось порой не видеться неделями и месяцами, и нет никакого разумного объяснения, что заставило Михоэлса за два или три часа до отхода поезда специально заехать к Капице, чтобы проститься, в сущности, на несколько дней.

Этот поистине мистический эпизод поражает еще больше в сочетании с информацией, полученной мною в самом конце восьмидесятых годов от старшего следователя по особо важным делам Прокуратуры СССР – Сергея Михайловича Громова. Он рассказал мне – в присутствии моего коллеги Юрия Щекочихина, вместе с которым мы были у него в гостях, на воскресном обеде, – что в системе госбезопасности, внутри отдела по ликвидации «изменников» и перебежчиков, существовала группа, особо законспирированная, руководимая некоей супружеской четой, непосредственно отработывавшая механизм убийств «особого назначения» и осуществлявшая разработанные ею планы. Она и была заангажирована на выполнение столь ответственного спецпоручения.

Эта группа, создавшая план «операции Михоэлс», пять лет спустя, в начале пятидесят третьего, готовила (похоже, и подготовила) убийство Капицы. Лишь смерть Сталина и последовавшее изменение политической ситуации, когда перед Лаврентием Берией – заклятым врагом Капицы, встали совсем другие проблемы, помешали осуществлению этого плана.

Берия, руководивший всей ядерной наукой и техникой страны, – не мог простить Капице его отказ участвовать в создании атомной бомбы. Позже, кстати сказать, другой великий физик, академик Абрам Иоффе, также пригрозил отказом участвовать в осуществлении военных проектов, если ученых насильственно будут втягивать в травлю своих коллег еврейского происхождения. Поток ранее засекреченной информации, вызванной, пусть и крайне ограниченным, открытием архивов, а также многочисленные публикации, авторами которых явились сами бывшие деятели Лубянки, позволяют раскрыть инкогнито той самой супружеской четы.

Скорее всего, Сергей Михайлович Громов имел в виду генерала Павла Судоплатова и его жену, кадровую чекистку Эмму Каганову[13]. Судоплатов был тогда начальником так называемого управления по проведению спецопераций (точное название: «Служба ДР», то есть «Диверсия и террор»), именно он, вместе со своими сотрудниками Наумом Эйтингоном и другими, по личному указанию Сталина разработал сценарии уничтожения Троцкого, руководителей украинского национального движения, некоторых «особо опасных» иностранцев.

Он знал в точности, как готовилась и как осуществилась «операция Михоэлс», и в своих позднейших мемуарах чуть-чуть приоткрыл завесу этой кошмарной тайны, но старательно вывел себя из числа главных участников операции.

Предполагая отправиться на вокзал прямо из театра, Михоэлс, однако, в последнюю минуту изменил свой замысел и заехал домой проститься с женой. Современники вспоминают, что у Михоэлса в этот день лицо было «гиппократовым», то есть отмеченным печатью смерти. Конечно, не исключено, что это абберация памяти, вызванная всем тем, что стало известно позже. Однако есть свидетельства, которые позволяют поверить в реальность мрачных предчувствий отправлявшегося на Голгофу Михоэлса.

Родные вспоминают, что за несколько недель до трагедии ему звонили какие-то люди и предупреждали о том, что его ждет близкая смерть.

Фаина Раневская, абсолютно не склонная к фантазиям и фальсификациям, рассказала уже во время хрущевской «оттепели»: незадолго до поездки в Минск Михоэлс сообщил ей, что «получил анонимное письмо с угрозой убийства».

Но у тех, кто готовил убийство, не было никакого резона «спугнуть» будущую жертву, их задача состояла, наоборот, в том, чтобы усыпить бдительность, успокоить. Скорее всего, и письмо, и анонимные звонки содержали не угрозу, а предупреждение об опасности, высказанное в форме угрозы: люди, преклонявшиеся перед чистейшим и талантливейшим человеком, могли находиться и среди тех, кто что-то знал про готовившееся убийство. Объяснить иначе эти сигналы я не могу.

7 января проводить Михоэлса на Белорусский вокзал пришло немало людей. Кроме дочери и жены еще и ведущий актер театра Вениамин Зускин, писатели Василий Гроссман и Александр Борщаговский, поэт Семен Липкин... Но, вне всякого сомнения, провожавших было намного больше, они изображали пассажиров, железнодорожников, носильщиков, лотошников. Борщаговский вспоминает, что перед самым отходом поезда Голубов внезапно приткнулся к нему, провел рукой по воротнику пальто и прошептал: «Как я не хочу ехать! Не думал, не собирался, не хотел!» Догадался, наверно, – с фатальным уже опозданием, – что соучастники и свидетели преступления неизбежно отправляются вслед за жертвами.

К сожалению, каждый час пребывания Михоэлса в Минске ни в одном доступном мне документе не отражен. Известно лишь, что на третий день своего пребывания, 11 января, он последний раз позвонил домой, в Москву, и среди прочего сообщил то, чему поначалу родные не придали особого значения. Он сказал, что утром, в гостиничном ресторане, за завтраком, неожиданно увидел своего заместителя по ЕАК Ицика Фефера, с которым четыремя днями раньше простился в Москве, передав ему на время своего отсутствия «бразды правления» в комитете. Ни о какой поездке Фефера тоже в Минск речи не шло, да и делать там ему было абсолютно нечего. Но самое поразительное состояло в том, что, как сообщил Михоэлс, Фефер сидел, уткнувшись в газету, и сделал вид, что его не заметил.

Почему же Михоэлс сам не подошел к нему? Ведь исключить такую возможность сочинители сценария не могли, и, значит, на этот случай была заготовлена какая-то версия. Вероятнее всего, Михоэлс все-таки подошел, разговор, пусть мимолетный, состоялся, но он не стал посвящать в него близких по

телефону, отложив рассказ до встречи в Москве.

Рассказать об этом больше уже никто не сможет, хотя, без сомнения, в агентурных донесениях Лубянки, хранящихся за семью печатями в ее архиве, информация об этом имеется. Эпизод же этот сам по себе имеет большое значение, и нам предстоит еще к нему вернуться. (В книге Г. Костырченко «Тайная политика Сталина» без всяких оговорок воспроизводится раскавыченная гэбистская версия вечерних событий 12 января, вплоть до кощунственного утверждения о том, что Фефер «накануне прибыл по своим делам в Минск» и что Михоэлс, «обычно любивший пропустить рюмочку», на сей раз – так и написано: «на сей раз» – алкоголя не употреблял. Лубянская лексика под стать лубянскому вранью...)

События 12 января по-разному отражены в воспоминаниях, но все авторы воспроизводили чужие рассказы и версии, поэтому достоверность каждой из них не бесспорна. Наиболее достоверна такая: около десяти вечера, едва Михоэлс вернулся из театра, ему позвонили (по другой версии, менее достоверной, он в театре не был, и звонок раздался около восьми вечера), после чего он поспешно собрался и уехал на приехавшей за ним машине. По труднообъяснимой причине Михоэлс говорил по телефону не из гостиничного номера, а с аппарата дежурного администратора, который запомнил, что Михоэлс обращался к своему собеседнику то ли по имени (Сергей), то ли по фамилии (Сергеев). Генерала Трофименко, как мы помним, звали Сергей, хотя Михоэлс никогда не называл его фамильярно, по имени, а лишь уважительно: Сергей Георгиевич.

Обычно администраторы крупных гостиниц, тем более тех, где останавливаются иностранцы, сотрудничают со спецслужбами. В данном же случае, когда осуществлялась столь важная операция, на ключевом посту не мог оказаться человек «нейтральный». Видимо, убийцам было нужно подготовить свидетелей, которые сообщили бы, что звонил некий Сергей. Нет никаких доказательств, что такой разговор Михоэлс действительно вел по телефонному аппарату администратора. Впоследствии генерал Трофименко утверждал, что он вообще Михоэлсу не звонил. Но какой-то инсценированный звонок несомненно был, иначе уставший Михоэлс не сорвался бы с места и не отправился бы куда-то на ночь глядя.

С ним вместе поехал Голубов, который, кстати сказать, с Трофименко вообще не был знаком. Да и кто знает, действительно ли звонили от имени Трофименко, или это была намеренно впоследствии распространявшаяся версия, чтобы создать видимость какого-то объяснения загадочной вечерней поездки Михоэлса на машине. Совершенно очевидно, что Голубов, выполняя данное ему поручение, обеспечил посадку Михоэлса в машину, убедив артиста, что не может оставить его одного и оказывает ему «моральную поддержку».

Один архивный документ убедительно подтверждает, что эпизоду с «Сергеем» придавалось в кровавом сценарии ключевое значение: он служил, с одной стороны, способом заманить Михоэлса в капкан, а с другой – напустить побольше туману и скрыть в нем все следы.

Когда после убийства создавалась видимость тщательного расследования, заместитель начальника главного управления милиции МВД СССР генерал Бодунов писал заместителю министра Ивану Серову (несколько лет спустя он возглавит КГБ) в «совершенно секретной» докладной записке (№ 6/А/583 от 11 февраля 1948 года): «...находившимся с ними работникам минских театров Михоэлс и Голубов-Потапов сказали, что в этот вечер они будут заняты, так как намерены посетить какого-то знакомого Голубова-Потапова – инженера Сергеева или Сергея. От предложения воспользоваться автомашиной Михоэлс и Голубов-Потапов категорически отказались. (...) В результате проведенных агентурно-оперативных и следственных мероприятий (...) версия о том, что Михоэлс и Голубов-Потапов направлялись к знакомому Голубова-Потапова инженеру Сергееву (это назойливое повторение в сверхсекретном документе, чьим знакомым был мифический Сергеев и что он непременно инженер, конечно, содержит в себе очевидный

смысл. – А. В.), не подтвердилась. Все собранные материалы дали основания полагать, что Михоэлс и Голубов-Потапов по каким-то причинам намеревались посетить какое-то другое лицо и эту встречу тщательно зашифровали от своих знакомых и окружающих, назвав при этом вымышленную фамилию инженера Сергеева (явное создание «улик» на случай, если понадобится утверждать, что шпион Михоэлс пошел на тайную встречу с другими шпионами и террористами, и это они его убили, чтобы отделаться от опасного соучастника. – А. В.)».

В семь часов утра на почти непроезжей улице, идущей к пустырю и расположенной достаточно далеко от гостиницы, случайные прохожие заметили торчащие из-под снега два трупа. Это были Соломон Михоэлс и Владимир Голубов. Вся одежда, документы, вещи и деньги были при них. На руках тикали часы: у Михоэлса – золотые, только стекло куда-то пропало. Его искали и не нашли: оно выпало совсем в другом месте.

Есть важнейшее свидетельство в мемуарах дочери Сталина Светланы Аллилуевой, позволяющее внести уточнение в датировку событий. «В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче, – пишет она, – я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: «Ну, автомобильная катастрофа». Отлично помню эту интонацию – это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной и через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс» <...> Он был убит, и никакой катастрофы не было. «Автомобильная катастрофа» была официальной версией, предложенной моим отцом, когда ему доложили об исполнении. <...> Нетрудно догадаться, почему ему докладывали об исполнении».

Догадаться, конечно, нетрудно, но в этом трагическом рассказе отсутствует одна важная деталь: в какое время суток происходил разговор, о котором рассказывает Светлана Аллилуева?

Как известно, Сталин был «совой», а не «жаворонком», он очень поздно ложился и поздно вставал. Между тем уже по крайней мере к десяти утра 13 января в Еврейском театре имели информацию из Минска, что Михоэлс погиб именно в автомобильной катастрофе. Знаю это доподлинно – как говорится, из первых рук. В то утро моя мать отправилась к десяти часам утра на слушание уголовного дела, где она выступала защитником, в нарсуд Советского района Москвы, но еще не было одиннадцати, когда она вернулась домой. Мы жили в трех троллейбусных остановках от суда, а я дома готовился к очередному экзамену. Одним из заседателей в процессе должен был быть рабочий – осветитель Еврейского театра (этот театр находился на территории Советского района), вовремя в суд не явившийся. Обеспокоенная судья в начале одиннадцатого позвонила в театр – ей ответили: «Не ждите, никто не придет, у нас несчастье: в автокатастрофе погиб Михоэлс». Эту новость мать и принесла домой.

Нет никакого сомнения: об исполнении «спецзадания» Сталину доложили вечером 12 января (могли доложить и ночью, но тогда вряд ли при этом разговоре присутствовала бы Светлана). И это значит, что надо исправить дату гибели великого артиста, прочно вошедшую во все справочники и энциклопедии: он был убит не 13, а 12 января. Есть этому и официальное подтверждение: датой смерти Голубова в энциклопедическом словаре «Балет» (М., 1981. С. 153) значится 12 января, а погибли они вместе.

В суматохе похорон, которые носили откровенный характер заметания следов, был допущен один крупный прокол. К телу Михоэлса, которое доставили для прощания в Москву, был допущен художник Тышлер, вызвавшийся сделать несколько рисунков Михоэлса на смертном одре. Тышлер свидетельствует: «Тело было чистым, не поврежденным». Но свидетельствовал он, конечно, не в сорок восьмом, а годы спустя, когда в версию автокатастрофы не верили уже самые наивные из наивных.

Среди тех, кто пришел выразить соболезнование семье (домой, а не на панихиду), была племянница Лазаря Кагановича, дочь его брата Михаила, застрелившегося, чтобы избежать ареста, в 1941 году. Юлия

Михайловна Каганович не скрывала, что представляет не только саму себя, но и по-прежнему всемогущего Лазаря Моисеевича. «Она увела нас в ванную комнату, – вспоминает Наталья Вовси-Михоэлс, – единственное место, где еще можно было уединиться, – и тихо сказала: «Дядя передал вам привет... и еще велел сказать, чтобы вы никогда никого ни о чем не спрашивали». Это было не только предостережение. Это был приказ.

Похороны состоялись при огромном стечении народа 16 января. Гроб стоял на сцене Еврейского театра, мимо него прошли многие тысячи людей. Выступали виднейшие деятели культуры. Слово держал и Александр Фадеев. Он назвал Михоэлса художником, «овеянным величайшей славой», человеком необычайной душевной чистоты, о котором будут помнить и через несколько столетий. Вряд ли он догадывался, что, блуждая в потемках, сам подталкивал Михоэлса навстречу гибели.

Отыскалась и стенограмма всех речей на гражданском панихиде. «Стенограмма панихиды» – словосочетание противоестественное. И однако же она есть. (Опубликована в журнале «Театр» – 1990. № 4.) Конечно, в битком набитом зале стенографисток не было. Но через микрофоны каждое слово записывалось на пленку, а затем расшифрованная запись рассылалась по специальному списку.

Среди ораторов был и Ицик Фефер, выступавший от имени Еврейского Антифашистского Комитета. Вне всякой связи с контекстом речи Фефер счел нужным дать такую информацию, на которую ни о чем не осведомленные люди, естественно, не обратили никакого внимания: «Я помню, как он проводил последние дни. <...> Я был в Минске, когда несчастье случилось. Мы расстались с ним почти накануне, в шесть часов вечера». И – самое ошеломительное! – далее в стенограмме следует пропуск: страница аккуратно разрезана ножницами, и к процитированным выше словам подклеена концовка речи (единственный пропуск во всей обширной стенограмме!). Получается, что сразу после слов «...в шесть часов вечера» Фефер сказал: «Михоэлс – символ народа». Эта манипуляция неведомым нам «редактором» проведена сразу в двух копиях (втором и третьем экземплярах) стенограммы, хранящихся в Союзе театральных деятелей (бывшее Всероссийское театральное общество) и Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Но первый-то экземпляр хранится, разумеется, в тайниках Лубянки, и там когда-нибудь найдется полный текст этого беспримерного надгробного слова.

Беспримерного – ибо оно относилось совсем к иному жанру, служа официальной версии гибели Михоэлса от «несчастливого случая» («...когда несчастье случилось») и имея целью дать Феферу (точнее, тем, чью волю он исполнял) некое психологическое алиби: как-то объяснить, зачем он вдруг ни с того ни с сего оказался в Минске и что там делал в течение нескольких дней. Эта, постыдно неуместная для прощальной речи, попытка оправдаться говорила сама за себя, а то, что наспех сочиненный на Лубянке текст пришлось потом вырезать из стенограммы, еще больше свидетельствует: «оправдание» было неуклюжим и саморазоблачительным.

Но теперь, по крайней мере, мы знаем, что Михоэлс и Фефер встретились лицом к лицу в день убийства. Совершенно очевидно, что вот эта информация, содержащаяся в речи Фефера, соответствует действительности. Их видели или могли видеть вместе, и нужно было, чтобы информация об этом из уст самого Фефера опередила слухи. Ясно, что вырезанный из стенограммы текст содержал ложь, иначе ничего не надо было бы вырезать. Ложь, которая, если бы мы могли ее сейчас прочитать, была бы наверно не менее ценной, чем правда: ведь стало бы ясно, какую легенду Лубянка постаралась создать и от какой вскоре решила отказаться.

Посмотрев спектакль, Михоэлс мог сразу же уехать: поезда из Минска (или через Минск) в Москву шли очень часто. Тогда все бы срывалось... По всей логике событий Фефер, кое-как объяснив Михоэлсу свое присутствие в Минске, должен был отговорить его от возвращения домой сразу же после спектакля, задержать в Минске хотя бы на тот же вечер. Зачем иначе им было встречаться, вызывая Михоэлса на

очевидные подозрения? Но если жертва уже обречена, то кого волнуют какие-то ее подозрения?

«Фефер сидел понурившись в кресле отца, – вспоминает Наталья Вовси-Михоэлс о его посещении осиротевшего дома 19 января 1948 года, – и не смотрел в нашу сторону. Мы ждали подробного рассказа об их последней встрече в Минске. Но он молчал. И чем дольше продолжалось это тягостное молчание, тем яснее нам становилось, что спрашивать бесполезно. А у нас так и не повернулся язык спросить, почему он вдруг оказался в Минске» (теперь наконец, с помощью Г. Костырченко, мы знаем – почему: по своим делам...). Значит, подозрения зародились сразу же. Впрочем, всего масштаба предстоящей трагедии даже очень наблюдательные люди тогда еще не ощущали, как не осознавали и того, что убийство Михоэлса – лишь первый акт многоактной драмы, созревшей уже в мозгу Верховного Драматурга.

«О физическом истреблении, – вспоминал впоследствии директор училища при Еврейском театре, профессор Моисей Беленький (ему тоже предстоит провести пять лет в лагерях), – мы тогда не думали. Когда мы привезли тело Михоэлса из Минска (я был одним из шестерых, кто вез тело), то Маркиш сказал мне на ухо: «Гитлер хотел истребить нас физически, Сталин хочет духовно». Истребить духовно – закрыть театр, школу. Но о физическом уничтожении, несмотря на весь трагический опыт нашего народа, мы не могли помыслить».

Версия Лубянки меж тем продолжала разрабатываться и внедряться в сознание. Ее «подкрепляло» и заключение экспертизы. Еще 13 января главный эксперт министерства здравоохранения Белоруссии Прилуцкий, эксперты Наумович и Карелина подписали акт о том, что смерть Михоэлса и Голубова «последовала в результате наезда на них тяжелой грузовой автомашины», что «у покойных оказались переломанными все ребра, с разрывом тканей легких, у Михоэлса перелом позвонка, а у Голубова-Потапова – тазовых костей». И вывод: «Все перечисленные повреждения являются прижизненными».

Теперь, когда мы знаем, что на улицу были выброшены уже трупы, когда известно свидетельство художника Тышлера, лично видевшего чистое, без повреждений, тело Михоэлса (об этом же свидетельствует и профессор Беленький), тенденциозная ложь экспертного заключения становится особенно очевидной. Была ли вообще проведена хоть какая-то, даже фиктивная, экспертиза? Не подписали ли эксперты заключение, составленное другими людьми? В этом убеждает и то, что погибший Владимир Голубое назван в акте «Голубовым-Потаповым» – так, как он именовался во всех документах Лубянки. Между тем медицинские эксперты могли его именовать только по паспорту, поскольку литературный псевдоним, которым он подписывал свои книги и статьи, никакого отношения к акту освидетельствования трупа иметь не мог и ни в каких документах, удостоверяющих личность, не содержался, тем более через дефис: Голубов-Потапов. Для экспертов он мог быть только Владимиром Ильичом Голубовым, и никем больше. Так что и эксперты участвовали – конечно, по принуждению – в заведомой лжи. Список людей, причастных к «операции Михоэлс» и повязанных круговой порукой, становился все длиннее.

Уже в феврале – марте 1948 года стали распространяться запущенные Лубянкой слухи, один абсурднее другого: что артисты Еврейского театра роют подземный туннель от своего театра до Красной площади (километра три-четыре но прямой), чтобы взорвать Кремль; что Михоэлс собирался продать Биробиджан Японии, а теперь это дело доведут до конца его товарищи по ЕАК... На вооружение был взят принцип геббсльсовской пропаганды: чем ложь грубее и нелепей, тем скорее поверят. Параллельно, в излюбленном сталинском стиле, разрабатывались и меры по пресечению злокозненных слухов о якобы (разумеется, якобы) начавшейся кампании государственного антисемитизма.

В апреле были обнародованы два постановления: «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области литературы и кинематографии» и за столь же выдающиеся – «в области искусства». Разумеется, без всяких комментариев получили премию и минский спектакль о белорусском

партизаны времен Второй мировой войны «Константин Заслонов» – типичный образец бездарного соцреализма, и ленинградский балет «Мнимый жених». Удостоились награды множество графоманов и халтурщиков от живописи: авторы двух портретов Ленина, четырех – Сталина, портретов Молотова, Ворошилова, Дзержинского и прочих «вождей революции». Но мудрость Сталина состояла в другом: в списке из 190 лауреатов «многонациональной социалистической родины» оказалось более сорока евреев[14].

Список открывает Илья Эренбург: ему пожаловали премию 1-й степени за одно из самых бесцветных и плоских его сочинений, за типичный образец пресловутого соцреализма, а точнее – за примитивную агитку – роман о войне «Буря». Любопытно, что Сталин, отклоняя предложение комитета о присуждении Эренбургу премии 2-й степени, решительно настоял на первой[15].

Кроме Эренбурга высших наград удостоились не только истинный писатель Эммануил Казакевич, начинавший свой литературный путь новеллами и стихами на идиш, не только крупные кинорежиссеры Григорий Козинцев (брат жены Эренбурга) и Михаил Ромм, но даже литераторы более чем посредственные (например, детский писатель Иосиф Ликстанов), хотя выбору Сталина был велик и он мог бы найти кого-нибудь подостойней. Но ему непременно были нужны «лица еврейской национальности» – надежная пропагандистская ширма, за которой можно было готовить любые ядовитые блюда.

Попутно продолжала внедряться в сознание первоначальная версия: Михоэлс действительно жертва несчастного случая, великий артист, великий режиссер и, главное, великий патриот. Имя его было присвоено Еврейскому театру, в честь погибшего устроили несколько грандиозных торжественных вечеров.

Наиболее внушительные прошли в его театре – аршинными буквами о них извещали расклеенные по всему городу афиши. Понять во всей масштабности ту роль, которую тем вечером предстояло сыграть, можно, лишь сопоставив даты, поскольку как раз в это время произошли события, судьбоносно повлиявшие на ход мировой истории. К сюжетам, о которых мы ведем разговор, они имеют самое непосредственное отношение.

14 мая 1948 года было официально провозглашено государство Израиль. Ставка на его руководителей как на силу, противостоящую английским интересам, желание вытеснить Британию из региона и овладеть определенными позициями на Ближнем Востоке – все это казалось тогда в Москве отнюдь не прожектерством. Затевать, пусть даже без барабанного боя, всеохватную антисемитскую кампанию было решительно не с руки. Поэтому команды развернуть наступление не было. Но не было и отбоя.

Немедленное признание Советским Союзом государства Израиль сопровождалось поставкой оружия для отражения атаки арабских государств, выступивших против возрожденного государства. Впрочем, по сведениям, рассекреченным лишь недавно, поставка оружия еврейской армии и обучение ее будущих воинов велись еще и до формального провозглашения Израиля[16].

Сталин избрал местом, откуда отправлялись транспортные самолеты, груженные танками, оружием, боеприпасами, вассальную Чехословакию. Там же, по крайней мере в четырех строго охраняемых и строго засекреченных пунктах, советские инструкторы готовили для Израиля пехотинцев, танкистов, десантников, электромехаников. С опозданием более чем на сорок лет подтвердились циркулировавшие тогда слухи о том, что в условиях тщательной конспирации отправлялись на помощь Израилю для борьбы «с британским империализмом и арабской реакцией» инструкторы, специалисты, офицеры советской армии. Разумеется, евреи.

Поток писем, адресованных и в ЕАК, и в ЦК, от специалистов, солдат, офицеров еврейского происхождения с просьбой отправить их на войну с агрессором в Израиль, не прекращался многие месяцы.

Всего уехали на ту войну около 8 тысяч кадровых советских военных еврейского происхождения[17]. По воспоминаниям очевидцев, Ицик Фефер с восторгом рассказывал об этом в июне 1948 года, в присутствии Л. Квитко писателям-евреям Гроссману, Юзовскому, Ямпольскому и другим, в писательском доме на берегу Балтийского моря (Дубулты, Латвия)[18]. Нет ничего странного в кажущейся противоречивости сталинских действий. Он никогда не признавал ни принципы, ни мораль, ни кодекс чести, поступая с железной прагматичностью, для которой нет ничего святого.

Именно на волне этой кратковременной и ничем не оправданной эйфории и прошли подряд два вечера памяти Михоэлса. Я был на обоих. Первый состоялся 24 мая 1948 года – всего через десять дней после официального рождения Израиля. Едва сдерживая слезы, выступали крупнейшие деятели не только еврейской, но и русской культуры: тенор Большого театра Иван Козловский, генерал-лейтенант, писатель, граф Алексей Игнатъев, руководитель Центрального театра кукол Сергей Образцов, создатель и руководитель Камерного театра Александр Таиров. Все они в один голос говорили о Михоэлсе как о преданном и страстном советском патриоте. Такова была данная сверху установка, и этого камертона все держались. Зачитали письмо несравненного Михаила Тарханова: «Сердце мое полно глубокой скорби». Свою поэму о Михоэлсе читал Перец Маркиш, стихи – Ицик Фефер, Лев Квитко и другие. Все те, на кого уже лежали в лубяньских сейфах досье, распухшие от лживых доносов и выбитых показаний.

Выделялось, естественно, выступление Ильи Эренбурга – писателя, который исключительно чутко реагировал на любые повороты и даже изгибы сталинской и послесталинской политики: власти множество раз использовали его слово, чтобы «довести до сведения» своих сограждан и «мировой общественности» важные для верхов позиции. Вот и на этот раз Эренбург сказал: «Сейчас, когда мы вспоминаем творчество большого советского трагика Соломона Михоэлса, где-то далеко рвутся бомбы и снаряды: то евреи молодого государства защищают свои города и села от английских наемников. Справедливость еще раз столкнулась с жадностью. Кровь людей льется из-за нефти. Я никогда не разделял идей сионизма, но сейчас речь не об идеях, а о живых людях. <...>

О чем всю жизнь говорил Михоэлс? О дружбе советского народа и евреев всего мира, настоящих евреев, – не отщепенцев, которые преданы золотому тельцу Америки, не еврейских фашистов, есть и такие, но еврейских тружеников.

Поговорим о людях труда и доблести.

Ответ Вячеслава Михайловича Молотова на просьбу о признании нового государства Израиль наполнил надеждой и радостью сердца защитников Палестины. Я убежден, что в старом квартале Иерусалима, в катакомбах, где сейчас идут бои, образ Соломона Михайловича Михоэлса, большого советского гражданина, большого художника, большого человека, вдохновляет людей на подвиги»[19].

Попробуем отвлечься от типичной советской риторики, от режущей слух цветистости стиля, от неуместного – для вечера памяти убиенного артиста – предложения «поговорить о людях труда и доблести», единственным представителем которых назван Вячеслав Михайлович Молотов. И даже от назойливого напоминания про героический поступок этого доблестного товарища, милостиво согласившегося признать новорожденный Израиль. Сверхзадача эренбурговской речи, спущенная оратору с самых верхов, в которые он был вхож, до прозрачности очевидна: Михоэлса надо было отделить от «отщепенцев» и «еврейских фашистов», представить в качестве «настоящего еврея» и «большого советского гражданина».

Текст этого выступления фактически служит документальным подтверждением той версии, которую я услышал в конце восьмидесятых годов от Владимира Ивановича Теребилова, тогдашнего председателя Верховного суда СССР. В сороковые-пятидесятые он находился на руководящей работе в органах прокуратуры, позже – в центральном аппарате прокуратуры СССР. Короткий период хрущевской

«оттепели» дал ему возможность заглянуть в некоторые секретные папки и выслушать рассказы коллег, так или иначе причастных к разным темным делам. По словам Терехилова, первоначальный замысел был таким: Михоэлса убил сионисты за то, что он отказался войти в число заговорщиков-террористов, оставшись честным советским патриотом.

Тогда его бы канонизировали, громя именем «настоящего еврея» – евреев не настоящих: «фашистов» и «отщепенцев». Была бы достигнута двойная цель: реализованное сталинское «решение еврейского вопроса» исключало бы вместе с тем обвинение в антисемитизме, причем доказательством отсутствия такового служила бы тень убиенного Михоэлса: Сталин уготовил ему не только мученическую смерть, но и гнусное издевательство над его памятью.

Туман, который специально напускали вокруг визита к мифическому «Сергееву», успешно мог служить любой из версий, какая бы впоследствии ни пригодилась. Если Михоэлс пал жертвой сионистов, то это они заманили его к несуществующему Сергееву. Если он сам был сионистом, то, значит, вместе с Голубовым шел на тайное сборище и хотел во что бы то ни стало оторваться от коллег. В случае, если бы Сталин решил обвинить в убийстве «сионистов», абсурдный, казалось бы, приезд Фефера в Минск давал для этого весомейшее доказательство: для того и приехал – по своим делам! Лубянка, направившая его туда, от него бы отвернулась, а Фефер никогда, никакому следствию не смог бы внятно объяснить, с какой иной целью он оказался в Минске. Как самому «Зорину» его хозяева объясняли необходимость этой поездки, значения не имеет.

Весь положенный ритуал «проведения следственных мероприятий» продолжал между тем соблюдаться: опросы, розыск, дополнительная экспертиза (ее якобы проводила в Москве профессор Бронникова) и прочее.

Эти «мероприятия» рутинно были возложены на министерство внутренних дел, которое командировало в Минск группу оперативных работников под руководством инспектора для особых поручений полковника Осипова[20]. Группа прилежно искала грузовик, наехавший на Михоэлса и Голубова, ничего, естественно, не нашла и договорилась с министром госбезопасности Цанавой, что тот не пожалеет усилий в розыске злосчастной автомашины. Тот, естественно, обещал[21].

Сталин же все более и более склонялся к версии: Михоэлс – жертва заговорщиков-сионистов. Не забудем: приближалось со дня на день провозглашение сионистского государства, которому Сталин втайне помогал, что никак не вписывалось в «марксистско-ленинско-сталинскую» идеологию. Если бы он публично осудил «преступный сионизм», осмелившийся даже убить великого еврейского артиста и общественного деятеля, то получил бы прочное политическое алиби, продолжая втайне этим же сионистам – по соображениям геополитическим и стратегическим – всячески помогать. Поэтому на какое-то время Сталин, отказавшись от версии несчастного случая, предпочел версию «Михоэлс – жертва сионистов».

(Любопытно, что по той же модели шла мысль Сталина и в печально известном деле Рауля Валленберга. Венгерская журналистка Мария Эмбер установила недавно, что в Будапеште готовился «показательный процесс», где предполагалось «доказать», что Валленберг пал жертвой сионистов. См.: *Judische Berlin*. 2001. № 38. S. 11.)

Для ее отработки через два месяца после убийства в Минск был командирован начальник следственного отдела прокуратуры СССР Лев Шейнин. Имя этого человека в Советском Союзе было широко известно – с ним связывали представление об искуснейшем следователе, для которого нет никаких нераскрываемых тайн. Такой имидж создал себе он сам, публикуя время от времени свои «записки следователя», где в легкой, занимательной манере рассказывал о раскрытии разных кошмарных преступлений. Шейнин был очень близок к Вышинскому в бытность того прокурором СССР, помогая ему в

фабрикации дел, которые завершались фальсифицированными процессами. Будучи автором многих бульварных, но весьма репертуарных пьес и сценариев криминальных фильмов, он был хорошо знаком с людьми из мира искусства, поэтому участие именно Шейнина в «проверке обстоятельств несчастного случая» придавало вдруг начавшемуся следствию особую достоверность.

В 1951 году самого Шейнина арестуют, и на следствии[22] он будет утверждать, что вообще в Минск не ездил, никакого следствия не проводил, что это не более чем кем-то запущенный слух, который он публично не считал нужным опровергать. И найдутся люди, которые этому поверят. Конечно, возможен и такой вариант, тем более что прокуратура следствие по «факту» гибели Михоэлса не проводила. Если это слух, то специально распространявшийся все тем же лубянским центром: продолжала отрабатываться легенда об интенсивно ведущихся поисках убийц. Однако весьма осведомленные люди утверждают, что Шейнин все-таки был вовлечен в эту авантюру и что в Минске он был. Профессор-литературовед Владимир Пименов опубликовал в журнале «Театр» запись своей беседы с тогдашним (1948 год) секретарем ЦК Белоруссии Михаилом Иовчуком. Там есть такой пассаж: «Когда у нас был Шейнин, мне показалось, что он стремится поскорее закончить это дело, найти хоть какую-то обтекаемую формулировку – как возник внезапный наезд грузовика. По существу, следствия никакого не было». То есть все совпадает: никакого следствия, естественно, не было, но Шейнин («физически») в Минске был, создавая иллюзию, будто оно ведется. Мемуары В. Пименова были опубликованы еще при жизни Иовчука, и тот их не опроверг. Неужели и сорок лет спустя, после всех политических катаклизмов, когда рушились на глазах все прежние запреты и тайны, он все еще следовал указаниям, полученным некогда от лубянских шефов?

В. И. Терехов, уже упоминавшийся выше, человек очень осведомленный и знающий всю ситуацию изнутри, рассказывал мне, что Шейнин с легкостью установил без всякого следствия: никакой автокатастрофы не было. Но тут любителя авантурных сюжетов спешно отозвали в Москву и посоветовали держать язык за зубами: Сталин снова решил поменять курс.

Лишь в 1992 году было наконец рассекречено письмо, которое 2 апреля 1953 года на имя Г. Маленкова отправил Берия, изложив в официальном документе историю ликвидации Михоэлса[23]. Из этого письма вытекает, что Сталин, которому доложили, что Михоэлс находится в Минске, приказал там его и убить. Однако из позднейших объяснений министра госбезопасности Белоруссии Лаврентия Цанавы явствует, что его известили о необходимости убить Михоэлса еще за два дня до того, как тот приехал в Минск. Ясно, что, если бы принципиального указания об убийстве лубянские шефы не получили заранее, им не было нужды уведомлять Сталина о том, что Михоэлс уже находится в Минске: мало ли куда едет по служебным делам член всяческих комитетов и знаменитый артист... Заместителю министра госбезопасности Сергею Огольцову, генералам Шубнякову и Цанаве – непосредственным организаторам убийства – надо было получить окончательное и прямое указание Сталина: они прекрасно сознавали, на какой ответственный шаг идут. Согласие было получено. Михоэлса и Голубова, как сообщал Берия, заманили в гости «к каким-то знакомым», привезли на дачу к Цанаве и там ликвидировали, «убрав» заодно и Голубова – «во имя тайны». Весьма вероятно, что никакого наезда автомашины, в том числе и наезда на трупы, не было вообще, нарочитое распространение этой версии объяснялось тем, что она была предложена самим Сталиным и, значит, оспариванию не подлежала.

Из письма Берии, однако, не ясно, каков все же был механизм убийства: где именно наступила смерть Михоэлса и Голубова, а не как она камуфлировалась. Эту тайну открыл много позднее Павел Судоплатов, в этой операции лично участия не принимавший, но хорошо о ней знавший, ибо он несомненно был причастен к ее разработке (об этом сказано выше). «Михоэлса и Голубова, – пишет Судоплатов в своих мемуарах, – заманили на дачу Цанавы под предлогом встречи с ведущими белорусскими актерами (а не на свадьбу к чужим людям, как до сих пор предполагают легковверные

авторы. – А. В.) и сделали смертельный укол...»[24]

Это была очередная акция одного из самых зловещих департаментов Лубянки – так называемой «Лаборатории Х», где группа «ученых» под водительством доктора медицинских наук Григория Майрановского выработала смертельный яд курарин и успешно применяла его для устранения «неудобных» лиц, которых по каким-то причинам было нежелательно отдавать даже под фальсифицированный суд. Накануне провозглашения Израиля, в то время, когда шла закулисная дипломатическая возня и вокруг будущего государства на Ближнем Востоке, и вокруг мнимого создания еврейской государственности в СССР, арестовывать Михоэлса и этим раскрывать свои карты было совершенно исключено. Тайное и зверское убийство с последующими лицемерными слезами – вот это было по-сталински.

С наградой убийцам вождь не спешил – выжидал, наблюдая за тем, как будут развиваться события и как отреагирует «общественное мнение» на гибель Михоэлса. Лишь 28 октября 1948 года «за образцовое выполнение специального задания правительства» орденом Красного Знамени был награжден Цанава и почему-то лишь на следующий день тем же орденом Огольцов[25]. До отмены этого указа 3 апреля 1953 года придется ждать четыре с половиной года.

Огольцов, арестованный в тот же день, когда он лишился ордена, будет неожиданно и без всякой мотивировки выпущен из тюрьмы после падения Берии – 6 августа 1953 года, притом не прокуратурой, в чью компетенцию это входило, а по постановлению ЦК КПСС, останется в генеральском чине до 8 июня 1959 года – с множеством других, сохраненных за ним, орденов и высокой пенсией – и после этого – в добром здравии проживет еще 18 лет. Цанава, арестованный 4 апреля того же года, умрет в тюрьме 12 октября 1955 года, так и не дождавшись суда[26]. Позже распространится слух, что он покончил с собой[27]. Однако подтверждения этой версии в официальных источниках не содержится. Да и как он практически мог покончить с собой в условиях советской тюрьмы?

За убийство Михоэлса – именно за это, а не за что-то иное, – не ответил никто. Генерал Шубняков, один из главных соучастников акции, был жив-здоров еще в 1995 году, вообще избежав не только уголовного наказания, но и моральных потерь[28].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неправедный суд. М., 1994. С. 4.

2. Торчинов В. А., Леонтьев А. М. Вокруг Сталина. СПб., 2000. С. 400.

3. Там же. С. 49.

4. Там же. С. 50-53.

5. Архив Главной военной прокуратуры, надзорное производство № 10988-54 по делу ОС-101264. Обо всех подробностях этого дела, выходящих за рамки данной книги, рассказала сама Л. Шатуновская, которая, выжив в Гулаге, позже эмигрировала в США. См. ее книгу «Жизнь в Кремле» (Нью-Йорк (на русском языке), 1982. С. 238-324).

6. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 15624. Л. 346.

7. Об этом рассказывает Светлана Аллилуева в книгах «Двадцать писем к другу» и «Только один год».

8. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 15624. Л. 342.

9. Неправедный суд. М., 1994. С. 6.

10. Неделя. 1995. № 23. С. 21 и Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 388-389.

11. Операция «Убийство Михоэлса» реконструирована и воспроизведена на основании следующих источников: ГА РФ. Ф. 1814. Оп. 1. Д. 6 и Ф. 9401сч. Оп. 1. Д. 2894; Протоколы следствия по делу Л. Берия и других; Вовси-Михоэлс Н. Мой отец Соломон Михоэлс; Маркиш Э. Столь долгое возвращение; Гейзер М. Михоэлс; Костырченко Г. В плену у красного фараона; Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Борщаговский А. Записки баловня судьбы и Обвиняется кровь; Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. Документированная история; Неправедный суд. Последний сталинский расстрел; Шатуновская Л. Моя жизнь в Кремле; Аллилуева С. Только один год; Судоплатов П. Разведка и Кремль; Судоплатов А. Тайная жизнь генерала Судоплатова; Лясс Ф. Последний политический процесс Сталина; Петров Н., Скоркин К. Кто руководил НКВД; Торчинов В. А., Леонтьев А.М. Вокруг Сталина; Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ. Спецоперации советской разведки; Волкогонов Д. Сталин; Громов Е. Сталин. Власть и искусство; Эренбург И. Люди, годы, жизнь; Шейнис З. Провокация века; Театр. 1990. №4; Театральная жизнь. 1990. № 10; Советская культура. 1988. 23 июля; Неделя. 1995. № 23; беседы автора с Э. Маркиш, Б. Квитко, М. Беленьким, К. Рудницким, Д. Даниным, Б. Руниным, Л. Шейниным, А. Полтораком, С. Громовым, В. Теребиловым, а также другие материалы из личного архива автора.

12. Сразу после января 1948 года генерал Трофименко был спешно отозван на Высшие курсы при Военной Академии Генерального штаба, окончив которые в Минск уже не вернулся. До своей преждевременной смерти в 1953 году, когда ему еще не исполнилось и 54 лет, Трофименко оставался верным другом семьи. Мужество и преданность по отношению к своим гонимым и оклеветанным еврейским друзьям проявили и многие другие русские военачальники, прежде всего маршал войск связи Иван Пересыпкин и генерал-полковник авиации (впоследствии маршал авиации) Владимир Судец.

13. Как и чуть ли не все лица, фигурирующие в этой книге, подполковник КГБ Каганова имела несколько имен и фамилий: Суламифь Соломоновна Кримкер, она же Гранская, она же Эмма Карловна Каганова, а с 1951 года – Судоплатова. В то время, когда готовилась ликвидация Михоэлса, она работала старшим преподавателем в Высшей школе МГБ СССР, где читала лекции и вела семинары по дисциплине «спецоперации», то есть готовила будущих убийц и террористов. Так что если она участвовала в подготовке убийства Михоэлса, то занималась на практике тем самым, чему учила своих «студентов». См.: Колпакиди А. И. и Прохоров Д. П. КГБ. Спецоперации советской разведки. М., 2000. С. 557-558.

14. Советское искусство. 1948. 24 апреля.

15. Симонов Константин. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 162-163.

16. Новое время. 1992. № 19. С. 26.

17. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 445. Л. 54-55. Документы сходного содержания имеются и на других листах того же дела и в других делах. См. также: ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 8, 20, 54, 58, 1055 и мн. др.

18. Рунин Борис. Мое окружение // Ковчег. Вып. 3. Москва – Иерусалим, 1992. С. 257.

19. Театр. 1990. №4. С. 34-35.

20. ГА РФ. Ф. 9401сч. Оп. 1. Д. 2894. Л. 329.

21. Там же. Л. 330-332.

22. Архив Прокуратуры СССР, следственное дело № 5214.

23. Аргументы и факты. 1992. № 19. С. 7.

24. Судоплатов Павел. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 350.

25. Петров П., Скоркин К. Кто руководил НКВД. М., 1999. С. 323 и 432.
26. Там же. С. 323 и 433.
27. Советская Белоруссия. 1988. 23 марта и Вечерний Минск. 1989. 23 января.
28. Неделя. 1995. №23. С. 21.

ИЗ РАЯ В АД

ИЗ РАЯ В АД

Государства Израиль еще не существовало, и война, до завершения которой оставалось чуть более двух месяцев, все еще продолжалась, а в Иерусалиме уже собрался Всемирный совет раввинов. Он принял решение почтить память загубленных нацистами шести миллионов евреев специальными траурными богослужениями во всех городах, где проживали евреи.

Достоин удивления: Сталин разрешил московской еврейской общине откликнуться на этот призыв и организовать траурный молебен в той единственной синагоге, которая никогда не закрывалась в советской столице. Этот молебен состоялся 14 марта 1945 года. Богослужение проходило как правительственное мероприятие: соблюдение порядка обеспечивали милиция и огромная армия лубянских сотрудников в штатском. Хотя синагога вмещает 1600 человек, в траурном молебне приняло участие, по данным милиции, свыше двадцати тысяч (вероятно, цифра несколько занижена), не только москвичей, но и приехавших из других городов. Притом отнюдь не только евреев... Среди них были маршалы и генералы, министры, функционеры ЦК, академики, еврейская элита. Самую высшую партийную верхушку представляла (так легковерным казалось) жена Молотова – Полина Жемчужина[1].

Из знатных деятелей культуры выделялись не только всеми узнаваемые евреи, вроде солистов Большого театра Марка Рейзена и Соломона Хромченко или популярнейшего Леонида Утесова, но и самый знаменитый в ту пору русский тенор Иван Козловский. Тысячи людей остались на улице, движение по которой было перекрыто. Синагога выручила в тот день от пожертвований сотни тысяч рублей, которые передали в Фонд послевоенного восстановления страны.

Ходили слухи, что Сталин прислал главному московскому раввину благодарственную телеграмму. Даже если это только слух, несомненно одно: беспримерная для советской действительности еврейская манифестация была одобрена свыше. Наиболее подробные воспоминания об этой памятной церемонии оставил лауреат Сталинской премии, певец Михаил Александрович[2], оказавшийся в Советском Союзе после аннексии Литвы и с огромным успехом концертировавший по всей стране: его пригласили спеть заубойные псалмы.

В 1946 году та же церемония, разве что не столь помпезная, была повторена, а уже на следующий год – запрещена[3].

Что касается победного года, то Сталин дал согласие и еще на одну акцию подобного рода, также не имевшую прецедентов в советской истории. Он разрешил большой группе офицеров еврейского происхождения – участников войны – присоединиться к офицерам-евреям армий стран-победительниц, собравшихся осенью 1945 года в поверженном Берлине во время новогодних еврейских праздников, и вместе с ними отметить низвержение чудовища, вознамерившегося истребить всю еврейскую нацию во всех странах рассеяния.

Эти люди говорили на разных языках и мало походили друг на друга, но их объединяли общая историческая судьба и сознание национального единства в борьбе с гитлеризмом. Советские участники встречи не получили никакого нагоняя даже за то, что присоединились к прошедшему через века и произнесенному во время встречи американским офицером традиционному еврейскому тосту: «На будущий год – в Иерусалиме!» Об этом сохранились подробные воспоминания одного из участников

мероприятия, полковника, будущего профессора Высшей экономической школы в Ленинграде Александра Наринского[4].

Тогда еще, стало быть, Сталин не дал волю своим эмоциям, а остался верен более ему свойственному прагматическому курсу: еврейская карта продолжала существовать как козырь в большой политической игре, а не слишком разбиравшиеся в кремлевских интригах еврейские национальные деятели легковерно приняли ее за выражение подлинного сталинского отношения к трагедии, постигшей мировое еврейство.

Уже в 1947 году, как об этом свидетельствует хроника событий, антисемитская политика Кремля стала приобретать вполне очевидные очертания. Многие полагают, что наиболее зловещую роль в этом сыграл пришедший к руководству Лубянкой и не скрывавший, по крайней мере в служебном кругу, своего антисемитизма Виктор Абакумов, сменивший на этом посту Всеволода Меркулова.

Меркулов, пробывший у руля Лубянки лишь год, был правой рукой Берии (с сорок пятого года тот полностью сосредоточился на руководстве разработкой ядерного оружия, непременной частью которой был и атомный шпионаж) и в качестве антисемита себя не проявил: Берия опирался на большой коллектив преданных ему ученых и чекистов еврейского происхождения и – тоже стопроцентный прагматик – не видел надобности в их преследовании. Абакумов – лично он, в рамках своей компетенции – в таковых не нуждался и потому имел свободу рук. Но, разумеется, он не мог позволить себе самовольно поменять государственную политику в таком вопросе, который был тесно связан с международными отношениями и задевал так или иначе интересы первых лиц страны. Он просто чутко уловил настроения вождя народов и сделал по своей линии все для того, чтобы этим настроениям придать движение, обострить их, найти у Сталина необходимую поддержку.

Искуснейший интриган, Абакумов стал играть на самых чувствительных струнках сталинской природы – на его подозрительности, мании преследования, вере во всевозможные заговоры, – направляя проявление этих чувств во вполне определенную сторону. Информация, которая шла из Лубянки в ЦК, притом чаще всего – лично Сталину, неизбежно должна была привести адресата лишь к одному выводу: вся угроза – и власти, и самой жизни властителя исходит из еврейских кругов – отечественных и иноземных, чьи происки необходимо как можно скорее пресечь.

Сталин согласился с этой версией – он ждал лишь повода для принятия радикальных мер. Несомненно, однако, что фундамент для резкого поворота в национальной политике был заложен им самим гораздо раньше – абакумовское ведомство искусно подбрасывало ему приводившие его в ярость «факты», как бы подтверждавшие правильность его предвидения, мудрость принимаемых им решений и стимулировавшие к формированию новой идеологии.

Хотя лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» по-прежнему, как ни в чем не бывало, украшал первую страницу центрального партийного органа – газету «Правда», Сталин после завершения сталинградской Операции, а возможно и под непосредственным влиянием одержанной на Волге победы, начал исподволь создавать концепцию советского национального государства во главе с великим русским народом, «первым среди равных». Постепенно она складывалась во вполне определенную идеологию государственного национализма или, как это стало очевидней позднее, национал – коммунизма. Он стал культивировать историю России как историю русских побед, русской славы, русского величия, а не как историю страданий и унижений русских крестьян и рабочих.

Советские люди все более и более стали чувствовать себя людьми разных национальностей.

Василий Гроссман очень точно подметил в романе «Жизнь и судьба», что пятый пункт, в отличие от того, что было в двадцатые и тридцатые годы, вдруг оказался важнее шестого: пятым пунктом в анкетах и паспортах того времени определялась национальность, а шестым социальное происхождение. Именно это

«национальное противостояние», дьявольски реанимированное и искусно подогретое Сталиным, Солженицын выдает за некий «каленный клин», стабильно присущий якобы – двести лет! – двум народам.

Как раз тогда, в своем отношении к Израилю и вообще к еврейскому этносу, Кремль демонстративно отошел от классовой теории и марксистского интернационализма. Вместо «богатых и бедных» появилось деление на сионистов и антиссионистов, независимо от того, к какому классу те и другие принадлежат. Разгромленный на полях войны нацизм триумфально побеждал в сфере идеологической. Страх от вольнолюбивых мыслей возвращающейся с Запада армии, как это было уже в царской России после победы над Наполеоном, побудил Сталина включить пропагандистскую машину русского национализма, который в специфических российских условиях, без антисемитизма вообще не существует.

«Патриот» становился синонимом слова «русский» (этнический русский!), а западничество стало обобщенным синонимом «еврейства». Еврей – русский патриот – такое сочетание исключалось по определению. Точнее, по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда...

Сталин, несомненно, внес особый вклад в теорию и практику антисемитизма. Он объединил три его разновидности: расовый (этнический), ритуальный (иные называют его «бытовым») и политический. Впервые в истории, Сталин объединил еще и коммунизм с антисемитизмом, то есть сделал то, что коммунизму противопоказано – в данном случае действительно по определению. Для того чтобы придать этому противоестественному соединению более легальный и теоретически обоснованный характер, он дал евреям новое идеологизированное название – «космополиты» (эвфемизм еврея), а антисемитизму присвоил благородную миссию патриотической борьбы против космополитизма.

Апология русского лжепатриотизма сопровождалась и постоянным, нагнетаемым прессой, противопоставлением русской и мировой культур. Малейшее признание каких-либо ценностей не своей, то есть «заграничной», культуры начало квалифицироваться как «низкопоклонничество» и непременно получало «еврейскую окраску»: не мог же русский патриот восхищаться (пусть и гораздо скромнее: только признавать как данность) хоть какие-то достижения или открытия, рожденные на Западе! Космополитизм, означавший еще в совсем недавнем прошлом идею единства культур и наций, стремление стран и народов к взаимопознанию, был искажен и оклеветан. Развязанная Кремлем и Лубянкой борьба с ним имела два лика: приукрашивание «сталинского рая» и антисемитизм.

После убийства Михоэлса и практически в течение всего 1948 года продолжал разыгрываться публичный фарс: официальное признание заслуг Михоэлса (его имя было присвоено Московскому Еврейскому театру, который по-прежнему именовался Государственным) и реформирование ЕАК (то есть его сохранение) путем введения в состав комитета и президиума комитета очень известных деятелей политики, культуры и науки[5]. Однако за кулисами не только не произошло никаких изменений – напротив, маховик раскручивался с полной силой, вопреки тому, что было у всех на виду. Уже 20 января 1948 года, – через неделю после убийства Михоэлса и через четыре дня после его торжественных, государственных – похорон, был арестован заведующий отделом фотоинформации Совинформбюро Григорий Соркин, и от него тотчас же стали требовать показаний против вполне конкретных «шпионов»: Лозовского и «других руководителей ЕАК», к числу которых, естественно, в первую очередь относился Михоэлс[6]. Эти показания, причем непременно с указанием имен шпионов, завладевших Еврейским комитетом, у Соркина, равно как и у арестованных почти одновременно с ним сотрудников Совинформбюро – Ефима Долицкого и Якова Гуральского (негласного агента Лубянки), вымогали с помощью самых изощренных, мучительных пыток[7].

Эти, так называемые «следственные», действия продолжались и после того, как Сталин – устами Молотова и его заместителя Вышинского с демонстративной спешностью признал Израиль, и с новым государством стала налаживаться «дружба», подкрепленная конкретными делами: отправкой советского

оружия и военных специалистов. Но из дружбы, на которую рассчитывал Сталин, ничего не вышло. Тем, кто возглавил новое государство, Белый дом был гораздо ближе, чем Кремль: ностальгия по детству и юности (многие из них были выходцами из местечек Украины и Белоруссии) не лишила их трезвого расчета. Да и Англия срочно приспособилась к новой политической реальности.

В объятия к Сталину никто не спешил бросаться. Скрывать меняющийся курс национальной политики становилось все затруднительней: дискриминация по «пятому пункту» – при получении жилья, устройстве на работу, поступлении в университеты и другие высшие учебные заведения – проявлялась повсеместно и фактически не скрывалась. Все, что еще совсем недавно творилось за кулисами, теперь с непреложностью вылезало наружу.

Два события совпали во времени – в этой случайности, несомненно, была внутренняя закономерность. Первое состояло в том, что уже к сентябрю, то есть через три с чем-то месяца после создания Израиля, сталинская надежда на прочный союз с новым государством и на создание своего форпоста в ближневосточном регионе оказалась нереальной.

Второе же имело отношение не к международной ситуации, а к внутренней, и усиленно раздувалось Лубянкой в нужном для властей направлении. 3 сентября 1948 года в Москву с первой дипломатической миссией прилетела посол Израиля Голда Меир (в советской печати сообщалось о прибытии Голды Меирсон)[8]. Ее прибытие практически совпало с наступлением еврейского нового года. На его празднование Голда Меир отправилась в московскую синагогу. Снова, как три года назад, толпа запрудила улицу перед синагогой. Никакого «гигантского шествия по центральным магистралям столицы», как утверждала моментально распространившаяся молва, естественно, не было, но людей действительно собралось много, и чуть ли не каждый стремился приблизиться к послу, пожать руку, сказать какие-то прочувственные слова.

Через несколько дней, 16 сентября, большая толпа восторженно встречала Голду Меир у входа в Еврейский театр, куда она отправилась на спектакль[9]. Соответствующим образом сформулированные и прокомментированные донесения лубянских информаторов привели Сталина в ярость: вождь понял, что теряет контроль над значительной частью советских евреев, которые ощутили свою принадлежность к мировому еврейству, а не только к союзу счастливых народов, процветающих под солнцем сталинской конституции, и восприняли посла Израиля как посла «своего» государства. Ничего антисоветского в этих проявлениях и порывах, разумеется, не было: люди жили еще идеями пресловутого пролетарского интернационализма, мечтой об общности «пролетариев всех стран», и понятия не имели о том, какие идеологические перевороты уже произошли не только в сталинском мозгу, но и в кремлевской политике. Эйфорию, рожденную в довольно широких кругах появлением первого израильского посла (ведь в диковинку! такого же еще никогда не было и быть не могло!), надо было немедленно погасить, приняв адекватные (стало быть, – жесткие) меры. Они дали о себе знать уже через три недели после того, как с участием израильского посла московские евреи (пусть только небольшая их часть) отметили наступление нового года.

Поворот политики по отношению к Израилю отразила опубликованная 21 сентября 1948 года в «Правде» статья Ильи Эренбурга «По поводу одного письма». Статья написана в форме ответа на письмо некоего Александра Р., «немецкого еврея из Мюнхена».

То, что письмо сочинено, или, как теперь принято говорить, «смоделировано», не подлежит никакому сомнению – это было ясно еще тогда, а не вдруг открылось спустя несколько десятилетий. Как не подлежит сомнению и то, что Эренбург выполнял прямой сталинский заказ: произошла перемена политики по отношению к Израилю, и об этом надлежало уведомить мир. Но это означало – в реальных советских условиях тех лет, – что произошел и коренной поворот в сталинской внутренней политике. Эренбург не мог

не понимать этого (его дочь – Ирина Ильинична заверяла меня в девяностом году, что он действительно это понимал). Дстойно сожаления, что позже, в своих мемуарах или хотя бы в оставленных для будущих поколений заметках, Эренбург не нашел подходящих слов, которые выразили бы не иносказательно, не на эзоповом языке, его отношение к той грязной акции, в которую его втравили.

«Я хочу узнать, как относятся в Советском Союзе к государству Израиль? – якобы вопрошал автор «письма». – Можно ли видеть в нем разрешение так называемого еврейского вопроса?» Бездарная прямолинейность, чисто советская фразеология (чего стоит это «так называемого!»), примитивная безграмотность («разрешение вопроса» – в государстве?!), которую, правда, можно было отнести за счет малой квалификации переводчика, слишком очевидно выдавали заданность публикации: может быть, Эренбург таким образом постарался дать знать Западу, что не является истинным автором статьи, а исполняет верховную волю? Хочется верить...

«Советское правительство первым признало новое государство, – напоминал Эренбург, – энергично протестовало против агрессоров, и когда армии Израиля отстаивали свою землю от арабских легионов, которыми командовали английские офицеры, все симпатии советских людей были на стороне обиженных, а не на стороне обидчиков». Сталинский голос слышится и в тех пассажах, где прославленный писатель назойливо пишет об «атаках английских наемников», о «вторжении англо-арабских полчищ» и «англо-американского капитала». Но целью публикации, ее сверхзадачей, был, конечно, ответ на второй вопрос, содержащийся в придуманном письме.

«...Разрешение «еврейского вопроса», – разъяснял Эренбург своему мнимому корреспонденту, зависит «...» от победы социализма над капитализмом». Это типичная стилистика Сталина, а не Эренбурга, но мог ли хоть кто-нибудь уклониться тогда от формулировок, навязанных кремлевским хозяином? Все советские евреи, говорится далее в ответе за подписью Эренбурга, «считают советскую страну своей родиной и все они горды тем, что они граждане той страны, где нет больше эксплуатации человека человеком. «...» Граждане социалистического общества (существуют граждане страны, но не общества, – эту азбучную истину мог не знать бывший церковный семинарист, а блестящий эссеист, воспитанный европейской культурой, знал непременно. – А. В.) смотрят на людей буржуазной страны, в том числе и на людей государства Израиль, как на путников, еще не выбравшихся из темного леса (ничего даже отдаленно похожего на такую «образность» нет ни в одном сочинении, принадлежащем перу Эренбурга. – А. В.). Гражданина социалистического общества (снова «гражданин общества!» – А. В.) никогда не сможет прельстить судьба людей, влачащих ярмо капиталистической эксплуатации».

Поразительное косноязычие на уровне районной агитки, элементарная безграмотность, примитивные пропагандистские штампы – все это не имело ничего общего с публицистическим пером Ильи Эренбурга. Скорее всего, текст вообще написал не он, а кто-то из функционеров идеологического отдела ЦК, которому Сталин надиктовал нечто вроде тезисов желанной статьи. Иначе Эренбург хотя бы привел ее в соответствие с правилами грамматики. Но Сталину было нужно имя Эренбурга под ней. Его, и ничье другое! Уже зрели грандиозные и кошмарные планы – именно поэтому вождь счел необходимым напомнить, что не кто иной, как Сталин, заявил еще в 1931 году: «Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является наиболее опасным пережитком каннибализма».

Пропагандистскую кампанию под лозунгом «Единой родиной советских евреев является СССР» стал по команде, раздавшейся из Кремля, вести и ЕАК[10].

Редактор издававшейся комитетом на идиш газеты «Эйникайт» с натужным негодованием докладывал Маленкову, что «посещение посланником государства Израиль московской синагоги используется сионистски настроенными элементами для публичного восхваления государства Израиль» и что «в Минске и Жмеринке имели место факты провокационного подстрекательства к коллективному

выезду евреев в Палестину»[11].

Что касается статьи Эренбурга, то она, выполнив свое предназначение – проинформировать мир и страну о повороте кремлевской политики в еврейском вопросе, – пропагандистского эффекта не достигла. ЕАК был завален возмущенными письмами тех, кто бурно отреагировал на эту статью, называя Эренбурга «еврейским Квислингом»[12], «лающей собакой» и утверждая, что «великий Михоэлс, прочитав эту статью, содрогнулся бы в своей могиле от злобы и горя»[13]. «Что же вы прикидываетесь дурачком? – вопрошал в своем письме человек, подписавшийся как Моисей Гольдман. – Вы ведь хорошо знаете, что в «нашей горячо любимой социалистической родине» выгоняют отовсюду евреев, со всех более или менее ответственных должностей. Вы знаете, что евреев сейчас не принимают в аспирантуру, во многие институты не принимают евреев, а если их принимают, то по процентной норме. <...> Эренбург имеет наглость говорить от имени всего советского народа СССР. Он не имеет на это право»[14].

Безропотно поставив свою подпись под малограмотной и циничной ложью, состряпанной к тому же чужими руками, Эренбург заведомо обрекал себя на эту реакцию. Вряд ли он имел надежду ждать какой-то иной...

Антисемитская истерия, исходившая из Кремля и разными способами нагнетавшаяся по пропагандистским каналам, вступила в новую фазу. Едва ли не каждый день добавлял к общей картине какой-то новый оттенок. Почувствовав, что настал их час, дали знать о себе пока еще не смевшие обнажиться антисемиты. Лубянские следователи издевались над попавшими в их лапы жертвами еврейского происхождения, придираясь к любому поводу, чтобы унижить их национальное достоинство[15].

О том, какая вакханалия творилась в сфере науки и образования, с исчерпывающей полнотой свидетельствует одно письмо, написанное 4 февраля 1949 года, но – это видно из его содержания – продиктованное ситуацией, сложившейся в предшествующие годы. Оно примечательно и своим авторством, и тем несомненным фактом (об этом говорят пометки на подлиннике письма, хранящегося в архиве), что сталинский секретарь Александр Поскребышев передал его лично вождю, который не счел нужным на него ответить.

Автором письма был престарелый русский микробиолог с мировым именем – Николай Федорович Гамалея, избранный в 1940 году, когда ему исполнился уже 81 год, почетным членом Академии наук СССР. Вместе с ним в почетных членах состояли тогда только Сталин и Молотов. Хотя бы поэтому есть смысл привести из благородного и мужественного письма 90-летнего ученого обширные фрагменты: безупречная порядочность и объективность почетного академика не вызывают ни малейших сомнений.

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Как один из старейших ученых нашей страны я обращаюсь к Вам с настоящим письмом, не имеющим абсолютно никаких личных моментов, а затрагивающим один чрезвычайно важный вопрос, имеющий большое политико-общественное значение. <...> Для меня, как и для многих моих друзей и знакомых, является совершенно непонятным и удивительным факт возрождения такого позорного явления, как антисемитизм, который вновь появился в нашей стране несколько лет тому назад и который, как это ни странно, начинает вновь распускаться пышным цветом, принимая многообразные виды и формы. Антисемитизм начинает отравлять здоровую атмосферу нашего советского общества, начинает разрушать великую дружбу народов.

Судя по совершенно бесспорным и очевидным признакам, вновь появившийся антисемитизм идет не снизу, от народных масс, среди которых нет никакой вражды к еврейскому народу, а он направляется сверху чьей-то невидимой рукой. Антисемитизм исходит сейчас от каких-то высоких лиц, засевших в руководящих партийных органах, ведающих делом подбора и расстановки кадров. <...> Что антисемитизм идет сверху и направляется чьей-то «высокой рукой», видно хотя бы из того, что за последние годы почти

ни один еврей не назначается на должности министров (в то время их осталось только двое: Лев Мехлис – министр государственного контроля и Семен Гинзбург – министр промышленности стройматериалов. – А. В.), их заместителей, начальников главков, директоров институтов и научно-исследовательских организаций. Лица, занимающие эти должности, постепенно снимаются и заменяются русскими. Евреев не выдвигают на разные выборные должности. Если где-нибудь низовые организации или отдельные лица выдвигают куда-нибудь евреев, то вышестоящие органы (обычно соответствующие отделы ЦК) отводят кандидатуры евреев. Это можно было видеть во время выборов и в Верховные Советы, и в Академию наук СССР, и в Академии наук союзных республик, и в Академию медицинских наук, и в Академию педагогических наук, и т. д. <...> Только благодаря явному антисемитизму выдающиеся ученые нашей страны, составляющие ее гордость и славу, остались за бортом разных Академий, в то время как разные бездарности, порою не известные даже специалистам, оказывались «избранными» в действительные члены Академий наук.

Особенно печальным является тот факт, что не дают хода талантливой еврейской молодежи. Целый ряд моих старых друзей-профессоров, навещающих меня, рассказывают мне такие факты, от которых мои совсем поредевшие волосы дыбом становятся. Мне приводят факты, что за последние 2-3 года почти ни один еврей не был оставлен в аспирантуре многочисленных медицинских вузов нашей страны, несмотря на настойчивые рекомендации выдающихся ученых. <...> Я родом украинец, вырос среди евреев и хорошо знаю этот высоко одаренный народ, который так же, как и другие народы нашей страны, любят Россию, считают ее своей Родиной и всегда, находясь даже в эмиграции, мечтают о том, какую пользу они могли бы принести своей матери-Родине. Мой долг, моя совесть требуют от меня того, чтобы я во весь голос заявил Вам то, что наболело у меня на душе. Я считаю, что по отношению к евреям творится что-то неладное в данное время в нашей стране»[16].

Иезуитским ответом на это письмо явилось награждение через несколько дней (16 февраля) академика Гамалея орденом Ленина в связи с его 90-летием.

Академик горячо поблагодарил вождя народов за эту награду, тут же добавив: «Пользуясь случаем, хочу обратиться к Вам с одной просьбой, не имеющей личного характера, но имеющей большое общественное значение. <...> От пришедших поздравить меня лиц я узнал, что арестованы мои близкие (еврейские) друзья <...> Эти аресты, как мне думается, являются проявлением одной из форм того антисемитизма, который, как это ни странно, пышным цветом расцвел в последнее время в нашей стране. <...> Я просил бы Вас лично не допустить произвола и осуждения невиновных лиц, которые могут стать жертвами антисемитизма со стороны отдельных сотрудников Министерства внутренних дел, творящих иногда такие дела, за которые приходится краснеть и переносить тяжелые моральные переживания преданным своей Родине гражданам нашей страны»[17].

Это было поразительное по искренности и смелости последнее письмо выдающегося ученого, продолжившего традиции русских интеллигентов начала века – тех, кто выступил в свое время с гневным осуждением насаждавшегося сверху антисемитизма в связи с уже упоминавшимся делом Бейлиса.

Через несколько недель академика Гамалея, так и не дождавшегося ответа ни на первое, ни на второе письмо, не стало. Между тем аресты, о которых он писал Сталину, множились с каждым днем.

Лавинообразным посадкам предшествовали арест в Киеве писателя Давида Гофштейна 16 сентября 1948 года, а в Москве членов ЕАК писателей Исаака Нусинова и Иехезкиля Добрушина[18] и подписанное Сталиным решение политбюро от 20 ноября того же года: «...немедля распустить Еврейский антифашистский комитет, так как, как показывают факты, этот Комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати этого Комитета закрыть, дела Комитета забрать. Пока никого не

арестовывать»[19].

Нет ни прямых, ни косвенных свидетельств, которые могли бы объяснить, какую цель преследовал Сталин, дав еаковцам небольшую отсрочку: ничего, кроме предположений и версий. Но одно несомненно: это «пока» длилось чуть больше месяца.

Когда запрет на аресты был снят, первыми – 24 декабря 1948 года – оказались на Лубянке: преемник Михоэлса на посту руководителя Еврейского театра Вениамин Зускин и секретный осведомитель госбезопасности Ицик Фефер[20].

В течение января 1949 года под стражей пребывало уже почти все руководство ЕАК, в том числе писатели Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Лев Квитко, академик Лина Штерн и другие. Последним в этом печальном ряду оказался бывший куратор ЕАК Соломон Лозовский, в недавнем прошлом заместитель министра иностранных дел и начальник Совинформбюро, его арестом – 26 января завершается месяц[21].

Сталин не был бы Сталиным, если бы не пошутил на свой манер и в эти кошмарные дни, разыграв великолепный, по его представлениям, фарс. Считаю возможным рассказать об этом, ибо сам был свидетелем, отчего все и врезалось прочно в память. Недели за три до его ареста в Центральном доме литераторов (тогда он еще назывался Клуб писателей) состоялся юбилейный – так было написано в пригласительном билете – вечер выдающегося детского поэта Льва Моисеевича Квитки. Я очень любил его стихи (естественно, в русском переводе) и пошел на это странное чествование, добыв билет у своего институтского товарища Саши (у него было странное подлинное имя – Разатен) Гришаева: отец Саши, генерал Иван Гришаев, работал в главном политическом управлении министерства обороны, и его «по должности» приглашали на все мероприятия клуба, чем он ни разу не воспользовался.

Станным это чествование было потому, что у родившегося в 1890 году Квитки не могло быть в декабре 1948 года никакого юбилея: в Советском Союзе отмечали только так называемые круглые даты. Уже одно это с непреложностью свидетельствовало о том, что инициатива не могла исходить ни от руководства Союза писателей, ни от чиновников среднего уровня, хорошо знавших, какой антисемитский ветер задул в Кремлевско-лубянских кабинетах. Легко узнавался ярко индивидуальный, ни с чьим не схожий, почерк Сталина. Еще того больше: к несуществующему юбилею вдруг было приказано немедленно, с молниеносной быстротой, выпустить сборник избранных стихов виновника торжества.

«Юбилей» отмечали в Дубовом зале ЦДЛ, том самом, где размещался (и размещается, но – уже не для тружеников пера) ресторан и где многие-многие годы спустя писатели будут принимать у себя президента Рейгана. Все это происходило при огромном стечении публики сразу же вслед за арестом Фефера и Зускина, разгрома издательства «Дер Эмес» и закрытия газеты «Эйникайт». Вел вечер популярный детский писатель еврейского происхождения Лев Кассиль, писавший по-русски. Помню, как он сказал под бурные аплодисменты зала: «Когда я думаю о Квитке, я горжусь тем, что в моих жилах тоже течет еврейская кровь».

Возможно, я не запомнил бы так хорошо эти слова, если бы в этот момент – именно в этот! – меня не толкнул в бок мой сосед: «Посмотрите наверх». Наверху, на балконе, в сопровождении каких-то незнакомцев появился не кто иной, как Ицик Фефер, лицо которого я хорошо запомнил после его выступления на вечере памяти Михоэлса в мае сорок восьмого года. Молча побыв там несколько минут и поразив зал (значит, не арестован!), Фефер удалился вместе с охраной. Вечер еще не кончился, когда поползли слухи: «Никаких арестов нет, все враки...» Эйфория в литературных кругах длилась недолго: уже 25 января юбиляра-Квитку арестовали[22].

За несколько дней до этого прямо в здании ЦК арестовали Полину Жемчужину: чуть раньше Сталин повелел Молотову развестись с женой, и тот беспрекословно исполнил не подлежащий обсуждению

высочайший приказ[23] Молва приписывает Жемчужиной и родство с израильским послом, и роковую роль в трагическом развитии событий. Никаких родственных отношений между ними, разумеется, не было, даже спецслужбы не приписали Жемчужиной такую чушь. Согласно другой версии, она просто сблизилась с Голдой Меир, которая чуть ли не стала ее лучшей подругой, и этим навлекла на себя сталинский гнев, поскольку могла передавать израильскому послу какие-то тайны, ставшие ей известными от мужа. Не говоря уже о том, что Молотов никогда не разомкнул бы уста, чтобы поведать нечто секретное любимой жене[24], весь контакт Полины с Голдой состоял в мимолетной встрече на дипломатическом приеме в честь годовщины «Октябрьской революции»[25]. Сугубо светский разговор велся на странной смеси идиша и немецкого, которую сама Жемчужина, чувством юмора не обладавшая, двусмысленно называла австрийским языком, то есть – как бы! – немецким диалектом.

Тем не менее о ее пожелании счастья и процветания государству Израиль доложили Сталину, вызвав у него вполне определенную реакцию. Вскоре после ареста «бывшей» жены Молотов был смещен с поста министра иностранных дел, уступив место вышколенному сталинскому лакею Андрею Вышинскому. Впрочем, и сам Молотов, и проведшая несколько лет в ссылке его жена остались до конца своих дней столь же преданными хозяину, какими были всегда.

Список арестованных между тем рос день ото дня: затевалось грандиозное дело, притом, как это вытекает из известных теперь следственных материалов и секретной переписки между Кремлем и Лубянкой, процесс должен был быть открытым – показательным и назидательным. Для этого, естественно, будущим подсудимым надлежало признаться в совершении несуществующих преступлений, а сочинители должны были быть уверены, что те не откажутся от своих вымученных признаний на публичном суде. Кстати, уже по одному тому, что на Михоэlsa в этом смысле никак нельзя было положиться, он для открытого суда не годился и хотя бы только поэтому должен был быть устранен без камуфляжа легального судопроизводства.

Для того чтобы Сталин безоговорочно поверил в широко разветвленный заговор, угрожавший непосредственно его жизни, в список заговорщиков внесли и других, кроме Жемчужиной, еврейских жен его приближенных, и еще несколько знаменитых евреек. Арестовали жену начальника его секретариата Брониславу Соломоновну Поскребышеву, жену члена политбюро Андреева Дору Хазан (Сермус)[26]. В тюрьме оказались жена начальника Тыла вооруженных сил СССР, генерала армии Хрулева – Эсфирь Горелик[27]. Вместе с ними, по наспех сочиненной Лубянскими мастерами версии, попала под метлу член-корреспондент Академии наук, видный экономист Ревекка Левина, которая подверглась особо жестоким пыткам[28].

Оказалось, все они только тем и занимались, что разными путями «собирали сведения о личной жизни главы Советского правительства», передавали их американским шпионам, а уж в Америке на основе этих сведений готовились какие-то террористические акты, направленные против любимого вождя и учителя товарища Сталина. Сегодня кажется, что у сочинителей этих низкопробных сюжетов просто поехала крыша... Но нет, все сочинялось и, главное, воспринималось совершенно всерьез. И не было никого, кто мог бы втолковать обезумевшему тирану, что его просто дурачат, а он с превеликой охотой и тоже с полной серьезностью сам все подливал и подливал масла в огонь.

Разумеется, ни о какой лубянской самодеятельности не могло быть и речи. Прямых указаний – разработать такой-то план арестов, сколотить такую-то группу мифических заговорщиков и т. д. – Сталин никому не давал. Он вообще никогда не действовал столь примитивно и грубо, заботясь, в частности, о том, чтобы остаться в тени, не оставить безусловных улик и всегда иметь возможность дать задний ход. Но в том, что абакумовские сотрудники выполняли именно его поручения, нет ни малейших сомнений. Да и сами они нисколько в этом не сомневались. Своим повышенным интересом к увлекательному чтению их

«докладных» вождь недвусмысленно поощрял авторов. Достаточно ему было нахмуриться или пошевелить пальцем, и их активность тут же дала бы отбой.

Тот факт, что к этому времени наверху уже было принято не просто решение, относящееся к судьбе комитета или какого-то одного судебного дела, пусть и масштабного, а разработан план сталинского (видоизмененного гитлеровского) решения «еврейского вопроса» в целом, подтверждается начавшейся одновременно с массовыми арестами шумной пропагандистской кампанией против так называемого «безродного космополитизма». Этому предшествовало как бы случайно, но поразительно вовремя, подоспевшее письмо на имя Сталина от никому не известной, малограмотной журналистки Анны Бегичевой, которая работала в отделе искусств газеты «Известия»[29]. Оно отправлено 10 декабря 1948 года – через три недели после закрытия ЕАК, о чем в печати не сообщалось хотя бы уже потому, что на решении политбюро стоит гриф «совершенно секретно».

Естественно, те, кому был нужен такой «сигнал», об этом решении знали, потому-то и «организовали», то есть, попросту говоря, спровоцировали «искренний стон» обиженной критикессы[30]. Бегичева начинала свое письмо с истерической ноты: «Товарищ Сталин! В искусстве действуют враги!» Врагами – «европо-американскими агентами», как она их называла, – оказались поименованные доносчицей театральные критики, – все до одного евреи. Возмущенная «вражеской деятельностью» своих конкурентов, вообще не ведавших о ее существовании, невежда с двумя институтскими дипломами требовала «срочного принятия мер».

Меры не задержались. Все ее письмо исчеркано пометами, восклицательными знаками на полях – верными признаками внимательного чтения. Нет сомнения в том, что письмо читал сам Сталин. Не только читал, но вполне однозначно отреагировал. Об этом свидетельствует отправленная Сталину докладная записка по этому поводу заведующего отделом пропаганды ЦК – Дмитрия Шепилова (будущий секретарь ЦК), который дирижировал всей начавшейся антисемитской кампанией: «Заверяю Вас, что по-большевистски будут выполнены все Ваши указания, товарищ Сталин»[31].

Таким образом, можно с уверенностью сказать: есть документальное подтверждение того, что лично Сталин приказал эту кампанию провести. Тем самым опровергаются утверждения нынешних его апологетов, будто Сталин оклеветан и к преступлениям, которые ему «приписаны», отношения не имел.

Тот же Шепилов подготовил проект постановления ЦК «Об антипартийной группе театральных критиков» и отправил его 23 января 1949 года в секретариат Сталина. Это постановление и было принято на следующий день[32]. Как раз в эти дни и достигает своего пика волна арестов деятелей ЕАК и тех, кого повязали с ними в одну цепь.

29 января «Правда», а на следующий день и специально созданная для проведения погромной кампании газета «Культура и жизнь» (выходила три раза в месяц) публикуют редакционные (то есть, по советской практике, руководящие, обязательные к исполнению) статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».

Официальная антисемитская кампания началась. Целью были вовсе не театральные критики как таковые (они – лишь повод), а все те, кого в статье, явившейся дословным воспроизведением постановления ЦК, называют «безродными космополитами». Именно с тех пор этот термин стал эвфемизмом еврея, если по каким-то причинам не хотелось пользоваться аналогичным ему, но еще более прозрачным, эвфемизмом: сионист.

Самым зримым признаком начавшейся антисемитской кампании явилось так называемое «раскрытие скобок». Поскольку некоторые авторы, отнюдь не только театральные критики, пользовались псевдонимами, то в статьях, где они подвергались оскорбительной и вздорной «критике», стали в скобках

указываться их подлинные имена. Первым этой чести удостоился критик Ефим Холодов: при каждом упоминании его имени в скобках указывалось, что на самом деле он Меерович. Затем до сведения читателей довели, что молодые критики Даниил Данин и Борис Рунин на самом деле, соответственно, Плотке и Рубинштейн. Самое, пожалуй, трагикомическое: эти пресловутые скобки раскрывались не только для широкой публики, но и во внутренней – служебной и партийной – переписке. Употреблять слово «еврей» воспрещалось («интернационализм» из пропагандистских клише никуда не ушел), а обозначить национальную принадлежность обреченных на расправу было совершенно необходимо. Поэтому, например, подготовив постановление об изгнании из журнала «Новый мир» эссеиста Бориса Яковлева, – сочинившие этот проект и отправившие его начальству – партчиновники в сопроводительном письме с грифом «секретно» не забыли отметить, что злосчастный эссеист на самом деле, конечно, вовсе не Яковлев, а Борух Хольцман[33].

Кампания по раскрытию псевдонимов авторов еврейского происхождения продолжалась несколько лет и дошла до того, что тогда еще молодой писатель Михаил Бубеннов, только что отмеченный Сталинской премией за свою графоманскую повесть «Белая береза», но более известный в литературных кругах своим зоологическим антисемитизмом[34], опубликовал крикливую статью «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?»[35], отлично сознавая, сколь желанна на больших верхах такая постановка вопроса. Константин Симонов, возглавлявший тогда «Литературную газету», воспользовался не только своим положением, но и тем, что по разным причинам псевдонимами подписывались также и многие русские писатели, дал резкую отповедь погромщику на страницах своей газеты[36].

На помощь молодому антисемиту тут же пришел «старый», к тому же, и это было всем известно, находившийся под особым покровительством самых крупных партийных чиновников – Михаил Шолохов, годами не выступавший в прессе ни по одному, куда более, казалось бы, важному поводу, в развязном тоне спешно отчитал своего коллегу (и, кстати, фронтового товарища). «Кого защищает Симонов? – грозно и вполне недвусмысленно вопрошал он. – Что он защищает? Сразу и не поймешь»[37]. Но ответ на эти риторические вопросы был абсолютно ясен не только всем участникам этой беспримерной дискуссии, а, что гораздо важнее, и на самом верху. Вряд ли нашелся бы недоумок, который не понял, что и кого защищал Симонов в своей полемической реплике. Лишь благоволение Сталина избавило его тогда от каких-либо санкций.

Дело было, однако, не только в благоволении к Симонову. Сталин сам ни разу не выступил – ни публично, ни на узкопартийных сборищах (во всяком случае, в пределах того, что нам известно) – на тему о космополитизме, сионизме и прочем, и уж тем более до 1952 года – безусловно, (об этом ниже) впрямую по вопросу, который можно назвать еврейским. Все это выполняли другие, руководствуясь его указаниями, сделанными в хорошо понятной его окружению, но иносказательной форме. Сам же он вслух говорил совершенно другое.

Его тянуло высказаться «на публике» об антисемитизме только в осуждающем смысле, и любой психоаналитик знает, как грязные потайные мысли, если они сидят занозой в мозгу, требуют сублимации: по природе своей это та же незримая сила, которая тянет преступника на место совершения преступления – феномен, хорошо известный и психологам, и криминалистам. Рассказанная выше история с дирижером Головановым служит тому иллюстрацией. Практически тот же самый сюжет повторился и несколько лет спустя, в самый разгар борьбы с «космополитизмом».

Все тот же Константин Симонов был, среди многого прочего, еще и членом Комитета по Сталинским премиям, как до своей гибели – и Михоэлс. Но в отличие от Михоэлса, он нередко встречался со Сталиным (по его вызову, разумеется) – обсуждались выдвинутые кандидатуры. Перед своей смертью Симонов продиктовал воспоминания, где есть, в частности, эпизод на интересующую нас тему с весьма

интересными комментариями автора, который – отметим это – был очень осведомленным и очень наблюдательным человеком. Содержащийся в тех же, – посмертно изданных, воспоминаниях фрагмент о последнем публичном сталинском выступлении на пленуме ЦК (октябрь 1952 года; Симонов только что был избран кандидатом в члены ЦК и присутствовал на этом пленуме) до сих пор является наиболее полным и точным свидетельством задуманной Сталиным третьей волны Большого Террора.

Утверждая, что «способность Сталина в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть даже великим актером», Симонов иллюстрирует это, в частности, таким эпизодом. Зашла речь о выдвинутом на премию романе Ореста Мальцева «Югославская трагедия» – чудовищном по бездарности политическом лубке, клеймившем «американского агента Тито и его бандитскую шайку». Содержание романа Сталина не интересовало – он знал, что кремлевский заказ там выполнен. Но он воспользовался подходящим поводом и произнес такой монолог: «Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? Зачем пишется двойная фамилия? Видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?»[38]

Самое поразительное состоит в том, что Мальцев был стопроцентным русским из крестьянской семьи, родившимся в маленькой деревне из-под Курска, и Сталин прекрасно это знал, ибо вся родословная кандидата представлялась ему в досье, которое готовилось на каждого соискателя при участии спецслужб.

Впрочем, что же тут поразительного? Сталин, – комментирует Симонов, «сыграл в тот вечер перед нами, интеллигентами, о чьих разговорах, сомнениях и недоумениях он, очевидно, был по своим каналам достаточно осведомлен, спектакль на тему: держи вора, давай нам понять, что то, что нам не нравится, исходит от кого угодно, но только не от него самого». Однако, с печалью констатирует Симонов, «несколько документов, с которыми я ознакомился уже после смерти Сталина, не оставляют никаких сомнений в том, что в самые последние годы (только ли в самые последние? – А. В.) Сталин стоял в еврейском вопросе на точке зрения, прямо противоположной той, которую он нам публично высказал»[39].

Грустно, что очевидная для всех незашоренных людей, тем более его круга, истина открылась Симонову лишь после смерти вождя и что для этого ему непременно потребовалось ознакомиться с документами. Судя по всему, Симонова, как и многих людей, занимавших тогда различные посты, но не утративших совесть, все же мучила развернувшаяся антисемитская кампания (в уже цитировавшейся книге «Праведник», на с. 273, Джон Бирман утверждает, что «антисемитизм для Сталина был не только инструментом, но и убеждением»), хотя они, в том числе и сам Симонов, принимали участие в травле «безродных космополитов»[40].

Однако «истинные патриоты» в искренность Симонова не верили. Один из них – главный редактор газеты «Советское искусство» В. Вдовиченко в двух доносах Маленкову от 26 января и 14 февраля 1949 года писал о Симонове как о еврее («имеет наглость называть себя русским») или, «на худой конец», готов был считать его «просто продавшимся заокеанским евреем»[41]. Сами партийные функционеры еще воздерживались от таких дефиниций, слово «еврей» было все еще табуировано, но авторы писем в ЦК уже всю распоясались, и никто за это их не одернул.

Был ли Сталин убежденным антисемитом или к антисемитизму его привела логика политической борьбы, которую он сам же затеял, напролом продвигаясь к неограниченной власти? Строго говоря, принципиального значения это не имеет, но не может пройти мимо внимания, ибо любой диктатор, и Сталин не исключение, не только политик и государственный деятель, не только некая «социальная функция», но еще и человек с индивидуальными чертами характера, особенностями психики, вкусами и пристрастиями, и все это очень сильно влияет на принятие им тех или иных решений. Сложность ответа на

поставленный вопрос усугубляется еще тем, что Сталин был феноменальным фарисеем (актером, по выражению Симонова), он все время представлял, и перед публикой, и перед своим окружением, в маске, притом маски менялись в зависимости от ситуации, и никто не может сказать в точности, какую из масок он на самом деле любил, а какая была ближе к его подлинному лицу. Не уверен, что этот его маскарад, унижающий и кровавый, допускает в театрализованных программах об оскорбительных сталинских «шутках» ту благодушно умилительную интонацию, которую позволяют себе иные нынешние телерассказчики. Интонацию раба, восхищенного проказами своего хозяина. Но это лишь к слову...

Сталинские слова все время расходились с делами, чем он значительно отличался от другого актера на мировой политической сцене и главного его конкурента в этом постыдном состязании – Адольфа Гитлера. Тот свою пылкую «любовь» к еврейству ни от кого не скрывал, не лицемерил, его подлинные чувства входили составной, притом очень органичной, частью в доктрину национал-социализма, тогда как Сталин почти до самого конца разыгрывал из себя интернационалиста и друга всех народов без каких-либо исключений.

Именно в то время, когда антисемитская кампания набирала обороты и достигла невысказанных высот, Сталин впервые опубликовал в 13-м томе своих сочинений почти двадцатилетней давности свой ответ некоему американцу, господину Барнесу, где есть, в частности, такие строки: «СССР является одним из немногих государств в мире, где проявление национальной ненависти <...> преследуется законом. Не бывало и не могло быть случая, чтобы кто-либо мог стать в СССР объектом преследования из-за его национального происхождения»[42].

О том, насколько эти заявления соответствовали истине, станет окончательно ясно из следующей главы.

Но кому-либо может прийти в голову (в нынешней России это приходит, к сожалению, многим), что позиция Сталина на этот счет была продиктована чисто политическими соображениями в реально сложившейся тогда международной ситуации. Это нельзя, естественно, принять не только в оправдание, но даже в какое-то объяснение того, что он затеял на последнем витке своей жизни. Ибо истинные его чувства, которые до поры до времени проявлялись не столь масштабно и не столь заметно для всех, теперь стали фатально влиять на всю кремлевскую политику в связи с резким обострением его давней психической болезни.

Крупнейший психиатр – академик Владимир Бехтерев, лечивший Сталина еще в 1927 году, поставил ему диагноз: «паранойя» – и тотчас же был ликвидирован мстительным пациентом. Четверть века спустя, личный врач Сталина, академик Владимир Виноградов не посмел вообще назвать болезнь по имени, ограничившись рекомендацией: «Полный покой и временный уход от всякой работы», что вызвало немедленную реакцию Сталина: «В кандалы его, в кандалы!» Это и было сразу же сделано[43]. В любом случае дошедшая до своего пика мания преследования[44], изо всех сил подогреваемая Лубянкой, настаивавшей на том, что угроза идет от международного еврейства, в услужении которого находятся все советские евреи, оказывала огромное влияние на принимаемые Сталиным судьбоносные решения, угрожавшие не только еврейскому народу, но всей стране и всему миру. Он маниакально сосредоточился лишь на одной теме – еврейской и дал волю тем чувствам, которые издавна в нем копились.

Если поступки государственного деятеля еще можно как-то связывать с хорошо или плохо понимаемой им политической целесообразностью, то в отношениях с близкими людьми подлинные чувства проявляются во всей своей обнаженности. Даже оставляя в стороне убедительные свидетельства стойкого сталинского антисемитизма, приведенные в упомянутых выше воспоминаниях его секретаря Бориса Бажанова, необходимо напомнить и отношение Сталина к еврейским женам своих ближайших соратников (все они, кроме Екатерины (Голды) Горбман-Ворошиловой, были арестованы, притом по

обвинению в связи с «сионистскими кругами») и, что еще важнее, к родной дочери. Появление у юной Светланы первого возлюбленного, Алексея Каплера, встретило у отца только одну реакцию: «Это тебе сионисты подкинули (естественно, лишь для того, чтобы проникнуть в сталинский круг. – А. В.). Уж не могла себе русского найти!» Светлана, лучше, чем кто-либо, зная отца, заключает: «То, что Каплер еврей, раздражало его, кажется, больше всего»[45].

Узнав о намерении Светланы выйти замуж за Григория Морозова (Мороза), Сталин воспринял будущего зятя (между прочим, недавно скончавшегося первоклассного юриста-международника с очень высокой репутацией в профессиональных кругах) только как еврея и предупредил дочь, что ее муж никогда не переступит порога его дома. Так ни разу с ним и не встретился и, стало быть, о его личных качествах – ни плохих, ни хороших – знать не мог: ему было достаточно того, что тот еврей. Причем и не скрывал этого от Светланы. Опять тот же «довод»: «Не могла найти себе русского? <...> Он был еврей, и это не устраивало моего отца. <...> Он ни разу не встретился с моим первым мужем и твердо сказал, что этого не будет. <...> С моим мужем он твердо решил не знакомиться»[46].

То, что Светлана несколько раз повторяет в своих мемуарах одно и то же, показывает, насколько ее задевал антисемитизм отца. Зато, узнав, что добился своего, и дочь разводится, Сталин предоставил ей на радостях открытый счет в банке, то есть дал возможность за государственный счет сорить деньгами без всяких ограничений[47].

Очень хорошо знавший ситуацию изнутри – член сталинского политбюро Анастас Микоян рассказывал о том же в своих, посмертно изданных, воспоминаниях гораздо подробнее: «Когда Светлана вышла замуж за студента Морозова, еврея по национальности, к этому времени у Сталина антиеврейские чувства приняли острую форму. Он арестовал отца Морозова, какого-то простого, никому не известного, человека (к несчастью для Иосифа Морозова, тот работал заместителем по хозяйственной части у Лины Штерн, директора научно-исследовательского института. – А. В.), сказав нам, что это американский шпион, выполнявший задания проникнуть через женитьбу сына в доверие к Сталину с целью передавать все сведения американцам. Затем он поставил условие дочери: если она не разойдется с Морозовым, того арестуют. Светлана подчинилась, и они разошлись»[48].

То же самое подтверждает и Никита Хрущев: «Некоторое время Сталин его (Морозова. – А. В.) терпел. Потом разгорелся приступ антисемитизма, и Светлана была вынуждена развестись»[49]. Как только Светлана разошлась с первым мужем, Георгий Маленков точно оценил ситуацию и сразу понял, какие ветры задули в Кремле. Он понудил свою дочь Волю разойтись с сыном своего прежнего приятеля и сотрудника Михаила Шамберга – Владимиром, а папа Владимира почти сразу же был изгнан Маленковым из аппарата ЦК[50].

С родственным окружением Сталину вообще не повезло. Мария, вторая жена Алеши Сванидзе, брата первой жены Сталина, была еврейкой, и это бесило его, но изменить он ничего не мог, разве что расстрелять обоих (так и поступил)[51]. О второй жене его сына Якова, Юлии Мельцер-Бессараб, уже было сказано. Яков очень ее любил, что не помешало ему, оказавшись в плену, так высказываться об этносе, к которому принадлежала его любимая женщина, – в его словах почти текстуально звучат известные по воспоминаниям «соратников» реплики отца: «О евреях я могу сказать только одно: они не умеют работать. Главное, с их точки зрения, это торговля»[52].

О том, что «еврейский вопрос» был большим пунктиком Сталина, свидетельствует и тот факт, что он очень часто, на протяжении многих лет, возвращался все к той же теме в разговорах с разными людьми без всякого видимого повода, подчиняясь лишь ходу мыслей, которые роились в его мозгу. Это стало постоянным предметом его озабоченности, притом, стараясь все время отвергнуть чьи-то подозрения в антисемитизме (в том, что такие подозрения существуют, он не сомневался), Сталин, споря с невидимым

оппонентом, их опровергал.

Любой психолог даст этому вполне однозначное толкование.

В беседе с Феликсом Чуевым, до конца верный вождю и учителю, Молотов тоже отводил от Сталина подозрения в антисемитизме, фактически их подтверждая. Он настаивал на том, что Сталин ценил в евреях многие положительные качества. Но можно ли представить себе, что Сталин ценил «многие положительные качества» украинцев, таджиков, эстонцев, других народов тогдашнего Советского Союза. Или, скажем, эфиопов, испанцев, корейцев, чьим другом он тоже, естественно, был?.. Даже в его воспаленном мозгу ни эти, ни какие-либо другие этносы не воспринимались «в целом» как нечто единое, обладающее хорошими или плохими качествами. Восприятие нации как некоего монолита, с какими-то, глобально присущими ей, специфическими чертами, издавна связывают в России прежде всего с еврейством, и такое восприятие этноса «вообще», без каких-либо индивидуальных различий, к крови отношения не имеющих, является характерной чертой юдофоба.

(Снова напомним солженицынские обобщения: «евреи энергичны», «евреи умеют приспособливаться», «еврейская страстность», «еврейская выживаемость», «еврейский практицизм», «неутомимая еврейская динамика» – и так до бесконечности. Ни одного обобщения, касающегося другого этноса, я у Солженицына не нашел – хотя бы тут признал самоценность личности, право на индивидуальность, не растворенной в абстрактном «целом».)

К тому же, по утверждению того же Молотова, у Сталина было «недоверие к сионистским кругам»[53]. Но сионистами в партийных и лубянских кругах тогда называли евреев, а вовсе не только сторонников обретения евреями своей исторической родины – концептуальные различия Сталина не интересовали, еврей – он и был сионистом, великому теоретику национального вопроса эта дефиниция казалась и уместной, и справедливой, и не столь вызывающей. Молотов и сам не скрывает этого, ибо вслед за процитированной фразой, объясняя причину ареста жены, П. Жемчужиной, уточняет:

«Тут могли быть антисемитские настроения»[54].

До перехода от мыслей и слов к делу оставалось совсем немного.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. На очной ставке с И. Фефером 6 декабря 1948 года Жемчужина это отрицала, утверждая, что на молебне была не она, а ее сестра, хотя именно Жемчужину видели там многие участники церемонии, включая Зускина, который дал на этот счет и следствию, и суду развернутые показания. Не исключено, что эти показания у него были выбиты, но они подтверждаются и свидетельствами других очевидцев. О пребывании Жемчужиной на той церемонии мне рассказывал Леонид Утесов.

2. Александрович М. Я помню. Мюнхен (на русском языке), 1985. С. 126-128.

3. Там же.

4. Наринский Александр. Воспоминания главного бухгалтера Гулага. СПб., 1997. С. 119.

5. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 1714. Л. 3.

6. Костырченко Г. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 107-108.

7. Архив Главной военной прокуратуры. Надзорное производство по следственному делу № М-2522. Осужденный «Особым совещанием» (то есть «тройкой», без камуфляжа судебной процедуры) 14 сентября

1949 года к 25 годам лагерей, Соркин был освобожден после реабилитации, состоявшейся 29 июня 1954 года.

8. Известия. 1948. 4 сентября.

9. Звенья: Сб. М. Вып. 1. С. 551.

10. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 10. Л. 329-331.

11. Там же.

12. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 1054. Л. 235.

13. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. М., 1996. С. 276-277 и 308.

14. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 20. Л. 49.

15. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993. С. 143.

16. АП РФ (Архив Президента Российской Федерации). Ф. 3. Оп. 32. Д. 11. Л. 167-168.

17. АП РФ. Ф. 3. Оп. 32. Д. 12. Л. 83-84.

Чтобы не возвращаться впоследствии к той же теме, следует отметить, что в защиту подвергшихся травле и санкциям еврейских коллег, проявив несомненное мужество, выступало много представителей других этносов – их благородство и риск, на который они шли, в должной мере еще не получили оценки. Среди этих достойных людей были: профессор В. Десницкий, заместитель министра просвещения А. Арсеньев, ректор Ленинградского педагогического института А. Егоров, литературовед Г. Макогоненко и многие другие русские интеллигенты. См.: Звезда. 1989. № 6. Я сам оказался свидетелем того не афишируемого мужества, с каким защищал своих еврейских коллег мой будущий научный руководитель в аспирантуре, заслуженный деятель науки, профессор Сергей Никитич Братусь.

18. Архив Главной военной прокуратуры. Наблюдательное производство № 62556-48. Т. 2. Л. 174.

19. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 39. Л. 140.

20. Костырченко Г. В плену к красного фараона. М., 1994. С. 127.

21. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. М., 1996. С. 384.

22. Костырченко Г. С. 130.

23. Там же. С. 136.

24. Чув Ф. 140 бесед с Молотовым. М., 1991. С. 473.

25. Народ и земля: Журнал еврейской культуры. 1984. № 2. С. 168-169.

26. Торчинов В. А., Монтюк А.М. Вокруг Сталина. СПб., 2000. С. 57.

27. Удалось счастливо избежать ареста лишь подруге Эсфири – Розе Пересыпкиной, жене маршала войск связи Ивана Пересыпкина. Это в их загородном доме, в подмосковном дачном поселке Николина Гора, среди других русских генералов встречали новый, сорок девятый, год их друзья Перец и Эстер Маркиши.

28. Костырченко Г. С. 93-94.

29. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 237. Л. 75-80.

30. Это подтвердил в письме ко мне (отклик на мою публикацию доноса А. Бегичевой в «Литературной газете») работавший тогда в журнале «Огонек» фотокорреспондент Юрий Кривонос (хранится в моем архиве). По его словам, в коллективе хорошо знали, что ЦК «рекомендовал» главному

редактору журнала Анатолию Софронову дать первый толчок и «обоснование» подготовленной наверху кампании.

31. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 237. Л. 74.

32. Там же. Л. 56.

33. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 226. Л. 2.

34. Литературные новости. № 17. С. 8. В этой же публикации (Оскоцкий Валентин. Под сенью «Белой березы») сообщается, что несколько позже партийному начальству пришлось все-таки объявить Бубеннову выговор за «антисемитизм», ибо своей обнаженностью и злобой этот погромщик вышел за рамки обязательных «правил игры». Так что можно себе представить, каким было проявление его чувств, если вызвало такую реакцию даже в ЦК. «Государственный писатель» Бубеннов перещеголял своих единомышленников, приписав еврейское происхождение писателям с чисто русскими этническими корнями. За это и поплатился.

35. Комсомольская правда. 1951. 27 февраля.

36. Литературная газета. 1951. 6 марта.

37. Комсомольская правда. 8 марта.

38. Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 216.

39. Там же. С. 232.

40. Литературная газета. 1949. 12 марта.

41. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 237. Л. 5-24.

42. Сталин И. Собрание сочинений. 1951. Т. 13. С. 258.

43. См.: Пороки и болезни великих людей. Минск, 1998 и Буянов М. Ленин, Сталин и психиатрия. М., 1993.

44. Ноймайр Антон. Диктаторы в зеркале медицины. Ростов-на-Дону, 1997. С. 427. См. также безоговорочный диагноз президента Академии медицинских наук СССР Николая Блохина, основывающийся на заключении большой группы психиатров и относящийся к состоянию Сталина на конец сороковых годов: «нарастание садистических настроений, резко прогрессирующее обострение мании преследования, полное недоверие к своему окружению, даже к самым близким и верным, внушаемость во всем, что могло бы подтвердить постоянную убежденность в существующем заговоре против него» (Октябрь. 1988. № 8), а также сообщение его дочери Светланы Аллилуевой о «зашедшем далеко» атеросклерозе сосудов мозга, частых галлюцинациях и расстройстве речи. Об атеросклерозе, который привел к глубоким нарушениям функций нервной системы Сталина, свидетельствовал также профессор А. Л. Мясников, находившийся у постели умиравшего тирана (Литературная газета. 1989. 1 марта). Все эти симптомы, свидетельствующие о тяжелом психическом заболевании Сталина, не дают оснований для признания его невменяемым, не отвечающим за свои преступления (см.: Торчинов В. А., Леонтьев А.М. Вокруг Сталина. С. 91), но помогают лучше объяснить причину маниакального взрыва его полускрытого до поры до времени антисемитизма.

45. Аллилуева Светлана. Двадцать писем к другу. Лондон, 1967. С. 170.

46. Там же. С. 174-176.

47. Свидетельство близкого друга Светланы, профессора Серго Микояна, сына члена политбюро Анастаса Микояна: Огонек. 1989. № 15. С. 29.

48. Микоян А. Так было. М., 1999. С. 362-363.
49. Вопросы истории. 1991. № 12. С. 58.
50. Восленский Михаил. Номенклатура. Лондон (на русском языке), 1984. С. 397.
51. АП РФ. Ф. 45.0п. 1.Д. 1. Л. 1.
52. Там же. Д. 1554. Л. 11.
53. Чув Ф. 140 бесед с Молотовым. С. 475.
54. Там же.

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

Вакханалия, творившаяся в стране, начиная с первых месяцев сорок девятого года, ни для кого не могла остаться секретом, ибо приняла невероятные масштабы, затронула все регионы страны (кроме собственно России, – прежде всего Украину, Белоруссию, Молдавию, Латвию, Литву, где традиционно процент еврейского населения был выше, чем в других местах), да и не рассчитывала ни на какую секретность, ибо целью развернувшейся кампании было не только лишение евреев работы, не только их бытовая и моральная дискриминация, но и создание вполне определенного общественного мнения, которое все эти меры полностью бы одобрило.

Перечислить тех, кого затронула метла, дело едва ли осуществимое: точное число жертв никто не подсчитывал и подсчитать не смог бы, но то, что изгнанных с работы, лишенных заработка, оклеветанных и униженных – были десятки и сотни тысяч, никакого сомнения не вызывает. На этот счет сохранилось множество свидетельств, к которым я мог бы добавить и мои личные: как остались без работы (уволены вообще без всякой мотивировки), как пытались и не могли никуда устроиться мои родственники, друзья и знакомые нашей семьи. Именно тогда родился краткий, но чрезвычайно выразительный анекдот: вопрос о национальности допускает лишь такой вариант ответа – «да» или «нет». Существует мнение, что «новая национальная политика» коснулась только сферы идеологической и гуманитарной (культуры, науки, просвещения, журналистики и т. д.), но это не так. С заводов и фабрик, из больших и малых учреждений евреев гнали точно так же, как из консерваторий и университетов.

Спецслужбы и прокуратуры различного уровня все время сколачивали какие-то преступные группы, задумавшие вредить советской власти и готовившие переворот в угоду мировому еврейству. Наиболее громкий резонанс получил полностью сфабрикованный Лубянкой «заговор» на одном из самых крупных и самых престижных заводов страны – московском заводе имени Сталина, выпускавшем лучшие советские автомобили (грузовые и легковые). Руководителем заговорщиков, намеревавшихся по указанию американских сионистов взорвать завод, сделали помощника директора Алексея Эйдинова (Арона Вышецкого), его «подручным» главного конструктора завода Бориса Фиттермана, а в команду записали несколько десятков еврейских «националистов» (по неполным подсчетам – сорок два)[1].

Большинство из них было расстреляно, Фиттерман, получивший двадцать пять лет лагерей, по счастливой случайности выжил и впоследствии рассказал о том, каких признаний от него добивались. На возражения арестованного, обвинявшегося в шпионаже, диверсиях и подготовке террористических актов, на его требования к следствию представить хоть какие-нибудь доказательства выдвигавшихся обвинений, следователь – даже без особой злобы – пытался ему втолковать, как несмысленному ребенку: ты же еврей, какие еще нужны доказательства?[2] Именно с такими «доказательствами» дело было передано на рассмотрение «тройки», и почти все «заговорщики» получили смертный приговор.

В той или иной мере дискриминации подверглось большинство еврейского населения страны – в лучшем случае дискриминация только моральной: каждый с минуты на минуту ждал каких-то санкций. В эти месяцы и годы актом большого мужества для любого совестливого русского человека была поддержка гонимых евреев – пусть даже тайная, а тем более явная. Из уст в уста ходил рассказ о том, что на большом собрании интеллигенции Москвы руководитель Центрального кукольного театра, любимец и детей, и взрослых Сергей Образцов попросил слово и, взойдя на трибуну, произнес всего несколько слов – о том,

что его отец, знаменитый ученый, академик, русский интеллигент, сбрасывал с лестницы антисемитов. Ему простили – Образцова любил Сталин.

Прощали не всем.

Избежали чистки очень немногие – практически лишь те, кто считался ценным и незаменимым кадром в какой-либо специфической, особо нужной Сталину, сфере, прежде всего в атомной промышленности (там «своих» специалистов оберегал Берия), производстве оружия и строительстве (восстановление разрушенного во время войны считалось задачей первостепенной). Благодаря этому на министерских постах сохранились Борис Ванников, Ефим Славский и – рангом пониже, в качестве заместителей министров – Семен Гинзбург, Павел Юдин, Давид Райзер, Венямин Дымшиц, Иосиф Левин. Они же, помимо приносимой ими реальной пользы в качестве профессионалов, служили (на всякий случай!) барьерным щитом от возможных обвинений в государственном антисемитизме.

Однако в других сферах хозяйства и производства ничуть не менее полезные (вспомним, что и в нацистской Германии существовали неприкасаемые, «государственно полезные» евреи), в том числе носители генеральских званий, сталинские лауреаты, кавалеры множества орденов, пачками увольнялись со своих постов без всякой надежды найти хотя бы самый незначительный заработок.

Любое выражение недовольства влекло за собой еще более суровые санкции, вплоть до ареста – за клевету на национальную политику большевистской партии. Сотни раз я слышал в те годы популярную поговорку: «Бьют и плакать не дают» – она в точности определяла то, что на языке пропаганды называлось «моральным климатом». Дошло до того, что аресту подверглись работники транспорта, предоставлявшие железнодорожные составы для организованных групп переселенцев, направлявшихся из европейской части СССР в Еврейскую автономную область: в этом тоже виделся некий американо-сионистский заказ[3]. У Сталина хватило, однако, разума лишь частично, а не полностью согласиться с предложением занимавшего очень крупный пост в ЦК Юрия Жданова (сын покойного к тому времени члена политбюро, второй муж его дочери Светланы, впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР) разгромить «еврейскую банду физиков-теоретиков» во главе с Львом Ландау: кое-кого Сталин все же оставил работать, осознавая, какие потери понес бы, лишившись таких мозгов[4].

Все эти кульбиты делались не скрытно, но все же без нарочитого афиширования, тогда как борьба с «еврейским засильем» в культурно-идеологической сфере шла с демонстративной помпезностью, отчего и создавалось ощущение, что поле боя находится только там. На публичных собраниях, стараясь перещеголять друг друга в доношительстве и продемонстрировать свое верноподданничество, с надрывными осуждающими речами – под лозунгом «очистить почву от космополитического отребья» – выступали писатели, ученые, режиссеры и другие представители гуманитарных профессий, многие из которых считались раньше порядочными людьми. В Ленинграде один из любимейших артистов страны Николай Черкасов требовал суровой кары для «космополитических отщепенцев», в Москве ему вторила интеллектуалка Мариэтта Шагинян, докопавшаяся до еврейских корней Ленина и теперь искупавшая свою вину за столь постыдное открытие. Растерявшийся и перепуганный основатель и руководитель Камерного театра, еврей Александр Таиров (Корнблит), обливаясь слезами, присоединился к антисемитам-погромщикам – Сурову, Грибачеву, Софронову – и метал громы и молнии в адрес «антипатриотов»[5].

Несчастному Таирову, потерявшему чувство реальности в надежде спасти свое детище, ничто не помогло: через несколько месяцев его театр закроют, сам он почти сразу умрет, успев все же обратиться к Сталину с безответным воплем о помощи: «Зная Вашу сердечность и справедливость, я прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, о поддержке. Глубоко преданный Вам...»[6]

В панику впали и некоторые другие деятели культуры еврейского происхождения, став – по всем понятному психологическому закону – еще большими «разоблачителями», чем русские погромщики.

Хорошо известный в стране кинорежиссер Марк Донской в совершенно непотребных, издевательских выражениях публично клеймил самых близких друзей – режиссера Сергея Юткевича, кинодраматургов Блеймана и Трауберга, завершив свою прокурорскую речь возгласом: «Призываю и других стыдиться прошлых отношений с этими наймитами сионизма»[7]. Респектабельный художник – академик Александр Герасимов (его сын был женат на дочери уже арестованного к тому времени поэта Льва Квитко – Енте Львовне), расширяя список возможных жертв, требовал расправы с Ильей Эренбургом, который «позволяет себе такие гнусности, как восхваление уroda Пикассо и сиониста Шагала»[8].

Нескончаемый поток доносов, гневных филиппик, требований избавиться от «крючконосых и картавых» космополитов (такowymi оказывались в равной мере и всемирно известные ученые, и счетовод в какой-нибудь провинциальной артели) захлестнул и ЦК, и Лубянку. Не было сделано ничего, чтобы этот поток остановить. Напротив, он поощрялся. Населению предстояло психологически и эмоционально подготовиться к акциям, доселе невиданным: их разработка уже началась.

Заметными для всех признаками надвигавшейся катастрофы была не только продолжавшаяся повсеместно (в том числе и в печати) травля людей с еврейскими фамилиями и беспрестанно мелькавшие дефиниции типа «сионистские выкорышки», «сионистские наймиты», «продавшиеся сионизму душой и телом»... Одно за другим проходили собрания, где вроде бы должны были рассматриваться какие-то научные, творческие, теоретические вопросы, но «обсуждение» с первой же минуты превращалось в антисемитский митинг.

Я хорошо помню, например, такие судилища на юридическом факультете Московского университета, где малограмотные студенты, специально подобранные по «хорошим» анкетным данным, аспиранты и бездарные преподаватели вульгарно и оскорбительно шельмовали самых крупных профессоров, чьи труды были известны и высоко оценены еще до 1917 года: создателя первой советской конституции Георгия Гурвича, автора устава Международного Нюрнбергского трибунала Арона Трайнина (двоюродного брата академика Ильи Трайнина, а вовсе не его однофамильца, как полагают иные товарищи), первую в России женщину-адвоката и первую женщину-доктора права Екатерину Флейшиц, самого крупного в Советском Союзе специалиста в области уголовного процесса Михаила Строговича, другого виднейшего процессуалиста Моисея Шифмана и еще множество других ученых, которые, по словам их обвинителей, только и делали, что «принижали и оттесняли русских коллег» и «выслуживались перед границей», а Строгович – тот вообще дошел до такого кощунства, что призывал соблюдать права человека и отстаивал принцип презумпции невиновности.

«Чего другого можно было ждать от сионистского агента Строговича?! – истерически кричал с трибуны мракобесный преподаватель «советского строительства» Александр Аскеров, задрапировав свой взгляд непроницаемо черными очками. – Пусть признается, сколько ему платят за услуги его хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве». Заполненный до отказа огромный университетский амфитеатр подавленно молчал...

Не осталось, естественно, без внимания и почти одновременное закрытие всех существовавших в стране еврейских театров[9], исчезновение с театральных афиш имен драматургов еврейского происхождения и прочие акции – все до одной того же порядка. Было полностью разгромлено – сначала сняты с работы, потом исключены из партии, потом арестованы – руководство Еврейской автономной области[10] за то – прежде всего – что оно стремилось привлечь евреев из других районов Советского Союза переселиться туда и начать там строить свой национальный очаг. Как будто, создавая здесь, в дальневосточной тайге, вымученную и абсолютно искусственную «автономию», Сталин именно это и не предусматривал! Как будто на это и не была нацелена партийная пропаганда тридцатых годов! Только времена тогда были другие и цель тоже другая.

Уследить за виражами сталинских замыслов поистине было не просто. По какой-то причине, которая с точностью не определена до сих пор, резво начатое следствие по делу ЕАК вдруг затормозилось. В 1950 году то, что называлось допросами и очными ставками (а на самом деле вымогательством фиктивных признаний под пытками), практически было закончено. Готовилась обычная для того времени и для дел такого рода процедура уничтожения: смертный приговор, вынесенный «тройкой» («Особым совещанием»). Об этом свидетельствует и внезапное восстановление смертной казни сталинским указом от 13 января 1950 года – в день, когда исполнилось два года со дня убийства Михоэлса (Сталин любил такие «совпадения» – это станет вполне очевидным ровно через три года, о чем будет рассказано ниже).

Совсем недавно, в 1947 году, под звуки ликующих пропагандистских фанфар, смертная казнь была отменена – и вдруг восстановлена «по требованию трудящихся» для справедливого наказания террористов-заговорщиков[11]. Таковыми считались тогда руководители ЕАК, пребывавшие в лубянской камере.

Дело, однако, вдруг забуксовало – никакого формального (процессуального, если пользоваться юридической терминологией) отражения этой внезапной установки в деле нет. Но объяснение, конечно, имеется. Уничтожение еаковцев в целом, всех вместе, было столь значительной акцией, что оно могло состояться лишь в рамках осуществления какого-то глобального, масштабного плана.

Чрезвычайный стратегический замысел все время созрел в сталинской голове, но окончательно, как теперь это ясно, к тому времени еще не созрел. Поскольку задуманное уничтожение было политической, а отнюдь не юридической и даже не чисто лубянской, акцией, то и решение на этот счет зависело от поворотов политики, от игры на международной арене и еще, а возможно и прежде всего, от подковерной борьбы, которая шла в Кремле.

Затевалось грандиозное «ленинградское дело», приведшее к уничтожению члена политбюро и одного из вероятных сталинских наследников – Николая Вознесенского, другого кандидата в наследники, секретаря ЦК Алексея Кузнецова, руководителя обороны города во время блокады Петра Попкова и других партийных и государственных деятелей, обвиненных, естественно, в заговоре против Сталина. Это дело, которое началось в июле 1949 года, Сталин посчитал приоритетным – секретари ЦК показались его воспаленному воображению более опасными заговорщиками, чем еврейские поэты. Члены следственной бригады, раскручивавшей дело еаковцев, были спешно брошены на раскрытие преступных связей ленинградских заговорщиков[12].

Параллельно продолжались чистки в высших военных и военно-промышленных кругах, начатые еще в 1946 году арестом наркома авиационной промышленности Алексея Шахурина и главного маршала авиации Александра Новикова.

Какое-то время (весьма длительное, надо сказать: два года) Сталину было не до евреев. Если точнее, ему было не до принятия глобального решения по еврейскому вопросу, что же касается общей тенденции по борьбе с «сионизмом» и конкретной судьбы схваченных Лубянской людей, то там никаких изменений не произошло. Тех, кто не был включен в главную группу (15 человек), ликвидировали поодиночке, причем в приговорах, которые им вынесла «тройка» в 1950 и 1951 годах, все они названы сообщниками сионистских агентов, шпионов и террористов Михоэлса, Лозовского, Шимелиовича и других[13].

Между тем Михоэлс, как известно, вообще не был судим, даже фальсифицирование, а Лозовский, Шимелиович и другие еаковцы еще не предстали перед судом, числясь пока лишь подозреваемыми. Истинное правосознание лубянских палачей весьма точно выразил один из самых кошмарных следователей-истязателей Владимир Комаров при допросе Лидии Шатуновской. Подойдя к окну, из которого открывался вид на площадь Дзержинского, где было много пешеходов, и указав на них, он сказал: «Вот они все – пока еще подозреваемые, а вы, раз арестованы, уже осужденная»[14].

В непосредственной связи с делом ЕАК в общей сложности было арестовано 110 человек, не считая тех, кто составил так называемую основную группу. Десятерым были вынесены смертные приговоры, и их казнили (среди них хорошо известные в то время литераторы – драматург Иехезкиль Добрушин, прозаик Самуил Персов, поэт Арон Кушниров), пятеро умерли во время следствия от побоев (в том числе драматург и историк искусства, профессор Исаак Нусинов – в результате систематических пыток у него образовалась опухоль мозга), остальные получили от «тройки» («Особого совещания») от 10 до 25 лет лагерей[15].

Осенью 1950 года завершилась казнь трагедия ни в чем не повинных русских «заговорщиков» из Ленинграда, павших жертвами жесточайшей борьбы за власть (все они были «ждановцы», а место умершего к тому времени Жданова занял при Сталине его конкурент Маленков), и можно было, казалось, вернуться к «заговорщикам-сионистам». Но тут возникла скандальная интрига на лубяньских верхах, которая не только снова переключила внимание вождя, но и вызвала необходимость спешно менять сценарий.

Пока метастазы дела ЕАК вяло расплзались во все стороны, в орбиту внимания Лубянки по доносам ее сексотов попал «активный еврейский националист», профессор Московского медицинского института Яков Этингер. Поскольку напрямую с ЕАК профессор никак связан не был, ничего, кроме «антисоветских разговоров», да притом в узком кругу, доносчики ему не приписали, с арестом Этингера не торопились, надеясь создать компромат повесомей. Профессора взяли только в ноябре 1950 года. Лубянский шеф Абакумов сам его допрашивал, но больших перспектив в этом мелком, по тогдашним масштабам, деле не увидел, отнесся к нему равнодушно и никаких специальных указаний своим подчиненным не дал. По традиционной схеме упорствующих переводили для «обработки» в Лефортовскую пыточную тюрьму. Эта участь постигла и Этингера. Очень скоро он там и умер «от острой сердечной недостаточности», то есть, попросту говоря, был замучен.

Весьма ординарная, с точки зрения нравов и практики Лубянки, история была ловко использована интриганом и карьеристом Михаилом Рюминым, старшим следователем по особо важным делам госбезопасности. Этот, относительно средний по уровню, сотрудник Лубянки решил бросить вызов самому Абакумову. Он написал письмо Сталину о том, что Абакумов – министр! – находится в «преступной связи» с заговорщиками, что это он поспешил убрать слишком многое знавшего Этингера, опасаясь, как бы тот не раскрыл его, абакумовские, связи. Такой сюжет очень походил на те, которые регулярно разыгрывались и в Кремле, и на Лубянке, в связи с чем был воспринят Сталиным совершенно всерьез.

Загадка в другом: каким образом письмо заурядного лубянского офицера попало к самому Сталину? Ведь то, как минимум, должно было пройти через руки начальника сталинского секретариата – Александра Поскребышева, который сам был генералом госбезопасности. Весьма Вероятно, что инспирировал письмо лично Сталин. Едва ли Рюмин иначе отважился бы на такой, смертельно опасный, шаг. А подбросить эту мысль Сталину – намекнуть, пробудить интерес, задеть за живое – мог разве что Берия, к тому времени переставши влиять на своего бывшего протеже.

Берия – об этом уже говорилось – был отодвинут от Лубянки и «брошен» на атомный проект, а в условиях резко обострившейся борьбы за власть в Кремле ключевой пост шефа госбезопасности мог в итоге определить ее исход. Но Абакумова сменил вовсе не он, а безгласный и трусливый Семен Игнатьев, избегавший проявлять инициативу и механически, хотя и очень старательно, исполнявший распоряжения вождя. Для того, собственно, и был туда поставлен.

Сталин отреагировал в своем привычном стиле – Абакумов был арестован 12 июня 1951 года. Это не могло не отразиться на ходе следствия по делу ЕАК уже хотя бы потому, что заварил его именно Абакумов, сам превратившийся теперь в арестанта и сообщника (покровителя) тех, кого он же и арестовал. Вслед за Абакумовым была арестована чуть ли не вся верхушка Лубянки. Поскольку на руководящих постах в этом

зловещем ведомстве было по-прежнему немало евреев, дело стало принимать неожиданный оборот. Неожиданный – с точки зрения нормального, человеческого восприятия, но совершенно естественный в той параноидальной ситуации, которая сложилась, когда веры не было уже никому, а запущенный антисемитский маховик потерял управление и раскручивался по каким-то своим безумным законам.

Внезапно вознесенный на самые верха, Рюмин (Сталин дал ему генеральское звание и сделал заместителем министра госбезопасности) стал срочно сколачивать новое грандиозное дело – сионистский заговор на Лубянке: в этом ведомстве еще с довоенных времен, когда оно возглавлялось Берией, сохранилось немало евреев. Были арестованы: Леонид Райхман, Наум Эйтингон, Норман Бородин (Грузенберг), Лев Шварцман, Михаил Маклярский, Соломон Милынтеин, Арон Белкин, Ефим Либенсон, Яков Матусов, Лев Шейнин (долгие годы, будучи крупной фигурой в прокуратуре, он тесно сотрудничал с госбезопасностью), Андрей Свердлов и многие другие лубянские генералы и офицеры.

Некоторые из них принимали самое активное участие в «изобличении» еаковцев. Теперь их объединила общая участь, и в ближайшее время им предстояло увидеть друг друга на общей скамье подсудимых как участников одного и того же заговора. Поистине ни один гений шпионских романов не смог бы придумать такие сюжеты, на которые были горазды кремлевско-лубянские мастера.

Следствие по делу еаковцев было спешно возобновлено. Но Сталину стало ясно, что ни история с Крымом, ни передача безвестным американцам каких-то якобы секретных бумаг, ни сбор сведений о его личной жизни, ни даже ошеломительный альянс еврейских поэтов и артистов с еврейскими генералами госбезопасности, альянс жертв с палачами, – все эти обвинения, ни каждое в отдельности, ни взятые вместе, – не могут впечатлить МАССУ. Впечатлить настолько, чтобы вызвать всенародную ярость и стать основой для «окончательного решения» все никак не решавшегося «еврейского вопроса».

Такие весьма стандартные и, в условиях эмоциональной инфляции, уже не возбуждавшие никого обвинения не могли помочь реализации грандиозного плана. Задумывавшийся как открытый – с привлечением публики в виде «представителей трудящихся», журналистов и иностранных наблюдателей, – этот процесс был провален еще до его начала. Раскрыть – даже в тщательно отфильтрованном и сфабрикованном виде – какие-то лубянские тайны было совсем невозможно, предъявить еаковцам обвинения, которые звучали бы хоть сколько-нибудь правдоподобно, – тоже, а кроме того, к этим подсудимым у их истязателей вообще не было никакого доверия: на публичном суде они могли бы отказаться, как это вскоре случилось на суде не публичном, от того, в чем вынуждены были признаваться в пыточных кабинетах.

И вместе с тем надо было что-то делать: арестованные томились в тюрьме более трех лет, ничего нового против них собрать (читай: сфальсифицировать) не удалось, и продолжаться до бесконечности это состояние не могло тоже. Сталин дал команду: процесс начинать, по вести его при закрытых дверях[16].

О том, как процесс готовился и проходил, известно из уникального документа – рапорта (докладной записки) председателя военно-судебной коллегии генерала Александра Чепцова, написанного 15 августа 1957 года на имя и по приказу министра обороны, маршала Георгия Жукова. Поскольку рапорт написан в связи с привлечением членов судебной коллегии (генералов и офицеров юстиции) к партийной ответственности, он адресован не Жукову-министру, а Жукову – члену Политбюро.

Этот документ, подлинник которого мне был предоставлен в 1989 году на несколько часов начальником одного из отделов суда Олегом Петровичем Темушкиным – с согласия председателя Верховного суда СССР Евгения Алексеевича Смоленцева – опубликован мною сначала фрагментарно, с факсимильным воспроизведением части текста и подписи[17], а затем полностью[18]. Естественно, автор рапорта пытался снять с себя какую-либо вину за неправоудный приговор и перенести ее целиком на других. Личная сверхзадача автора вполне очевидна. Нас интересует, однако, не чья-то вина (она огромна у

всех причастных к этой трагедии, в том числе и у Чепцова, как бы он себя ни выгораживал), а хронология событий и расстановка действующих лиц.

Суду были преданы пятнадцать человек. Список возглавлял Соломон Лозовский. За ним следовали писатели Ицик Фефер, Перец Маркиш, Лев Квитко, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, академик Лина Штерн, врач Борис Шимслиович, актер Вениамин Зускин, историк Иосиф Юзефович (Шпинак), журналист Лев Тальми, сотрудники ЕАК – редакторы и переводчики: Илья Ватенберг, Чайка Ватенберг-Островская и Эмилия Теумин. Пятнадцатый обвиняемый, заместитель министра госконтроля РСФСР Соломон Брегман, в начале процесса тяжело заболел и умер (уже после того, как были казнены его «подельники») естественной смертью, если, конечно, смерть в застенке после пыток и унижений можно назвать естественной.

Ни прокурора, ни адвокатов в процессе не было. Рюмин и его команда устроили так, чтобы он проходил в здании лубянского клуба имени Дзержинского, где всюду, в том числе и в совещательной комнате судей, были размещены подслушивающие устройства, а подсудимые во время перерывов судебных заседаний подвергались давлению со стороны следователей. Тем не менее самый факт организации длительного (он продолжался два с половиной месяца) процесса вместо обычного конвейера (двадцать минут на каждого подсудимого) свидетельствует о том, что, и начав процесс, Сталин финальную точку в своем замысле еще не поставил.

То, в чем ни у кого никогда не было сомнения – процесс находился под прямым сталинским контролем, – четко сформулировано Чепцовым, человеком, который лучше, чем кто-либо, знал закулисную сторону этого судилища. Он сообщил маршалу Жукову в своем рапорте, что «дело докладывалось т. Сталину или Политбюро ЦК, где предварительно решались вопросы вины и наказания арестованных». Тем не менее «в первые же дни процесса у состава суда возникли сразу сомнения в полноте и объективности расследования дела. <...> Стало ясно, что выносить приговор при таких непроверенных и сомнительных материалах было нельзя».

Чепцов подробно рассказывает в своей докладной записке, как он, прервав процесс (этот факт подтверждается и протоколом судебного заседания), начал хождение по служебным кабинетам в надежде заручиться поддержкой высоких должностных лиц, чтобы не довести дело до уже предрешенного приговора, но сочувствия нигде не нашел: никто не захотел класть свою голову на плаху – ведь приказ был отдан Сталиным и, стало быть, никакому обсуждению не подлежал!

Впоследствии Маленков подтвердил, что Чепцов обращался с просьбой разрешить ему не выносить обвинительный приговор, а вместо этого отправить дело на дополнительное расследование, и что о просьбе Чепцова им было лично доложено Сталину[19]. Ответ Маленкова (то есть фактически Сталина) звучал так: «Что же вы хотите, нас на колени поставить перед этими преступниками? Ведь приговор по этому делу апробирован народом, этим делом Политбюро ЦК занималось три раза. Выполняйте решение Политбюро!» Свой рапорт судья-генерал Чепцов завершил такими словами: «Считаю, что я принял все зависящие от меня меры к законному разрешению этого дела, но меня в тот момент абсолютно никто не поддержал, и мы, судьи, как члены партии, вынуждены были подчиниться категорическому указанию секретаря ЦК Маленкова (читай: Сталина. – А. В.)».

Конечно, с наших сегодняшних позиций оправдания Чепцову, приговорившему все-таки к расстрелу абсолютно безвинных людей, нет никакого. И сам он пишет, что в юридической их невиновности был убежден. Даже и по тогдашним меркам, отказавшись вынести обвинительный приговор и отправив дело на дополнительное расследование, Чепцов рисковал разве что партийным билетом и должностью: наказание тяжкое для тех времен, но однако же не смертельное. И все-таки он шевельнулся, все-таки сделал хоть что-то (безропотно покорные служаки не делали вообще ничего), а для историков оставил

ценнейший документ, раскрывающий механизм легализованного убийства и помогающий понять его конечную цель.

Еаковцев судили, в сущности, только за то, что они евреи и что хотели отстаивать свою национальную идентичность. Свою – и тех, в чьих жилах текла такая же кровь. Даже просто за то, что они говорили и писали на идиш. Иначе Давиду Бергельсону не пришлось бы сказать в своем последнем слове: «Я был чрезвычайно привязан к еврейскому языку. <...> Я знаю, что мне предстоит недолгая жизнь, но я его люблю, как любящий сын любит мать»[20].

Через весь процесс, где из-за отсутствия прокурора роль обвинителя играл сам председатель суда, проходит одна ведущая тема: эти евреи все время напоминали и напоминают себе и другим, что они евреи! В сложившейся тогда обстановке это само по себе уже считалось тягчайшим преступлением против «советского народа», против советской власти, против ее вождя товарища Сталина.

Между тем не кто другой, как он сам, товарищ Сталин, в одной из статей, включенных в только что изданное собрание его сочинений, на этот счет высказывался так: «Политика ассимиляции безусловно исключается из арсенала марксизма-ленинизма как политика антинародная, контрреволюционная, как политика пагубная»[21]. Если мы вспомним высказывание Ленина по вопросу об ассимиляции (оно процитировано в главе «Всегда виновны»), то увидим: лучший ученик Ленина полностью расходился по этому вопросу со своим учителем!

Таким образом, еаковцев можно было бы обвинять в противостоянии Ленину, но никак не Сталину: уж его-то указания они выполняли неукоснительно. С кем, однако, можно было полемизировать в следственных казематах и на судебном процессе?

Впрочем, в сравнении с тем, как проходили подобные процессы – открытые или закрытые – в сталинские времена, суд над еаковцами можно считать беспрецедентным. Каждого подсудимого допрашивали подолгу и по нескольку раз, практически все они отвергли возведенную на них следователями клевету и энергично спорили с судьей-обвинителем. Вызывались и допрашивались, в том числе и самими подсудимыми, те, кого называли экспертами. Среди них отличился особенно усердствовавший на следствии ничтожный «комсомольский поэт» Александр Безыменский, обнаруживший в творчестве подсудимых «махровый национализм». В унисон ему пели и другие эксперты – работники ЦК, газеты «Правда» и аппарата Союза писателей: Владимир Щербина, Юрий Лукин, Григорий Владыкин, Семен Евгенов[22]. Они несли несусветную чушь, и подсудимым дозволялось оспаривать их заключение. Никакого результата это, естественно, не имело, но зачем же была нужна такая громоздкая декорация для закрытого, секретного суда? Бездарно сколоченная бездарными следователями ложь была столь чудовищной и очевидной, что поколебала даже ко всему привыкших и все повидавших судей.

Была и еще одна причина. Не иначе как Сталин собирался не ставить в этом процессе финальную точку, а использовать его для последующих процессов и действий, максимально расширяя и без того огромный список заговорщиков и создавая тем самым «обоснование» для тех мер, принятие которых он вынашивал в своей голове.

О том обстоятельстве, что это не домысел, не версия, а доказанный факт, свидетельствует документ, найденный в архиве: еще до начала «процесса пятнадцати», 13 марта 1952 года, министерство госбезопасности приняло постановление начать следствие по делам всех лиц, имена которых в любом контексте фигурировали в ходе допросов до делу ЕАК. Список включал 213 человек, которым тоже предстояло пройти через истязания и пытки, Гулаг, а многим из них (вероятней всего, – большинству) оказаться в расстрельной яме.

Среди этих обреченных были: писатели Илья Эренбург, Василий Гроссман, Самуил Маршак, Борис

Слуцкий, Александр Штейн, Натан Рыбак, братья Тур (Леонид Тубельский и Петр Рыжей), Александр Крон, Константин Финн, Иосиф Прут, композиторы Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, кинорежиссер Михаил Ромм, артист Леонид Утесов (Вайсбейн), академик Борис Збарский, профессора-историки Исаак Зубок и Исаак Звавич и многие другие, очень известные тогда в Советском Союзе, личности из мира культуры, науки, искусства, образования, генералы, Герои Советского Союза и Герои социалистического труда, лауреаты Сталинских премий[23]. У Исаака Нусинова, то есть, стало быть, не позже 1950 года, когда его домучили, были выбиты показания против Бориса Пастернака[24], которого, таким образом, можно подключить к тому же списку. Вряд ли вошедших в него не постигла бы та же участь, о которой так безбоязненно, с такой болью, откровенностью и гневом говорил в своем последнем слове Борис Шимелиович: «Прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме телесные наказания. А также отучить отдельных сотрудников МГБ от мысли, что следственная часть – это святая святых»[25]. Он добавил еще: «На основании мною сказанного в суде я просил бы привлечь к строгой ответственности некоторых сотрудников МГБ, в том числе и Абакумова»[26].

Просьба эта, в сущности, была удовлетворена, но не той военной коллегией, которая судила Шимелиовича – единственного из всех, кто выдержал стойко все муки, все пытки. Мы не вправе корить никого, кто не выдержал, но обязаны воздать должное тому, чей потолок выносливости оказался предельно высоким. «Я очень любил свою больницу, и вряд ли кто другой будет ее так любить», – этими безыскусными, пронзительно человечными словами завершил Шимелиович свое последнее слово, но разве могло оно тронуть судейские сердца, тем более что истинно ПОСЛЕДНЕЕ слово принадлежало не судьям, не подсудимым, не кому бы то ни было, а лишь единственно всемогущему, который это слово сказал и менять его не собирался.

До ухода тирана в небытие и благотворных перемен в Кремле оставалось совсем немного. Жертвы самого позорного за всю историю человечества, откровенно, без малейшего камуфляжа, антисемитского процесса не дотянули до этих дней чуть более полугода. Казнь свершилась 12 августа 1952 года – после того, как ходатайство о помиловании, поданное всеми осужденными с разрешения судьи Чепцова, было отклонено.

Только Лине Штерн, в работы которой по продлению жизни Сталин почему-то поверил (он верил во все подобные работы – адски хотел стать бессмертным не в метафорическом смысле!), сохранили жизнь и отправили в ссылку – в Казахстан. Работать там она не могла – на какие ее исследования по продлению жизни мог рассчитывать Сталин, так и осталось неясным. Впрочем, способность мыслить логически его к тому времени уже покинула навсегда. Аресту или высылке подверглись все близкие и дальние родственники осужденных – им даже не сообщили ни о самом процессе, ни о его итогах. У некоторых продолжали принимать передачи для своих арестованных мужей даже после того, как те были расстреляны.

Казненные в августе пятьдесят второго были виноваты только в одном: в том, что родились евреями и не захотели отказаться от своего первородства.

Растянувшееся на несколько лет легализованное уничтожение еврейских национальных лидеров и тех, кого к ним пристегнули – по воле диктатора, строжайше скрывалось от всего мира. Признать то, что творилось за закрытыми дверями, власть еще не решилась. Даже много позже свершившейся казни ложь все еще продолжалась: находившийся в США с официальной миссией писатель Борис Полевой, не моргнув глазом, в ответ на вопрос писателя Говарда Фаста, просоветски настроенного (тогда еще просоветски!), куда исчез поэт Лев Квитко, ответил: «Он никуда не исчез, перед отъездом из Москвы я его видел и разговаривал с ним. Он уединился и пишет новую книгу»[27].

Анализируя, в совокупности, весь огромный, доступный нам сейчас материал, можно с уверенностью сказать, что никак не позже осени 1952 года для Сталина в принципе вопрос о судьбе советских евреев был решен, но не были отработаны детали, которые в данном случае, из-за грандиозности и масштабности предполагавшейся операции, имели очень большое значение. Это был как раз тот, возможно единственный в сталинской биографии, случай, когда принять решение оказалось гораздо проще, чем его исполнить. И только это, до какого-то времени, останавливало Кремль от того, чтобы громко оповестить мир о переходе всего задуманного пождем в завершающую стадию.

И все-таки потребность в нравственном алиби, в каком-то оправдании перед современниками или потомками, в том, чтобы в очередной раз умыть руки и переложить на других ответственность за то, что он задумал и что миру предстоит пережить, – эта потребность, как всегда, осталась при Сталине. Привычной своей методике он не изменил.

В конце 1952 года, вспоминает очевидец (Хренников Тихон. Так было. М., 1994. С. 179), Сталин последний раз присутствовал на заседании комитета, распределявшего премии его имени. Окончательное решение принималось, как всегда, в апреле, – пока что шел еще первый тур. И вот тогда, неожиданно для всех и вроде бы «ни к чему», Сталин громко сказал: «У нас в ЦК антисемиты завелись. Это безобразие». То есть снова «отмежевался», как это было в случае с Головановым или с Мальцевым-Ровинским. Он-то сам хорошо знал, насколько эта его реплика «ни к чему»...

Борьба с еврейством под видом борьбы с сионизмом (точное определение этого понятия, даже в сталинской интерпретации, никогда в советской печати не приводилась) была тогда же перенесена на международную арену – в пределах пространства, на которое распространялась сталинская власть.

В Венгрии провели «репетицию»: на процессе Ласло Райка трое из семи обвиняемых были евреями. Об их национальной принадлежности вслух не говорилось, но зато в обвинительном заключении шла речь об их участии в контрреволюционном заговоре международного сионизма, а не какого-то другого «изма», и тема эта без конца мусолилась во время процесса. Во главе вассальной Венгрии стоял еврей Матяш Ракоши, он покорно принял навязанный ему сценарий – акция удалась.

В Румынии подвергли пока еще домашнему аресту пламенную коммунистку Анну Паукер (Рабинович) – министра иностранных дел, члена политбюро, секретаря ЦК, бывшего представителя румынской компартии в Коминтерне. Обвинение было тем же. Прошло и тут. В Польше изгнанию и остракизму подверглись недавние члены политбюро еврейского происхождения: Якуб Берман, Гиляри Минц, Эдвард Охав и другие, но, увы, не за то, что были ревностными проводниками лубянского-кремлевской линии, а за то, что – евреи.

Следующая акция была уже с куда более мощным замахом. Сталин лично потребовал от чехословацкого президента Готвальда арестовать главу компартии Рудольфа Сланского (Зальцмана) и большую группу партийных и государственных деятелей еврейского происхождения: Бедржиха Геминдера, Рудольфа Марголиеса, Эуджена Лейбла, Бедржиха Райцина, Отто Шлинга, Отто Фишла, Артура Лондона, главного редактора основной партийной газеты «Руде право» Андре Симона (Каца) и других. Все делалось по классической сталинской модели: 31 июля 1951 года Сланский из рук чехословацкого лидера Клемента Готвальда получил по случаю 50-летия высший орден страны, 6 сентября снят со всех постов, а в ночь на 24 ноября арестован.

Для подготовки процесса в Прагу выехала большая группа лубянских «советников».

У них была одна задача: создать не просто некий «заговор», но непременно сионистский. Впервые за все время фальсифицированных политических процессов, организованных в сталинской империи (по

крайней мере, вслух никто не называл на процессах ни Троцкого, ни Зиновьева, ни Каменева, ни Радека евреями), одиннадцать из четырнадцати обвиняемых были прямо идентифицированы в обвинительном акте как лица «еврейского происхождения», которое, по формуле обвинения, и было причиной их «измены»: они продались все тому же мировому буржуазному национализму. И тоже впервые – публично, без всякого стыда перед лицом мирового общественного мнения, – тяжким преступлением объявлялся не антисемитизм, а борьба с ним.

Через Чехословакию, как мы помним, по указанию Сталина, отправлялись в Израиль, в помощь новосозданному государству, оружие и военные кадры. И некоторые подсудимые, действительно, принимали участие в этой сталинской операции. Четыре года спустя над ними издевался за это прокурор Йозеф Урвалек: «Опасность нашествия международного сионизма стала еще более грозной после того, как был создан американский протекторат – так называемое государство Израиль. Подсудимые сразу же стали его холопами и лакеями». (London Artur. L'Aveu. Paris, 1968. P. 307).

Артура Лондона, бывшего заместителя министра иностранных дел, спасло родство с членом политбюро французской компартии Раймоном Гюйо: они были женаты на родных сестрах. Солдат интернациональных бригад в Испании, участник французского Сопротивления, узник Маутхаузена, он был награжден орденом Почетного Легиона и Военным Крестом с пальмами за свою борьбу с нацизмом, а потом другими нацистами едва не повешен. Освобожденный после смерти Сталина и Готвальда, Артур Лондон рассказал миру правду о том, как готовился и как проходил этот откровенно антисемитский процесс.

«Рука Москвы» забросила антисемитские семена даже туда, где для них не было вообще никакой почвы. В Болгарии до войны жило около 48 тысяч евреев, и они никогда не подвергались дискриминации. Когда под давлением Берлина была сделана попытка (1940) принять антиеврейские законы, вся болгарская интеллигенция и множество депутатов парламента выступили с возмущенными протестами. Болгарские евреи были спасены от депортации в лагеря смерти самим населением. Об этом подробно рассказал болгарский писатель Хаим Оливер в своей книге «Ние, спасените» («Мы, спасенные»). Цифры депортированных из разных стран в лагеря смерти европейских евреев публиковались многократно. Лишь в графе «Болгария» всегда стоял прочерк: ни одного! Среди наиболее видных участников болгарского Сопротивления можно встретить множество еврейских имен, и все они свято почитались новой властью. Им воздвигнуты памятники, в их честь установлены мемориальные доски, их именами названы улицы, о них написаны и изданы книги. Какое же насилие надо было произвести над чуждой этому мракобесию нацией, чтобы и ее заставить плясать под сталинскую антисемитскую дудку!

Старый болгарский коммунист, активный участник партизанского движения Алберт Коэн рассказывал мне, как по приказу из Москвы началась в 1952 году, а в начале пятидесят третьего достигла своего разгара, чистка всех звеньев аппарата от еврейского присутствия. Сам он был изгнан с поста главы национального радиовещания. Почти все болгарские аппаратчики прошли подготовку (партийные и прочие школы) в Москве и привезли оттуда не только прямые инструкции, но и, главное, атмосферу подозрительности по отношению к евреям. Началось планомерное отторжение их от всех ключевых постов, изгнание из всех жизненно важных общественных сфер.

Долгое время не было документального подтверждения того, что (по совокупности многочисленных проявлений сталинского антисемитизма на рубеже сороковых – пятидесятых годов) было и так достаточно очевидно. Фанатичные защитники «доброй памяти об отце народов» хватались и хватаются до сих пор за любую соломинку, чтобы опровергнуть «наветы» и представить Сталина «безраздельно верным марксистско-ленинскому интернационализму».

Но вот приоткрылись архивы, и нашелся поистине сенсационный документ, содержащий прямое, письменное доказательство. Это дневник одного из очень близких Сталину людей, попавшего в последние месяцы сталинской жизни на самый верх партийного Олимпа – в президиум ЦК (то есть политбюро), созданный на XIX съезде партии 16 октября 1952 года. На этом съезде, последнем в его жизни состоявшемся через тринадцать лет после предыдущего (ничего подобного в славной истории партии еще было), товарищ Сталин молча и вроде бы равнодушно внимал трескучей говорильне своих аллилуйщиков и, наконец, выступил с шестиминутной речью, притом что половина времени ушла, естественно, на овации. Речь он произнес загадочную и туманную, всестороннему анализу она так и не подверглась. Но одно сталинское изречение может нам пригодиться, тем паче что мы знаем, что в это время творилось в стране и что – в его голове. Товарищ Сталин, говоря об обществе буржуазном, в частности, сказал: «Растоптан принцип равноправия людей и равенства наций». Из контекста явственно вытекало, что этот, растоптанный буржуями, принцип живет и процветает в руководимом им Советском Союзе. Свое заявление он, как мы сейчас увидим конкретизировал и разъяснил несколькими неделями позже, но уже не на кремлевской трибуне, перед огромной аудиторией и кинокамерами, а куда как в более узком составе.

Слова вождя записал и сохранил для потомков один из любовно внимавших ему людей из числа самых доверенных и приближенных. Вячеслав Малышев принадлежал к той генерации так называемых выдвинутцев, которые в конце сороковых годов заняли места уничтоженных большевиков ленинского прилива и старых специалистов. Этих людей, лично им переведенных «из грязи в князи» и вознесенных на самые верха, Сталин любил и пестовал, с основанием полагая, что, всем ему обязанные, не имеющие никакого отношения к «ленинской гвардии», они сохраняют верность своему благодетелю и кумиру. Внезапно востребованный в 35-летнем возрасте, в Москву из маленького подмосковного городка Коломна, где он был главным инженером машиностроительного завода, назначенный наркомом тяжелого машиностроения, затем сменивший Исаака Зальцмана на посту наркома танковой промышленности, получивший погоны генерал-полковника, этот сталинский кадр любовно фиксировал в своем личном дневнике все высказывания вождя во время многочисленных встреч с ним – их было не менее восьмидесяти[28]. Поскольку десятки записанных им сталинских высказываний можно проверить по другим источникам (и все они подтвердились!), нет никаких оснований не доверять и остальным его записям. Впрямую они не проверяемы, но полностью соответствуют другим документам и известным нам событиям.

Дневник Малышева, ведшийся им в течение четырнадцати лет (февраль 1939 – февраль 1953), был обнаружен в столе служебного кабинета после его смерти и по указанию Хрущева передан с грифом «совершенно секретно» в архив политбюро (тогда президиума) ЦК[29]. Все эти подробности необходимы для того, чтобы подтвердить аутентичность одной-единственной, исторически важной, записи от 1 декабря 1952 года, текстуально воспроизведшей высказывание Сталина на прошедшем в этот день заседании президиума ЦК, посвященном «вопросам вредительства в лечебном деле и положении в МГБ СССР»[30].

О «вредительстве в лечебном деле» рассказ впереди, и несложно понять, каким образом с этим «вредительством» связана реплика Сталина, бесстрастно зафиксированная любовно внимавшим ему Малышевым. Одна лишь реплика, но – она дорогого стоит! – Сталин сказал: «Любой еврей (именно так: ЛЮБОЙ. – А. В) – националист, агент американской разведки. Евреи считают, что их нацию спасли США (там можно стать богачом, буржуа и т. д.). Они считают себя обязанными американцам. Среди врачей много евреев-националистов». Добавим еще, что сразу же вслед за этим беспримерным пассажем в дневнике Малышева записан другой: Сталин призвал своих слушателей «быть и политиками, и разведчиками»[31].

Эта поистине историческая запись в дневнике Малышева, воспроизведенная в книгах, которые Солженицын цитирует, и, стало быть, ему известная, не нашла никакого места в его сочинении. Вообще – не упомянута. Оно и понятно: солидаризироваться со Сталиным автору «Архипелага Гулаг», конечно, не

хочется, но и возражать – в данном случае – как-то не с руки. Лучше всего – умолчать.

Слов на ветер Сталин не бросал. Сказав, что каждый (любой) еврей – агент американской разведки, он должен был, естественно, уже иметь план действий. Какой глава государства может позволить такому полчищу агентов враждебного государства (свыше двух миллионов человек имели в своих паспортах отметку о еврейской национальности) свободно разгуливать по улицам, ходить на работу и получать зарплату от тех, против кого они шпионят?

Приближалась десятая годовщина сталинского триумфа – победы под Сталинградом, действительно переломившей ход войны. Он решил отметить эту дату Вторым Холокостом. Заветная цель Гитлера именно в эти дни должна была быть осуществлена руками Сталина. Он спас евреев от тотального уничтожения нацистами, чтобы уничтожить их самому.

Фактически о том, что Сталин доверительно сообщил самому избранному партийному кругу, почти полтора месяца спустя был оповещен весь мир. 13 января 1953 года, в тот день, когда исполнилось пять лет со дня убийства Михоэлса, «Правда» опубликовала информацию об аресте «врачей-убийц», добавив, что следствие по их делу завершится в ближайшее время. Это означало пока что только одно: суд над ними, в отличие от суда над еаковцами, будет публичным. В противном случае его не стали бы афишировать. Имя главного преступника, уже мертвого, было обозначено совершенно четко: таковым предстояло стать «известному буржуазному националисту» Михоэлсу, который становился тем самым главой банды убийц не в метафорическом, а буквальном смысле слова. Подчеркивалось, что убийцами руководили и давали им указания американские спецслужбы через «еврейскую буржуазно-националистическую организацию Джойнт». Акцент был сделан не на том, что арестованные – врачи, а на том, что они – евреи, хотя, казалось, этому противоречило вкрапление в список обреченных еще и русских фамилий (профессора Виноградов, Василенко, Егоров, доктор Майоров).

Наступал завершающий акт зловещей феерии, за которой мог следовать лишь кровавый эпилог.

Все перечисленные в «сообщении ТАСС» были арестованы еще несколько месяцев назад. Иные из «членов банды» даже успели умереть (профессора М. Коган, Я. Этингер, М. Певзнер). Много десятков крупнейших медиков, не упомянутых «Правдой», тоже содержались в лубянской тюрьме. Все они обвинялись в том, что сумели убить Андрея Жданова, Александра Щербакова и некоторых других партийных главарей, а замахивались, естественно, на самого Сталина. Среди намеченных к убийству врачами были и крупнейшие военачальники. Сталин этой чести не удостоил маршала Жукова, давно находившегося в немилости, но зато в почетный список заготовленных жертв попали: маршалы Василевский, Конев, Говоров, генерал армии Штеменко, адмирал Левченко и другие военачальники.

С точки зрения массовой психологии, тем более психологии советского обывателя, взвинченного многолетней пропагандой, выбор «заговорщиков» – и по их национальной, и по их профессиональной принадлежности – был совершенно точным. Подлинно больным или потенциально больным был (мог стать) каждый человек – без малейшего исключения. И поэтому угрозу зловещего еврейского заговора медиков сразу ощутили на себе миллионы людей. Судьба театральных критиков, будь они хоть трижды негодяями, эмоционально никого не задевала. «Массу» – тем более...

Множество больных стали отказываться лечиться у врачей с еврейскими фамилиями, принимать из их рук лекарства. Другие вспомнили, что их самих (или родственников) без большого успеха лечили как раз такие врачи, и, внезапно прозрев, они догадались, чем был вызван тот неуспех: ясное дело – лишь тем, что их лечили евреи. Такой неожиданный и совсем еще недавно казавшийся невыносимым сюжет – вот он-то и мог воздействовать на массы, привести их в то состояние неистовой экзальтации, которая была необходима для осуществления задуманной Сталиным кровавой мистерии.

Советскую атмосферу начала пятьдесят третьего года вскоре воспроизвел в своей повести «Оттепель» Илья Эренбург, а затем куда глубже и пронзительней Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба». Число новых доносов, сработанных все по одной колодке, превзошло ожидания. Письма с требованием смерти врачам-убийцам летели в ЦК, на Лубянку, в редакции газет со всех уголков страны. Все газеты и журналы, стараясь перещеголять друг друга, из номера в номер публиковали откровенно антисемитские статьи, фельетоны, карикатуры, рассчитанные на самый примитивный читательский уровень. И верно, – цель была достигнута: массовый психоз набирал обороты.

Про «дело врачей» (или иначе – по названию одной из опубликованных тогда статей – дело «убийц в белых халатах») написано очень много. Повторять общеизвестное не имеет смысла. Напомним, что целенаправленные аресты врачей определенной «окраски» начались в начале лета пятьдесят второго года (арестованному и замученному еще раньше профессору Этингеру вменяли сначала вовсе не заговор, это потом, уже посмертно, его «включили» в число «заговорщиков»).

4 июня была арестована педиатр кремлевской поликлиники Евгения Лифшиц. Ее обвинили в том, что она, выполняя задание американско-сионистских кругов, неправильно лечила детей и внуков советских руководителей. От доктора Лифшиц добивались признания, что вредительские указания ей давал профессор Вовси, генерал-лейтенант медицинской службы, бывший в годы войны главным терапевтом Красной Армии. К тому же он был двоюродным братом Михоэлса и сам состоял членом ЕАК: связующее звено между заговорщиками-врачами и заговорщиками-сионистами! Мужественная женщина категорически отказалась от поклепа на уважаемого коллегу и даже пыталась повеситься в камере, после чего ее перевели на «лечение» в ставший позже печально знаменитым институт судебной психиатрии имени Сербского. Но и после применения к ней соответствующих препаратов Лифшиц устояла: несмотря на шантаж и пытки, требуемых от нее показаний против профессора Вовси, как их ни домогались, она не дала. Между тем самого Вовси арестовали только в ночь на 11 ноября, а профессора Виноградова четырьмя днями раньше. Дальше аресты пошли уже лавиной.

Опубликовать полный список арестованных к середине января пятьдесят третьего года врачей практически не представлялось возможным – это был бы список чуть ли не всех светил советской медицины того времени: терапевтов и хирургов, ларингологов и офтальмологов, невропатологов и психиатров, педиатров и урологов... И даже патологоанатомов! Все они, оказывается, не лечили, а убивали – травили лекарствами, резали на операционных столах. Среди арестованных был и академик Владимир Зеленин, чье имя носили и носят популярные капли, назначаемые при сердечных заболеваниях, и профессор Марк Серейский, в клинике которого проходили лечение тысячи больных, страдавших нервными стрессами... Полный список арестованных был невозможен еще и потому, что в нем оказалось много русских медиков – намного больше, чем требовалось для отвода глаз. Это разрушало бы модель сионистского заговора, ибо трудно было объяснить так называемому рядовому читателю, с какой стати вдруг обласканные советской властью, увенчанные всеми возможными почетными званиями и орденами, престарелые светила русской медицины вдруг скопом продались международным еврейским организациям.

Но публикация – в весьма усеченном составе – состоялась, и эффект был достигнут. Официальная кампания началась, и за первым ударом неизбежно должны были последовать другие. Самое угрожающее состояло в том, что это был первый, после 1938 года, случай публичного зачисления отобранных жертв в шпионы и террористы: тысячи и тысячи казненных за эти пятнадцать лет (не только великие деятели науки и культуры, как Вавилов, Мейерхольд, Манделштам или Бабель, но и сам «кровавый карлик» Ежов) ушли в небытие тайно – без сообщения в печати и далее без информации родственников о состоявшемся приговоре. Более того, родственников, не говоря уже о посторонних, все время обманывали, пытались создать иллюзию, будто их близкие живы и где-то отбывают некое таинственное наказание «без права

переписки». Даже только что прошедший суд над Лозовским и другими деятелями ЕАК был тайным, и ни слова о нем не просочилось в печать.

Ситуация изменилась в корне – и, конечно же, не случайно. На то и объявили про скорое окончание следствия, за которым следует суд, что он был задуман как открытый – с далеко идущими последствиями. Зерна упали на готовую, взрыхленную почву. О том, как тысячи людей начали отказываться от всякой медицинской помощи, опасаясь стать жертвами «убийц в белых халатах», много писалось. Тысячи добровольцев сообщили Лубянке дополнительную «информацию» о том, что еврейские врачи убивают своих пациентов. Особо страстное письмо отправил из больницы Сталину маршал Конев. Будучи человеком не слишком отменного здоровья и не чувствуя резкого улучшения после лечебных процедур, Конев спешил подтвердить, что медики-евреи травят его лекарствами, стремясь лишить товарища Сталина самого верного солдата. Несомненно, это послание войдет в биографию маршала, наряду с его полководческими успехами во время войны.

В газетном сообщении об аресте «врачей-убийц» великий Михоэлс впервые был назван «известным еврейским буржуазным националистом», а Борис Шимелиович, по той же «газетной» версии, давал своим коллегам «директиву об истреблении руководящих кадров в СССР». Таким образом, предстоящий публичный процесс должен был снять секретность и с дела ЕАК: их непременно связали бы друг с другом, объявив каким-то образом и о свершенной казни. Тот же факт, что дело ЕАК слушалось при закрытых дверях, всегда можно было объяснить заботой о сохранении государственных тайн, поскольку подлые изменники передавали американским хозяевам военные и экономические секреты.

Для быстрого разжигания антисемитской истерии на бытовом уровне были отобилизованы самые бездарные и самые оголтелые перья. Публикуемые материалы не касались глобально «мировоззренческих» проблем, не старались подвести под национальную ненависть некую теоретическую базу, а рассчитывали на примитивный читательский уровень, для которого никаких объяснений не требуется. Две кликушествовавшие журналистки – Ольга Чечеткина и Елена Кононенко – слагали оды в честь заурядной медички-стукачки Лидии Тимашук (она заведовала электрокардиографическим кабинетом Кремлевской больницы), из которой Кремль, устами все тех же журналисток, спешно лепил «русскую Жанну д'Арк». В доносе Тимашук четырехлетней давности (его спешно откопали в архиве) не было никакой антисемитской направленности: она лишь доносила о «неправильном лечении» Жданова, которое вели исключительно русские врачи, – доносила, стремясь отвести возможные обвинения от себя (электрокардиолог, она тоже была в составе лечащей медицинской бригады). Не имея под рукой ничего другого, пришлось довольствоваться хотя бы этим протухшим товарцем.

Неистовствовал очень популярный у примитивного читателя журнал «Крокодил». Писатель и по совместительству лубянский сотрудник Василий Ардаматский сочинил похабный антисемитский фельетон «Пиня из Жмеринки», который мог вызвать утробный смех разве что у читателя с мозгами неандертальца. «Знаете ли вы Сарру Шмерковну Пеступович?» – вопрошал правдистский фельетонист Семен Нариньяни, страдавший комплексом неполноценности: в любую минуту ему могли напомнить, что он грузинский еврей. «Знаем, знаем! – отвечали герои его сочинения. – Это та Сарра Шмерковна, которая пишет в суп соседям по коммунальной кухне». Шла подготовка умов для предстоящей кровавой акции.

Не очень удивляет и то, что в унисон с советскими кликушами – пропагандистами и журналистами, гневно обличавшими убийц в белых халатах, – запели и на Западе профессиональные друзья братского СССР, родины мирового пролетариата. Трогает безраздельная поддержка со стороны левых французов – они, как всегда, подсуетились раньше других и оказались в первых рядах. Свой гнев к презренным холопам сионизма выразили писатели Андре Вюрмсер и Владимир Познер, а также – весьма знаменитые в политических и интеллектуальных кругах: Жорж Коньо, Пьер Эрве, Максим Родинсон, Франсис Кремье.

Одна из присоединившихся к ним – мадемуазель Анни Бесс, впоследствии ставшая виднейшим историком коммунизма, мадам Анни Крижель, на закате дней написала книгу «Ce que j' ai cru comprendre» («То, что я, кажется, поняла»), где покаялась за прежнюю свою зашоренность и слепоту и объяснила их причину: «Еще были живы в памяти, – пишет она в своей книге (р. 777-778), – опыты нацистских врачей над живыми людьми (об «опытах» советских – и тоже над живыми – тогда, конечно, не знали. – А. В.) <...> Никто не сомневался и в том, что они приложили руку к уничтожению Горького, Менжинского, а потом еще и Щербакова, и Жданова (как можно было сомневаться в том, что утверждала советская пропаганда?! – А. В.). <...>

И, наконец, в кругах партийцев были известны слова сказанные Арагоном Вальдеку Роше: «Никакого доверия советским врачам!» Редкостное по своей убедительности объяснение! И то правда – что и как тут объяснишь?..

Подобные клакеры нашлись и в других странах. Поразительна их верность Кремлю, который был прав потому, что он прав всегда.

Даже почти год спустя, уже после того, как кровавая фальсификация была раскрыта и публично названа своим подлинным именем, американский писатель Говард Фаст высказался в газете «Нью-Йорк Таймс» по случаю присуждения ему международной Сталинской премии: «Это величайшая честь, которой может удостоиться человек в наше время», о чем с восторгом сообщила «Литературная газета» 22 декабря 1953 года. Член Американского комитета еврейских писателей мог бы, казалось, сказать нечто другое по случаю той вакханалии, которую затеял людоед, премия имени которого привела его в такой неопишумый восторг. Но прошло еще почти три года, пока он, под влиянием Двадцатого съезда и речи Хрущева, наконец-то прозрел. И как только прозрел, имя этого верного друга Советского Союза исчезло из всех советских справочников, энциклопедий, словарей, а его романы – из книжных магазинов и библиотек.

Сталин перестал бы быть самим собой, если бы он вдруг отказался от характерного для него лицедейства. Задумывая в окончательном варианте завершающий акт мистерии, он опять, на всякий случай, создал для себя моральное алиби. В те самые дни, когда лубяньские «черные вороны» свозили в тюремные камеры последних, пребывавших еще на свободе, «врачей-убийц», а до скандальной информации о еврейском заговоре оставалось чуть больше трех недель, Сталин снова призвал на помощь Илью Эренбурга. Не его самого пока что, а только его имя. 20 декабря 1952 года было опубликовано постановление о присуждении международных Сталинских премий – среди лауреатов блистал Илья Эренбург. (Вместе с ним эту высочайшую честь разделили тогда американский певец Поль Робсон, левый французский общественный деятель и друг Эренбурга – Ив Фарж, писатель-коммунист из ГДР Иоганнес Бехер.) Кто мог бы теперь заподозрить Сталина в антисемитизме, если известный борец против антисемитизма увенчан высочайшей наградой, носящей его, Сталина, имя?

У вождя был и более дальний прицел: благодарный Эренбург должен был вскоре ему пригодиться для поддержки самой грандиозной из всех, задуманных им когда-либо, акций. 24 января, когда разнузданная антисемитская кампания на газетных страницах достигла своего апогея, «Правда» отдала несколько колонок Илье Эренбургу, выступившему со статьей «Решающие годы». В ней нет ни слова про развернутую в стране погромную пропаганду, ни слова про «врачей-убийц», зато есть в изобилии дежурные инвективы против «зарвавшихся американских империалистов». «Никогда доселе правители Америки не были <...> так циничны, так назойливы...» – вот образчик жалкой агитки, вышедшей из-под пера выдающегося публициста. Сталину на этот раз было нужно не его перо, а его имя.

Еще через четыре дня в Кремле состоялась церемония вручения Эренбургу Сталинской премии. Его портрет крупным планом был напечатан в «Правде» и в других газетах. На торжество прибыли и лобзали

Эренбурга перед объективами кинокамер немецкая писательница Анна Зегерс, колумбийский писатель и дипломат Хорхе Саламеа: унизительно бледно для человека, истинными друзьями которого были крупнейшие мыслители и художники века. Многие из них продолжали пребывать в добром здравии и могли, казалось бы, разделить с виновником торжества его горькую радость. Единственный, кто выделялся среди гостей, – приехавший со своей супругой Эльзой Триоле, урожденной Елизаветой Каган, поэт и эссеист, но, что гораздо важнее, и член ЦК французской компартии Луи Арагон!

Его патетичная речь превзошла все известные нам образцы хваленного французского красноречия: «Эта премия носит имя человека, с которым народы всей земли связывают надежду на торжество дела мира; человека, каждое слово которого звучит на весь свет; человека, к которому взывают матери во имя жизни своих детей, во имя их будущего; человека, который привел советский народ к социализму. <...> Эта награда носит имя величайшего философа всех времен. Того, кто воспитывает человека и преобразует природу; того, кто провозгласил человека величайшей ценностью на земле; того, чье имя является самым прекрасным, самым близким и самым удивительным во всех странах для людей, борющихся за свое достоинство, – имя товарища Сталина»[32].

От своего друга не отставал и сам награжденный. «Правители Америки, – утверждал он, – готовы уничтожить все и всех, чтобы только остановить ход истории. Правители Америки не хотят внять голосу разума. Сейчас еще слышней их зловещие заклинания, еще явственней их недобрая суетня. Нет низостей, которой они брезгают. Нет преступлений, перед которыми они остановились бы. Они теряют голову, потому что они потеряли надежду»[33]. Даже для характеристики нацистской Германии и самого Гитлера, у Эренбурга далеко не всегда находились столь сильные выражения.

Не обошел он, конечно, и самой острой темы: «Каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, – смело заявлял Эренбург. – он прежде всего патриот своей родины, и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира». Это максимум того, что в условиях тогдашней реальности он мог сказать.

Для Сталина этот его категорично восторженный пассаж имел другое значение: он получал столь желанное моральное алиби от самого Эренбурга! Ведь за только что процитированными словами следовал такой текст: «Мне оказана высокая честь – право носить на груди изображение человека, образ которого неизменно живет в сердцах советских людей, всех миролюбивых людей нашего времени. Когда я говорю об этом большом, зорком и справедливом человеке, я думаю о нашем народе: друг от друга их не отделить». Таким образом, получалось, что справедливый и зоркий Сталин, неотделимый от всего народа, тоже противник расовой и национальной дискриминации. И при случае, справедливый и зоркий сам охотно это бы подтвердил.

Чуть позже Сталину удалось продемонстрировать еще раз, что антисемитизмом в стране даже не пахнет. 13 февраля 1953 года умер Лев Мехлис, один из последних евреев в его окружении, всегда демонстрировавший свою непричастность к этому «мерзкому племени». Работавшие с ним в «Правде» вспоминают, что Мехлис любил говорить: «Я не еврей, я коммунист»[34]. Тем не менее для иностранных наблюдателей, как и для советских евреев, ждавших любого, пусть даже иллюзорного, знака надежды, он все равно оставался представителем «мерзкого племени» на кремлевских верхах, и в данном случае это было важнее всего. Сталин, сам на них не явившись, организовал ему пышные похороны на Красной площади, что мог бы не делать, поскольку Мехлис давно уже пребывал в отставке. Но сделал, сознавая, что такой удачный шанс нельзя упускать.

Траурно-показательное шоу на Красной площади ни в малейшей степени не приостановило эскалацию государственного антисемитизма. О том, что Сталин просто заикнулся на еврейской теме,

понимали все, кто еще не лишился разума, а достоверно знали те, кто так или иначе вращался в кремлевско-лубяньских кругах.

Для такой информации не были преградой даже тюремные стены. Из лубянского застенка, где он пребывал в качестве сообщника Абакумова, следователь-истязатель Владимир Комаров взывал к Сталину (февраль 1953 года) о пощаде, откровенно и ловко играя именно на этих чувствительных струнах своего адресата: «Арестованные буквально дрожали передо мной, они боялись меня, как огня. Особенно я ненавидел и был беспощаден к еврейским националистам, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов. Я клянусь Вам, что у Вас никогда не будет повода быть недовольным моей работой. Дайте мне возможность со всей присущей мне ненавистью отомстить им злодеяния, за тот вред, который они причинили государству»[35].

Комарову и Абакумову Сталин такой, возможности не дал – мстителей, готовых на все, у него хватало и без них, а этих он считал еще недостаточно жесткими и жестокими, – свою роль они уже сыграли. «Священный гнев и беспощадная кара советского народа обрушатся на адептов сионского кагала», – с предельной точностью сообщила народу партийная пресса о том, что ожидает советских евреев[36].

Две недели спустя хорошо осведомленный кремлевский солист Николай Грибачев, считавший себя и поэтом, и прозаиком, и публицистом, уточнил в том же журнале, какое им светит будущее (в статье под названием «Общипанный Джойнт»): «Пойманы еще не все. Других призовут к ответу не доблестные наши чекисты, а весь народ»[37].

Куда уж яснее?! Мечь народа – опять же не в метафорическом, а в буквальном смысле: таким был окончательный замысел хозяина Кремля.

Его стимулировала в этом и желанная ему, ожидаемая им информация, которая шла мощным потоком из партийных и лубяньских органов. «Рабочие хлебозавода №5, – доносили вождю из Краснопресненского райкома партии Москвы 13 февраля 1953 года, – говорят, что среди евреев почти нет честных людей < > Рабочие комбината «Трехгорная мануфактура» предлагают всех евреев выселить из Москвы, а в их квартиры вселить рабочих, выполняющих пятилетний план. Ткачиха т. Королева убеждена: «Если к евреям не примут меры, они нас всех продадут».[38]

Так что же действительно ожидало евреев? Полвека спустя, когда накал страстей давно позади, когда осталось не так много людей, которые помнят еще жуткую атмосферу, воцарившуюся в стране, – атмосферу близящегося апокалипсиса – явные или скрытые апологеты той эпохи подвергают сомнению глобальность подготовленной Сталиным катастрофы. Еще до представления и анализа доказательств необходимо поставить вопрос, который скептики (назовем их так)[39] сознательно обходят стороной. Каким мог быть, хотя бы только в пределах элементарной логики, дальнейший – естественный и неизбежный – ход событий, независимо даже от того, что Сталин говорил в узком кругу или вынашивал в своей голове?

Вспомним еще раз цепочку событий. В печати уже объявлено о банде врачей-отравителей. Уже сообщено что они действовали по указке некоего международного сионистского центра. Уже поименно названы их жертвы. Уже пропаганда взывает к отмщению всему «сионскому кагалу». Уж сказано, что к ответу «убийц» призовут не доблестные чекисты, а весь народ. Что же дальше? Еще одна статья с проклятиями и угрозами? Еще две статьи? Двадцать две?.. А потом? Отступать некуда (даже если бы Сталин и пожелал): страсти накалены до предела. Процесс может быть только публичным: именно для этого почти два месяца велась неслыханная по своей агрессивности и интенсивности психологическая обработка населения[40]. Каждое слово, произнесенное на процессе, еще больше распалит эти страсти. Для чего же дана воля стихии – чтобы ее затем погасить? Но так ни в коем случае быть не может.

А что может? Ради чего затеяна эта кошмарная акция с вызовом всему миру? Более отдаленная цель очевидна: развязать новую войну (провокационность взрыва якобы бомбы, а скорее всего просто петарды, на территории советского посольства в Тель-Авиве 9 февраля была видна невооруженным взглядом), использовав – не в качестве ответного, а в качестве первого удара – ядерное оружие. Войну под легко усваиваемыми лозунгами: сокрушить всемирное зло (капитализм) и его агентов (евреев). Об этом он страстно мечтал, готовя народ к войне и подобрав для этого вечного и неизменного внутреннего врага, находящегося в неразрывном единстве с врагом внешним.

Более подходящего момента и повода при жизни Сталина (он все-таки понимал, что не бессмертен) нет и не будет[41].

Такой была – пусть не намного, но все же более отдаленная цель, которой должна служить, и не только в качестве повода, другая – ближайшая.

Многочисленные свидетельства современников расходятся только в датах намеченного суда над убийцами в белых халатах: середина или конец марта. Да и – опять же по элементарной логике – оттягивать процесс дальше было нельзя: слишком долгое ожидание развязки после такой мощной психологической подготовки могло притупить остроту ощущений, на которую делалась ставка. Ничего нового сообщить населению пресса уже не могла, новым мог стать только процесс с его, поражающими воображение, признаниями подсудимых и громовыми прокурорскими речами.

О сталинском сценарии известно со слов весьма осведомленного человека – Николая Булганина. Он был тогда членом политбюро (президиума) ЦК и входил в узчайший круг тех, кого Сталин еще не отстранил от себя. Не случайно на последний ужин, непосредственно предшествовавший концу, Сталин пригласил только Маленкова, Берия, Хрущева и Булганина. Так что Булганину ли не знать?..

По его свидетельству, казнь (повешение) должна была свершиться публично на двух центральных московских площадях – Красной и Манежной. Двух, чтобы они могли вместить как можно больше зрителей, воздействовать на массы и спровоцировать погромы. Врачей должны были вешать не только в Москве, но развезти их по другим городам и публично казнить там: в Ленинграде, Киеве, Минске, Свердловске, чтобы лицемерие этого прекрасного зрелища не досталось одним москвичам[42]. Булганин подтвердил также, что вслед за этим должна была последовать депортация евреев на Дальний Восток «для искупления их вины на тяжелых работах» и что лично он получил указание Сталина подготовить для этого 800 железнодорожных составов и организовать крушения эшелонов, нападение на поезда разгневанных граждан и всячески поощрять проявление ими своих «естественных чувств»[43].

О том же самом рассказывал в середине пятидесятых годов Илье Эренбургу Пантелеймон Пономаренко – после того, как отправился в почетную ссылку: послом в Польшу, а потом в Нидерландах. В конце 1952 – начале 1953 года он был секретарем ЦК и хорошо знал всю закулисную подготовку не из вторых рук. Его рассказ ничем не отличается от свидетельства Булганина – с одним лишь уточнением: Сталин, – рассказывал Пономаренко, – поделился своим планом на заседании президиума ЦК и был поддержан только Берией.

Напомнив Молотову об этом событии, его confident Феликс Чуев получил такой неожиданный ответ: «Что Берия причастен к этому делу, я допускаю». И все... [44]. То есть, иначе говоря, Молотов не опроверг самый факт существования такого проекта («этого дела»), даже его подтвердил, но приписал авторство Берии, отводя от Сталина вину за чудовищное преступление, которое тот задумал. Но ясно же, что без Сталина этот замысел нельзя было не только осуществить, но и огласить даже в самом узком кругу.

В своих мемуарах Никита Хрущев свидетельствует, что «Сталин, безусловно, был подвержен позорному недостатку, который носит название антисемитизма». Но – и это самое главное – он

подтверждает то, о чем поведали Булганин и Пономаренко: «Ставился вопрос вообще о еврейской нации и ее месте в нашем социалистическом государстве», а его коллега по политбюро – Анастас Микоян высказывается еще определеннее, без всяких иносказаний: «За месяц или полтора до смерти Сталина начало готовиться «добровольно-принудительное» выселение евреев из Москвы. Только смерть Сталина помешала исполнению [этого дела]»[45]. Таким образом, четверо лиц, самых приближенных к Сталину на последнем витке его жизни – три члена политбюро и один секретарь ЦК – подтверждают, притом фактически в одинаковых выражениях, подлинность замысла, переводя его из области слухов в несомненную реальность.

Светлана Аллилуева вспоминает о том, что в январские дни пятьдесят третьего года сказала ей жена Николая Михайлова, главы Агитпропа, секретаря ЦК, напрямую задействованного в пропагандистскую антисемитскую акцию: «Я бы всех евреев выслала вон из Москвы»[46]. Жены секретарей ЦК не могли так высказываться самовольно, если не имели соответствующей информации от своих мужей, да притом без указания держать язык за зубами. Ее голосом говорил сам Михайлов.

Существует и множество других свидетельств, каждое из которых можно было бы, наверно, поставить под сомнение, но все они вместе создают убедительнейшую доказательственную базу.

Есть, например, свидетельство академика Евгения Тарле, очень приближенного к верхам (Сталин освободил его из Гулага и трижды награждал премией своего имени, в том числе за книгу о Наполеоне) о том, что операция была разработана подробно, с указанием, кто погибает от «народного гнева» сразу, а кого везут в зону вечной мерзлоты, с расчетом, что по дороге тридцать – сорок процентов из них погибнут от холода, голода, болезней и издевательств конвоя[47]. Один из телохранителей Сталина, майор госбезопасности Алексей Рыбин (он дожил до перестройки, тогда у него развязался язык), оставшийся беспредельно верным памяти и делам своего кумира, признался, однако, что присутствовал на двух секретных оперативных совещаниях, где отрабатывались детали этой операции. Он вспоминает, что был отправлен в паспортный отдел московской милиции, чтобы лично удостовериться в точности и полноте списка врачей «неарийского» происхождения с указанием их домашних адресов. Зачем же составлялись столь странные списки? Ясно, что эти адреса должны были быть переданы погромщикам, – кому бы еще они могли понадобиться?[48]

Заподозрить Рыбина – верного сталинского лакея, фанатично преданного ему до своего последнего вздоха, – в поклепе на вождя и вообще на кого бы то ни было из деятелей советской власти просто немислимо. Рыбин оставил такое свидетельство в убеждении, что оно не компрометирует Сталина, а возвышает: ведь что бы вождь ни делал, он был всегда прав!

Существует версия (хотя она и не имеет безусловного подтверждения в свидетельствах хорошо осведомленных источников), что по пути к Голгофе толпа должна была вырвать осужденных врачей из рук конвоя и линчевать их, – погромы начались бы немедленно вслед за этим. Можно допустить, что такой исход – гипертрофированная фантазия обезумевших от страха людей, создавших в своем воображении логический финал кровавой мистерии.

И, однако, тщательно собиравший свидетельства о тех кошмарных днях Василий Гроссман писал в своем романе-документе «Жизнь и судьба»: «казнь еврейских писателей и актеров предшествовала зловещему процессу евреев-врачей, а за ними уже должен был следовать хорошо организованный и дирижированный самосуд распаленной толпы». Гроссман ни разу не позволил себе утверждать без оговорок что бы то ни было, если это вызывало у него даже малейшие сомнения. В искажении исторической правды он никогда не был замечен: его травили как раз за то, что правда колола глаза. Просто непостижимо, почему это утверждение Гроссмана (разумеется, лживое! разумеется, навеянное всего лишь апокалиптическими слухами перепуганных еврейских интеллигентов) не подверглось

разгрому со стороны мифоборца. И даже вообще им не упомянуто как не заслуживающее внимания серьезного исследователя.

В Израиле, в издательстве «Кругозор», посмертно вышла книга воспоминаний «Тревожное время» умершего в 1996 году Героя Советского Союза, бывшего ефрейтора Григория Саульевича Ушполиса, который в начале пятидесятых годов, окончив партийную школу, был сотрудником аппарата ЦК компартии Литвы. В седьмой главе его книги есть такой пассаж: «В то время мне и в голову не могло прийти, что готовится депортация всех евреев страны. Предстояла их высылка из постоянных мест проживания в далекие северные районы по опыту, который Сталин во время войны применял к другим народам...» Об этих планах Г. Ушполису стало известно от первого секретаря ЦК Антанаса Снечкуса, который поручил ему поехать на товарную станцию и проверить, в каком состоянии находятся эшелоны для отправки людей. Редактор книги Ц. Раз попросивший Г. Ушполиса уточнить этот эпизод, рассказывает с его слов в газете «Еврейский камертон» что пустые вагоны были далеки от готовности, но начальник товарной станции заявил: «Жи́ды смогу́т и в таких вагона́х отпра́виться на ве́чный поко́й».

Еще несколько свидетельств – все одного порядка Мужем уже неоднократно упоминавшейся в этой книге Раисы Орловой (в девичестве Либерзон) был Николай Орлов, номенклатурный работник, функционер, окончивший Высшую партийную школу. Он принес ей новость, услышанную от коллег: насильственное переселение всех евреев на Дальний Восток должно начаться 15 марта после казни «сионистов» на Красной площади[49].

Журналист Зиновий Шейнис, длительное время собиравший свидетельства подобного рода, приводит их несколько, в том числе бывшего сотрудника госбезопасности, а затем работника аппарата ЦК Николая Полякова, который утверждал, что был назначен секретарем комиссии по депортации евреев (председателем комиссии, по его словам, стал новый партийный идеолог Михаил Суслов)[50]. Тот же Поляков сообщал, что списки подлежащих депортации отделяли «чистых» евреев от полукровок (этих следовало депортировать во вторую очередь) и что на Дальнем Востоке спешно строились бараки, непригодные для жилья.

Я был бы готов отнестись скептически к этому, слишком уж сенсационному, утверждению, поскольку не все, что исходило от Шейниса, в точности соответствовало действительности, но как раз данную информацию подтвердила и тогдашний начальник пенсионного управления Министерства социального обеспечения РСФСР – Ольга Голобородько, которая интересовалась в Совете министров, придется ли и как выплачивать пенсию депортированным евреям, и ответа не получила, поскольку чиновники Совмина, что вполне очевидно, никаких инструкций на этот счет не имели[51].

Тогда же был издан подписанный Сталиным «приказ № 17» с грифом «Совершенно секретно», которым предписывалось «незамедлительно уволить из МГБ всех сотрудников еврейской национальности, вне зависимости от их чина, возраста и заслуг»[52].

Известный американец, академик Георгий Арбатов рассказывает в своих воспоминаниях со слов крупного советского разведчика Бориса Афанасьева, что «в начале 1953 года были получены предписания увеличить в связи с предстоящим «наплывом» заключенных «емкость» тюрем и лагерей и подготовить для перевозки заключенных дополнительное количество подвижного железнодорожного состава».

Хорошо осведомленный о событиях того времени, будущий сотрудник международного отдела ЦК Александр Бовин подтверждает сообщение Г. Арбатова: «Судя по тому, что мы знаем, речь шла не только об уничтожении еврейской элиты, а о том, чтобы уничтожить или заключить в огромное гетто всю еврейскую общину Союза»[53].

О том же самом я слышал непосредственно от Бориса Мануиловича Афанасьева, подлинная, не

русифицированная, фамилия которого была Атанасов. Этот старый болгарский революционер, ставший советским шпионом-убийцей (он был причастен к ликвидации в Лозанне перебежчика Игнатия Рейса и к другим «мокрым» делам Лубянки), работал к концу жизни заместителем главного редактора журнала «Советская литература» (на иностранных языках). Сначала без большой охоты, а потом, отпустив невидимые тормоза и увлекшись, Афанасьев поведал о том, что на депортацию всех московских евреев Сталин отвел максимум три дня. Для тех, кто не успеет за это время погрузиться в вагоны, чекистам предстояло найти «какой-то выход на месте». Нетрудно представить себе, что это был бы за «выход». О том же в моем присутствии рассказывал Лев Шейнин. Хотя сам он в те дни, когда готовилась депортация, находился в тюрьме[54], но, выйдя на свободу после смерти Сталина, восстановил старые связи с крупными чинами госбезопасности и прокуратуры, которые имели касательство к проведению операции. Они тоже подтвердили, что по отделениям милиции были разосланы телефонограммы о составлении списков – причем не только врачей, а вообще всех лиц «определенной» национальности. Шейнин рассказывал это на скромном застолье в доме нашего общего приятеля, полковника юстиции, профессора Аркадия Полторака, вместе с которым он работал в советской части обвинения на Нюрнбергском процессе. Полторак тоже многое знал, и за столом сидели еще какие-то осведомленные люди, в том числе один крупный аппаратчик из международного отдела ЦК (В. Шапошников).

Дело происходило в конце шестидесятых или в начале семидесятых годов, и все события пятьдесят третьего были еще очень свежи в памяти. Помню – присутствующие, в том числе и Полторак, не только подтвердили и составление списков, и постройку бараков, и готовность товарных эшелонов отправиться в путь, но и дополнили свидетельство Шейнина такой деталью: на домашние сборы каждому давалось не более двух часов с собой можно было взять только один чемодан или узел, а всех, кто не выдержит трудности пути – без еды, без тепла, – предписывалось сбрасывать на ходу, когда поезд будет идти вдоль безлюдных полей или лесов, на тридцатиградусный сибирский мороз.

Поэт Семен Липкин в беседе со мной, перед кинокамерой (Переделкино, 20 августа 2002 года), рассказал, что конце пятидесятых годов лично видел в отдаленных и пустынных районах северного Казахстана (он был приглашен для поездки по республике как переводчик казахской поэзии) непригодные даже для скота пустые деревянные постройки, которые, как объяснил ему секретарь местного райкома партии, предназначались для евреев, подлежащих депортации из европейской части Советского Союза в 1953 году. Если когда-нибудь эта пленка будет публично показана, вероятно и его отнесут к числу мифослагателей, тем более что свои «показания» он давал, перешагнув за девяностолетний рубеж, и проще простого сослаться на его ослабевшую память[55].

Наверняка существует много других свидетельств того же рода, сохранившихся в памяти современников. Добавлю к ним еще два своих.

В моем архиве хранится письмо из Тбилиси, полученное, судя по почтовому штемпелю, в феврале 1952 года (точная дата штемпеля смазана). Его автор – моя, тогда еще 19-летняя, приятельница Джильда Коркиа. Отец Джильды – известный в Грузии писатель Родион Коркиа – входил в элитарный круг тбилисской интеллигенции, где чуть ли не все были тесно связаны дружескими, если не родственными, узами с партийным руководством. Вот фрагмент этого письма: «Не надо ждать до последней минуты и надеяться на какое-то чудо. Спасется тот, кто опередит события. Если бы я не знала в точности, что всех вас (так и написано! – А. В.) ожидает, не стала бы поднимать панику. Хотела послать телеграмму, но – опасно, да ты ничего бы и не понял. Если ты и сейчас не понимаешь, то уж мама-то твоя не может не понимать. Потом будет поздно – мне хочется это кричать прямо в твои уши. <...> Жду телеграммы: «Встречайте тогда-то». И мы встретим. А за остальное не беспокойся». Потом Джильда мне объяснила, что о готовящейся депортации российских евреев ее отец узнал с достоверностью от своего друга, возглавлявшего в ЦК Грузии сектор, курировавший госбезопасность.

Впоследствии оказалось, что этот «секрет» был вообще известен всему городу.

Скончавшийся весной 2002 года в США грузинский писатель, философ, футуролог и социолог Нодар Джин мальчиком жил в еврейском квартале Тбилиси – Петхаин. Он рассказал, что в начале 1953 года всем еврейским семьям было приказано приготовиться к «эвакуации» в Казахстан[56]. Вероятно, отец Джильды просто знал еще больше, чем «весь Тбилиси».

Тогда же, в феврале пятьдесят третьего, мы получили и еще один сигнал. Клиентом моей матери была полковник в отставке Наталья Владимировна Звонарева (мать защищала в суде ее сына-подростка, оказавшегося в группе сверстников-воришек). До ухода на пенсию она работала в штабе военной разведки, где занимала весьма высокий пост. Ее имя можно встретить в воспоминаниях многих бывших сотрудников ГРУ. С матерью у нее установились не только формальные отношения. Помню, как она без предварительного звонка примчалась к нам домой, и две женщины долго разговаривали наедине в маминной комнате. Потом мать рассказала мне, что Наталья Владимировна умоляла «не ждать ни одной минуты и уехать куда-нибудь подальше», где можно положиться на русских друзей и «переждать». На то, что ждать придется недолго, она всего лишь надеялась, а то, что выселение неизбежно, «притом с кошмарными последствиями», знала наверняка – от своих коллег, с которыми сохраняла дружеские, доверительные отношения. У полковника Звонаревой не было не только ни капли еврейской крови, но и тесных еврейских контактов, – об этом ее ведомство знало достоверно. Оттого, наверно, от нее не таились. Наталья Владимировна Звонарева в силу своих профессиональных и личных качеств хорошо отличала надежную информацию от слухов и ошибиться не могла. Ее сообщение абсолютно достоверно, тем более что подтверждается десятками других свидетельств.

А. Н. Яковлев, на основании изученных им материалов президентского архива, утверждал, что Дмитрию Чеснокову, профессиональному аппаратчику, объявленному «философом» и даже удостоенному степени доктора философских наук, было поручено дать научное (читай: пропагандистское) обоснование готовившейся депортации[57], за что он внезапно был вознесен на партийный Олимп (16 октября 1952 года Сталин сделал его, неожиданно для всех, членом президиума ЦК КПСС), а сразу же после смерти своего благодетеля (6 марта 1953 года) он был выброшен оттуда за ненадобностью. Притом – как! Из члена высочайшего партийного ареопага превратился в заведующего отделом Горьковского обкома – за что же был так разжалован, пробыв в верхах всего-то четыре месяца? (См.: Чернов А. Д. 229 кремлевских вождей. М., 1996. С. 302.). Да за то, что принял слишком уж ревностное участие в несостоявшейся акции Сталина, от которой новые хозяева Кремля должны были отмыться прежде всего.

Совокупность огромного количества фактов и свидетельств современников убеждает в том, что существование безумного плана сталинского (модифицированного – гитлеровского) Холокоста не миф, а реальность.

Противореча самому себе, это же подтверждает, в сущности, и Г. Костырченко, подытоживая свою книгу (с. 707). Он справедливо пишет, что в начале 1953 года «возникла реальная угроза перехода государственного антисемитизма в агрессивную открытую форму» (курсив мой. – А. В.) и что в последнюю минуту Сталин «вынужден был пойти на попятную», то есть отказаться от своего замысла. Вот это как раз вполне возможно! Значит, замысел был, иначе на какую такую «попятную» он «вынужден был пойти» и от чего именно отказаться?

Что и требовалось доказать...

Мне кажется, весь этот спор вообще ведется на ровном месте и не заслуживает той остроты, которую он приобрел. Происходит смешение двух, отнюдь не тождественных, понятий: замысла и решения. Решение, то есть готовый к реализации проект, ожидающий лишь приказа нажать на некую кнопку, действительно требовал каких-то предварительных, нуждающихся в формальной фиксации, действий, ибо

никто не стал бы сгонять в товарные вагоны десятки и сотни тысяч людей, не имея оправдывающего эти действия письменного приказа. Замысел же и подготовительные шаги для его осуществления, которые в то же время были и зондажем, позволявшим определить реальность проекта и реакцию на него, – это вовсе не требовало той сложной бюрократической подготовки, на отсутствие которой все время ссылаются «скептики».

О том, что замысел существовал и подготовительные шаги были сделаны, свидетельствуют десятки, если не сотни, доказательств, свидетельства, исходящие от людей разного общественного положения и отделенных друг от друга подчас тысячами километров. Чохом признать их всех жертвами и распространителями панических слухов просто абсурдно. А вот то, что Сталин, встретив ту реакцию, о которой сказано выше, тормознул, отказался, хотя бы на время, от своего замысла, – в это я готов охотно поверить. Это – укладывается в нормальную логическую и психологическую схему его поведения. Притом скорее всего он отказался от замысла немедленно развязать войну – этот отказ автоматически вел и к отказу от всего, что работало на главную цель и было органично связано с нею.

Отвержение несомненно существовавшего и готовившегося к реализации замысла традиционно мотивируют отсутствием письменных документов, которые подтверждали бы его наличие. Заметим, что «ненайденность» по самой элементарной логике не равнозначна «отсутствию»: на этом принципе строится криминалистическая теория доказательств. Но дело даже не в этом. Аргумент вообще не новый: точно так же отрицается и «окончательное (нацистское) решение еврейского вопроса» – где документы, подтверждающие, что под «окончательным решением» подразумевались газовые камеры и вообще физическая ликвидация?

А приказ Сталина убить Троцкого – он что, задокументирован? А документ – за номером, с печатью и подписью – об убийстве Михоэлса существует? Где документ о приказе Сталина расстрелять Зиновьева, Бухарина, Пятакова, Рыкова? Под приговором есть подпись Ульриха – подписи Сталина нет: где написано, что приговор продиктовал Ульриху именно Сталин?

А все иные, поистине нескончаемые, преступления Сталина, – они отражены в документах? Если нет, вправе ли мы его в них обвинять? Конечно, нет! – радостно воскликнут пламенные сталинисты, плодящиеся ныне простым делением. Пусть восклицают, а караван пойдет своей дорогой...

Фетишизация документа – «болезнь», весьма распространенная среди любителей архивов. По счастью, не всех.

Заместитель директора Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева пишет о «мифологизации архивного документа, будто бы хранящего единственную и неопровержимую правду о прошлом. Однако профессионалы-документоведы, – продолжает она, – знают, насколько это представление далеко от действительности, и прежде всего советской: значительная часть государственной и партийной деятельности не документировалась, а значит и не может быть отражена в архивных документах. Кроме того, достоверность документов, а точнее сказать, информации, заключенной в документах, весьма относительна»[58].

Того же мнения и член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор Р. Ш. Ганелин: «Устная история (oral history), – пишет он, – требует к себе внимания как отразившая в качестве своеобразного источника не только восприятие событий современниками, но и сами эти события. Ведь деликатность, двусмысленность, а то и трагичность исторических ситуаций явились причиной особенных искажений в отображении их и связанных с ними событий в письменных памятниках эпохи. (...) Показания современников-наблюдателей – единственное живое слово об эпохе...»[59].

Миллионы фактов и событий вообще не нашли никакого отражения в письменных источниках. К тому

же архивы советских времен неоднократно подвергались «прополке» – на этот счет есть много свидетельств. (Могу поручиться, к примеру, что документы, подтверждающие сотрудничество Вышинского с полицией в первом десятилетии прошлого века, из архивов исчезли, – об этом рассказано в моей книге «Царица доказательств» – М., 1992. С. 21-23.)

И уж совсем невозможно строить свои рассуждения на самом факте отсутствия документов – это очевидно для каждого: иначе важнейшие события советской истории прошедшего века так и останутся белыми пятнами. Между тем криминалистика (криминалистический метод исследования ничуть не менее основателен, чем некий «историко-аналитический») относит свидетельские показания, тем более внушительную их совокупность, и отсутствие противоречий между ними к числу несомненных доказательств («прямых улик») для установления факта или события – во всяком случае, не менее несомненных, чем документы, ибо документы, – говорил Тынянов, – могут лгать, как люди...

...Наконец, существуют совсем уж аутентичные свидетельства – что называется, из первых рук. Прежде чем их привести, необходимо рассказать об одной несостоявшейся акции, в течение десятилетий остававшейся загадочной, сомнительной, обросшей слухами в различных вариантах, а теперь наконец получившей вполне четкие очертания и даже точную датировку. Речь идет о подготовленном письме знаменитых евреев на имя Сталина в поддержку расправы над «врачами-убийцами», с выражением преданности «нашей социалистической родине» и с просьбой защитить советских евреев от справедливого гнева народа, дав им возможность искупить вину всех своих соплеменников. О существовании такого письма стало известно тогда же, но многими скептиками этот слух подвергался сомнению, а сколько-нибудь весомых доказательств не было. Наследники Сталина упрятали все материалы в секретные архивы и к этой скандальной странице советской истории ни в каком контексте возвращаться не хотели. Хотя многие важные детали остаются неизвестными до сих пор, эта страница все же поддается теперь достоверной реконструкции.

В двадцатых числах января 1953 года (скорее всего, в самом конце января, во всяком случае после вручения Эренбургу Ленинской премии) начался сбор подписей еврейской элиты под письмом, текст которого сочинили три активиста (возможно, не только они), хорошо понимавшие судьбоносную важность поставленной перед ними задачи: историк-академик Исаак Минц, член редколлегии и штатный фельетонист «Правды» Давид Заславский и политический журналист Яков Хавинсон, писавший под псевдонимом «М. Маринин». В недавнем прошлом он был генеральным директором ТАСС.

Все трое относились к числу «государственно полезных» евреев, ибо всегда безоговорочно и, с точки зрения Кремля, профессионально выполняли самые деликатные и важные идеологические заказы. Минц принимал активное участие в фальсификации истории революции, сделав Сталина ее главным вождем, отодвинувшим на второй план даже Ленина. Выше уже говорилось о том, что Заславский в двадцатые годы перебежал из лагеря врагов большевизма (он был активным бундовцем и меньшевиком) в лагерь воинствующих сталинистов, позже получив от самого Сталина (как, кстати сказать, и бывший меньшевик Вышинский) рекомендацию для вступления в партию: Сталину особенно импонировало, что Ленин всячески поносил Заславского в прессе, а вот он приблизил его к себе и сделал верным лакеем. Этот, поистине чудовищный, негодяй был хорошо известен в литературной среде активнейшим участием в травле Осипа Мандельштама (чуть позже с такой же яростью он будет травить Пастернака). Наконец, Хавинсон-Маринин показал себя на работе в ТАССе как бессовестно ловкий сочинитель всевозможных «заявлений» и «опровержений» этого агентства, готовый страстно «обосновать» все, что ему прикажут. Есть мнение, что верноподданническое письмо с просьбой выслать советских евреев в Сибирь и на Дальний Восток для искупления их вины явилось инициативой самих перетрусивших его сочинителей, стремившихся таким образом отвести угрозу прежде всего от себя, отделить «верных» евреев от «неверных»[60]. Это, разумеется, не так, и вовсе не только потому, что никто при Сталине, особенно в тот

критический момент, не мог позволить себе подобного самовольства. Уже одно то, что в сборе подписей, типографском наборе письма и подготовке его к публикации принимали участие – сначала секретарь ЦК Михайлов, затем главный редактор «Правды» Дмитрий Шепилов, а сам сбор происходил в помещении редакции, опровергает версию о спонтанности действий авторов текста. Вызывать в «Правду» еврейских знаменитостей и добиваться от них подписи под столь рискованным документом – да кто же позволил бы себе такое, не будучи на то уполномочен с очень большого верха? Дважды Героя Советского Союза, полковника (в скором будущем генерала) Давида Драгунского срочно вызвали из Тбилиси (он командовал танковой дивизией, дислоцированной в Закавказском военном округе), чтобы заполучить и его автограф. Генерал примчался на военном самолете. Кто же это мог взять на себя – в сталинское-то время?

Теперь у нас есть возможность не задавать эти риторические вопросы и не ограничиваться логическими умозаключениями. Во-первых, есть прямое свидетельство самого осведомленного человека, к тому же оставшегося до последних дней своей долгой жизни преданным сталинистом. Лазарь Каганович, многолетний член политбюро, рассказывал Феликсу Чуеву, что с предложением поставить и его подпись к нему пришел тот самый секретарь ЦК Николай Михайлов, жена которого озвучила перед Светланой Аллилуевой проект выселения евреев из Москвы[61]. Уже одно это исключает самодеятельность трех активистов. Но еще важнее другое. В ответ на отказ подписаться Каганович услышал недоуменный возглас Михайлова: «Как?! Мне товарищ Сталин поручил». Каганович повторил: «Не подпишу, так и передайте. Я сам товарищу Сталину объясню». «Когда я пришел, – продолжил рассказ Чуеву Каганович, – Сталин меня спрашивает: «Почему вы не подписали письмо?» Я ему напомнил: «Я член Политбюро ЦК КПСС, а не еврейский общественный деятель»[62]. Важно не то, почему письмо не подписал Каганович, – важно, что приказал его написать и назвал тех, кто должен его подписать, – Сталин. В чем, конечно, и до признания Кагановича, у Чуева не могло быть сомнений.

Достоверность записи Чуева подтверждается письмом, полученным «Литературной газетой» из Израиля в 1991 году. Причины, по которым редакторат отказался его печатать, мне не известны, но ксерокопия подлинника письма сохранилась в моем архиве. Автор – родной племянник Лазаря Кагановича (установлено проведенной тогда же проверкой), киевский журналист (сотрудник газет «Вечерний Киев» и «Киевский вестник») Михаил Каганович, писавший под псевдонимом К. Михайленко. Он сын одного из пяти родных братьев Лазаря – Арона Моисеевича Кагановича.

Михаил подробно воспроизвел свой разговор с дядей, в частности эпизод с отказом поставить свою подпись под письмом в «Правду», и последующий разговор со Сталиным. «Не надо, не надо горячиться, товарищ Каганович, – резко прервал меня Сталин. – Я с вами согласен. Считайте вопрос решенным: товарищ Сталин (он частенько говорил о себе в третьем лице) не настаивает на вашей подписи под письмом в «Правду». – «Но это еще не все, – перебил я его. – Я вообще считаю, что в таком письме нет необходимости. Ведь это абсурд, все тут же поймут, что оно сфабриковано в ЦК и что людей принудили его подписать, потому что никто не верит в обвинения, выдвинутые против ни в чем не повинных врачей». – «Они сами во всем сознались», – ответил мне Сталин. Собираясь уже уходить, я со злостью бросил Сталину: «А то ты не знаешь, как выбиваются эти признания! Ты бы сам под пытками у Берии и Игнатьева (он был тогда министром госбезопасности) сознался, что работал в царской охранке, был гитлеровским шпионом или сотрудником Джойнта. До свидания, товарищ Сталин!» Это была моя последняя фраза Сталину, это был последний с ним разговор за десятилетия совместной работы и личной дружбы. Я видел, как он помрачнел, у него начиналось чуть ли не обморочное состояние. Я вышел из кабинета, послал туда секретаря, сидевшего в приемной, а сам уехал к себе на дачу, ибо чувствовал, что работать после такого разговора не смогу».

К тому моменту, когда Каганович делился с племянником своими воспоминаниями, в живых уже не было никого из числа «ближайших соратников», который мог бы его опровергнуть. Лишь поэтому, скорее

всего, он приписал себе геройский поступок, будто бы совершенный один на один со Сталиным. Кому не ясно, что без тщательно подготовленных предварительных мер коллективной безопасности это было вообще невозможно: бунтовщик мог не выйти из Кремля и запросто оказаться на предстоящем процессе главарем презренной сионистской банды. Но его свидетельское показание, даже с поправкой на неуклюжее возвеличивание самого себя, нельзя игнорировать. Оно говорит о том, какое значение придавалось акции с письмом в «Правду» и какую роль в ней играл сам Сталин. Отпор, который ему оказали, не мог не повлиять на состояние уже весьма ослабевшего организма. Поразивший его вскоре инсульт, разумеется, находился в причинной связи с тем психологическим нокаутом, который он получил.

Людоед, задумавший сожрать всех евреев, обломал о них зубы.

Сохранилось и несколько письменных свидетельств zaangażированных участников этой акции.

Писатель с безупречной нравственной репутацией Вениамин Каверин (Зильбер), вызванный в «Правду» Хавинсоном и мужественно отказавшийся поставить свою подпись, вспоминал: «Я прочитал письмо: это был приговор, мгновенно подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем Востоке. Евреи в своей массе, – говорилось в письме, заражены духом буржуазного воинствующего национализма, и к этому явлению мы, нижеподписавшиеся, не можем и не должны относиться равнодушно. Из письма с непреложностью вытекало, что мы заранее оправдываем новые массовые аресты, высылку ни в чем не повинных людей. Мы не только заранее поддерживали эти злодеяния, мы как бы сами участвовали в них – уже потому, что они совершались бы с нашего полного одобрения. Подписать это письмо значило пойти на такую постыдную сделку с совестью, после которой с опозоренным именем не захочется жить»[63].

Каверин на сделку с совестью не пошел. Точно так же[64] поступили немногие, и однако же поступили.

Евгений Долматовский, очень популярный в те годы поэт, его песни – «Любимый город», «Все стало вокруг голубым и зеленым», «Провожают гармониста в институт», «На Волге широкой, на стрелке далекой...» – пели повсюду. Он рассказывал мне уже в девяностом году: «За мной не приехали – мне звонили. Надо, мол, явиться в «Правду» и подписать документ государственной важности. Про содержание не говорилось, но достаточно было того, что звонил Давид Заславский, я его хорошо знал. И ничего хорошего от него не ждал. К тому же он сказал: «Пора вспомнить, Евгений Аронович, что вы еврей». Нет, возразил я ему, национальность у меня советская, а главное – я русский поэт. И только этим известен. Мои русские песни поет русский народ, и он знает меня как русского, а не еврейского поэта. Заславский стал что-то говорить в угрожающем тоне. Надо было выиграть время. Почему-то мне пришло в голову напомнить, что Шостакович только что написал на мои стихи четыре песни для голоса и фортепиано и еще кантату «Над родиной нашей солнце сияет». А сейчас, говорю, мы работаем с ним над песней о товарище Сталине. Ни над чем мы с ним тогда не работали, но я соврал – в надежде, что никто проверять не будет. А будет – Шостакович не подведет. «Конечно, вы понимаете, сказал я Заславскому, что песня о товарище Сталине важнее, чем все остальное». Плешивый отстал. И больше мне никто не звонил»[65].

Те, кому выпала горькая участь стать заложниками и невольными соучастниками задуманной гнусности, не торопились, естественно, придать ей огласку. Многие так и ушли, не рассказав ничего. Слишком поздно надумал я собрать их свидетельства. Почти никого уже не осталось. До самых последних я все же добрался.

Михаил Ботвинник в пятьдесят третьем году был на вершине своей шахматной карьеры: чемпион мира! Имя его гремело на всех континентах. Собирая еврейских знаменитостей, Заславский с Хавинсоном не должны были его обойти. Ботвинник зло отказывался от разговора со мной, именно зло – это меня поразило. Просил не беспокоить – ни за что не хотел возвращаться к тем «кошмарным дням». Кошмарным

– это его выражение. Наконец, после третьего или пятого моего захода (декабрь 1991 года), признался: «Меня донимал какой-то академик (видимо, Минц. – А. В.): «подпишите, все уже подписали». Но как раз в это время я играл с Таймановым короткий матч за первое место в чемпионате СССР (М. М. Ботвинник и М. Е. Тайманов разделили 1-2-е места в чемпионате. Матч между ними игрался с 25 января по 5 февраля 1953 года, так что память Ботвинника не подвела. – А. В.) – очень подходящий повод попросить, чтобы не беспокоили. И меня еще предупредил Батурицкий (полковник юстиции, занимавший руководящий пост в советской шахматной федерации), чтобы сразу по окончании матча (Ботвинник его выиграл. – А. В.) я не подходил к телефону, а еще лучше куда-нибудь бы уехал подальше от глаз. Уехать я не мог, но к телефону не подходил. Не зная, в чем дело, – просто на всякий случай. Поверил Батурицкому – человек осведомленный и зря не посоветует. Домашние тоже на звонки не отвечали, хотя телефон трезвонил с утра до ночи, – может, впрочем, кто-то хотел просто поздравить, но мне было не до поздравлений».

Виктор Давыдович Батурицкий (с ним беседовал по моей просьбе корреспондент «ЛГ») не мог вспомнить, был ли у него с Ботвинником такой разговор. Принципиального значения это не имеет. Представляю себе, как мучился Ботвинник: ведь в сорок восьмом году он письменно приветствовал создание государства Израиль и придание этого государства Кремлем[66]. Его подпись под письмом в «Правду» могла бы, возможно, смягчить его вину за этот ужасный поступок, если бы пришло время держать ответ. Не подписал. Важно ли, как это ему удалось? Не подписал...

Смог я поговорить – тогда же, в декабре девяносто первого, – и с еще одним реликтом из той же плеяды – с прославленным басом Большого театра Марком Рейзенем. Когда я ему позвонил, певцу было уже девяносто шесть лет, в трубке звучал совсем не тот голос, который будил меня из черной тарелки репродуктора в крошечной тьме зимней московской рани: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Как ему не хотелось, чтобы я пришел для этого разговора! Но я все же пришел. Почему-то не работало отопление. Марк Осипович сидел в некогда роскошной, богато обставленной и – совершенно нежилой, выстуженной комнате. В дубленке и валенках: Меншиков в Березове наших дней. Повел меня на кухню, где горели все четыре конфорки газовой плиты. Я вытащил магнитофон – он властным жестом от него отмахнулся, повелел не включать. «Ну, было там какое-то сборище. Смутно помню. Прислали «ЗИМ». Какой-то академик держал речь: надо исполнить свой гражданский долг. Я сказал: «Мой гражданский долг – петь. У меня сегодня спектакль. Может прийти товарищ Сталин. Когда спою, присылайте «ЗИМ» снова. Тогда поговорим». Не прислали»[67].

Только у нас такое возможно: имя товарища Сталина помогало бороться с замыслом товарища Сталина. То есть, иначе сказать, с ним самим. Молодцы – догадались!..

Я понял, что за академик держал ту речь, которая запомнилась Рейзену. Его точный портрет нарисовал Вениамин Каверин: «Отвратительный лысый человек, похожий на деревянную куклу, с лицом, в котором наудачу были прорезаны глаза, а вместо рта – узенькая щель». Это был безоглядный сталинский холуй, имевший дерзость называть себя историком, – академик Исаак Израилевич Минц. Профессиональный фальсификатор, он прожил почти сто лет, ни разу не обмолвившись, в какой гнусной истории играл ведущую роль. И Хавинсон отдал Богу душу на девяносто третьем году – забился в норку и помалкивал. В полной немоте дотянуло до восьмидесяти пяти и другое лысое чудовище – Давид Заславский: продавшие душу дьяволу никогда не способны на исповедь.

Нашлись отговорки и еще у нескольких человек. Про иных известно достоверно.

Уклонился от подписи Герой Советского Союза, генерал Яков Крейзер (впоследствии «полный», как говорили раньше, генерал, то есть генерал армии). Уклонился академик Евгений Варга – старый венгерский коммунист, осевший в Москве, – он позволял себе спорить со Сталиным и в двадцатые, и в тридцатые годы. Отказался профессор Александр Горинов, член-корреспондент Академии наук, крупнейший

специалист по строительству железных дорог. Есть не поддающиеся пока проверке сведения о том, что отказались также: академик-экономист Иосиф Трахтенберг, профессор-историк Аркадий Ерусалимский, профессор-международник Исаак Звавич.

Зато согласившихся хватало с избытком.

Подписали бывший министр Борис Ванников, генералы Давид Драгунский и Соломон Кремер, академики Александр Фрумкин, Семен Вольфович, Григорий Ландсберг, конструктор самолетов Семен Лавочкин, писатели Василий Гроссман, Самуил Маршак, Павел Антокольский, Маргарита Алигер, Лев Кассиль, композитор Матвей Блантер, музыканты Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, дирижеры Юрий Файер, Самуил Самосуд, балерина Суламифь Мессерер (тетя Майи Плисецкой) и еще многие другие, очень известные советским гражданам и – в большинстве своем – весьма достойные люди. Ими руководили страх, отчаяние и надежда.

Да, надежда: как признавался впоследствии Василий Гроссман, он думал, что, отдав на заклятие несколько десятков и без того обреченных врачей, избавит от уничтожения весь еврейский народ. Спасет большинство, пожертвовав меньшинством[68]. До конца жизни Гроссман казнил себя за этот поступок. Самуил Маршак плакал на груди своего друга Александра Твардовского, уверяя, что за эту слабость ему нет никакого прощения[69]. Матвей Блантер, автор всенародно любимой «Катюши», каждое утро с ужасом открывал газету, страшась увидеть свою фамилию под этим письмом.

Зимой 1976 года мы встретились в Переделкинском доме творчества с Павлом Григорьевичем Антокольским. Вообще-то он жил на своей даче в писательском поселке Пахра, но в Переделкине шел какой-то поэтический семинар, и вести одну из групп пригласили Антокольского. Я с ним был знаком еще по литературной студии МГУ, которой он какое-то время руководил, – возможно, это подвигло меня спросить его про злополучную историю с письмом, о которой смутно что-то слышал в Париже еще в шестьдесят восьмом, но воспринял тогда как «испорченный телефон». Антокольский не пытался изобразить из себя героя – сказал с мужественной прямоотой: «Мы с Гроссманом (выделил только его!) подписали». Мне хотелось понять: «Вас запугивали, вам угрожали?» Он посмотрел на меня с удивлением: «Ну, что вы! Обвораживали и ублажали. На столе стояла огромная ваза с пирожными – до них никто не дотронулся. Зато, поверьте, теперь я знаю, что чувствует кролик, когда с ним тешится удав перед заглотом».

Маргариту Алигер мне удалось разговорить в конце сентября девяносто первого – незадолго до ее смерти. Она переживала одну трагедию за другой (смерть мужа, трагическую гибель дочери), оборвав уже, в сущности, всякую связь с прошлым. Может быть, поэтому, неоднократно отказываясь раньше говорить о том эпизоде, на этот раз вдруг решила. «Порог выносливости, – сказала мне Маргарита Иосифовна, – не безграничен. Но моральная пытка еще страшнее физической. От нее тупеешь, отключаешься, перестаешь принадлежать себе... Я безропотно подписала то письмо, даже не прочитав, – лишь бы скорее сбежать, лишь бы не видеть жабью физиономию омерзительного Заславского и паточную улыбку лощеного упыря Хавинсона. Вернулась домой и влила в себя коньяка, чуть ли не всю бутылку».

В том, что письмо, о котором идет речь, существовало и что сбор подписей под ним проходил в условиях поистине драматических, ни у кого сомнения не было, но само письмо куда-то «затерялось». Недавно оно нашлось, но в очень странном варианте. Машинописный и набранный типографским способом текст отличаются друг от друга, а под текстом находится перечень подписавшихся, но без самих подписей, – в перечне значатся 58 имен, хотя из воспоминаний известно, что планировалось собрать не менее ста подписей[70].

Опубликовавший его текст журнал «Источник», всегда ссылающийся на точное место хранения

документа, на этот раз (не случайно, конечно) поступил вопреки своим правилам: где найден этот документ и где он находится, в публикации не обозначено. Подтасовка видна невооруженным глазом. Судя по опубликованному тексту, речь идет о его второй, а возможно и третьей, исправленной и смягченной, редакции: призыва спасти евреев от справедливого народного гнева там нет, хотя он запомнился тем, кто был ознакомлен с письмом в редакции «Правды»[71].

Фальсификация, проделанная журналом «Источник», – подмена первого варианта письма другим вариантом, – убедительно разоблачена Борисом Фрезинским[72]. Она видна уже из того, что в тексте письма, якобы составленном не позже 3 февраля, упоминается «взрыв бомбы» на территории миссии СССР в Тель-Авиве, который произошел 9 февраля. Первый вариант, потрясший и Каверина, и Гроссмана, и других – подписавших и не подписавших его, – был, как пишет Б. Фрезинский, «иным и страшным и теперь уничтожен или утаивается». Публикация первого варианта моментально перечеркнула бы неуклюжую попытку «трезвых и объективных» историков (так аттестует их журнал «Наш современник», высоко оценивший книгу Г. Костырченко «В плену у красного фараона») защитить товарища Сталина под маской его разоблачения.

Важнейшую роль в судьбе подготовленного к публикации письма – точнее, в том, ради чего оно готовилось, – сыграл Илья Эренбург. Он предпринял отчаянную попытку сорвать сталинский замысел, скользя по лезвию бритвы и понимая, что в создавшейся конкретной обстановке не может ни подписать, ни безоговорочно отказаться. Под каким-то предлогом мог бы, наверное, уклониться – это осталось бы строкой в личной его биографии. Как остался строкой практически никем не замеченный его отказ подписать другой текст – пятью годами раньше: панегирический некролог большущего друга писателей – Андрея Жданова. Никто не посмел уклониться, а он посмел[73].

Мог бы так же и в этот раз, но Сталина это только разозлило бы, озлобило бы еще больше. Играть со Сталиным можно было только по правилам, им самим установленным, разговаривать с ним на доступном ему языке. То есть найти аргументы, который он был бы в состоянии воспринять. В судьбоносный момент, когда на кон была брошена жизнь миллионов его соплеменников, Эренбурга меньше всего заботило, что скажут о нем и как будут его лягать полвека спустя кабинетные критики и аналитики-эрудиты, «разоблачающие» теперь сталинский «государственный антисемитизм» с позиции «государственного патриотизма».

Задача была только одна: любой ценой остановить катастрофу.

Самым блистательным был финальный аккорд того исторического письма, с которым Эренбург обратился к Сталину. Он не отказывался подписать коллективное обращение, за что, глядишь, и заслужил бы кислую похвалу нынешних знатоков, – нет, он соглашался его подписать! Но лишь при условии, что Сталин, узнав про его сомнения (они касались прежде всего неизбежной международной реакции), не сочтет их серьезными и даст ему мудрый совет подпись поставить. Шахматные комментаторы такие ходы сопровождают тремя восклицательными знаками.

Сталин раздумывал. Время шло.

В отличие от тех, кто впоследствии считал его поступок не просто героическим, но и спасительным, сам Эренбург относился к нему более критически. «Я пытался воспрепятствовать появлению в печати, – пишет он в своих мемуарах, – одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная (как иначе можно было назвать идею «депортации во искупление»?! – А. В.), не была осуществлена. События должны были развернуться дальше. (!) Не настало еще время об этом говорить. (Когда он писал свои мемуары, говорить-то, возможно, уже настало, но кто бы ему позволил еще и напечатать? А ведь он писал мемуары для печати, а не в стол. – А. В.) Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь мне кажется, что дело замешкалось и Сталин не успел сделать того, что хотел»[74].

Опубликованный ранее текст его письма Сталину[75] представляет собой тоже лишь первоначальный вариант. В нем отсутствуют два важнейших пассажи, свидетельствующих о том, как Эренбург стремился подыграть Сталину, не прогневать его, высказать те «соображения», которые могли бы хоть как-то повлиять на адресата, то есть сделать все возможное и невозможное, лишь бы остановить в последний момент руку обезумевшего палача.

Вот два дополнения к первоначальному варианту, которые Эренбург сделал после нескольких дней раздумий и 3 февраля 1953 года вручил лично Шепилову с просьбой отдать письмо Маленкову для передачи Сталину. Первое: «В тексте «Письма» имеется определение «еврейский народ», которое может ободрить националистов и смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет». И второе: «Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток воскресить или насадить еврейский национализм, который при данном положении неизбежно приводит к измене Родине. Мне казалось, что для этого следует опубликовать статью или даже ряд статей, подписанных людьми еврейского происхождения, разъясняющих роль Палестины, американских буржуазных евреев и пр. С другой стороны я считал, что разъяснение, исходящее от редакции «Правды» и подтверждающее преданность огромного большинства тружеников еврейского происхождения Советской Родине и русской культуре, поможет справиться с обособлением части евреев и с остатками антисемитизма. Мне казалось, что такого рода выступления могут сильно помешать зарубежным клеветникам и дать хорошие доводы нашим друзьям во всем мире»[76].

Именно вариант письма с этими дополнениями является аутентичным, ибо под ним стоит личная подпись Эренбурга (автограф), и именно его читал Сталин, о чем свидетельствует имеющаяся на оригинале архивная пометка: «Поступило 10.X.53 г. с дачи И. В. Сталина»[77]. Значит, Сталин не только его читал, но и держал при себе, – оно оказалось в числе тех, сравнительно немногих, особо важных, с его точки зрения, документов, которые он не оставлял в служебном кабинете и которые им самим не были сданы в архив: факт, говорящий о многом...

Процитированные выше дополнения Эренбурга к первоначальному варианту его письма на первый взгляд отличаются повышенной угодливостью и даже полной поддержкой бредовых идей, высказанных Сталиным еще в 1913 году. Так что глумливые потомки получили полную возможность резвиться, топча его за сервильность. Разумеется, письмо Эренбурга от начала и до конца было абсолютно неискренним. За ним стоял трезвый расчет и еще – прагматичное лукавство, которое позволяло Эренбургу, начиная с середины тридцатых годов, играть при Сталине особую роль.

В сущности, говоря с вождем на его языке, Эренбург неприкрытой, но убедительной, демагогией уводил его от замысла опубликовать письмо знаменитых евреев о коллективной вине, предлагая вместо этого ничего не значащее письмо о Палестине и редакционную (то есть безымянную и, значит, директивную) статью «Правды», отделяющую «евреев-предателей» от «евреев-патриотов» и тем самым спасающую последних от депортации.

Именно на это рассчитывал, ставя свою подпись, Василий Гроссман, но хитрющий Эренбург предпочитал не надеяться, а делать – с большей эффективностью. Обдумал все возможные варианты и нашел единственно правильное решение. Другого хода в той критической обстановке, пожалуй, не было. Речь шла уже не о добром имени одного писателя, а о судьбе целого народа. Эренбург прав и в том, что никакие доводы не заставили бы Сталина отказаться от уже принятого решения, но они дали выигрыш во времени, который в итоге и оказался спасительным.

Сталин отмолчался, так и не дав никакого совета Илье Эренбургу. Подписи этого писателя под письмом нет, иначе она давно была бы уже опубликована в факсимильном варианте теми, кто горячо любит этого «оппортуниста» и «сталинского подголоска».

Г. Костырченко утверждает, что Сталин «не позволил ему уклониться от исполнения номенклатурного долга. Так под обращением наряду с прочими появился и автограф Эренбурга»[78]. Ну, и где же это сталинское «непозволение», в чем конкретно оно проявилось? И где же он, этот автограф? В доказательство своего утверждения автор делает ссылку на четыре источника[79]. Ни в одном из них никакого следа ни самого автографа, ни просто упоминания о нем нет. Эренбург категорически отрицал, что он подписал обращение в каком бы то ни было варианте[80], и он никогда не мог бы себе это позволить, зная, что автограф хранится в архиве и всегда может быть опубликован его заклятыми друзьями.

Погромщики постсоветского времени, признав, что Сталин собирался депортировать на Дальний Восток всех евреев[81], утверждают, будто, спасаясь от «законного возмездия», евреи убили его, причем как раз в те дни, когда праздновался еврейский праздник Пурим: «роль Эсфири и Мордехая на этот раз сыграли врачи-убийцы».[82]

Зоологическая злоба отшибла у них память: врачи-убийцы, то есть лучшие из лучших специалистов, медицинские светила страны, сидели тогда в тюрьме, ждали казни и, даже при желании, никого убить не могли. Заболевшего Сталина лечили только русские медики – Мясников, Лукомский, Коновалов, Тареев, Куперин – под началом министра здравоохранения, профессора Третьякова. И они не могли бы убить своего высокого пациента, впрочем, и вылечить – тоже. Одному из арестованных, профессору Якову Рапопорту, следователь вдруг сказал на допросе 4 марта, когда вождь уже агонизировал: «У моего дяди обнаружили дыхание Чейн-Стокса. Вы знаете, что это такое?» (Об этом симптоме, обнаруженном у Сталина лечившими его врачами, стало сразу же известно на Лубянке. – А. В.). У измученного пытками профессора хватило юмора и сил, чтобы ответить: «Если вы ждете от дяди наследство, то считайте, что уже его получили»[83].

О том, что «дядей» был Сталин, ни Рапопорт, ни другие узники, естественно, не знали. Но наследство тирана действительно им досталось: вместо заготовленной виселицы они обрели свободу. После смерти Сталина они провели в заточении еще один месяц, но никого из них на допрос больше не вызвали. Поздно вечером 3 апреля всех врачей-убийц развезли по домам на легковых лубянской машинах в сопровождении офицеров, на прощание почтительно отдавших им честь и пожелавших спокойной ночи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Костырченко Г. В плену у красного фараона. С. 263-266.
2. Московские новости. 1998. № 15. С. 27.
3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 119. Д. 1024. Л. 77.
4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 119. Д. 183. Л. 184-185 и Центр хранения современной документации (ЦХСД). Ф. 89. Сп. 18. Док. 42. С. 3.
5. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 237. Л. 1.
6. Там же. Д. 238. Л. 41.
7. Воспоминания драматурга Алексея Спешнева. Рукопись. Хранится в семье.
8. РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 237. Л. 3.

9. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 240. Л. 6, 24-25.

10. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 846. Л. 197.

11. Известия. 1950. 14 января.

12. Об этом в моей книге «Царица доказательств. Вышинский и его жертвы» (М., 1992. С. 286-288).

13. Архив Главной военной прокуратуры. «Наблюдательное производство по делам работников Еврейского Антифашистского Комитета, осужденных самостоятельно». Т. 5. Л. 115-170.

14. Шатуновская Лидия. Жизнь в Кремле. С. 310. Писатель Лев Разгон, отсидевший в Гулаге 17 лет, рассказывал мне, что другой следователь и в другие годы говорил ему то же самое. Видимо, лубянские палачи получили на этот счет общий для всех инструктаж.

15. Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С. 34-40.

16. Пихоя Р. Советский Союз. История власти. 1945-1991. М., 1998. С. 87 и 92.

17. Литературная газета. 1989. 15 марта.

18. Детектив и политика: Альманах. 1992. № 3. С. 196-201. Все, кто ссылается в своих работах на докладную записку генерала Чепцова – уникальное свидетельство из первых рук, – пользуются этой публикацией, ибо сами никогда не видели документ в глаза. Ксерокопия подлинника с личной подписью Чепцова хранится в архиве автора, местонахождение самого подлинника неизвестно.

19. Исторический архив. 1994. № 1. С. 59.

20. Судебное дело ЕАК. Т. 7-А. Л. 93.

21. Сталин И. Собрание сочинений. М., 1949. Т. 11. С. 347.

22. Неправедный суд. М., 1994. С. 329-331. См. также: Литературная газета. 1989. 15 марта.

23. Неправедный суд. С. 11-12. См. также: Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Приговоренные временем. М., 2001. С. 360. В документальном повествовании Абрама Клейнера «Девять лет» подробно рассказывается о том, как его следователь Дубок, соврав, что «Эренбург давно уже у нас», требовал от Клейнера показаний об этом «никаком не писателе», а шпионе, заговорщике и террористе.

24. Новый мир. 1998. № 12. С. 195-196.

25. Неправедный суд. С. 371.

26. Там же. С. 372.

27. Знамя. 1992. №8.

Еще того хлеще: даже в начале шестидесятых годов, когда трагический конец еаковцев уже ни для кого не был секретом, Б. Полевой уговаривал Эстер Маркиш, вдову казненного поэта, сообщать всем – и в стране, и заграничным знакомым, что ее муж вовсе не был расстрелян, а умер от разрыва сердца. (Маркиш Эстер. Столь долгое возвращение... Тель-Авив. 1989. С. 323).

В журнале «Юность» была опубликована переписка Б. Полевого с Ильей Эренбургом по поводу этого инцидента, из которой видно, что Полевой, пытаясь впоследствии оправдаться, заврался окончательно, утверждая, будто в разговоре с Фастом он называл имя не уже расстрелянного Квитки, а поэта Самуила Галкина, который жил с ним по соседству и с которым он разговаривал перед отъездом в Америку. И даже – в подтверждение – указал его точный московский адрес. Беда в том, что Галкин в то время, когда Полевой пудрил мозги Фасту, пребывал совсем по другому адресу, осужденный «Особым совещанием» 25 января 1950 года на десять лет лагерей. Так что лгун не мог видаться и с ним. Непонятно лишь, почему

Эренбург (его переписка с Полевым по этому поводу шла уже в «оттепельные» годы), прекрасно понимая, что речь идет о беспардонной и циничной лжи, вознамерился ей потворствовать, поддержал коллегу, хотя и в тщательно обкатанных выражениях. Притом поддержал не только в письме к нему самому, но еще и в письме, адресованном норвежским медиям, которые вывели всю эту грязь на чистую воду.

28. Источник. 1997. №5. С. 104.

29. Там же.

30. Там же. С. 147.

31. АП РФ. Ф. 3. Оп. 62. Д. 131. Л. 93-94.

32. Правда. 1953. 29 января. В те же дни в СССР гостил еще один сталинский аллилуйщик из той же Франции – прозаик и драматург Роже Вайян. Антисемитская истерия разворачивалась на его глазах, но он, не моргнув глазом, сделал такое заявление: «Я увидел советский образ жизни таким, каким он и должен был быть – по учению коммунистической партии, по хорошо мне знакомым сталинским трудам». См.: Литературная газета. 1953. 27 января. Может быть, это был слишком тонко завуалированный, черный, издевательский юмор? Но в подобных изысках на острие ножа посредственный литератор Вайян никогда не был замечен.

33. Правда. 1953. 29 января.

34. Рубцов Юрий. Alter ego Сталина. М., 1999. С. 288.

35. Материалы проверки по делу ЕАК. Т. 1. Л. 23. См. также: Московские новости. 1994. 20-27 марта. Это тот самый Комаров, про которого дал показания С. Лозовский на судебном процессе: «...он имел очень странную установку. Он на следствии мне упрямо втолковывал, что евреи – это подлая нация, что все евреи – жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что евреи хотят истребить всех русских» (Судебное дело ЕАК. Т. 7. Л. 77).

36. Крокодил. 1953. № 3. С. 3.

37. Крокодил. 1953. № 5. С. 10. Московская атмосфера тех дней воспроизведена по документам и воспоминаниям в публикации журнала «Горизонт» (1991. № 6. С. 45).

38. Источник. 1999. № 3. С. 108.

39. От скепсиса «отрицатели» перешли к наступлению. Позиция, разделяемая автором этой книги, как и огромным числом современников той эпохи и множеством отечественных и зарубежных исследователей, припечатана как «холодящий душу сценарий, пригодный разве что для постановки триллеров» (Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 672). Этот историк полагает, что те, кто с ним не согласен, «не утруждают себя соблюдением научно-исторических методов исследования» и даже «не имеют представления о таковых» (там же, с. 20). Столь беспощадный приговор вынесен не только автору этих строк, но и доктору исторических наук Я. Я. Этингеру, сыну замученного в лубянской тюрьме «убийцы в белом халате», профессора-медика Я. Г. Этингера. (Г. Костырченко почему-то считает важным, притом не единожды, подчеркнуть, что профессор-историк не родной сын Я. Г. Этингера, а пасынок – сын его жены от первого брака. Это, видимо, должно как-то ослабить весомость его позиции.) Версия о готовившейся депортации, – решительно утверждает Г. Костырченко, – «не подкреплена какими-либо фактами» (там же, с. 673). Из дальнейшего изложения мы увидим, что это не так. Тем не менее ее, естественно, безоговорочно поддерживает Солженицын, не приводя никаких доказательств, кроме ссылки на того же Костырченко (т. 2, с. 409).

40. Г. В. Костырченко не согласен и с этим. Готовившееся «открытое антисемитское судилище» он называет мифом (там же, с. 682) и утверждает, что врачей ожидал закрытый суд, как это случилось с

членами ЕАК. Напомним: еаковцев арестовали тайно, следствие вели тайно, даже отрицали сам факт их ареста, поэтому и можно было тайно их судить. На этот раз широко разрекламированные: арест, завершение следствия и интенсивная обработка мозгов советских людей в прессе, сами по себе исключали суд при закрытых дверях. Можно не сомневаться, что в качестве «объективных наблюдателей» были бы приглашены иностранные гости, как это было во время трех Больших Московских процессов тридцатых годов. Видный французский адвокат и общественный деятель, исполнительный президент общества «Франция-СССР» Андре Блюмель рассказывал мне в 1970 году, что зимой пятьдесят третьего готовился для поездки в Москву на предстоящий процесс, причем «отбой» получил лишь в конце марта (он даже запомнил в, точности день – «когда в Москве объявили амнистию», – то есть не ранее 27 марта).

Абсолютно несостоятельно и утверждение, будто бешеная антисемитская кампания в прессе, сопровождаемая угрозой расправ, пошла в феврале на убыль. Напротив, кампания все нарастала, – свидетельством тому погромные публикации в «Правде» за 8,9,11,12,16,18,19,20,22,23,26,27 февраля. По инерции та же кампания продолжалась и после смерти Сталина: см., например, «Крокодил» за 20 марта 1953 года. Что касается самой «Правды», то «поворот все вдруг» произошел лишь начиная с номера за 2 марта, то есть когда Сталина хватил смертельный удар: больше на ее страницах действительно нет ни одного слова про врачей-убийц, агентов международного сионизма, о гневном народе и неминуемой расплате.

41. Лубянка внушала Кремлю, что военный конфликт с применением ядерного оружия неизбежен, что американцы готовятся к нападению, что оно уже запланировано – самое позднее на пятьдесят четвертый год. Покойный академик Виталий Гольданский рассказывал мне, что ученые-атомщики (в большинстве евреи!) пообещали Сталину: к концу 1953 года, а возможно и чуть раньше, у нас уже будет своя водородная бомба. Ее испытание действительно состоялось в августе «обещанного» года: она была в двадцать раз мощнее той атомной, которую сбросили на Хиросиму. Спешно завершалось и сооружение гигантской ракетной обороны Москвы. О неизбежности войны, по убеждению Сталина, и о том, что была дана секретнейшая команда готовиться к ней, мне говорил и академик Георгий Арбатов. На XIX съезде Сталин ввел в ЦК невиданное число маршалов, генералов и адмиралов (Василевский, Соколовский, Конев, Жуков, Мерецков, Тимошенко, Штеменко, Юмашев, Жигарев, Малиновский, Чуйков, Вершинин, Баграмян и другие) – выказывал особое доверие к армии, возлагая на военачальников свои надежды. Тогда же, на совещании министров обороны стран Варшавского договора, определилась главная стратегическая задача: активно готовиться к третьей мировой войне. Но если война неизбежна, зачем ждать нападения? Сталин извлек опыт из Второй мировой... См. также: Радзинский Эдвард. Сталин. М., 1997. С. 602. Аналитическое суждение о готовившейся депортации в связи с планами развязывания войны высказали также два историка высочайшей квалификации – см.: Геллер М. и Некрич А. Утопия у власти. Лондон. 1989. С. 559.

42. Новое время. 1993. № 2-3. С. 47-49.

43. Там же. Бездоказательному «контраргументу» – будто бы Булганин делал такие признания лишь «после изрядного возлияния» (Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. С. 680) – вряд ли место в историческом исследовании. Еще со времен Древнего Рима у юристов существует безусловное правило: оскорбить свидетеля не значит его опровергнуть.

44. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 326-327.

45. Не подвергшиеся редактуре воспоминания Хрущева (см.: Огонек. 1990. № 7). См. также: Микоян А. Так было. М., 1999. С. 536. Верный себе Г. Костырченко находит и для этого свидетельства неотразимый контраргумент: он попросту отводит осведомленного очевидца как «самого хамелеонствующего» в сталинском окружении. Не вдаваясь в дискуссию о «суперхамелеонстве» Микояна, который, после дворцового переворота, совершенного брежневцами, был изгнан со всех постов именно за свою верность

курсу XX съезда, хочу напомнить, что *argumentum ad personam* (то есть дискредитация личности оппонента или свидетеля) никем и никогда не признавался как довод в споре. Другое утверждение Г. Костырченко, будто мемуары вообще писал не А. И. Микоян, а готовивший их к печати его сын, доктор исторических наук Серго Микоян, вообще не подкреплено ни одним доказательством и является (пока не доказано иное) плодом чистой фантазии. Опровергнуть это утверждение в состоянии сам С. А. Микоян.

46. Аллилуева С. Только один год. М., 1990. С. 135.

47. Лясс Федор. Последний политический процесс. Иерусалим, 1995. С. 110-111. Ничего невероятного в этой мистереии нет. В моей книге «Валькирия революции» (М., 1997. С. 411-412) воспроизведен записанный А. М. Коллонтай (хранится в ее фонде в РГАСПИ) рассказ партийного функционера об эшелонах тридцатых годов, где везли «в товарных вагонах, как баранов», раскулаченных – детей, стариков, больных и калек. «Младенцы у груди матери замерзали, трупки из вагона прямо в снежные сугробы выкидывали». Много там и иных подробностей – все того же рода. Так что методика была уже отработана на практике, и притом вполне эффективно.

48. Об этом можно услышать его рассказ «живьем», перед кинокамерой, в документальном фильме Семена Арановича «Я служил в охране Сталина».

49. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993. С. 205.

50. Шейнис Зиновий. Провокация века. М., 1992. С. 122-123.

51. С. О. Голобородько беседовал мой коллега, журналист «Литературной газеты» – Григорий Цитриняк, рассказавший мне в подробностях об этой встрече. Краткий вариант интервью с ней был опубликован Г. Цитриняком в «Литературной газете».

52. Источник. 1993. № 0 (пилотный). С. 55.

53. Арбатов Г. Свидетельство современника. М., 1991. С. 18-19. Бовин А. Записки ненастоящего посла. М., 2000. С. 150.

54. Э. Радзинский ошибается, полагая, что Л. Шейнин был арестован в январе или феврале 1953 года (Сталин. М., 1997. С. 603). На самом деле его арестовали 19 октября 1951 года, в поезде, при подъезде к Москве, куда он возвращался из Сочи (следственное дело следственной части по особо важным делам МВД СССР № 5214). Освобожден 21 ноября 1953 года. См. также: Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Приговоренные временем. М., 2001. С. 358-362.

55. Обзор других фактов, свидетельствующих о планах депортации евреев, содержатся в работе Zvi Giterman «The Jews» (Problems of Communism. Washington. IX-X, 1967. P. 92-101). Американский историк Л. Шапиро убежден, что вслед за депортацией евреев началась бы грандиозная чистка среди русских аппаратчиков и административно-хозяйственного персонала, свидетельством чему многочисленные публикации в прессе о необходимости подбора и выдвижения на руководящие посты любого уровня «новых людей». См.: Шапиро Леонард. Коммунистическая партия Советского Союза. Firenze, 1975. С. 662.

56. См.: Дружба народов. 1997. № 12. С. 213.

57. Iakovlev Alexandre. Ce que nous voulons faire de l'Union Sovietique. Paris, 1991. P. 147. По сведениям А. Д. Сахарова, полученным, вероятно, не из первых рук, что несколько снижает их весомость, Чесноковым была подготовлена не брошюра, а передовая «Правды» под названием «Русский народ спасает еврейский народ», которая оправдывала депортацию. См.: Сахаров Андрей. Воспоминания. Нью-Йорк, 1990. С. 215-216.

Никакой опасности «поставить страну» – из-за еврейской депортации – «перед неизбежностью радикальных политических и идеологических преобразований» (Костырченко, с. 678), разумеется, не было:

на такие «преобразования» сталинские идеологи (он сам прежде всего) были великие мастера. Если марксистско-ленинская идеология не исключала обвинения в предательстве целых народов, то что мешало к заклеянным и наказанным народам добавить еще один? Почему, не подвергаясь официально ревизии большевистская идеология, вполне допускала бессудные репрессии против калмыков как калмыков, ингушей как ингушей, чеченцев как чеченцев, а для точно таких же репрессий против евреев как евреев непременно были нужны «радикальные политические и идеологические преобразования»?

58. См.: Индекс. 2001. №14.

59. Ганелин Р. Еврейский вопрос в СССР в представлении современников. 1930-1950-е годы // Петербургский Еврейский университет. Серия «Труды по иудаике». Вып. 3. СПб., 1995.

Еще раньше по тому же принципиальному вопросу высказался ученый и классик русской исторической прозы Юрий Тынянов. «На то он и был ученым, – пишет исследователь, – чтобы не относиться к документу с почтительностью неопита, чтобы не возводить его в абсолюте, а его отсутствие в доказательство правоты или неправоты какой-либо версии. «У меня нет никакого пиетета к документу вообще», – писал он».

См.: Тынянов Ю. Кюхля. М., 1975. С. 14-15

60. Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., 1990. С. 32.

61. Чув Ф. Так говорил Каганович. М., 1992. С. 174.

62. Там же. Об отказе Кагановича подписаться под коллективным письмом и даже о некоем, почти наверняка мифическом, «бунте» политбюро против рокового сталинского проекта рассказывал позже с чужих слов и Илья Эренбург, беседуя с Жан-Полем Сартром (Авторханов Абдурахман. Загадка смерти Сталина. М., 1992. С. 89).

63. Каверин В. Эпилог. М., 1989. С. 316-317. Яростный разоблачитель «мифа о депортации» Г. Костырченко не останавливается перед тем, чтобы и этого безупречного, никем и никогда не обвиненного в неправде, свидетеля представить как вольного или невольного лжеца (Лехаим. 2002. № 12). На каком основании? Он, оказываясь, Хавинсона назвал Хавенсоном и отнес встречу в «Правде» к зиме 1952 года, тогда как встреча имела место в январе пятьдесят третьего. Эти две фатальные описки Каверина оказались достаточными, чтобы честнейший и достойнейший человек, который героически (не будет искать обтекаемых слов!) проявил себя в обстоятельствах поистине судьбоносных, перекочевал в категорию лжесвидетелей. Хотелось бы все же понять, погоня за какими моральными дивидендами могла подвигнуть на лжесвидетельство 87-летнего писателя накануне своей смерти (книга «Эпилог» сдана в набор 29 декабря 1988 года, Каверин умер 2 мая 1989-го).

64. Так же, но не так же!.. Судя по всему, Каверин был единственным, кто без хитрости и лукавства, ничем не мотивируя, категорически отказался поставить свою подпись. Поступок, истинное значение которого по-настоящему не оценено.

65. Об этом же Евг. Долматовский рассказывал в Малеевке счастливо здравствующему и по сей день литературоведу А. И. Старцеву, который записал его рассказ и воспроизвел мне. Отличие лишь в том, что, согласно записи А. И. Старцева, Долматовский «увильнул» от преследователей не в разговоре по телефону, а непосредственно в редакции «Правды», куда он все же приехал. Наверно, такое расхождение Г. Костырченко посчитает «уликой против». Так или иначе, для Долматовского это тоже был поступок, сопряженный с большим риском. Его отец, – А. М. Долматовский, известный в прошлом московский адвокат, доцент юридического института, был расстрелян в феврале 1939 года (реабилитирован в декабре 1954-го). Сам поэт – в годы войны – фронтовой корреспондент, – оказавшись на Украине в окружении, попал в плен, откуда бежал. Ничего не стоило припомнить ему и то, и другое: зловещие вопросы

«находились ли во время войны в плену?», «находились ли во время войны на оккупированной территории?» многие годы сохранялись во всех анкетах.

66. Еврейский Антифашистский Комитет в СССР. 1941-1946. М., 1996. С. 279. Кстати, в тот же самый день, 19 мая 1948 года, «официальное признание прав еврейского народа» столь же бурно приветствовал и Давид Заславский (там же, с. 278-279), так что особое рвение этого перевертыша в посрамлении «сионизма» можно понять.

67. Г. Костырченко («Тайные преступления Сталина», с. 681) утверждает, что подпись М. Рейзена содержится на «подписном листе», приложенном к обращению в редакцию «Правды». Хорошо бы опубликовать факсимильный оригинал «подписного листа», притом непременно под самим «обращением», – тогда только можно будет судить, кто и под чем именно подписался («под чем именно» – не оговорка: доподлинно известно, что были как минимум два варианта «обращения» – первоначальный и откорректированный). К тому же изучавший эти материалы А. Н. Яковлев подтверждает, что подписи Рейзена под этим документом нет (Яковлев А. Цит. соч. С. 148). Даже если Рейзен приписал себе не имевшее место спасительное лукавство, которое в тех условиях все равно было бы мужественным поступком, это свидетельствует о том, какую незабываемую травму причинило ему выламывание рук.

68. Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. С. 33.

69. Кондратович Алексей. Новомирский дневник. М., 1989. С. 510. Литературовед Е. Ф. Книпович рассказывала мне, что Маршак нередко возвращался в своих рассказах к этому эпизоду, каясь за то, что у него не хватило мужества отказаться. Самуила Яковлевича Маршака я хорошо знал и подолгу беседовал с ним, но в разговорах со мной он тщательно избегал касаться событий начала 1953 года.

70. Источник. 1997. №.1.С. 143-146.

71. Шейнис Зиновий. Провокация века. С. 108. Профессор Р. Ш. Ганелин воспроизводит рассказы профессора С. Б. Окуня и академика И. И. Минца о том, что «первоначальный текст [письма] был заменен новым, и начался повторный приезд подписантов» (см.: Петербургский Еврейский университет. Серия «Труды по иудаике». Вып. 3. СПб., 1995). Факт «редактуры» подтверждает и Г. Костырченко, сообщая, что ее производил Шепилов (ук. соч., с. 681). О том же я знаю от Павла Антокольского, на разговор с которым зимой 1976 года я уже ссылался, и от Бориса Слуцкого, воспроизводившего свои разговоры с Илей Эренбургом.

72. Фрезинский Борис. Помутневший «Источник», или О чем же евреи просили Сталина? // Литературная газета, 1997, 23 июля.

73. Рубинштейн Джошуа. Верность сердцу и верность судьбе. СПб., 2002. С. 267 и Литературная газета. 1948. 1 сентября.

74. Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Т. 3. М., 1990. С. 228.

Прозрачнее, чем написал Эренбург в подготовленной для печати книге, сказать было нельзя, – ведь это писалось в первой половине шестидесятых годов, а в 1967 году Эренбурга уже не стало. Но Г. Костырченко, не моргнув глазом, заявляет (Лехаим. 2002. № 12), что в его мемуарах «депортация никоим образом не упомянута». Вот те на!.. А что же это такое – «затея, воистину безумная», что это за «события, которые должны были развернуться дальше» (то есть после подписания коллективного письма знаменитыми евреями) и что это за «дело», которое «замешкалось»? Что именно Сталин хотел сделать, как пишет Эренбург, но не успел? Г. Костырченко поверил бы, что речь идет о депортации, только если бы Эренбург употребил впрямую само это слово. Хотел бы я посмотреть, как он сам его бы употребил в каком угодно смысле в шестидесятые годы!

Ни Костырченко, ни Солженицын (между ними – полное единство) ни за что не хотят понять трагизма того поистине смертельного хода, на который пошел Эренбург.

Он, оказывается, лишь «сперва не подписывал» (курсив мой. – А. В.) и вообще проявил «непревзойденную изворотливость» (Солженицын, т. 2, с. 409). Так комментирует непререкаемый Верховный Судья рискованнейший и мужественный поступок Эренбурга.

Илью Григорьевича, как известно, многие не любят и многие порицают. Я тоже не отношусь к числу его слепых апологетов: немало отнюдь не лестных слов в его адрес читатель найдет и на этих страницах. Но книга моя посвящена не Эренбургу – здесь не место обсуждать ни его творчество, ни его судьбу. Скажу лишь, что даже самые категоричные и безжалостные к нему критики никогда не посягали хотя бы на одну страницу его жизни – военную, хорошо зная, какую роль сыграла для армии и для всей страны его неутомимая публицистика тех лет. Но – вот оценка этой публицистики Солженицыным («сдержать писательскую страсть», как он вроде бы старался, – см.: Московские новости. 2002. № 50. С. 20 – ему явно не удалось): «Илье Эренбургу <...> дано было «добро» сквозь всю войну поддерживать и распалить ненависть к немцам. <...> Эренбург отгремел главным трубадуром всей той войны <...> и лишь в самом конце был осажен» (т. 2, с. 349). Надо же, чтобы злоба до такой степени застлала глаза...

75. Полностью, а не в отрывках, впервые опубликовано в переводе на французский. См.: Berard Ewa. La vie tumultueuse d'Ilya Ehrenbourg. Paris, 1991. P. 298-299.

76. АП РФ. Ф. 3. Он. 32. Д. 17. Л. 100.

77. Там же.

78. Костырченко Г. Цит. соч. С. 681.

79. Там же. С. 748.

80. Beauvoir Simone de. La Force des choses. Paris, 1963. P. 347.

То же самое говорил Эренбург и Эстер Маркиш. Он объяснял это тем, что «письмо напоминает призыв к погрому – даже не завуалированный. Речь идет <...> о коллективной ответственности за преступления убийц в белых халатах. <...> Гнев советского народа справедлив и неудержим, но, поскольку подавляющее большинство евреев истинные советские патриоты и их необходимо защитить, гарантировать их безопасность, видные деятели еврейской национальности просят партию и правительство поместить советских евреев в «безопасные условия» Восточной Сибири.». См.: Маркиш Эстер. Столь долгое возвращение. Тель-Авив, 1989. С. 305-307.

81. Русское воскресение. 1991. № 3 и Московский трактир. 1991. № 1.

82. Независимая газета. 1993. 4 апреля. С. 5.

83. Рапопорт Я. Л. На рубеже двух эпох. М., 1988. По рассказам, которые я слышал в Израиле, тот же вопрос (о дыхании Чейн-Стокса) задал другой следователь Вере Вовси, жене профессора Меера Вовси, арестованного по делу врачей, – кузена Михоэлса.

ИЗБАВЛЕНИЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

Нетрудно было догадаться: первые зримые последствия перемен в Кремле коснутся судьбы арестованных врачей и вообще всего апокалиптического проекта, получившего впоследствии условное название «Второй Холокост». Так оно и случилось, хотя и не сразу: впрочем, интервал в несколько дней или даже в несколько недель для неповоротливого и скрипучего советского механизма кажется ничтожным.

Журнал «Крокодил», готовивший свои материалы заблаговременно и не имевший возможности перестроиться на ходу, продолжал публиковать антисемитские фельетоны в номерах и за 20, и за 30 марта, но в ежедневных газетах эта тема исчезла напрочь, как будто ее никогда и не было, уже 2 марта, когда тиран еще корчился в конвульсиях. 4 апреля все газеты опубликовали информацию об освобождении врачей-убийц, о том, что признания в совершении несуществующих преступлений у них были вырваны «с применением строжайше запрещенных советским законом методов ведения следствия», и что, наконец, фабрикация этого дела была покушением на нерушимую дружбу братских советских народов.

Еще два дня спустя в той же «Правде» Мнхоэлс был уже назван «честным общественным деятелем», народным артистом СССР, оклеветанным «презренными авантюристами». Очевидность использованных эвфемизмов была столь велика, что ни в каких разъяснениях не нуждалась. Многие на радостях расценили эту публикацию как возврат к политике полного этнического равноправия, к отказу от какой бы то ни было дискриминации по «пятому пункту».

В информации о реабилитации врачей был приведен список уже не из девяти, как в январе, а из пятнадцати фамилий. Все «добавленные» – русского происхождения (профессора Василенко, Зеленин, Преображенский, Попова, Закусов, Шерешевский), что убедительно подчеркивает тенденциозно антисемитскую направленность сообщения от 13 января. И, напротив, не упомянутые в том сообщении и тоже реабилитированные профессора-евреи (даже такие известные, как Серейский и Рапопорт) снова не названы, будучи упрятыми в категорию «и другие»: обнажить весь масштаб антисемитской акции не решились даже сейчас.

По докладной записке Берии, вновь возглавившего министерство внутренних дел (оно, как в тридцатые годы, поглотило в себе госбезопасность), политбюро, которое все еще, в соответствии с новым партийным уставом, называлось президиумом ЦК, приняло 3 апреля постановление о ликвидации «дела врачей» (освобождению подлежали в общей сложности 37 врачей и членов их семей) и «о привлечении к уголовной ответственности работников бывшего МГБ СССР, особо изощрявшихся в фабрикации этого провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов»[1]. Особо изощрявшимся оказался, в сущности, один лишь Михаил Рюмин, садист и зоологический антисемит, втянутый в масштабную кремлевскую игру: ему была отведена роль козла отпущения. Еще 16 марта, до постановления политбюро, Рюмина арестовали и более чем год спустя, 22 июля 1954 года, расстреляли.

Такая же участь постигла еще нескольких палачей из той же зондеркоманды, в том числе недавнего министра госбезопасности Виктора Абакумова, наиболее зверствовавших садистов Владимира Комарова и Николая Леонова. Зато основной костяк бригады следователей-истязателей отделался легким испугом: даже тем, кого лишили генеральских и офицерских званий и исключили из партии, какое-то время спустя вернули партбилеты, а вообще без работы, то есть без средств к существованию, они не оставались ни

одного дня. Судить их вообще не собирались, испугавшись цепной реакции возмездия, остановить которую было бы трудно.

Берия документально зафиксировал в той докладной записке, хотя и очень кратко, факт убийства Михоэlsa, возложив вину за это на исполнителей: заместителя министра госбезопасности СССР Сергея Огольцова и министра госбезопасности Белоруссии – своего недавнего друга и протеже – Лаврентия Цанаву. Оба этих палача действительно были физическими убийцами, но о тех (о том!), кто направлял их руки, не было сказано ни слова: время еще не пришло.

За кратчайший промежуток времени между смертью Сталина и реабилитацией врачей произошла еще одна загадочная смерть от «несчастливого случая», которую напрямую связывают с тем же делом, хотя в действительности, как мы увидим, связи нет никакой. И однако же – она есть, но состоит совершенно в другом: разоблачив злодейское убийство одного, тот же самый разоблачитель – вездесущий Берия – сразу взялся за другую жертву, доказав, что никаких перемен ни в системе, ни в методах расправы с негодными не предвидится и что бандитский режим каким был, таким и остался.

В двадцатых числах марта за получением международной Сталинской премии в Москву прилетел друг Эренбурга, левый французский общественный деятель Ив Фарж. Один из руководителей Сопротивления, комиссар республики в Лионе, он некоторое время после войны занимал пост министра продовольствия и очень симпатизировал Советскому Союзу.

Эренбург, называя Фаржа одним из наиболее близких ему людей, посвятил своему другу целую главу в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Но там нет ни слова о том, зачем Ив Фарж, получив из рук Эренбурга премию, через день вылетел в Грузию, почему категорически настаивал, притом еще из Парижа, на посещении Тбилиси и какая версия, наконец, возникла сразу же после того, как 31 марта Фарж погиб в автомобильной катастрофе (да, опять автокатастрофе) по дороге из Гори, куда ему навязали экскурсионную поездку, обратно в свой тбилисский отель. В середине шестидесятых годов, когда Эренбург писал и печатал свои мемуары, на это можно было, наверно, каким-то образом, хотя бы иносказательно, намекнуть. На худой конец, какую-то часть главы написать «в стол», где она могла бы подождать до лучших времен.

Широко распространенная версия гласила, что Ив Фарж прилетел в Москву «по настоянию Всемирного Совета Мира, чьим генеральным секретарем он был, чтобы получить информацию в связи с предстоящим процессом врачей», что он потребовал свидания в тюрьме с «кем-нибудь из врачей» и что «встреча Фаржа с мнимым убийцей состоялась в тюрьме». Еще того больше, он «обратил внимание на почерневшие ногти своего собеседника – того явно пытали»[2].

Эту версию, даже не пытаясь ее проверить хотя бы простым сопоставлением дат, развил Евгений Евтушенко в снятом им по своему же сценарию фильме «Похороны Сталина». Между тем речь идет о примитивном и неумном апокрифе, нарочито распространявшемся Лубянкой в те самые «сто дней», когда в руках Берии сосредоточилась необъятная власть. Запущенная им дезинформация имела целью отвлечь внимание от истинной причины гибели Фаржа в «автокатастрофе».

Эренбург рассказал в мемуарах, сколь сложным путем, через Прагу, он доставил в Москву своего друга. Как сказано выше, Фарж прибыл для того, чтобы получить присужденную ему премию, а вовсе не по чьему-то настоянию с инспекторской целью. В последних числах марта освобождение врачей уже было предreshено. Ни вырванных, ни черных ногтей не было ни у одной из жертв, иначе в дошедших до нас многочисленных свидетельствах самих пострадавших это было бы отражено. Нет никаких – ни прямых, ни косвенных – данных, подтверждающих факт посещения Фаржем Лубянки или иной тюрьмы. Никогда ни один «белый халат» не рассказывал о встрече с Фаржем в тюрьме – не случайно же в соблазнительно зловещей версии, запущенной бериевцами, нет ни конкретного имени узника, с которым беседовал Фарж,

ни упоминания о том, что же этот узник все-таки сообщил своему иностранному гостю.

Между тем нет никакого сомнения в том, что Фарж действительно был злодейски убит. Существует рассказ очевидца – сотрудника аппарата Верховного Совета СССР Сергея Усанова, записанный его непосредственным начальником, секретарем Комиссии по иностранным делам Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ефимом Юрчиком и подтвержденный им самим в письме журналисту Зиновию Шейнису[3].

Из Тбилиси Фаржа повезли в город Гори – родину Сталина: через неполный месяц после смерти вождя и задолго до его разоблачения Хрущевым это был вполне естественный ритуал, обязательный для всех иностранных гостей. Там ему устроили не предусмотренное программой пышное застолье, затянувшееся до полуночи, а потом по горной дороге отправили на машине обратно в Тбилиси. Вопреки правилам безопасности Фаржа посадили рядом с шофером. На одном из самых опасных поворотов, в горном ущелье, дорогу перегородила грузовая машина, ослепившая шофера включенными фарами. Объезжая препятствие на полном ходу, водитель не заметил другой машины, в темноте, с погашенными фарами, стоявшей тут же, с краю. Удар пришелся точно по тому месту, где сидел Фарж. Ни жена Фаржа, ни переводчица Лебедева, ни сопровождавший их Усанов, сидевшие сзади, ни даже водитель – офицер госбезопасности – не пострадали: в операции участвовали мастера-профессионалы. Сопровождавшая Фаржа машина с охраной инсценировала погоню за виновниками аварии, но быстро «выдохлась», и больше виновных никто не искал.

Несомненное убийство Фаржа никакого отношения к делу врачей не имеет, но, поскольку и хронологически, и в связи с запущенной легендой его к этому делу искусственно «пристегнули», необходимо разобраться, чем же оно все-таки было вызвано. Ответ можно найти в разрозненных, скомканных показаниях Берии и свидетелей по его делу на следствии, проходившем в июле – декабре 1953 года[4].

Во время войны, в сорок втором году, в плен к немцам попал племянник жены Лаврентия Берии – Нины Теймуразовны – Теймураз Шавдия, любимец семьи. Не отличавшийся ни высокими моральными качествами, ни стойкостью, но зато славившийся усердием и жестокостью, Теймураз сразу же согласился (по более вероятной версии – напросился) на сотрудничество с гитлеровцами и вступил в так называемый «грузинский легион», который входил в состав нацистской службы безопасности (СД). Он особенно отличился во Франции, где участвовал в расправах над участниками Сопротивления и плененными солдатами Красной Армии и союзнических войск. В 1944 году, в ходе освобождения Франции, он был захвачен американцами и находился в лагере для военнопленных.

Через свою лубянскую агентуру и по дипломатическим каналам (один из ближайших сподвижников Берии – Владимир Деканозов – был тогда заместителем наркома иностранных дел) информация о пребывании Теймураза во Франции попала к дяде. Тот направил в Париж (конец 1944 года) своего самого доверенного прислужника Петра Шария, бывшего секретаря ЦК грузинской компартии, лично причастного к убийству ненавидимого Берией партийного руководителя Абхазии Нестора Лакобы. Формально «делегация» летела для того, чтобы вести переговоры о возвращении на родину сначала архивов грузинской диаспоры, а затем и самих эмигрантов.

По указанию своего хозяина Шария вступил в контакт с находившимися в Париже лидерами грузинской эмиграции Ноем Жорданией и другими меньшевиками, возглавлявшими правительство независимой Грузии в 1918-1921 годах. Многих из них Берия хорошо знал – вероятно, и у него, и у них были не только ностальгические воспоминания, но и какие-то взаимные надежды. Это подтверждается тем, что три года спустя, по представлению Берии, политбюро разрешило вернуться в Грузию пятидесяти девяти грузинским эмигрантам с семьями.

При помощи Жордании и его товарищей, Шария сумел установить контакт с находившимся среди германских военнопленных Теймуразом, выкрасть его и специальным самолетом переправить в Москву. До 1952 года Шавдия благополучно пребывал в Грузии, пользуясь дядиным покровительством, но под давлением каких-то сил (в деле Берии туманно говорится: «по требованию общественности») был все же арестован и отправлен в лагерь. Берия в это время был отлучен от Лубянки и реальной возможности оказать влияние не имел, тем более что этот арест был связан с раскручивавшимся тогда так называемым «мингрельским делом», затеянным по личному приказу Сталина и, в сущности, направленным против самого Берии. Но как только Берия снова оказался у руля, буквально тотчас, с молниеносной быстротой, Теймураза Шавдию перевели из лагеря в Тбилиси для «пересмотра дела». А там, в Тбилиси, все тот же Деканозов, только что приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел Грузии...

И вот именно в этот момент в СССР прибывает Ив Фарж, который был комиссаром республики в том самом регионе, где свирепствовали Шавдия и другие грузинские легионеры. И притом заранее, еще до приезда в Москву, заявляет о своем непременном желании посетить Грузию. По оперативным данным, полученным Лубянкой, где Берия снова стал полновластным хозяином, Фарж вез неопровержимые доказательства зверств, чинившихся любимым племянником человека в пенсне. Простодушный гость, собственно, и не особенно скрывал своих намерений добиваться публичного суда над убийцей участников Сопrotивления и даже его экстрадиции во Францию, поскольку Шавдия был вывезен оттуда незаконно, притом до проведения предусмотренного законом расследования. В новых, послесталинских, условиях все это представляло реальную угрозу.

Уничтожить Фаржа тем способом, каким был уничтожен Михоэлс и еще десятки, если не сотни, других жертв, было невозможно. Истинный врач-убийца, профессор-полковник Григорий Майрановский, как и другие сотрудники его лубянской лаборатории ядов, находился в тюрьме, да и невозможно было впрыснуть смертельный яд знаменитому официальному гостю, лауреату только что ему врученной в Кремле международной Сталинской премии: вскрытие (аутопсия), с участием хотя бы одного французского специалиста, в этом случае было неизбежным – кто мог гарантировать, что оно не обнаружило бы отравление? Оставалось то единственное, что было опробовано и отработано множество раз: авткатастрофа.

Весть о том, что она была преднамеренной, распространилась мгновенно, и помешать этому Берия был не в состоянии. Куда разумнее и коварней казалось пустить слух по другому руслу. История с врачами не просто еще кровоточила, в ней вообще еще не поставили точку. И поэтому версия о вырванных (почерневших) ногтях воспринималась немедленно и охотно, без всякой критической оценки. Эта версия Берии ничем не грозила: ведь он был освободителем врачей, а не их палачом. Но зато она уводила далеко в сторону от любых подозрений против племянника-головореза. Кто из нормальных людей мог бы хоть что-то понять в этих сатанинских играх?

Так – абсурдной по фабуле, но кровавой по существу – финальной сценой, относящейся, казалось бы, к совсем другой драме, с другими действующими лицами и даже другим режиссером – завершается чудовищная мистерия XX века, вошедшая в историю под именем дела «убийц в белых халатах».

Прекратилась погромная кампания в печати, освободились и вернулись к прежней работе врачи, но никаких признаков принципиальных перемен в так называемой «национальной политике партии» замечено не было. Молотову вернули жену, – арестованную Полину Жемчужину, которая в ссылке (до спешного перевода в Москву она ее отбывала в Кустанайской области Казахстана) значилась анонимным «объектом Номер 12». Тоже из казахстанской ссылки, но из более теплого города – Джамбула, привезли в Москву Лину Штерн и предоставили ту же работу, которой она занималась до ареста. А ее соседи по скамье подсудимых, расстрелянные еаковцы, все еще продолжали числиться врагами народа. Членам их

семей – сосланным супругам, родителям, детям – не только не возвращали конфискованное имущество и отобранные квартиры, но вообще не давали права жить в Москве и других крупных городах, хотя и освободили из ссылки[5].

Большая группа деятелей культуры, в том числе: Дмитрий Шостакович, Корней Чуковский, Юстас Палецкис, Самуил Маршак, Лев Кассиль, академик Иван Назаров, даже сталинский любимец, генеральный секретарь Союза писателей Александр Фадеев и еще многие другие, штурмовали кремлевские власти письмами с просьбой вернуть стране если не самих уничтоженных писателей и артистов, то хотя бы их имена, их книги, фильмы с их участием[6]. Полное молчание было ответом: все еще шла невидимая миру закулисная война.

Главные трубадуры антисемитской акции, ее наиболее ревностные идеологи, вдохновители и пропагандисты, с упоением исполнявшие заказ своего наставника и учителя, практически не пострадали вообще. Михаил Сулов остался секретарем ЦК, потеряв, да и то всего лишь на два года, место члена политбюро. Николая Михайлова постигло небольшое понижение в должности: перестав быть секретарем ЦК, он стал хозяином «всего лишь» Москвы – первым секретарем горкома партии.

И лишь никому не ведомого еще до осени 1952 года Дмитрия Чеснокова, о чем уже говорилось, вежливо попросили переждать не лучшие для него времена на скромном посту в обкоме Горьковской области, чтобы не мозолил глаза... Напомню: этого Чеснокова Сталин вдруг, к удивлению аппаратчиков-карьеристов, сделал на XIX съезде партии членом президиума ЦК – за какие такие заслуги? Секрет держался недолго: Чесноков был философом-догматиком, поспешившим дать марксистско-ленинское обоснование грядущей депортации евреев[7]. В руководимом до марта 1953 года Чесноковым журнале уже доказывалось теоретически, что евреи «невосприимчивы к социализму», что они поголовно склонны к предательству[8]. Хотя и косвенно, но все же убедительно, эта публикация подтверждает версию, что ту же «теоретическую» мысль Чесноков готовился фундаментально обосновать в своем более пространным труде.

То же самое, только без всякой ссылки на философию, разъяснял следователь Комаров своим жертвам: евреи – поголовно шпионская нация, с которой социализм не построишь[9].

Никаких следов чесноковской брошюры не нашли, так что, возможно, то, что было еще в замысле, быстро распространившийся слух превратил в реальность. Но без агитпроповского «обоснования» столь масштабная, поистине ошеломительная акция обойтись все равно не могла, его непременно надо было подготовить заранее. Даже если брошюру Чеснокова еще не успели напечатать, то подготовить ее он был уже должен. Именно он – чем иначе объяснить внезапное вознесение безвестного «философа» на вершину партийного Олимпа и столь же внезапное его низвержение, едва Сталин испустил дух?

Стремительно действовавший, словно боявшийся упустить время, Берия, освободив врачей, тут же предложил «коллективному партийному руководству» восстановить Еврейский театр и начать издание газеты на идиш. Это было ему поставлено в вину после его ареста 26 июня 1953 года – и на следствии, и в суде[10]. Доносы продолжали сыпаться – об очередных проявлениях «национализма». Лубянка составляла на основании этих доносов свои «справки» и посылала их в ЦК[11]. Воспрянувшее духом ядро Союза писателей забросало ЦК призывами «не ослаблять борьбу с теми, кто любит литераторов только одной национальности».

В данном случае имелся в виду Константин Симонов, который настолько, любил эту «одну национальность», что не миновал участия в травле критиков-«космополитов», хотя – знаю из первых рук – впоследствии горько сожалел об этом[12]. Он был совестливый человек и относился к себе с достаточной долей критичности, никогда не выдавая себя за непогрешимого.

Активный погромщик, который, напротив, никогда не сожалел о том, что он погромщик, – поэт и драматург Анатолий Софронов – разработал анкету для членов Союза писателей, где они должны были ответить и на такой вопрос (п. 31): «Национальность супруга. Если вдов или разведен, указать национальность прежней жены (мужа)»[13]. Умом никогда не отличался, но тут, пожалуй, превзошел сам себя: просто списал этот пункт из проверочных листов на арийскую чистоту в нацистской Германии.

...Юридическая реабилитация казненных еаковцев состоялась лишь 22 ноября 1955 года – со времени смерти их главного палача – Иосифа Сталина прошло уже два с половиной года. Все это время кремлевский ареопаг, занятый своими партийными интригами и бешеной борьбой за власть, не смел бросить в игру эту карту, опасаясь, что противник (противники) используют ее один против другого. Единственно что исчезло с газетных страниц и из всех документов, подлежавших оглашению хотя бы в узком кругу, это слово «еврей». На него было наложено табу. Вместо него продолжали быть в ходу прозрачные эвфемизмы: все те же космополиты, сионисты, агенты Джойнта, враги русской культуры... Эту игру в слова молчаливо приняли и защитники еврейского достоинства: имея в виду антисемитов, они употребляли более широкое и достаточно безликое словечко «шовинисты». Но всем без исключения, в том числе и самым «темным» читателям, было ясно, о ком и о чем идет речь. Тема попрежнему оставалась взрывоопасной.

В начале апреля 1953 года Хрущев направил закрытое письмо всем низовым парторганизациям с требованием не комментировать опубликованное в прессе сообщение о реабилитации врачей и вообще ни при каких условиях не обсуждать тему антисемитизма на партийных собраниях[14]. В сущности, это был ответ на разосланное тремя днями раньше по тем же адресам письмо Берии, где тот, напротив, предложил довести до сведения членов партии то, что арестованных врачей избивали за их еврейское происхождение по прямому указанию Сталина[15].

На XX съезде (февраль 1956 года) Хрущев развенчал в своем историческом докладе «культ личности» Сталина, но тему организованного низвергнутым кумиром государственного антисемитизма обошел молчанием. К этому времени еще были в добром здравии и на ключевых постах члены Военной коллегии Верховного суда СССР: И. Матулевич, И. Детистов, И. Зарянов, А. Суслин, Л. Дмитриев и В. Сюльдин, под чьим председательством были вынесены десятки жесточайших приговоров ни в чем не повинным «агентам мирового сионизма» (в том числе и смертные, приведенные в исполнение), но к ответственности за это их не привлекли[16].

Несмотря на то, что сталинской политике в самых одиозных и шокирующих формах ее проявления был вроде бы дан отбой, попытки вытеснить евреев из науки и культуры не прекращались. Иногда они даже приносили эффект. На 1 октября 1955 года в СССР было 24 620 научных работников-евреев, или 9 процентов от всего состава научных работников, и они стояли в этом списке на втором месте среди всех этносов Советского Союза[17]. Это были те, кто заняли свои позиции в науке еще до разгула государственного антисемитизма и кого не успели вычистить. Но дальше, год за годом, процент стал резко падать, а соответствующие статистические данные перестали появляться.

Крупные акции типа пресловутого сионистского заговора на Лубянке, дел еаковцев или врачей больше не планировались, но по «мелочам» вектор государственной политики в этом вопросе был вполне очевиден и проявлял себя на каждом шагу. Приведу один, кажущийся, наверно, совсем уж ничтожным, пример, но тем, кому знакомы советские нравы, он может сказать о многом. В 1955 году, когда, казалось, с антисемитизмом покончено и страна вернулась к «ленинскому интернационализму», вышла книга воспоминаний одного из лидеров партизанского движения на Украине – Петро Вершигоры «Люди с чистой совестью», и там был выведен один из героев-партизан по кличке Колька Мудрый. «Я никогда не знал, –

отметил Вершигора, – что самый смелый автоматчик третьей роты Колька Мудрый был еврей». Эта фраза – единственная во всей многостраничной книге – устранена цензурой из всех последующих изданий.

Еврейская тема по-прежнему не сходила со страниц закрытых партийных документов и все время находилась в поле зрения кремлевских руководителей. Заиклившись на ней, они непременно окрашивали в специфические национальные тона самые разные внутренние и международные события, как будто она беспрерывно сидела занозой в их мозгах.

Еще летом 1953 года, когда казалось, что пресловутая тема «еврейского засилья» перестала довлеть над хозяевами Кремля, в Будапешт полетели призывы «устранить из высшего руководства Венгерской партии трудящихся (то есть правящей, коммунистической. – А. В.) лиц еврейской национальности»[18]. Когда в июне 1956 года в Венгрии проявились открыто первые признаки недовольства, вылившиеся через несколько месяцев в подавленную танками революцию, Хрущев командировал в Будапешт Михаила Суслова, и тот в своем секретном докладе на свой, привычный ему, лад сразу же обозначил виновных; «Под флагом привлечения к руководству более авторитетных и опытных кадров, среди которых большинство составляют товарищи еврейской национальности, имеется тенденция еще более отодвинуть от руководства более молодые кадры венгерской национальности»[19] (то есть выучеников советских партийных академий – А. В.).

Можно было бы подумать, что это не более чем личный «пунктик» самого Суслова, который не в силах расстаться со своими стойкими убеждениями насчет места евреев в советской империи. Но это не так. Суслов хорошо знал, что его суждения по этому вопросу полностью совпадают со взглядами нового кремлевского лидера. Еще за месяц до командировки Суслова в Будапешт, в мае 1956 года, в Москву, по приглашению советского правительства, приехала делегация французской социалистической партии ко главе с ее генсеком – Коммэном. Особо настойчиво французы хотели узнать, покончено ли в Советском Союзе с «направляемым антисемитизмом». Хрущеву повезло: их вопросы были лишены конкретики, которая могла бы его поставить в неловкое положение, и он отделался общими фразами, которые, однако, выдают с головой образ его мыслей.

«В начале революции, – заявил Хрущев, – у нас было много евреев в руководящих органах партии и правительства. Евреи были образованнее, может быть революционнее, чем средний русский. После этого мы создали новые кадры, нашу собственную интеллигенцию (то есть евреи – это не наши кадры, не наша интеллигенция. – А. В.). Если теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы недовольство среди коренных жителей. <...> Если еврей назначается на высокий пост и окружает себя сотрудниками-евреями, это естественно вызывает зависть и враждебные чувства по отношению к евреям»[20].

Те же бредовые идеи Хрущев более пространно изложил три месяца спустя, в присутствии растущего, как на дрожжах, секретаря ЦК Суслова, на встрече с делегацией коммунистов Канады, подтвердив тем самым стойкость своих установок, вполне совпадавших с чувствами Суслова, и расставив очень важные для понимания ситуации акценты. Вернувшись к трагической крымской истории, стоившей жизни десяткам невинных людей и уже, казалось бы, исчерпанной самим фактом посмертной реабилитации казненных, Хрущев продолжал уверять своих собеседников, что «евреи хотели создать американский плацдарм на юге нашей страны. <...> Я был против этой идеи, – продолжал он, – и полностью соглашался в этом вопросе со Сталиным».

Он ошарашил канадских коммунистов развязным суждением о том, что «еврейскую проблему в СССР раздувают разного рода абрамовичи. Это нечто подобное мухе на роге вола»[21]. Переполненные еще и другими вульгарными пассажами, его речения свидетельствовали о том, что несколько смягчилась лишь крайняя непримиримость по отношению к еврейскому населению страны, но не само отношение. Он, не

смущаясь, продолжал настаивать на традиционном «тезисе» русских антисемитов: «еврей, получив какой-нибудь пост, обязательно тянет за собой других евреев и создает вокруг себя компанию своих людей»[22]. И все это говорилось прямо в глаза старейшему канадскому коммунисту, еврею Д. Солсбергу, депутату парламента, который не посмел вступить в спор с главным коммунистом всего мира, а тем более встать и уйти, защищая свое достоинство.

Прочность такой установки, которая не могла не влиять на всю внутреннюю политику Кремля, подтверждается и другими свидетельствами, относящимися к тому же периоду.

Генеральный секретарь компартии Израиля – Самуил Микунис был поражен антисемитскими настроениями в советском ЦК, которые никто не скрывал даже от него. Он не без основания полагал, что аппаратчики среднего уровня не могли бы этого себе позволить, если бы не развивали идеи Хрущева и Суслова[23].

В марте 1958 года Хрущев принял корреспондента «Фигаро» Сержа Грассара и поделился с ним соображениями, повергнувшими в шок французского журналиста. «Евреи не любят коллективного труда, – без тени смущения вещал Хрущев, – групповой дисциплины. Они индивидуалисты. <...>

Я отношусь скептически к возможности создания прочного еврейского общества»[24]. Отчет об этой встрече двумя неделями раньше был помещен в «Правде»[25], но в нем вообще не было ни одной строчки на еврейскую тему, словно она в беседе никак не затрагивалась.

Хотя в своей речи на третьем съезде советских писателей (май 1959 года) Хрущев, зная, что это понравится аудитории, довольно уважительно отзывался об «отдельных представителях» еврейского народа, обмануть уже никого было нельзя. Кадровая дискриминация была у всех на виду и ни от кого не скрывалась. Фраза: «Вы, конечно, понимаете, почему мы не можем принять вас на работу» стала дежурной. Если наивник или хитрец вдруг отвечал: «Нет, не понимаю», это вызывало разве что улыбку. Ему просто советовали, вернувшись домой, «хорошенько подумать» или проконсультироваться у более сведущих друзей.

Тогда же, в 1959 году, открыв каталог намеченных к изданию книг издательства «Советская Россия», я увидел название принятой уже книги своих новелл под именем некоего «Аркадьева». Главный редактор был так удивлен моим недоумением, что не нашелся даже, как этот казус мне объяснить. Он сказал лишь: «Нам очень нравится ваша книга, и мы не хотели ее погубить». Погубили!.. От навязанного мне псевдонима я отказался. Книга не вышла. Снова напомним: был пятьдесят девятый, а не пятьдесят третий год...

Антисемитизм больше не поощрялся, не раздувался сверху в приказном порядке, но и не осуждался, а его, не афишируемое существование в верхах, очень отчетливо ощущалось в низах. Формально тема была как бы забыта. Изъята из употребления за ненадобностью. Но сама необходимость находить прозрачные эвфемизмы вместо того, чтобы называть явление своими словами, создавала постыдную моральную атмосферу, в которой рецидив великодержавного шовинизма был вполне возможен.

Именно сталинский и послесталинский антисемитизм возродил в Советском Союзе еврейское национальное самосознание, для которого не было никаких иных социально-исторических и социально-психологических причин. Лидия Корнеевна Чуковская справедливо считала, что «искусственное пробуждение... национальных чувств вбили в (русское) еврейство сапогом». Евреи почувствовали себя чужими в стране, где они родились и жили, где похоронены их близкие и далекие предки.

Ощущение своего еврейства стало формой сопротивления моральному рабству и беззащитности. С поразительной точностью воспроизвел это ощущение Борис Слуцкий – один из тех, против кого в 1952 году Лубянкой уже было заведено дело:

«Созреваю или старею –

прозреваю в себе еврея.
Я-то думал, что я пробился,
я-то думал, что я прорвался –
не пробился я, а разбился,
не прорвался я, а зарвался».

Голос крови пробился и у многих других поэтов еврейского происхождения, писавших только по-русски и никогда не замеченных ранее в склонности к осознанию своего еврейства: у Ильи Сельвинского, Семена Липкина, Наума Коржавина, Льва Озерова.

По рукам ходили и фрагменты армянского дневника «Добро вам!» Василия Гроссмана, запрещенные цензурой, хотя в них ни слова, из дипломатических соображений и в силу авторедактуры, не говорилось о государственном антисемитизме. Рассказывая о посещении сельской свадьбы, Гроссман написал: «Я услышал от стариков и молодых слова уважения и восхищения, обращенные к евреям, к их трудолюбию, уму. <...> Никогда никому я не кланялся до земли. До земли кланяюсь я армянским крестьянам, что в горной деревушке, во время свадебного веселья, заговорили о муках еврейского народа в период гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где убивали еврейских женщин и детей (там погибла вся семья Гроссмана, в том числе и его мать. – А. В.), кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушали эти речи. Кланяюсь за горестное слово о погибших и глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых,, и чьи глаза бросали сегодняшние охотнорядцы слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил»[26].

Один тот факт, что строки знаменитого писателя, где говорится лишь о гитлеровских зверствах, запрещаются цензурой по всем понятным причинам, говорил больше, чем любые пропагандистские клише.

Во внутривнутрипартийной переписке надобности в эвфемизмах не было, между собой аппаратчики изъяснялись безо всяких ужимок. Возмутителем спокойствия, вынудившим наследников Сталина вновь проявить свое отношение к «вопросу», опять стал Илья Эренбург. Подоспело его 70-летие. Проводить торжество в парадном помещении – Колонном зале Дома союзов – ЦК запретил, но в писательском клубе оно все-таки состоялось – 26 января 1961 года. Пять дней спустя заведующий отделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов и его заместитель Игорь Черноуцан[27] доносили своим начальникам: «Возмутительную речь произнес К. Паустовский[28], который, обращаясь к Эренбургу, сказал: «Огромна ваша роль в борьбе с фашизмом, какие бы формы он ни принимал, в частности, форму антисемитизма». <...> Особо следует сказать о том, как был поставлен в речи Эренбурга так называемый еврейский вопрос. <...> «Я хочу напомнить всем, – заявил Эренбург, – об одной стороне нашей жизни, которую не стоит скрывать. Нравится ли кому-то или не нравится, – я русский писатель. И покуда на свете будет существовать хотя бы один антисемит, я буду всегда, помня о человеческом достоинстве, на вопрос о национальности отвечать; «Я – еврей»[29].

«Следует сказать, – продолжают гнуть свое авторы доноса, – о той атмосфере, в которой проходило выступление Эренбурга. Аудитория была специфической и односторонней – весьма значительную ее часть составляли писатели и околослитературная публика еврейской национальности. (Кто-то, видимо, специально подсчитывал! – А. В.) Как видно, юбилейный вечер был нужен Эренбургу для того, чтобы изложить свои тенденциозные, ошибочные взгляды в условиях, когда они никем не могли быть оспорены»[30].

Этот трусливый и жалкий донос бледнеет, однако, в сравнении с теми, которые шли из Главлита в связи с печатавшимися тогда в «Новом мире» мемуарами И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Считалось, что у цензуры к Эренбургу было много различных претензий – теперь очевидно, что на самом деле, по

большому счету, была только одна: зачем наступает все на ту же мозоль? «В разных частях воспоминаний, – жаловался Хрущеву начальник Главлита П. Романов, – Эренбург, тенденциозно группируя факты, стремится создать представление о неравноправном положении в нашей стране лиц еврейской национальности. При этом многие оценки фактов и событий Эренбург дает не прямо, а завуалированно...»[31]

Проходит несколько месяцев – П. Романов шлет новый донос: «Автор пытается доказать, что в 1943-1944 гг., под влиянием крупных побед нашей армии на фронтах войны, стал якобы насаждаться в СССР великодержавный шовинизм, выражавшийся, по мнению Эренбурга, в неправильном отношении к людям еврейской национальности. Он изображает факты таким образом, будто бы в это время в стране начался отход от принципов пролетарского интернационализма. <...> Эренбург доходит до того, что бросает советскому народу обвинение в том, что он, победив немецких фашистов, мирился с национальными извращениями, якобы имевшими место в стране после войны».[32]

Ни Хрущев, ни Суслов, ни даже более мелкие партийные шишки, растерявшись, не дали быстрого ответа (на носу был XXII съезд партии, где готовилась уничтожительная дискредитация «культы» Сталина), и главный цензор послал вдогонку к предыдущему еще один слезный донос. «Эренбург утверждает что лица еврейской национальности подвергались гонениям по обе стороны фронта: с ними зверски расправлялись фашисты в оккупированных областях, с ними обращались несправедливо и в советском тылу: писателей травили в печати, журналистов и дипломатов не жаловали на работе, самому Эренбургу запрещали писать о боевых делах евреев – воинов Советской Армии. Автору неоднократно указывалось на недопустимость утверждений о будто бы существующей в нашей стране национальной нетерпимости по отношению к евреям»[33].

Несмотря на отчаянное сопротивление и автора, и главного редактора «Нового мира» Александра Твардовского, соответствующие фрагменты мемуаров Эренбурга подверглись кастрации в цензуре. Однако Хрущеву хотелось как-то сохранить лицо в глазах «братских» компартий, не называя при этом «больные точки» своими словами. На съезде партии, где разоблачение сталинщины достигло своей кульминации, он в качестве свидетеля выбрал из всех жертв репрессий (тогда еще их немало оставалось в живых) еврейку – Д.А.Лазуркину, большевичку-ветерана, проведшую в Гулаге семнадцать лет. Предоставляя ей трибуну, Хрущев с подчеркнутым уважением обращался к ней: Дора Абрамовна. Но ширма была слишком хрупкой и прозрачной, она не могла скрыть событий, происходящих в стране.

Приближалась новая антисемитская волна подготовленная в Кремле. Ничего удивительного в этом нет: антисемитизм не есть всего лишь порождение злой воли той или другой руководящей личности, он органически присущ системе, играющей в нужный момент на чувствительных струнках озлобленной массы. Как только политика заходит в тупик, как только становится ясно, что из благих надежд ничего не выходит, что обещания не исполняются, и исполниться не могут, – тотчас извлекается из колоды одна и та же антисемитская карта, безошибочно спасающая – на время игру.

На этот раз камнем преткновения стали экономические провалы, и Хрущев с легким сердцем пошел по сталинскому пути. Лишенный, при этом, присущих Сталину хитрости и коварства, он не озаботился изготовлением какого-либо «идеологического» щита, не нашел своего демагога-«философа», поэтому задуманная Сталиным и счастливо сорвавшаяся благодаря его смерти эпическая трагедия повторилась при Хрущеве как кровавый, но все-таки жалкий и пошлый фарс.

К 1961 году относятся первые очевидные признаки неудач затеянных Хрущевым дилетантских кампаний. Полностью провалилось массовое «освоение целины», то есть покрытых естественной растительностью, никогда не распахивавшихся территорий Казахстана и Сибири. Хрущев решил, что нашел панацею избавить страну от перманентного зернового дефицита, и приказал распахать около 48

миллионов гектаров неплодородной земли, бросив на ее освоение сотни тысяч молодых людей, массу сельскохозяйственной техники, отобранной у всей страны. Бездарно организованная акция принесла не доходы, а неисчислимы убытки.

Столь же бесславно закончилась эпопея с «кукурузацией» всей страны. Решив внедрить «американский опыт», Хрущев обязал, не считаясь с климатическими условиями, навыками, наличной техникой, всюду сажать кукурузу, обещая уже через год повсеместное процветание. (Александр Безыменский – вчерашний «эксперт», сиречь соучастник разбоя, завершившегося казнью «буржуазных националистов-еаковцев». подсутился и тут, и не побоявшись выставить себя на посмешище, опубликовал в «Вечерней Москве» такие стишки:

«И я горжусь,
что, жизнь любя,
моя лирическая муза
за честь считает для себя
воспеть тебя, о кукуруза!»)

Но там, где ей расти не положено, кукуруза так и не произросла. Провалился скандальный лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству мяса и молока» – практическим результатом стало вызвавшее сильное брожение в обществе, повышение вдвое и втрое государственных цен именно на эти продукты.

Над Хрущевым смеялись едва ли не в лицо. Мечь не замедлила. Ее жертвами, как всегда, стали все те же.

Короткий период «оттепели», который был воспринят как эра милосердия, оживил теневую экономику, которая восполняла хоть как-то зияющую пустоту рынка и несколько смягчала перманентный дефицит самых необходимых товаров. Вместо того чтобы этому способствовать, легализовав подпольные производства и обложив его налогами, Хрущев начал на них безжалостное наступление, быстро разобравшись, что большинство подпольных «бизнесменов» были евреями. Особый цинизм состоял в том, что теневая экономика, или, как ее называли в Советском Союзе, – «нелегальный бизнес», могла функционировать лишь при содействии и деятельном участии партийных верхов и лиц, занимающих крупные посты в государственном аппарате. Без них так называемые «левые цеховики» не могли бы получить сырье, принадлежащее государству, ни принадлежащее ему же техническое оборудование. Начался быстрый рост коррупции, который распространился по всей стране в масштабах пандемии.

Однако Хрущев, не смея, естественно, признать это явление за реальность, – и разложение аппарата, и все свои экономические провалы – решил свалить на евреев, направляя народный гнев по многократно испытанному руслу. Пресса, особенно региональная, запестрела нарочито провоцирующими русский слух еврейскими именами в совершенно определенном контексте. Вот образчик одной из более чем двухсот аналогичных[34] публикаций этого рода: «Юда Гольденфарб, Моня Шнайдер, Хаим Кац, Шлема Курис, Янкель Пойзнер, Сарра Гринберг, Фаня Койферман, Аарон Гертер, Елик Кушнир, Питель Вейцер, Ида Нудельман, Наум Фельдман – чего, скажите, ждате от этих мошенников? Можно ли говорить о совести, о порядочности применительно к такой теплой компании?»[35]

Нет никакой возможности привести другие цитаты – они ничем не отличались от разнузданной прессы Юлиуса Штрейхера и других нацистских антисемитов, а по яркой эмоциональности красок нередко ее превосходили. Все-таки не удержусь еще от одной цитаты, на этот раз из статьи, опубликованной в самой тиражной центральной газете – органе советских «профсоюзов»: «На скамье подсудимых из всей гоп-компании меламедов, рабиновичей, зисмановичей и других таких же, выделяется один. У него картавая речь, крысиная физиономия, горбатый нос, один глаз косит, взгляд вороватый – это Арон, кто же

еще?!»[36]

Гнусно спекулируя на нищете русского народа, в которую они же сами его ввергли, Хрущев и его компания направляли общественный гнев в нужную им сторону.

Вершиной правового беспредела по-хрущевски было беспримерное даже для сталинских времен придание закону обратной силы. Сталин убивал миллионы людей тайно и без всякой ссылки на закон, но войти публично в формальное столкновение с законом он не позволял. Внешне все должно было выглядеть безупречно. Хрущев, в силу полной своей дремучести, этим пренебрег. Когда он узнал, что два еврея-«валютчика» (по формуле обвинения они нелегально покупали конвертируемую валюту и по чуть большей цене ее продавали) – Рокотов и Файбишенко – приговорены к 15 годам лагерей (по закону, действовавшему на момент совершения «преступления», самое суровое наказание за это деяние не могло превышать и трех лет лишения свободы), он спросил: «Почему не расстреляли?» Ему объяснили, что подсудимые приговорены к максимальному сроку наказания, предусмотренному новым законом (к тому же не имевшим обратной силы). Хрущев вышел из себя: «Мы законы пишем, мы же их изменим». Изменили еще раз!

Были приняты опубликованные в печати три указа об ужесточении наказания, вплоть до расстрела, за некоторые деяния[37], а по ряду дел – секретные указы, «разрешающие», то есть – приказывающие, еще до рассмотрения дела судом, приговорить конкретных подсудимых к смертной казни с приданием этим законам, «в порядке исключения и применительно к данному случаю, обратной силы». Рокотов и Файбишенко были расстреляны[38]. Всего же среди смертников, о которых идет речь, оказалось 163 еврея (в том числе несколько женщин) и пятеро «лиц не еврейской национальности»[39]. Все это были люди с низким образованием, но с явным даром ведения бизнеса в неподготовленной к нему стране. Доживи они до наших дней, стали бы олигархами и министрами...

Естественно, антисемитская кампания, затеянная Хрущевым, не осталась незамеченной на Западе. Еще в начале 1962 года британский философ, математик и общественный деятель, нобелевский лауреат Бертран Рассел, очень почитавшийся в Советском Союзе, вместе с другим нобелевским лауреатом, писателем Франсуа Мориакком и философом Мартином Бубером отправили весьма корректное письмо Хрущеву, в котором выразили беспокойство в связи с рецидивом антисемитской кампании в Советском Союзе. Ни это письмо, ни отправленная ими же некоторое время спустя телеграмма, о нем напоминавшая, – не удостоились кремлевского ответа.

2 февраля 1963 года Рассел отправил новое письмо Хрущеву – теперь только за своей подписью: «Я глубоко обеспокоен смертными казнями, которым подвергаются евреи в Советском Союзе, и тем официальным поощрением антисемитизма, который повидимому имеет место».

Поняв, что дело зашло слишком далеко, Хрущев, скрепя сердце, дал команду это письмо опубликовать[40]. Почти месяц понадобилось кремлевским грамотеям, чтобы сочинить и согласовать ответное письмо девяностолетнему нобелевскому лауреату. Оно было выдержано в лучших сталинских традициях: «Попытка реакционной пропаганды приписать нашему государству политику антисемитизма или поощрения его – это не новое явление. Классовые враги и в прошлом прибегали к такой клевете на нашу действительность. Политики антисемитизма нет и не было в Советском Союзе, так как характер нашего многонационального государства исключает возможность такой политики. <...> Наша Конституция заявляет: «Всякая пропаганда расовой и национальной исключительности, или ненависти, или пренебрежения карается законом». Девиз нашего общества: человек человеку – друг, товарищ и брат»[41].

Сталин тоже, как мы помним, не скупился в ответах иностранным корреспондентам на обличение западных клеветников, сослепу разглядевших в Советском Союзе какой-то там антисемитизм. Хрущев использовал ту же модель. Его переписка с Расселом ни на день не задержала стремительное движение

агрессивного юдофобства, распространившегося буквально на все советские республики. Даже в Киргизии и Таджикистане, где раньше такой проблемы вообще не существовало, прошли антисемитские судебные процессы[42].

Рецидив, а если точнее – просто обнажение, ибо она никогда не прекращалась, – государственной политики антисемитизма в СССР подтверждается еще и тем, что именно в это время впервые за всю советскую историю вышла – под грифом Академии наук Украины – откровенно антисемитская книга Трофима Кичко «Иудаизм без прикрас» с карикатурами, перепечатанными все из той же фашистской погромной прессы Юлиуса Штрейхера. Беспрецедентный расизм этой книги, подпадавшей под нормы международного уголовного права, побудил французскую и итальянскую компартии выразить публичный протест[43]. Идеологическая комиссия ЦК была вынуждена месяц спустя вяло признать выпуск книги Кичко ошибкой, не мешая, однако, ее дальнейшему распространению.

Многие месяцы подряд продолжалась кампания травли Евгения Евтушенко за стихотворение «Бабий Яр»[44] – первое печатное осуждение советского антисемитизма, прозвучавшее из уст не еврея, а русского[45]. Возмущение властей вызвало не напоминание поэта о том, что «над Бабьим Яром памятника нет», а то, что поэт назвал себя «настоящим русским» как раз потому, что он враг всех антисемитов. Главный редактор «Литературной газеты», напечатавшей это стихотворение, Валерий Косолапов был снят с работы, но – абсолютно по сталинским традициям циничного камуфляжа – на его место был назначен еврей Александр Чаковский: ему суждено было на сей раз сыграть ту же роль, которую при Сталине играл Эренбург.

Разница лишь в том, что Чаковский делал это как верный солдат партии, а Эренбург с отвращением. Такой же камуфляж, между прочим, был использован в откровенно антисемитском суде над Иосифом Бродским по обвинению в «тунеядстве»: чтобы занять «моральное алиби», якобы отвергающее антисемитский привкус этого дела, одним из главных обличителей Бродского стал гэбистский осведомитель – еврей Лернер.

К несчастью для Кремля, Дмитрий Шостакович использовал стихи Евтушенко о «Бабьем Яре» в своей 13-й симфонии-реквиеме, и ему пришлось тоже, уже не впервые, подвергнуться нападкам, давлению и унижительной критике. Великому композитору, – кстати сказать, автору музыки ко многим фильмам, прославлявшим сталинский режим, – пришлось снова, как это уже было в тридцатые и сороковые годы, узнать, что он «пренебрежительно относится к интересам и вкусам советских людей».

На этот раз его травлили не за музыку, а за чужие стихи. 18 декабря 1962 года состоялось первое исполнение симфонии в Москве, после чего Хрущев и его свита стали неистовствовать в привычной для них манере. Хозяин Кремля, не слишком выбирая выражений, оскорблял композитора и поэта на помпезной встрече с творческой интеллигенцией, зная, что жертвы не смогут ему ответить. Шостакович не сдался – сдался Евтушенко: «Я счел своим моральным долгом, – заявил он на встрече Хрущева с «творческой интеллигенцией», – не спать всю ночь и работать над этим стихотворением»[46]. Работа состояла в том, что он выбросил несколько строк, заменив их другими: о том, что не только евреи были жертвами нацистов (заезженный кремлевский тезис!) и что их спасали русские и украинцы (не считая целого ряда смелых, благородных и достойных величайшего уважения исключений, в целом это было, увы, не так). Ничего не помогло: исполнять симфонию впредь и в таком варианте запретили[47].

В запасе у Хрущева оставался неотразимый аргумент, опровергавший, по его мнению, любые обвинения в этнической дискриминации и в подавлении еврейской культуры: в 1961 году, впервые после разгрома, учиненного в конце сороковых, стал выходить – практически для уже не существующих читателей – литературный журнал на идиш «Советиш геймланд» («Советская родина»); в год печаталось и несколько книг на том же языке; было создано несколько музыкальных коллективов, исполнявших

еврейские мелодии и песни. Такой была убогая ширма, которая должна была скрыть тотальное уничтожение национальной культуры, насчитывавшей, даже только в пределах царской России и Советского Союза, – много десятилетий и выдвинувшей столько талантливых ее создателей.

Но, честно говоря, советским евреям было уже не до национальной культуры: речь шла просто о физическом выживании, о перспективе существования и самопроявления последующих поколений. Вопрос «Что делать?» из плоскости теоретической переместился в практическую: необходимо было сделать выбор.

Изгнание Хрущева с партийного Олимпа и вознесение на него малоизвестного стране Леонида Брежнева повлияло на много различных аспектов политики, внутренней и внешней, но одно оставалось неизменным: подозрительное отношение к людям с «пятым пунктом». Получить работу или поступить в университет теперь было немного легче, чем раньше, но зато стало гораздо легче и высказать вслух свои истинные чувства к «нации, которой не существует».

Сигналом к новому витку антисемитской истерии послужили выпущенные по заказу ЦК две книги. Одна из них имела вполне «нейтральное» название: «Государство Израиль». Ее авторами были журналист-международник еврейского происхождения Зиновий Шейнис и трусливо укrywшийся под псевдонимом «К. Иванов» заместитель министра иностранных дел (впоследствии посол в ФРГ) Владимир Семенов, о лютом антисемитизме которого в дипломатических кругах ходили легенды[48]. Книга была целиком посвящена не столько государству Израиль как таковому, сколько все тому же мировому еврейскому заговору, но, по установившейся теперь в СССР практике, слово «еврейский» было заменено словом «сионистский».

Еще более погромный характер носила, выпущенная почти одновременно, книга «Осторожно, сионизм!», автором которой был крупный функционер идеологического отдела ЦК Юрий Иванов (это не псевдоним, а его подлинная фамилия). Без ссылки на первоисточник автор полностью воспроизводил пресловутую фальшивку – «протоколы сионских мудрецов», выдавая их содержание за непрерываемо достоверный факт. ЦК никогда, – даже беззубо формально, не дистанцировался от злобной, антисемитской книги, написанной этим ближайшим соратником Михаила Суслова.

Книга Ю. Иванова послужила как бы сигналом к изготовлению других, ей подобных. По моим подсчетам, за двадцать лет, предшествующих началу перестройки (1985 год), центральными и региональными издательствами, в том числе и партийными, на деньги из государственного бюджета было выпущено в общей сложности около 230 «антисионистских», то есть антисемитских, книг общим тиражом около 9 миллионов экземпляров, не считая несметного количества газетных и журнальных статей все на ту же тему.

Было бы странно, если бы этот мощный пропагандистский вал остался без последствий. Он вполне однозначно повлиял на подавленную и даже отчаявшуюся еврейскую массу, как и на тех, кто ждал своего звездного часа, до поры до времени не проявляя вонне свои чувства. В конце шестидесятых годов, когда стремление к политической реанимации Сталина стало вполне очевидно, а «антисионистская» пропаганда стала приносить практические результаты (о них сказано выше), начался стремительно прогрессирующий рост еврейского национального самосознания. «Прозреваю в себе еврея» – эти слова из стихотворения Бориса Слуцкого могли бы отнести и к себе тысячи его соплеменников в Советском Союзе.

Практически это проявилось не только в истинном ренессансе иудаизма и интереса к еврейской истории, языку и культуре, но и вполне практически, прагматично: началась массовая подача заявлений с просьбой о выезде на постоянное жительство в Израиль – для кого со знаком плюс, для кого со знаком минус этот процесс сразу же получил определение: Исход.

Беженцев, постыдно вытесняемых из страны, советская печать немедленно обозвала предателями и отщепенцами. Парадоксальность и изощренный цинизм ситуации состоял в сочетании несочетаемого: от евреев хотели отделаться, но в то же время всеми силами им пытались помешать эмигрировать в Израиль. Многие евреи были обречены в СССР на жалкое прозябание без надежды проявить себя и состояться как личности, и в то же время их стремление освободить страну от своего, нежеланного ей, присутствия рассматривалось как величайшая подлость по отношению к матери-родине.

Со времени окончания войны по конец 1970 года разрешение на выезд в Израиль получили 10 517 человек – практически все они были преклонного возраста и «не имели ценных специальностей», как с чарующей откровенностью сказано в подготовленной для ЦК «Записке», подписанной министром госбезопасности Андроповым и министром внутренних дел Щелоковым[49]. Достаточно было чуть-чуть отпустить сдерживавшую пружину (в связи с поездкой Брежнева в США и его попыткой снять напряжение «холодной войны»), чтобы поток эмигрантов резко увеличился. За два года – 1971 и 1972 – страну покинули 31 717 евреев: почти в три раза больше, чем за двадцать предыдущих лет[50]. Почувствовав себя гонимыми и потеряв надежду изменить ситуацию, советские евреи сделали для себя тот единственный выбор, который все еще существовал. Из самой гонимой нации они вдруг превратились в привилегированную: пресловутый пятый пункт давал легальную возможность уехать из советского рая, чего не могли позволить себе те, у кого с пятым пунктом было все в порядке.

Известно множество случаев, когда люди, правдами и неправдами, часто с помощью взяток, добившиеся отметки в паспорте о своем, якобы русском, происхождении, требовали восстановить их подлинную национальность. Известны также фиктивные браки русских с евреями, чтобы получить возможность тоже выехать из СССР: как это часто бывает, трагедия обростала фарсом. Широкое распространение получил такой анекдот. Подавшего заявление на выезд коря в милиции: как вам не стыдно бросать родину, разве вам здесь плохо живется? Квартира есть, работа есть, машина есть... Он оправдывается: я-то бы не поехал, да вот жена требует, теща... «Пусть они и едут, – нажимает милицейский чин, – а вы оставайтесь». – «Не получится, – вздыхает заявитель. – У нас в семье только я – еврей».

Еврейский вопрос становился в стране все более тревожным и острым, но верха никак не могли взять в толк, что они сами и создают проблему, с которой потом им приходится бороться. Полное упразднение национальной дискриминации, вслух заявленный отказ от нее – тогда, в конце шестидесятых годов, это еще могло бы остановить эмиграцию или, во всяком случае, избавить общество от никому не нужной напряженности. Но зашедшая слишком далеко идеологическая политика, определяемая людьми, зараженными ксенофобией, не позволяла дать задний ход.

Будущий член политбюро, а тогдашний крупный функционер ЦК, Александр Яковлев признавал впоследствии, говоря о начале семидесятых: «Все еще оставались учебные заведения, в которые по негласным распоряжениям либо не принимали евреев, либо ограничивали их прием, и за этой нормой внимательно следил КГБ. Сколько судеб сломал этот пресловутый пятый пункт! А газеты в это время трещали об «интернационализме»[51].

КГБ внимательно следил не только за процентной нормой в вузах, он через своих представителей во всех без исключений структурах и звеньях советской системы проводил комплексную антиеврейскую политику. В 1971 году созданное двумя годами раньше Пятое главное управление КГБ (идеологическое) пополнилось специальным Еврейским отделом – для запугивания советского еврейства, пресечения публичных протестов против дискриминации и против эскалирующей день ото дня эмиграции. Именно тогда впервые появилось омерзительное слово «отказник», а борьба советских евреев за право выезда приобрела огромные масштабы.

Вопрос этот продолжал волновать самые высокие верха, но выйти за пределы своего примитивного мышления и навсегда въевшихся во все поры стереотипов они не могли. Еврейский вопрос был специально поставлен в повестку дня заседания политбюро 20 марта 1973 года. Непосредственным поводом послужила мировая реакция на безумный указ президиума Верховного Совета от 3 августа 1972 года, обязавший каждого эмигранта вернуть в казну перед отъездом стоимость полученного им бесплатного образования[52]. Для некоторых категорий выезжавших подлежащая выплата сумма достигала восьми – двенадцати годовых зарплат.

Таким путем делалась попытка не допустить утечки мозгов, закрыть шлагбаум для профессионалов высокой квалификации. Брежнев на этом секретнейшем заседании, в своем узком кругу, был предельно откровенен: «Не только академиков, но и специалистов среднего звена не надо отпускать. Зачем нам ссориться с арабами?» Но вместе с тем трезво оценивал ситуацию: «У нас вся политика по еврейскому вопросу основывается на одном Дымшице, вот видите, у нас Дымшиц – заместитель председателя Совмина[53], так что зря говорите, что евреев притесняем. Может быть, нам немножко мозгами пошевелить?»[54]

Брежнев не скрывал, что обеспокоен реакцией не только Конгресса США, но и западных компартий (в частности, меморандумом, присланным главой французской компартии Жоржем Марше) на антиеврейские дискриминационные законы в СССР: «Кинь кость и американским сенаторам, и Марше, и всем остальным, – сказал Брежнев, обращаясь к Андропову. Отпусти 500 второстепенных лиц, а не академиков. Пусть они там всем расскажут, что с них никаких денег не взяли. Добавь к этим старушкам и инвалидам пару инженеров с высшим образованием из пищевой промышленности – пусть едут. Но не с оборонной промышленности. Пускай эти инженеры поедут бесплатно, они там об этом обязательно растрезвонят. Для нас большой выигрыш. Это временный тактический маневр»[55].

Для того чтобы другим ехать вообще не захотелось, Брежнев нашел спасительное решение. Нет, не отмену национальной дискриминации, а нечто гораздо более простое, отвечающее менталитету его ареопага: «Почему не дать евреям маленький театрик на 500 мест, эстрадный еврейский, который работает под нашей цензурой, и репертуар под нашим надзором. И пусть тетя Соня поет там свадебные песни»[56]. Не стабильный «театрик», а кочующие музыкальные коллективы на идиш вскоре создали, и тети Сони пели там свадебные песни (поют до сих пор), но поток желающих уехать из страны, где евреи стали ощущать себя людьми десятого сорта, не иссякал.

С требованием выпустить их стали все чаще и чаще обращаться представители научной, технической, культурной элиты, составившей основной костяк «отказников». Прогнившей, маразмизирующей системе бороться с этим «девятым валом» становилось все труднее, а найти простейший, цивилизованный, демократичный выход из положения – устранить первопричину массового бегства – она не могла. Это с очевидностью вытекает из беспомощной «справки», составленной для Брежнева Пятым главным управлением КГБ от 12 декабря 1976 года: в справке предлагалось разработать новые, более совершенные, меры по «борьбе» с еврейским национальным самосознанием, а не с причинами, вызвавшими его к жизни и обострившими до предела одну из самых больных проблем советской действительности[57].

История создания Еврейского Антифашистского Комитета в 1941 году рассказана выше. Сорок два года спустя та же идея была реанимирована в других условиях, но совсем не с теми задачами, которые стояли тогда перед Сталиным. Его же (первоначальные – не финальные) замыслы конца сороковых годов предстали теперь во всей своей обнаженности, уже без декоративного флера. Как все, что стало делаться после него, но по его же лекалам, – в окарикатуренном виде.

29 марта 1983 года секретариат ЦК (протокол № 101), «по предложению Отдела пропаганды ЦК КПСС и МГБ СССР», создал «Антисионистский комитет советской общественности» (АКСО), выделив для этого огромные деньги и включив сотрудников комитета в свою номенклатуру. Главой (декоративным) комитета был назначен генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза – Давид Драгунский (в 1948 году он горячо приветствовал создание Израиля и выражал желание отправиться туда, чтобы сражаться за его свободу и независимость[58]), а реальным руководителем – профессор-юрист Самуил Зивс, кадровый аппаратчик, тесно связанный с Лубянкой. Об этом прямо говорится в «совершенно секретном» постановлении секретариата ЦК, которым руководство АКСО обязывалось «все планы работы разрабатывать совместно с КГБ СССР».

Если перед ЕАК стояла конъюнктурная, временная, но хотя бы внешне благопристойная задача стремиться к контактам и даже к единению с евреями во всем мире, то перед АКСО изначально поставили задачу прямо противоположную. Он должен был не сплачивать, а раскалывать, клеймить, осуждать. Если ЕАК объединил вокруг себя все лучшие силы еврейской советской культуры, то вокруг АКСО вились только мобилизованные Лубянкой подонки – грязная «еврейская» пена, услужливо травившая каждого, кто пытался вырваться из дискриминационных клещей.

Наличие еврейских вырожденков – шавок, стремящихся перецеголять своими антисемитскими укусами великодержавных хищников, – отнюдь не новость, но в брежневско-андроповскую эпоху это агонизирующее явление измельчало и обнищало.

На этом поприще теперь подвизались уже не зловещий Заславский, не холеный циник Хавинсон, не академики и профессора, а главным образом такие, как графоманствующий драматург Цезарь Солодарь или ничтожный журналист Виктор Магидсон, тексты которых, запестревшие в прессе, отличались визгливой истеричностью в обличении «сионистов», надрывным пафосом, подчеркнуто выраженным «советским патриотизмом» и почти полным отсутствием хоть какого-то позитива по отношению к братьям-евреям.

Забавным штрихом, дополняющим абсурд всей этой «антисионистской» возни, являются этнические корни главного ее воротилы: мать председателя КГБ Юрия Андропова – Евгения Карловна Файнштейн[59] – имела более чем близкое отношение к тем, против кого ведомство ее сына так свирепо сражалось. «Даже дилетант в физиогномике, – напоминает близкий сотрудник Андропова – Вячеслав Кеворков, работавший под крышей корреспондента ТАСС одним из лубянских резидентов в ФРГ и Австрии, – заподозрил бы его в семитском происхождении»[60].

С начала семидесятых годов и до самого прихода к власти Горбачева еврейская тема остается одной из ведущих в советской пропаганде. Теперь евреи уже не обвиняются скопом, все до единого, в сионистском заговоре, но зато все они оказываются потенциальными предателями, способными в любую минуту бросить отечество, которому обязаны всем, и уехать в поисках более богатой жизни: другие мотивы отъезда не берутся в расчет.

Евреев снова не берут на работу, уже не скрывая причины: да, помехой действительно «пятый пункт», но это вовсе не значит, что – антисемитизм. Очередной парадокс? Циничная демагогия? Ничуть не бывало: «Зачем нам нужен работник, который завтра объявит, что покидает любимую родину, и мы не сможем этому помешать?»

Меняются, как видим, мотивировки дискриминации, слегка «уточняется» терминология, смягчаются санкции (за проявленный «национализм» уже не грозят массовые репрессии, вместо ареста – отторжение от общества, клеймо человека, который все время должен в чем-то оправдываться), но все равно остаются неизменными – агрессия системы, обращенная против одной-единственной этнической группы, унижение и оскорбление, которым она подвергается (группа в целом и каждый ее член в отдельности), игра на

устойчивых, низменных и тупых страстях, генетически присущих некоторой части населения и искусственно подогреваемых представителями этой же «части», которые дорвались до известных высот.

Других (не будем брать в расчет нетипичные исключения) на верхах этой власти не было никогда. Других она не возвышала. Другим не доверяла.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Костырченко Г. В плену у красного фараона. С. 358.

2. Вечерняя Москва. 1991. 28 июня. Совсем курьезный вариант этой версии дает А. Д. Сахаров: Ив Фарж «выразил желание встретиться с подследственными врачами и, когда встреча состоялась, спросил, хорошо ли с ними обращаются. Они, естественно, ответили, что очень хорошо, но один из них незаметно оттянул рукав и молча показал Иву Фаржу следы истязаний. Тот, потрясенный, бросился к Сталину. Повидимому, Сталин отдал приказ не выпускать слишком любопытного из СССР» (Сахаров Андрей. Воспоминания. Нью-Йорк, 1990. С. 216). Не говоря уже о прочих несоответствиях, отметим лишь, что Фарж в конце марта 1953 года мог броситься к Сталину разве что в мавзолей.

3. Шейнис З. Провокация века. С. 127-128.

4. Берия: конец карьеры. М., 1991. С. 340-341. Изложение этой запутанной, до конца не проясненной и по сей день, истории дается по материалам дела Берии (1953 год). Никакой другой причины убийства Ива Фаржа не существует. Судя по тому, как упорно, даже на тайном следствии, уклонялись от выяснения деталей «операции», на самом суде не касались ее вовсе, а впоследствии ни в одной из многочисленных разоблачительных публикаций о ней нет ни слова, можно прийти к выводу: в раскрытии загадки Шавдии, к которой, по несчастью, оказался причастен Ив Фарж, не были почему-то заинтересованы лица, остававшиеся на вершине власти и после падения Берии.

5. Архив Главной военной прокуратуры. Наблюдательное производство по делу № 62556. Т. 4. Л. 115, 140, 144.

6. Там же. Л. 172, 200.

7. Коммунист. 1953. № 2.

8. Аргументы и факты. 1993. № 15. С. 7.

9. Столяров К. Голгофа. М., 1991. С. 201.

10. Берия. Конец карьеры. С. 340.

11. ЦХСД. Ф. 89. Оп. 18. Д. 24. Л. 171 и 175.

В одной из «справок», в частности, было указано, что академик Ландау «группирует вокруг себя антисоветски настроенных лиц еврейской национальности». Без этого специфического уточнения информация о каком бы то ни было антисоветизме никакого впечатления на высшее партийное руководство не производила.

12. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 17. Д. 486. Л. 263.

По мнению профессора Р. Ганелина, и после смерти Сталина – до конца марта – К. Симонов и А. Фадеев продолжали «гнуть свое» в еврейском вопросе, оказавшись жертвами дезинформации, запущенной родственницей Г. Маленкова – Антониной Коптяевой. Именно через нее, считает профессор, в

недрах Союза писателей был распушен слух, что Сталин еще как-то сдерживал справедливые порывы своих соратников, а уж теперь-то евреям не поздоровится. Отсюда и написанная Симоновым, как главным редактором, – передовая «Литературной газеты» от 19 марта, с очевидным антисемитским душком; особо досталось в этой передовой, не названному по имени, Василию Гроссману. Отсюда же и опубликованный в номере за 28 марта доклад Фадеева на заседании президиума правления СП СССР: «Мы с честью провели борьбу с идеологией космополитизма, ведем и будем вести ее дальше. <...> Мы сталкивались и сталкиваемся с еврейским буржуазным национализмом». Не успели вовремя перестроиться, боялись пойти не в ногу, хотели, как лучше... См.: Петербургский Еврейский университет. Серия «Труды по иудаике». Вып. 3. СПб., 1995.

13. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 17. Д. 437. Л. 152.

14. Судоплатов Андрей. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. С. 357.

15. Известия ЦК КПСС. 1991. №2. С. 187.

16. Известия ЦК КПСС. 1989. № 11. С. 47.

17. Культурное строительство в СССР. М., 1956. С. 254.

18. Исторический архив. 1993. № 4. С. 138. 19. АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 483. Л. 149.

20. Отчет Пьера Лошака об этой встрече в майском номере «Realites» за 1957 год.

21. АП РФ. Ф. 3. Оп. 23. Д. 209. Л. 142-158.

22. Там же.

23. Время и мы. Иерусалим, 1990. С. 311.

24. Le Figaro. 1958. 9 avril.

25. Правда. 1958. 27 марта.

26. Знамя. 1988. № 11. С. 61-62.

27. От аппаратчика Поликарпова ничего другого ждать было нечего, но лично Черноуцан – как личность, а не аппаратчик – антисемитизм не жаловал ни с какой стороны. Он был выпускником элитарного Института философии, литературы и искусства, другом многих, впоследствии им же гонимых, писателей-евреев. Его жена Ирина Чеховская – одна из самых интеллигентных редакторов издательства «Советский писатель». Именно она редактировала книгу Эренбурга «Люди, годы, жизнь», из которой старались вытравить «еврейский душок» люди, получавшие соответствующие указания от ее мужа, а она всеми силами этому противилась, восстанавливая цензурные купюры. После ее смерти И. Черноуцан стал мужем Маргариты Алигер, написавшей в годы войны горькую поэму «Твоя победа», где говорится о возрожденном антисемитизме, о страданиях еврейского народа. Соединение несоединимого в одном лице – характерная примета советско-партийной морали.

Объяснение одной из причин, побуждавших Лубянку и Старую площадь с такой яростью поносить мемуары Эренбурга, дал сын убиенного Переца Маркиша – профессор Шимон Маркиш: «Ни одна книга в русской советской литературе за пятнадцать лет после смерти Сталина не сделала столько для еврейского пробуждения, сколько «Люди, годы, жизнь». См.: «Советские евреи пишут Илье Эренбургу 1943-1966». Иерусалим, 1993. С. 491.

28. Возмущение любыми проявлениями насаждавшегося и поощрявшегося антисемитизма, как и восхищение той ролью, которую в борьбе с ним играл в те годы Илья Эренбург, я и сам слышал от К. Г. Паустовского во время двух с ним встреч в Тарусе летом 1965 года.

29. Два года раньше, 14 марта 1959 года, генеральный прокурор СССР Р. Руденко допрашивал Бориса Пастернака в связи с передачей им на Запад рукописи романа «Доктор Живаго» и домогался у него ответа на вопрос о национальности. Давно принявший православие, Пастернак ответил: «Еврей». См.: АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 269. Л.110.

30. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 133. Л. 56-59.

31. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 141. Л. 73-75.

32. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 55. Д. 44. Л. 13-16.

33. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 55. Д. 45. Л. 7-10.

34. Богатый фактический и статистический материал содержится в книге Евгении Эвельсон «Судебные процессы по экономическим делам в СССР». Лондон, 1986 (на русском языке). В качестве московского адвоката Е. Эвельсон участвовала во многих антисемитских судебных процессах – всего их было в те годы не менее четырехсот.

35. Молодость Украины. 1962. 3 августа.

36. Труд. 1962. 16 января.

37. Указы от 5 мая и 6 июля 1961 года и от 20 февраля 1962 года – все подписаны тогдашним председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым.

38. Правда. 1961. 21 июля.

39. Полный список приведен в книге Е. Эвельсон. С. 343-346.

40. Правда. 1963. 3 февраля.

41. Правда. 1963. 1 марта.

42. Эвельсон Е. С. 355-357.

43. «Humanite» и «Unita» (1964. 24 марта).

44. Название местности «Бабий Яр», где в конце сентября 1941 года нацисты совершили массовую казнь евреев, едва ли не во всех языках мира является сегодня не нуждающимся в расшифровке, условным обозначением гитлеровского геноцида.

45. Через несколько лет, 29 сентября 1966 года, в 25-ю годовщину расстрела в Бабьем Яре, этот нравственный подвиг повторил украинский поэт Иван Дзюба. На митинге он сказал: «Мы не достойны памяти тех, кто здесь погиб, и тех, кто отдал жизнь в борьбе против нацизма, раз до сих пор среди нас находят место разные формы чужденности и в том числе та, которую мы называем стертым, ставшим банальностью, но страшным словом – антисемитизм». См.: «Национальный вопрос в СССР». Нью-Йорк, 1975. С. 365.

46. Известия ЦК КПСС. 1990. № 11. С. 201.

47. Кирилл Кондрашин, дирижировавший оркестром при первом исполнении симфонии, не смог вынести этой травмы и при очередном выезде за границу (в Голландию) стал невозвращенцем.

48. После начала перестройки З. Шейнис посвятил разоблачению советского государственного антисемитизма книгу «Провокация века» и много газетных статей, где, в частности, оправдывал свое вынужденное участие в создании откровенно антисемитской книги. Отказ от участия в погромной кампании в эти годы, конечно, мог привести к служебным неприятностям, но уже не грозил ни расстрелом, ни Гулагом. Каждый имел возможность свободно сделать свой выбор.

49. АПРФ. Ф. 3. Оп. 77. Д. 1328. Л. 19-21.

50. Там же.

51. Литературная газета. 1997. 9 июля.

52. АП РФ. Ф. 3. Оп. 77. Д. 1327. Л. 100-101.

53. Вениамин Дымшиц, заместитель председателя Совета министров СССР, оставался тогда последним евреем в советском государственном руководстве.

54. АП РФ. Ф. 3. Оп. 108. Д. 23. Л. 302-312.

55. Там же.

56. Там же.

57. ЦХСД. Ф. 4. Оп. 25. Д. 36. Л. 1-47.

58. ГА РФ. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 85. Л. 209.

59. Млечин Леонид «Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы». М., 1999. С. 480.

60. Совершенно секретно. 1995. № 4. С. 4. О материнских корнях Андропова до середины 90-х годов никогда в печати не упоминалось, а его биограф Рой Медведев («Неизвестный Андропов». М., 1999), написавший книгу объемом в 400 с лишним страниц, не смеет их обозначить даже сейчас.

Содержание

Тише, тише, господа! (Вместо вступления)...3

Всегда виновны....12

Окаянные годы...53

Из ада в рай...75

На сцене и за кулисами....101

Великий друг всех народов.... 134

Гоните их вон!.... 174

Специальный заказ....217

Обреченные на заклятие...265

Ликвидировать незамедлительно!...291

Из рая в ад...331

На лобном месте...367

Избавление....450